

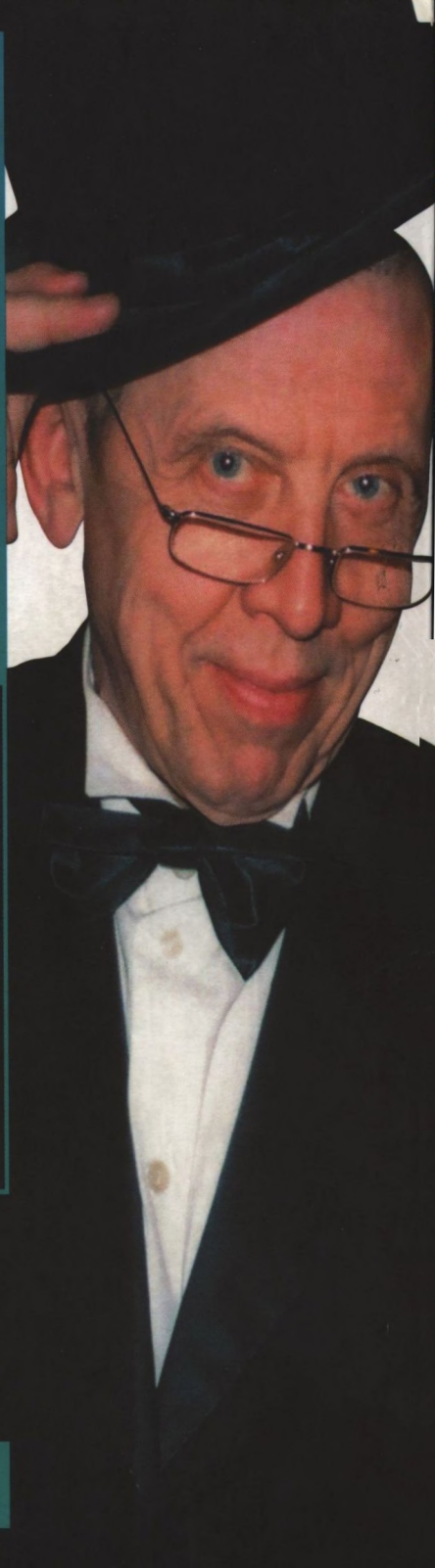
KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



30000018236475

АКТЕРСКАЯ КНИЖКА

ВАЛЕРИЙ  
ЗОЛОТУХИН  
ДРЕБЕЗГИ



зебра е



**АКТЕРСКАЯ КНИГА**

---

**ВАЛЕРИЙ  
ЗОЛОТУХИН**

---

**ДРЕБЕЗГИ**

Title: Drebezgi

Author: Zolotukhin, Valerii

**АСТ ЗЕБРА е МОСКВА**

УДК 821.161.1(081)Золотухин В.  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44я44  
3-81

Художественное оформление Андрея Рыбакова

Подписано в печать 12.11.07. Формат 60х90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Усл. печ. л. 31,0. Тираж 5 000 экз. Заказ № 7742.

**Золотухин, Валерий Сергеевич**

3-81 Дребезги / Валерий Золотухин. – М.: АСТ: Зебра Е, 2008. –  
496 с., 64 с. вкл. – (Актерская книга).

ISBN 978-5-17-048779-0 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-94663-533-2 (ООО «Издательство Зебра Е»)

Агентство СІР РГБ

УДК 821.161.1-821

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

- © Золотухин В., 2007
- © Рыбаков А., оформление, 2007
- © Издательство «Зебра Е», 2007
- © Издательство «АСТ», 2007

# Жажда предельной высоты

В смутное и тревожное время, когда многие писатели погрузились в азартную политическую борьбу, когда оперативная публицистика грозит вытеснить со страниц журналов художественную литературу, когда ведущие артисты страны обременяют себя министерскими должностями... Но не стану напоминать о том, что известно. Просто скажу, что в это исключительно политизированное время я с особой нежностью думаю о тех, кто продолжает служить искусству непосредственно, — уединяясь за письменным столом над черновиками, выходя на освещенную юпитерами сцену. По-видимому, им сегодня достается меньше лавров, чем они заслуживают. Но этих скромных подвижников искусства, остающихся верными призванию, все-таки немало, и они заслуживают благодарного внимания.

Читая Золотухина, трудно отрешиться от впечатления, что его проза — рассказы, повести, эссеистические выступления — выросла из дневниковых записей. Эта проза родилась прежде всего из потребности осмыслить свою жизнь и судьбу, разобраться в мотивах собственного творческого поведения, дать себе отчет в том, ради чего

жил. Содержанием собственной биографии обусловлена и главная тема Золотухина: люди театра, их характеры, их сложное взаимодействие в искусстве, их быт и нравы, их упования, радости, печали и пристрастия. Словом, то, что однажды дало повод Б. Можаяеву назвать Золотухина «театральным летописцем».

Случайность ли, что лучшие наши прозаики, как бы ни отдалялись они тематически от своих отчих мест, постоянно возвращаются на круги своя? Вопрос, скорее, риторический, чем по существу, ибо малая родина при нормальном развитии художника прочно входит в состав личности, и становится золотым запасом его тем и образов. Светлый и поэтичный образ восточносибирской глубинки, получивший дыхание на страницах его повестей и рассказов, природа Алтая, своеобразные, колоритные характеры людей, которых мы узнаем — это она и есть, малая родина автора, чистый и полноценный Исток судьбы.

Сельский мальчик Володя, выделяющийся среди сверстников созерцательным складом души, наблюдательностью и необычным влечением к искусству (сначала — к песне, затем — к театру), — alter ego автора. Тяжелое заболевание, пригвоздившее его на три года к постели, только способствовало его раннему самоопределению. Золотухин расскажет об этом в повести «Дребезги», но некоторые важные для героя эпизоды пройдут перед нами в краткой повести, которая кажется лирическим подступом к ней: она имеет песенное заглавие «На Исток-речушку, к детству моему». Круг лиц, обрисованных в «Истоке», не широк: это семья героя (отец, мать, старший брат Ваня), старый Ермолай Сотников, искалеченный войной, но сумевший вернуться к жизни. И еще — патетичный рассказ о том, как выросший в неволе сокол раздробил занястье клювом и улетел на волю... «Гадкий утенок» в обществе ровесников, Володя ставит перед собой серьезную цель и стремится к ее осуществлению. Желая добиться совер-

шенства в искусстве пения, он вслушивается в то, как поют признанные сельские певцы, и главный среди них — отец. В повести «Дребезги» встретится Володе (уже старшекласснику) человек, которого он впоследствии признает своим учителем жизни или «поводырем» — Владимир Степанович Фомин.

Сюжет повести «Дребезги» на первый взгляд прост: отец приезжает в столицу навестить поступившего в театральный институт сына. Происходит неожиданный конфликт между Степаном Ларионычем и студентами. Сталкиваются взгляды и мнения, не понимают друг друга разные поколения. Володя мечется, не знает, чью сторону принять, в конце концов, присоединяется к новым приятелям. Некий Лин Варфоломеев, сосед по комнате, предлагает подшутить над уснувшим родителем — потеха обернулась издевательством. Лишь позднее сын с ужасом понял, что «предал своего отца, себя в нем, весь род, и это теперь на всю жизнь, и нет тому оправдания, хоть и по неведению предал». Но мучительные мысли помогают духовному прозрению. Именно теперь Володя поймет, какую власть имеет над ним прошлое, что значат для него родная земля и люди, сложившие его личность.

При очевидной простоте сюжета «Дребезги», однако, произведение композиционно сложное. Автор предпочитает взять за основу сюжета не внешнее событие (приезд отца), а собственную жизнь, раскрыть историю характера, этапы собственного духовного возмужания. Поэтому действие множество раз перебивается портретными главами: в них изображены конкретные люди, имевшие на рассказчика решающее воздействие, или поворотные события, повлиявшие на развитие личности.

К началу повести подклеен и «лоскуток» детства — полустраничный рассказ о собаке, с которой Володя дружил когда-то. Притча, подобная той (о соколе), что предпослана «Истоку», — смысловой ключ к «Дребезгам».

А дальше идут рассказы и вовсе не относящиеся к внешнему сюжету — рассказы о Фомине, о родичах Володи, о знакомых девушках (первые влюбленности и увлечения), приводятся письма близких. Само название произведения обыгрывается в тексте множество раз, словно гуляет по страницам повести шалое лирическое эхо.

Портрет села был бы, видимо, неполон, если бы Золотухин не вставил в текст, помимо песен и притч, другие чисто фольклорные мелодии, звучащие в сцене причитаний матери над уезжающим сыном (Володя притворился спящим и внимательно слушает). Говорит ли она, плачет ли, поет? Стрдание изливается в стихотворных ритмах, в поэтических образах. Прекрасной сцене родительских заклинаний соответствует написанное свободным стихом благодарное обращение сына к матери. Лирические мотивы, повторяясь и варьируясь, выстраивают изобразительную симметрию, задают повести определенные музыкальные ритмы. По видимости дробное произведение становится цельной художественной структурой.

В литературу Валерий Золотухин пришел сравнительно поздно, уже будучи известным артистом. При этом он, даже если бы захотел, не смог бы избежать эстетического опыта ближайших предшественников. Я говорю о богатейшем опыте нашей сельской прозы, представленной именами В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина. Но ближе всех Золотухину «и по службе, и по душе» Василий Шукшин. Не просто земляк и любимый писатель — человек во многом сходной судьбы. Он для автора «Дребезгов» — образец верности своему призванию, долгу писателя, артиста, народного интеллигента. Близок Золотухину Шукшин напряженностью размышлений о проблемах актерской профессии, о смысле и назначении сценического искусства, о его соотношении с литературой. Но Шукшин отдавался им в страстных статьях и «монологам на лестнице», в рецензиях и записных книжках. У Золотухина тут свой угол



зрения, свой жизненный материал и, разумеется, свой стиль. Его можно назвать портретистом. Ибо, помимо очевидных трудностей и подводных рифов профессии, Золотухина в первую очередь интересуют люди, делающие искусство. При этом автора меньше всего устраивают подслащенные суррогаты правды. И хотя в его новеллах и рассказах нет того исступленного поиска художественной правды, которым отмечены произведения Шукшина, но крылатое изречение «нравственность есть правда» Золотухину близко. Свое представление о правде он сполна развернет в повествовании о Владимире Высоцком. Тут автор соберет воедино разбросанные по дневниковым тетрадям собственные заметки о взаимоотношениях искусства и действительности.

Произведение о Владимире Высоцком — книга о поэте, актере и певце, которую многие ждали. Что же добавит она, помимо нескольких самобытных штрихов, к хорошо известному портрету? К бесчисленному множеству статей и мемуарных очерков, хлынувших в печать спустя годы после смерти Высоцкого? К двум талантливым книгам, написанным Мариной Влади и Аллой Демидовой?

Это не воспоминания и не документальная повесть — читателю предложены избранные страницы собственного дневника почти в нетронутom виде. Уже одним этим Золотухин берет на себя повышенную смелость, поскольку, беседуя с самим собой, не думаешь о том, какой это может вызвать резонанс. Автор допускает, что его записи вызовут чье-то разочарование, что они, быть может, не столько о Высоцком, сколько о себе.

Но перед всем прежде написанным о Высоцком новое повествование имеет одно решающее преимущество. Дело в том, что и статьи, и книги об артисте-поэте создавались уже после его кончины, создавались людьми, потрясенными непоправимой утратой, и потому все они неизбежно суммарны по своим оценкам и выводам. Высоцкого ис-

кренне любили, и после смерти артиста были созданы все условия для роста и распространения литературной иконографии. Валерий Золотухин писал не об умершем, а о живом друге, о человеке со всеми трудными особенностями своего характера, поэтому автор долго колебался, прежде чем обнародовать свою лично выстраданную правду о Высоцком. Массовая публика всегда ждет лишь нового подтверждения своих представлений о кумире. Согласно сложившемуся образу, Высоцкий во всех отношениях превосходил своих коллег, возвышаясь над ними гениально разносторонней одаренностью. Решительно все (и в равной мере) ему удавалось: исполнение ролей, песни, стихи, поэмы, проза и остальное. Естественно, во всех жизненных конфликтах он бывал прав (или оправдан задним числом), и каждый, кому довелось с ним работать, уж, конечно, должен чувствовать одну только горделивую радость сотворчества гению.

Ну а что, если эта легенда слишком поверхностна и примитивна, чтобы оказаться правдой?

В публикуемых записях Золотухина не остыли, не выцвели, не изгладились уже давние впечатления от встреч и бесед с Высоцким, от споров о жизни и искусстве. Поэтому в повести говорит, чувствует, мыслит и действует неприкрашенный Высоцкий — такой, каким его знали близкие. Происходят ссоры с ним и примирения, возникают разногласия и намечаются компромиссы — идет жизнь. Это-то и обжигает новизной. Меньше всего старается Золотухин угодить молве или тем более — новой конъюнктуре. И если ему не нравится игра Высоцкого в «Вишневом саде» (Лопухин), даже в «Гамлете» — какой резон автору дневника скрывать это от себя? Споря с воображаемыми оппонентами, он подтвердит свое мнение живыми наблюдениями, собственным опытом актера. Золотухин не навязывает своего художественного мнения — настаивает лишь на своем праве быть собой. Он надеется, что его правильно

поймут. Что не смогут не почувствовать: обращенные к Высоцкому строки обиды и гнева, творческой зависти и нежной любви — всего лишь разные лики одного чувства, которое называется мужской дружбой.

В произведении изображен не один характер — немало тут и портретных зарисовок. В коллективном портрете актерской среды Золотухин не только выделяет свойственные ей черты — мелочные интриги и сплетни, скандалы и вовсе не дружественная борьба из-за ролей, — но и дает почувствовать: какие ни есть, это его товарищи. Их печали и радости, их страсти автору близки, ибо «все мы повязаны одной веревочкой».

Говорит ли Золотухин о Высоцком или о Любимове, о себе или об ином художнике, он не упускает из виду сущность профессии. И если кому-то покажется нескромностью, что автор бережно собирает все добрые отзывы о своих выступлениях, пусть вспомнит о том, скольких мук стоит художнику его творчество и как слабо вознаграждается. Пусть он вспомнит, что Владимир Высоцкий, чьим именем посмертно названа планета, при жизни не имел никаких наград и званий, а стихи его так и не смогли пробиться в печать. Трагическая судьба Владимира Высоцкого — лишь частный, хотя и очень выразительный случай проявления извечного закона: всегдашней болевой напряженности между художником и обществом, между искусством и жизнью. Мне кажется, Валерий Золотухин выстрадал именно такое понимание беды и подвига своего друга. Выстрадал и, не расплескав ни капли пережитого, передал нам.

*Леонард Лавлинский*



# КНИГА ПЕРВАЯ



# На Исток-речушку, к детству моему

Повесть

*Сыну моему Денису посвящается*

**...тетка Васса пишет:**

«...ходили мы в кино — по Чехову, с тобой... Нам всем очень понравилась картина. Хорошо поставлена. А какое богатство показано — где брали, напиши, и где снимали. Но у тебя и роль... Ох, ну и ну... Как это можно после таких серьезных ролей, как в прошлых фильмах, и играть... такого пьяницу? Но очень уж ты худой на тело. Когда врач тебя лечил, я это сразу заметила. Приезжай, племянничек, я тебя подкормлю, как раньше, сырчиками из простокиши...»

**...тетка Елена пишет:**

«...видели мы твоего милиционера... не понравилось многим, потому что ты в нем отца своего копировал, и притом неудачно. Что же это ты допускаешь: снимаешь мокрые сапоги прямо у стола, сидишь в портянках, тянешь молоко из крынки, как теленок?! Что у тебя, в дому стакана нет, что ли? Ты учти: отца твоего не любили. Время было послевоенное. Колхозы разорены... платить нечем. А он — председатель. Народ работать не хотел, побежал в город за зарплатой. Приходилось принимать крутые

меры, не дожидаясь наступления сознательности. Так что это должность не любовная. Но молодежь о твоей игре спорит со стариками. Они ведь твоего отца не помнят. Какую ты смуту, однако, затеял среди односельчан! А в молоке и в портянках я не усмотрела большой беды. Да. И поешь славно... слушать можно, прям как отец... Вдруг перепоешь, а?!»

**...из интервью:**

«...другой профессии не знаю. Не представляю себя в другой. Родился артистом. Ничего другого не умел и не умею, за что не нравлюсь теще. Даже то, что ходил на костылях почти до десятого класса, — не остановило, потому что **верил**. Даже то, что некоторые учителя называли гадким утенком, не советовали, — не удержало. Профессия пришла раньше осознания, с первым криком в родильном доме. С двух-трех лет за песни, что научила мать, брал мзду — молоко, мед... Поэтому считаю себя **профессионалом**, как стал помнить...»

Ну, поехали...

Но, милоч, пошел, милоч!

Я сяду на коня гнедого,  
поеду в дальние края...

Кони... кони... рвут кони вены и сухожилия свои. Выпрыгнуть из трясины болотной хотят. Терзает постромки пристяжная, рушит оглобли коренник. Рвутся они за смородиной. На Исток-речушку, к Ермолаю Сотникову... Пришли к Володе, вспомнились, явились от смородишного духа эти кони, чтобы пронести опрометью по золотому детству.

Отец работал еще начальником тогда. Председателем колхоза. Мать была начальникова жена, председательша.



А Вовка с Ванькой и Тонькой-сестрой были начальниковыми ребятишками.

Отец запрягал пару коней. Ездил по полям, бригадам, пасакам, фермам — по всему громоздкому колхозному хозяйству, к тому времени укрупненному из мелких в одно большое. С первым солнышком подгонял пару под крыльцо Алексей Шаталов, однорукий колхозный конюх. Прикручивал вожжи к тополям и уходил. Дальше везде, пока не падали от усталости кони, отец правил сам один — и в жару, и в буран. Только коробок или кошеву полнешеньку сеном набивал, чтобы не так колотило летом и не продувало зимой. Под сено тайно мелкокалибровую винтовку хоронил — мало ли кто коней председателевых подстережет — волки ли голодные, люди ли, советской властью недовольные. Ах, кони, кони... Володе казалось, что лучших коней, чем отцовы, нет на всем свете и быть не может, потому что отец его сильнее и главнее всех. Это же счастье какое — прокатиться на отцовской паре до конца и без сердца (оно выпрыгнуло и в ямке лежит) возвращаться через все село, обратно, по высокой пыли от ихней пары, и глазеть, и запоминать, кто из мальчишек видел езду. **Он был председатель колхоза, укрупненного, что значило — почти хозяин района.** Мать редко с ним ездила. Отец это позором считал. Что люди скажут: «Ишь ты... председателева баба на колхозной паре... Ишь ты, как выхваляется перед народом...»

Подолгу мать всегда упрашивала отца взять ее на пасеку к деду Сотникову на Исток-речушку смородины побрать... да и хмелю тоже. «Люди ведрами несут, варенья понаставили подполья полные, а мы еще ни с чем широги. Отец, ребятишек пожалей — без пирогов останутся, а ты без пива...» — «Дак ведь ляга там, не проедешь...» — «Ну ведь ведро уж какой день, подсушило небось... да на твоих чертях море перескачешь...» Отец отмалчивался. Он не хуже знал срок ягоде и Сотникову намекнул, что может

накатить в любой момент. С матерью он в делах совета не держал и сказал вдруг:

— Собирайся, завтра Шаталов коней подаст. Совсем рано поедем, чтоб людям в глаза не лезть.

— Ох, батюшки светы! Ну что ты, отец, за человек такой! Вечно врасплох... Ведь Дусю предупредить надо, чтоб корову подоила, свинье корму дала, курей посмотрела... Ребятишек придется с собой... Ну характер, вечно все врасплох.

Характер этот был притчей во языцех всего района и соседнего тоже. Врасплох отец и скотину забивал, когда она не ждала совсем. Он бил только раз — и любой хряк или бык отбрасывал копыта в холодец. То, как он это делал, было для всех тайной. Недели за полторы до забоя отец прятал нож, заверченный в масляную тряпку, чтоб не пах железом и не ржавел, подальше, в стайку к скотине. На неделе заходил туда, задерживался там. Привыкал, казалось, к мысли, что должен убить. Сердце его успокаивалось, и рука не гнулась. Скотина чувствовала силу, не буйствовала. Отец совершал свой труд в одиночку, без свидетелей — быстро, тихо, не мутя животного.

Врасплох он и кулаков застигал. Мать рассказывала: иные в обморок падали, когда он входил. «От одного взгляда его кулачье опрокидывалось, а ему и двадцати не было тогда».

— Ну что ты за человек такой, отец! Вечно врасплох... К деду за смородиной — надо ему литровку взять... Ну ладно... браги канистру нацежу...

А к деду ехать далеко. Вставать рано, с гусиной кожей... Прудить с высокого крылечка и обуваться по-скорому — кони ждать не станут... Гоголь уж пену роняет, а Рыжка извихлялась вся... Отец опять ищет ремень гимнастерочный, шумит почем зря, будто этот ремень командирский прячет кто каждое утро...

Сколько помнил Володя, отец никогда не присел к столу позавтракать. Как находился ремень, отец подходил к лавке, брал и подносил ко рту первый понавшийся сосуд... Ведро ль с водой, корчагу с квасом или глечик с простокишей... И долго пил отец, не отрываясь. Казалось, никогда он не кончит пить, так и будет стоять и дуть памятником, казалось, уж реку выпил. И страшно Володе делалось за отца — лопнет вдруг. Но все заканчивалось благополучно. Памятник оживал и, гремя подковами, уходил к лошадям. Так было всегда, так было и сегодня. Заткнули веткой дом, вышли за ограду. Мать посадила Володю в коробок, Ванька взлетел на передок. Отец проверил, плотно ли сидят «воробьи», не вытряхнутся ли при скорой езде. Усадил мать... Отвязал вожжи, натянул... Подался всем скрипящим телом, осаживая коней, которые тронули, едва хозяин занес одну ногу в коробок... Другой еще бороздил землю, вроде тормозом, подметки и след оставляя по пути... Вот и вторая нога отпустила землю...

— Пошел, милоч.

«Пошел, милоч...» Почему отец обращался и разговаривал всегда с одним конем? Ведь два его всегда носило. Нет, не всегда. Редко, когда только по селу да недалеко, ездил он и на одном — на любимом Гоголе. Какой конных дел грамотей дал жеребцу кличку великую? Но гоголь и птица есть... может, от нее...

Гоголь — красавец коренник, глаза цыганские, кровавые, пена белая со рта падает. Такие себе сами выбирают. Грустная и чудная эта история... Когда Гоголь был еще трехлетком и подавал большие надежды в производители, разбил он копытами коновязь, разломал и Рыжкину, освободил ее и увел в луга... За пять верст от базы нашли их в заброшенной риге. Они стояли, целовались и не слышали, как к ним подошли. Звезда Гоголя, что во лбу сияла, белая, была залита кровью. Морда вся разбита, ноги в

ссадинах. Круп Рыжкин — обалдение-заглядение — в грязи и лохмотьях. С тех пор мужики сочли Гоголя негодным в производители и отдали в хомут. А Рыжку в пристяжку ему, как в насмешку. И хоть рядом очутилась забава, но еще дальше дальнего стала, чем когда по разным стойлам тосковали. **Ах, эта заноза!!!** И толку не было от нее в хомуте. А придана она за точеность и игривость Гоголю была, чистюля и забава. Из-за нее, от одного духа ее, от одной шеи лебяжьей, от одного нечаянного взмаха хвоста Гоголь пену ронял, храпел, напрягался и всю удвоенную силу, все отчаяние в хомут и работу вкладывал, за троих тянул. А та (какая шельма-хитрюга) постромки не натягивала даже, боясь фигуру испортить, и все башку от него воротила, насмехаясь вроде, хвостом, трижды расчесанным, кокетливо вихляя. Ах, эти гривы и хвосты... Ай, яй, яй...

Сколько силушки понапрасну гасил из-за них в хомуте Гоголь, молчаливо крупной рысью подавая вперед! А Рыжка финты откалывала, знай себе отплясывала какую-нибудь дребедень. Плясунья — только ход сбивала. А со стороны казалось, будто она только и работает, и все на нее заглядывались. Начальник покрупнее как-то и позарился... Стала Рыжка ходить в паре с другим жеребцом, да вскоре запаршивела — не узнать. Видать пара паре рознь. А здесь... Относились к ней как к забаве, как к музыкальному инструменту, — чистили, поили, кормили по высшему разряду. И была она от того вся шелковая, гладкая да хваленая. Ну, артистка, а не кобыла! Хлестнул ее Ларионыч мягко, предупредил — натянула постромки, балерина...

Быстро проскочили деревню задами, чтоб народ не косился, как председатель бабу с ребятишками по ягоды на колхозной паре покатыл.

Кони тянули в согласии, колеса мелькают так, что в космос оторваться могут, если не углядеть... Мать караулит Володю, чтоб не вывалился... Ванька за вожжи на передке держится, тербит их у отца, чтоб лошадьми поправить...

Отец потихоньку ослабляет, Ванька сам натягивает, всем щенячьим телом уцепился. Но отец контролирует, совсем не выпускает. Ваньке это не нравится — он всей самостоятельной силенкой с Гоголем хочет сравниться и злиться, что не по его... А Вовке совсем за вожжи подержаться не велят. Он маленький инвалид... **гадкий утенок.**

У него под сеном костыли лежат. Год назад он из санатория вернулся, где его лечили от туберкулеза коленного сустава. Теперь процесс остановлен, говорят, но лет до семнадцати врачи прописали ему костыли не бросать. Он обижен судьбой, потому и не обижает его брат Ванька и многих ребятишек в селе поколотил за младшего брата, которого они «Костыль-трест» дразнили. Вовка гордился Ванькой. Ванька против всей улицы за брата выходил. А Вовка артистом хочет стать — гуттаперчевым мальчиком под куполом в золотом костюмчике летать... С тонкими ногами, гибкими ветвями рук и челочкой до глаз, как у соседа Вадьки. Прыгнуть из-под самого неба ласточкой на спины коней и крикнуть «оп-ля!» под стрекот барабана и рев толпы!!! «Выскочка ты, — говорила ему учительница по истории за то, что он парням нерадивым подсказывал, — утенок ты гадкий, а не артист». И обида, со злостью смешанная, брызгала из Володькиных глаз. «Я вам покажу, я вам докажу... Я прыгну гуттаперчевым мальчиком в золотом костюмчике на спины моих коней двумя своими ногами, и вы еще не раз заплачете, как плачут мужики, когда я пою «Шумел сурово Брянский лес...»! Я еще прокачусь на своих вороньих, гремя славою по вашему забытому переулку!!!»

Ах, кони, кони быстрые... куда вы завернули? Ведь за смородиной Володя едет на Исток-речушку... (Об этом вспомнит или придумает? — много лет спустя.)

Ничто, видимо, не проходит зря. Все имеет свой результат и назначение. Не назови его люди гадким утенком, не захотелось бы ему теперь до смерти костюмчика в блестя-

ках. Не раздражи они его, не замыслил бы он теперь всем доказать, раз они не понимают, что он с самого рождения под куполом. Он родился скоморохом, профессионалом, то есть тем, кому ремесло такое хлеб дает, а не только забаву. Он рано понял, что петь или плясать есть тот же труд, как в колхозе, за который могут накормить или приласкать. Совсем маленьким, в голодное время войны, он зарабатывал так. Мать привязывала его за ногу на крыльце, оставляла хлеба, что-нибудь пить и уходила со старшими, уже помощниками, в поле.

От нечего делать он вспомнил материны песни и стал ими привлекать к своему крыльцу тех, кто не мог воевать или работать. И люди давали ему за песни кто чего, яичко, пирожок какой. «Эй-эй, герой, на разведку боевой... Мама будет плакать, слезы проливать, а папа поедет на фронт воевать» и т. д. Репертуар не обширный, но «эпохальный». И мама проливала, и папа проливал, а отрок пел до посинения за стакан молока. И понял: то, что кормит, есть работа, значит, он будет петь всегда. Его и нынешней зимой в трескучие морозы и непролазные бураны, завернутого в одеяло и сто тулупов, в кабине трактора (иначе не пробьешься) возили по деревням, чтоб он тамошним крестьянам пел «Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля...». Как только мать отпустила? Что думала, как не боялась?! Или она чуяла, что он сроду не научится ничего другого делать, так уж пусть поет, раз поет. Но ведь люди говорят... утенок? Но нет, это не про него. Кажется, рано они его отпевают. Он свое молоко дососал. **Он еще зануздает своих коней, и они вырвут его на Млечный Путь.** Он еще просвистит оттуда. Он еще попросит прощения за дерзость свою и сам простит всех. Только простят ли его? Если действительно просвистит с Млечного, то простят. Только что-то стали кони... Но, милок, пошел, милок. Нет, не идут дальше кони... Стоп, хозяин, не гони. Трясина впереди, ляга. Ляга... Стали кони...

— Вперед, милоч, пошел!

Хлещет Ванька коней вожжами, не идут. Не доверяют ребячьей силенке... Отец ждет, хмурится.

— Что ли грунтовая поднялась или дождевая так застряла... Хворосту нарублено, набросано, все втоптано, перемешано трясинной и непролазно, видать... Чертово место... А до деда рукой подать... Только проехать как?.. Держи, мать, ребятишек.

Выбросил ногу из коробка, поверху над водой остановил, для страховки бич раззмеил...

— Но, милоч...

Фыркнул Гоголь... Неохота... Чует чертей... А рядом вертихвостке все равно, дернула постромки, но не тут-то было стронуть.

— Пошел, милоч! — покренче голосу набрал председатель. Ударил хвостом Гоголь — дескать, как знаешь — и зачавкал копытами... Осторожно пошел, как по стеклу, дотрагиваясь еле. Но вот спружинился на миг и прыгнул башкой к солнцу, в болото вонючее!

— Но, но! Пошел, милоч! Айда, стервец!!!

По брюхо кони, хрипят, тонут... Вода в коробок просачивается... Вопят ребятишки, воронье насмехается... Рвут кони вены свои и сухожилия!! Выпрыгнуть из трясинны проклятой хотят!! Терзает постромки пристяжная Рыжка. Рушит оглобли коренник Гоголь. Режет злобой горло председатель! Рвутся они за смородиной к деду Сотникову.

— Пошел, стервец, но!! Но!! Бич... Бич дай, раззява, чтоб тебе со всей смородиной, будь она проклята! Вылазьте, прыгайте в грязь, сукины дети! Коней репу — утоплю всех в этом болоте!.. Эй вы, сволочи дохлые!

Свистнул бич по лошадым хребтам и мать заценил, то ли случайно, то ли в сердцах. Та голосит, причитает... Оттащила ребятишек, лица не видать — вся в жиже, в вони, по шее кровушка змеится, может, и лошадиная.

Вовка орет:

— Папа, не надо бить маму... папа, не бей маму!..

Ванька трясется. Глаза как у бешеного чертенка — ему коней жалко:

— Не бей коней, не бей, не бей, не бей коней!..

— Замолчи, ублюдок! Засеку всех в кровь!.. — кричит отец, а сам постромки рубит — освобождает Рыжку. Та совсем смирилась, по уши ушла почти и Гоголя тянет. Освободил ее председатель, кинулся к задку коробка. Пружинится, принаравливается Гоголь. Раскачивает коробок председатель. Даже воронье затихло, глядя, как трудятся мужик и конь.

— Пошел, милоч!!!

Выстрелил бич... Взвизгнул Ванька... Простонала мать... Ржанула кобыла... Рванул изо всей силушки к своей хорошей конь и победил.

Вытянул на ту сторону!.. Стал председатель убытки считать. Колесо к чертям... оглобли пополам... постромки порублены, кони и дети одного цвета — загнанного, замученного.

Только мать одна как ни в чем не бывало: умылась уж где-то и опять солнышком сияет.

— Ну, слава нашим, перескочили... Теперь-то уж мы черта лысого без смородины вернемся... — подмигивает ребятишкам.

Коней обтереть сеном, обсушиться маленько — дух перевести. Колесо, оглобли наскоро вожжами перемотать, обmaterить еще раз всех напоследок — сердце освободить — и помаленьку...

— Пошел, милоч.

Кони тронули.

...Все это приснилось Володе — или мне сегодня вспомнилось? — не пойму того, не разберу точно. У самого в голове смородишный угар. И опять в толк не возьму: Володя ли в смородишных листьях схоронился, или я в белых



листах запутался. Но все же кажется мне, бедному, что получается у меня, что вертаю, глажу, трогаю и крепко, как отец-председатель вожжи, держу я святые струи золотого детства моего. И будто уж сажусь опять с родными своими в коробок, раздрыганный колеями и лягой... и к деду Сотникову... петь... «Не одна во поле дороженька...» А не возьмут... Сяду на крылечке, где привязанный пел, закрою лицо ладонями и прикушу язык. Но не отстану, не отстану... иначе помру. Только не догонишь, однако, свое далекое — кони ловкие попались. Однако и на них, чертях, не доскачешь уж теперь на Исток-речушку к Ермолаю Сотникову...

## Ермолай Сотников

Колхозный пасечник издала коней председателевых узнал. «С Мотькой, однако, с ребятишками... за смородиной, однако. Ох, баба! Ну, знает, куда ездить... Ведра четыре упрет, знамо дело... Орду свою с собой прихватила, знать, облаву затеяла на смородину мою».

Так он стоял и рассуждал с собой, на одной ноге, упершись костылями в землю, под широченной кепкой, как здоровенный гриб. И шурился против солнца, откуда шагом шли председателевы кони... или стояли на месте? Но раз увеличивались, стало быть, шли. Но почему шли, когда председатель всегда с громом и собаками к жилью подлетал... «Кони устали, что ль, или насажал много? Но как же они через лягу, через чертово болото... или перелетели на крыльях каких? Но так просто я вам свои кладовые не покажу, нет, не покажу, не разрешу... Вы у меня отработаете эту смородину. Не погляжу, что председатель да председательша! И ребятишек заставлю работать! Я вас научу смородину любить!»

— Стой, милоч!

— Здорово ночевали, гости дорогие! А я было хотел половики постлать и за вами послать, а вы сами явились. Чего вам дома не сидится?! А что с конями-то? Ох, разъяз-ви тебя... вот это хозяин! Ты почему коней-то не жалеешь, а?! Срамота какая! О, да у вас авария, однако? Колесо-то, как обратно?..

— Твое возьму.

— Мое? А я с чем останусь? Может, ты и ногу мою конфискуешь?

— Завтра с одноруким пришло.

— Дак вы что? Обратно сегодня или заночуете?

— Может, сегодня, а может, завтра, по росе... Баню затопляй...

— Баню? Вы, что ли, по бане соскучились или еще за-чем? Медку ведерко или еще чего?

— Да вон смородины захотела, не отвяжешься, чуть коней не решил.

— Это, разговор хороший. Рясная, шибко рясная сморо-дина нынче, и места тут небранные, нетронутые... не отходя с куста, на всю зиму, ага... Но смородину-то отработать, однако, надо... надо, надо... Ребятишки, сведите коней к обрыву, искупайте и напоите... Рыжку спутайте, а Гоголь не уйдет. Иль тоже спутать... Нет, не надо, не отойдет он от нее. И по пути березничку веника на четыре наберите. Не больше как на четыре. Да не ломайте, поаккуратнее... проверю... Мотыка! Бери ведро и, пока не рассиделась квашней, дуй в Волчью забоку... Да по краю чеши, в чащо-бу не забирайся, по краю крупнее, врать не стану. А мы с тобой, Ларионыч, нужник сейчас переставим, а уж потом баней займемся.

Беспокойный это был мужик, Ермолай Сотников. Все его на свете интересовало, свербило, не давало спать. Дед любил узнавать, работать и творить все сам, своими рука-ми. Даже стриг себя сам. Стриг наголо. Не всегда ровно выходило, кое-где иногда наблюдались огрехи. Из чего

дед заключил и нередко повторял, что «надо уметь постригаться... Не то тебя постригут». В солнце всегда носил большую кепку с огромным козырьком, тоже сварганенную своими мозолистыми руками. Такой человек на месте не посидит спокойно, все чего-нибудь ищет поработать. Без дела уставал, хандрил, проклинал весь белый свет и все, на чем он держится.

Управившись нынче с утра по пасечным делам, он стал проводить в жизнь давно задуманное мероприятие — перенос плетеного сортира, что дверью-дырой смотрел в чисто поле, на новое, более соответствующее место. Со стороны, скажем, тому же председателю могло показаться, что дед дурью мается — стоит себе сортир, ну и пусть стоит, никому не мешает, да и нужен-то он в этом забытом месте только одному деду. Но Ермолаю показалось, что пчелы снизили производительность и качество из-за того, что сортир близко к ульям и в них оттуда надувает.

Он принадлежал к такой породе людей, которую от мала до велика уважают сразу, на расстоянии, ищут совета и осуждения которой опасаются. На что председатель, гроза колхоза и района, мужик грубый и властный, от недовольного взгляда которого иные будто ростом меньше делались, нередко наезжал к деду вроде случайно, на самом деле доброго совета послушать. И хоть из гордости вид делал, что не соглашается, на обратном пути, в кошеве, под еканье селезенки Гоголя принимал дедовы выводы без поправок. Разница в годах у них невелика была — что-то около семи годов, — но природа Сотникова брала верх. В свое время Ермолай сам был председателем и комбеда и коммун первых, всю механику коллективизации постиг с самого зарождения. Прошел Гражданскую, бежал от Колчака в партизаны. В последнюю войну с немцами потерял ногу, получил инвалидность и отошел от общественной жизни. Вернувшись из госпиталя, заполз Ермолай в баню, не заглянув в хату, не осмотрев, как выросли ребятишки,

как обезмужичила деревня. И долгие месяцы пролежал там в тоске и в одиночестве, не вылезая свет поглядеть. Словно узнику, приносила ему баба питье и еду — ставила горшок у порога и уходила. Дальше он не пускал никого. Даже хлеб свой он не мог есть при людях. Так мучился безножием.

Ночью одной выполз Ермолай из своего логова, оглядел двор, посмотрел в небо — и остался. Утром заявил старухе и детям, чтоб призвали к нему председателя. Долго мужики толковали, а вечером к дому Сотникова подошла подвода с кузнечным горном. Баню-логово переделали под кузню, и стал Ермолай колхозным кузнецом. Какая тревога извлекла его из бани, бог весть! (Жить-то его заставил Сергей Яковлевич Лемешев.) А из бани...

Много лет спустя, когда прошла боль, зажила беда и война стала такой далекой, будто и не была вовсе, дед рассказал про сокола, которого ребятишки привязали нечаянно под оконце его бани.

Вот пройдет моя беда со кручиною,  
Я взовюсь, млад-ясен сокол, выше облака...

Ребятишки подранили соколенка. Подобрали во ржи и принесли домой, и привязали во дворе за ногу. Весь двор сразу вымер будто. Куры, подхватив цыплят, в панике схоронились и замолчали, дуры. И петух смылся. Правда, иногда он появлялся, вроде как на разведку, на почтительном — не достать — расстоянии, вытягивал шею, растопыривал очи, в ужасе и нахальстве разглядывая поверженного, прокукарекивал нечто высокомерное и быстро смывался, где ни достать, ни даже просто глянуть в его бесстыжие глаза. Хозяйка не могла нарадоваться такой оказии. Соседские куры забыли дорогу и в ее огород, и к чужому петуху. И не надо было теперь охранять цыплят от злодеев коршунов. Те как почували, вороги, что кончилась

им лафа на этом подворье. Вот какая сила от земли до сини небесной исходила от спутанного и сидевшего на приколе соколенка, который между тем подрастал, залечил крыло и беду свою, стал пробовать ходить и соколом становиться. Только маленькие ребяташки досаждали ему, щекоча прутиками: маленькие злые бывают — по неразумению еще. В какое-то утро сокола не нашли. Раздолбив клювом собственное запястье, он ушел к своим заботам. Он ушел. Но долго еще не появлялись коршуны и соседские куры на этом дворе, так что цыплята успели вырасти. Ермолай Сотников, глядя в это утро на оставленные сухожилия сокола, велел бабе призвать к себе председателя.

Но не одни сухожилия оставил ушедший в память свою. И не только Ермолай один пристыл к месту, сраженный вольным примером. Похожая проба и в человеческой судьбе откликнулась, и выпала она на долю его сына Вальки много лет спустя.

Ермолай кузнечил еще, а сын его, Валька, шоферил, возил зерно с глубинок по зимней дороге — рекой на элеватор в город. Невыносимые это были рейсы на плохих пятитонках, в сорока-, пятидесятиградусный мороз по заметенным, непролазным путям. Мужики сговаривались в компании и шли пятью-шестью моторами, чтоб выручать, вдруг встанет кто. Иногда, если набирался большой караван, передом полз мощный трактор С-80 с клином, расчищая заносы. В этот раз его не было. Валька шел последней машиной. И поднялся буран. Они знали, что он будет, но рассчитывали добраться до ночлега, пока разыграется вовсю. Четыре машины с большим разрывом друг от друга дотянули на подворье. Последней, Валькиной, не было тревожно долго. Пошли выручать и нашли Вальку, живого, слава богу, но... уже не целого.

Машина его сошла с колеи, давно неразличимой во тьме и снеге, забуксовала и заглохла. Валька выскочил посмотреть и тут же брякнулся навзничь, сбитый ветром.

Кое-как бензином разжег факел, поддомкратил кузов, стал откапываться и совать под колесо полушубок. Машина скользнула с домкрата и впаяла Валькину пятерню в наледь. И остался бы Валька навеки приваренный к своей «ласточке», если бы он от другого отца родился и другую титьку сосал. Лопатой перерубил он собственное запястье и ушел. И спасся, оставив под колесом мозоли свои. Вот такая это была порода!

...Баня у Сотникова-деда (как и у них) — по-черному. Когда топилась, дым из всех щелей. Такая же каменка, то же слепое оконце и та же керосиновая лампа без стекла. Стояла она чудесно, у самой воды, у самых лилий. Мужики долго парились, напялив шерстяные рукавицы и носки, чтобы ногти не горели. Кряхтели, стонали, выскакивали врозь и вместе на улицу и плюхались в чистойшей воды речушку Исток с лилиями и плавунами. Очухивались в воде, отходили, и снова упаривались, и снова очухивались. Потом затащили Ваньку, намучили его, нахлестали, будто конопатины ему отпарить хотели, и тоже в воду бросили.

И Володе хотелось испытать на себе березовый веник и прохладу Истока, но ему запрещено врачами перегреваться и переохлаждаться. Год только назад он вернулся из детского костнотуберкулезного санатория, где пролежал не вставая три года. Разучился ходить и стоять. Надо было начинать все сначала. По две минуты в день, на костылях, подхваченный со всех сторон няньками, учился он ходить по земле. Когда за ним приехала мать, ему было разрешено ходить в сутки сорок пять минут.

Теперь он стоял на бугре будто замороженный, повесив себя на костыли, и руки, несоразмерно длинные, струились по ним арбузными шлетями. И наблюдал за мужиками и конями. И запоминал. Больная нога не доставала земли, хотя специально была вытянута песочными мешочками сантиметра на четыре сравнительно со здоровой. Но на

нее нельзя наступать. Ботинок на здоровой ноге подбит для этого толстой деревянной колодкой. Года через три ноги должны сравняться по длине, но и тогда все равно нельзя будет наступать еще на нее.

Где-то в классе восьмом начнет Володя осторожно приступать на эту ногу, а в девятом бросит костыли в сторону и затеет учить присядку, так что хрящи захрустят на весь дом и отца перепугают. И поставит перед собой — не петь на елке, не читать, не играть на аккордеоне, а только плясать. Плясать «Яблочко», матросский танец с присядкой. Только бы дожить до десятого класса, только бы не было войны... И не облысеть. Артист должен быть с волосами, с длинными и косматыми. У всех приезжающих артистов были такие волосы. Значит, так надо. Володя заметил, что, если вымыть голову водой из ихнего колодца, волос становится так много, что не расчешешь. Такая получается шевелюра, как у цыгана.

Когда он спляшет «Яблочко», получит за окончание школы серебряную медаль и поедет в Москву поступать на артиста, нальет он из своего колодца большую бутылку этой воды и повезет с собой.

Теперь он стоит на пригорке как замороженный, отрок с распахнутыми немигающими глазами, через которые в него протекает мир с конями и трясинной, с мужиками и лилиями. Он знает, что должен услышать и запомнить, как гукают мужики в бане. Не забыть, как пьет по утрам молоко отец, как он ищет ремень и стаскивает устало сапоги после пашни. Увидеть и запомнить, как гнет к земле шею Рыжка и охраняет ее Гоголь. Узнать и на всю жизнь унести запах смородины, который станет его религией и очищением. Запомнить и потом при случае восстановить, «передразнить». «Профессия» текла в нем, делала свою работу.

Мать часто заставляла Володю в таком застывшем созерцании и, не спугнув, говорила:

— Ты бы сел, сынок, а то утомишься или сутулым рано станешь. Гляди, как спина согнулась и плечи выше головы. Артисту нельзя быть сутулым. Артист должен быть стройным и звонким, как Лемешев. Надо деда Сотникова попросить, чтоб нарастил костыли.

...Вернулась она с полнешенькими ведрами смородины, исхлестанная в кровь дебрями, слепнями и мошкаррой, но счастливая.

Без конца нажаривала себя веником и, раскаленная, как блин со сковородки, кидалась к карасям, аж вода шипела вокруг.

И долго с речушки, из белых лилий доносилось до мужиков и коней: «Ох, господи... до чего же хорошо... Ах, хороша советская власть... ух... ах... их...» — пока отец не устал ждать, рявкнул:

— Мотька! Околеешь, дура, накрывай на стол!

— Сейчас, отец, сейчас... еще маленько... собирайте без меня...

— Да не мешай, пускай купается, — заступился Ермолай. — Ребятишки, режьте хлеб, чайник долейте, костер расшевелите, помогайте матери — одна она у вас!

Одна она у меня, моя мать...

## Моя мать

Как она меня носила,  
Христа-милости просила.  
Как она меня рожала,  
Богу душу отдавала...

— Ох, да не вспоминай, сынок, и что у тебя за привычка помнить обо всем и узнавать?

— Говорят, душа человеческая в семи воробьях, которые разлетелись, как мы от тебя. И чтобы обрести душу и всему не умереть, надо найти эти семь разлетевшихся. Вот



и пытаюсь я своих сыскать, собрать свои капли в дырявый кувшин судьбы моей. У каждого человека должны быть святые воспоминания, они сэберегут его. Рассказывай, мама. Давай вспоминать. Если не для меня, если меня не спасти уже, то для сына моего, нашего с тобой продолжения. Он должен знать свои корни. Я оставлю ему твои письма и твои рассказы. Я оставлю ему свои дневники и воспоминания. Пусть разбирается и сам пишет для своих детей. Пусть он отыщет своих воробьев, свой кувшин росы соберет. Я ему помогу в этом, как ты всю жизнь помогаешь мне. Рассказывай...

— Ну, слушай, коль действительно нужно... Подхвачу я вас из яслей — одного за руку, другого на санки посажу — и бегом домой. А буран стегаёт в глаза. А бабы вслед кричат: вон, дескать, побежала со своими утятами. А уж если совсем сногшибательный ветер, в яслях на ночь оставляла, благо сама заведующей была, ага... А вы не остаетесь одни, домой проситесь, орете... А дома скотина не доена, не кормлена, а войне конца не видать, однако... Да, господи милостивый, ну что делать? Ложусь с вами сама. Одного по одну сторону, другого по другую — стану вам про Глинышка рассказывать, чтоб уснули скорей, да сама чуть не засыпаю. Вовка быстро уснет, а Ванька-чертенок до конца дослушает и все дальше да дальше просит... Ну уж кое-как на третьей сказке уgomонится. Закрою вас на замок да скорей домой. Корова орет, изба выстоялась. Подою, сена задам, воды натаскаю, чугуна в печь кое-как протолкаю и скорей назад, пока вы не проснулись. Помню, скатали тебе новые валеночки. Ты пришел в ясли, снял их и под салфетку положил. «Вова, да ты почему босиком-то?» — «Ага, буду я еще свои новые пимы о ваш грязный пол марать». Ну смеху было! И вот никак не могли отучить от титьки тебя. Любил молоко, запах и цвет его, умирал по нему. Но молока не было. Была война и зима, и корова Юнка не доилась. Если все-таки доставали где-то,

разбавляли водой, чтоб надольше. А не доставали, совали тебе пустую титьку, когда ты разревывался до припадка, бился, ничего не ел и просил молока. Если я была на работе или занята народом, тетка Васса совала тебе свою. А когда тетки не было, первая баба, что догадывалась... Может, свои фокусы-то ты не только от меня всосал, от разных баб, может... Потом в детсад с Ванькой пошли... Уж отец с фронта пришел. А в детсаде какой присмотр? Так себе... До сих пор проклинаю, что отдала... Загляделся ты со второго этажа на дождь и хряпнулся... А чего там? Перила-то гнилые были. Ребятишки как высунулись струйки гладить, ну и столкнули тебя с ними... На закукорках сосед тебя принес. Идти не мог и держаться тоже... потому что левую ногу ушиб и руку вывихнул. На ногу-то утром стал, а рукой не шевелишь, больно. Ну, руку-то вправили... А нога пухнуть стала... Дальше — больше.

Поехали мы с тобой в Барнаул. Хирург посмотрел, покрутил носом: «Гипс бы ему наложить, да бинтов нет...» Прописал покой и ихтиол. Опять домой ни с чем. А опухоль растет... Бегаешь за ребятишками, играешь, не отстаешь, а как зацепит кто, ты в крик. Упадешь на месте и резаным голосом. Может, от обиды больше... Да нет, болело... Потом уж и бегать не смог. Походишь маленько и всю ночь стонешь во сне: «Мам, ножка болит». Опять я к отцу давай приставать — поедем, отец, в Барнаул да поедем. Ну, поехали... Ходили по Барнаулу, ходили — нигде толку не добьешься. А уж признали туберкулез... А туберкулез по путевкам... А путевок нет... Отец прямо в крайком, с тобой на руках к самому Беляеву: так, мол, и так, сын болеет. Тут же путевку в Чемал. Ну что ты, начальник все же был, век на партийной работе.

И повезла я тебя по Чуйскому тракту... А он ведь аж черт-те куда ведет, аж в самую Монголию. Не знала я тогда, что на три года увожу. Смотрю я на эту бесконечную дорогу и причитаю:

На Исток-речушку, к детству моему

Коты-братья,  
Воробьи-братья,  
Понесла меня  
Баба Яга  
За крутые горы,  
За быстрые реки,  
За темные леса...

А кругом горы, а кругом леса, а внизу, в пропасти жуткой, Катунь шумит — холодная, быстрая, гремучая... Заверти на ней сумасшедшие, пороги страшные. А мне казалось, да и на самом деле так оно и было — не снегом талым и родниками, а слезами моими родилась и жила Катунь-река... И над ней дорога — высоко, круто петляет, кружит... И все дальше, все выше. Сколько машин и шоферов нашли свой приют в ней, в реке Катунь! Закружит тракт, завертит, затуманит... А Катунь тут как тут — встречает всех, поддавливает... Как две сестры-змеюки, этот тракт и Катунь... стерегут... одна ведет, другая заглатывает... И вот я везу тебя, баба-яга, сыночка своего, из петли в петлю... Зимой-то уж совсем не добраться было до Чемала. А летом — огород, хозяйство, куда от него... Только осенью, дождями мерила я этот Чуйский тракт...

Милая моя мама!

Я вижу, как ты еще совсем не старая... Совсем еще... Рвешься ко мне, где я теперь... Через годы, через экраны моих удач и поражений, через обложки журналов и газетную пену, через номера гостиниц... Ты рвешься ко мне, как тогда по Чуйскому... А я все дальше, а меня все не достать. Меня свои тракты кружат, своя петля, своя Катунь стережет меня. Долго ль мне еще петлять, и сколько еще простыней гостиничных мне измять, и где та, что будет последней?! Спасибо тебе за детство мое, мама! Иной раз в душной электричке, когда

я спешу в больницу к сыну моему, меня терзает пережитое тобой и ко мне возвратившееся... И такой же унылый, монотонный дождь... Я вижу тебя, почему-то, накрывшуюся хозяйственной сумкой, в кузове полупорки. Ты не садишься в кабину, чтоб шофер не отвлекался на красу твою и не загремели вы оба в Катунь-речку. И ты мокнешь, и хлещет тебя и поливает бесконечный дождь... Но глубже Катунь стала от слез твоих, правда... Благословенно сердце твое, да святится имя твое...

— И вот пришел день, когда я приехала забирать тебя. А тебе в сутки на костылях сорок пять минут можно... и мы на пароходе с тобой, на «Зюйде»... И захотелось тебе селедки. Мужик ел, раздражил. А у меня мед и пряники. Я тебе: «Володя, да ведь мед слаще, поешь медку с молочком!» А ты: «Надоел мне твой мед», — и не отходишь от мужика, глядишь. А в буфете нет ни черта... Ну, поглядел, поглядел, ничего не выглядел и отошел. Отошел и запел. Вот поешь, вот поешь!!! За так. Никто не просил. Глядишь на пену за кормой и вот поешь. А я боюсь, голос сорвешь, а у самой платок выжимай, три года не слыхала... А голос звонкий, как у Лемешева. Стоишь на костылях и... «Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля... это родина моя...» И вдруг мужик, что селедку ел, говорит: «Он селедки хочет. Дайте ему вот этот хвостик». Взяла у него этот хвостик, ему стакан меду налила. Улучила момент, подхожу, говорю: «Вот Вова, тетка буфет открыла, я тебе хвостик взяла, больше нету...» А ты мне: «Что ты брешешь? Это мне за песню дали». Взял у меня хвостик и в пену... И засмеялся. И я с тобой. Так и доехали... А на берегу нас отец с Гоголем ждали. Ты все спрашивал, что такое Гоголь да что у него внутри екает, не оторвется ли, может, шагом надо, а не бегом. Помнишь, мы привезли тебя на Больничную. У прокурора дом купили... Ну взяли красного. За стол сели, тебе налили, ты и выпил сразу. Привык всякие лекарства

пить. А Ванька не стал. Ты его уговаривал: «Вань, выпей. Это лекарство, ведь я приехал навсегда, выпей». И помню, Тоня сказала: «Ну Вовка, либо ты артистом великим станешь, либо великим пьяницей». Так и сказала.

Теперь Чуйский тракт, говорят, весь асфальтом отделали. Скот возят день и ночь. Детский санаторий костный закрыли. Мало теперь встречается таких заболеваний. Врачи переподготовку на легкие проходят, ага... Вот до чего дожили... И тебя теперь по радио слышать стали. Нука, спой, сынок, чем вспоминать... Пой, Вовка...

### «Пой, Вовка...»

Ребятишкам не полагается сидеть за одним столом с большими. И пока мать накрывала на стол, а мужики тянули самосад, обсуждая правительство и урожай, ребятишки успели наглотаться, шмыгали от мужиков к коням и обратно и ждали. Они ждали разного, потому что между собой разные были, и на огляд и по характеру. Ванька рыжий, медный аж. А Вовка чернявый, как цыганенок. Ванька в отцову родню, а Вовка в материну. Ваньке сестра купила ружье, а Вовке — гармонь. Ванька был упрямый, как жила, а Вовка — покладистый. Про него тетки говорили: «Этот теленок две матки сосет». И никогда Вовка в углу не стоял. Проблемы таковой он не имел — углы обходил прощением. Набедокурят с Ванькой вместе — расставляют их по разным углам, Вовка еще и до угла не дойдет, как уже скажет: «Мама, прости, папа, прости, все простите...» — и гуляй, казак.

Ваньку же тащили в угол, как бычка на веревочке. Он не шел, упирался и визжал невыносимо. И никогда не просил прощения. Охрипнет от крика, утомится и иной раз уснет в углу, но прощения не попросит.

Вовке скучно одному, он идет просить за брата: «Мам, прости Ваню, он больше не будет...» А то подойдет к Вань-

киному углу и уговаривает брата: «Вань, ну скажи: «Простите меня», ну скажи...» Но не тут-то было. За одинаковый грех наказания получали разные, потому что между собой разные были.

И теперь, у деда Сотникова, ждали каждый свое. Ванька ждал, когда отец снова расскажет, как они Днепр брали и как вода вышла из берегов от трупов человеческих... и заплачет... А дед Сотников — про красную рубаху, в которой он утонул на фронт обеими ногами, а вернулся... Нет слаще рассказов в мире, как о войне, о героях. И кино, и книги — все о войне. Знает человек войну, помнит.

Вовка ждал пятого стакана, после которого заводились песни. «Любезная хозяйюшка, пусти нас ночевать...» — начинала мать, и мужики подхватывали и уходили в высь невозможную. «Узнай, узнай ли да, хозяйюшка, ты мужа своего, а еще узнай ли да, хозяйюшка, ты сына своего...» Вовка влипал в отца весь без остатка. Отец верховодил всегда в песнях, никто с ним не мог вытянуть. Он знал это, хитро подкрадывался к верхней ноте и, как нож в скотину, вгонял осатанелый звук в уши остальным. Потом впивался в кадык когтями и дергал, дергал его безжалостно во все стороны, разбойничье тремоло извлекая. Не одну бабу сбил с толку этот прием. Володя закатывал глаза, сердце останавливалось, и душа дурела. И долго не мог очухаться от этой отцовской мести, от его звукового похмелья, во время которого не позволялось никому ни шевелиться, ни дышать, ни пить, ни жрать, чтобы не навлечь на себя гнев и ярость председателя. «Не учитесь никогда мешать человеку, — и кулаком по столу или стаканом в лоб, — если не понимаете!» Но сегодня после третьего стакана Ермолай изменил ход собрания вопросом:

— Парнишку-то совсем вылечили или еще повезете?..

— Дак какой совсем, раз костыли не велят бросать, — поперхнулась мать и отвернулась к окну.

— Ладно тебе, мать... Приостановили вроде того что сам процесс туберкулеза... Ну, обязательно постоянный контроль. Избегать, значаща, сырости, воды холодной не пить совсем, сквозняков бояться...

— Ага, а его домой не загонишь! Куда Ванька, туда и он... Лыжину одну подцепит и пошел. Две пары костылей за эту зиму поломал, однако... И эти уж коротки... Ты ему, Ермолай, нарасти их, а то он сутулится шибко.

— Хватит, мать, сопли распускать! Артистом кривляться не будет, а на агронома выучится — коня дадут...

— А я хочу, отец, чтоб он на врача выучился. Вон как у них хорошо там — чистенько, тепло, халатики беленькие, всегда отутюженные. Сидит себе на стуле, заглядывает тебе всюду... И спиртик всегда под рукой, нам-то уж с тобой, отец, сумеет выгадать. Да, сынок?!

— Нет, не стану выгадывать, я артистом работать буду...

— Ну да... Вон как Калерия Ивановна — хирургова жена... Днем зубы вставляет, а вечером артисткой представляет.

— Не слушай их, Вовка. Ты будешь артистом, ты еще прыгнешь из-под купола в золотом костюмчике на спины своих коней, — прозвенел Ванька-брат.

— Да господь с тобой, Ванюшка, да разве я сказала, что не будет?... Конечно, будет. Вылечится, перестанет хромать... Он и сейчас уже не хромает... и будет...

— Чего ты, мать, взялась лапшу нам на уши вешать, а? Чего ты добиваешься, а?

— Погоди, Ларионыч, мать есть мать. Артистом, говоришь, хочешь? А знаешь ли ты, что такое есть артист? Вот спой ты мне «Степь да степь кругом» так, как Сергей Яковлевич Лемешев, я тебе скажу, какой ты артист.

Володя вздрогнул, как электричеством тронутый. Было произнесено имя недоступного, высшего существа. Лемешев... Сергей... Яковлевич. Каждый звук этого

имени был наполнен восторгом зари, бормотанием бора и секретом трав, силой Микулы Селяниновича и невесомостью жаворонка. Мир, благословение и многие лета, чудо российское, чье имя **Лемешев Сергей Яковлевич!** «Ах ты, душечка, красна девица...» Да ведь это же зов корней, черт возьми!

У Володи была стена. На стене жили артисты. Наклеенные. Он копил их, собирал. Покупал открытки, вырезал из журналов и газет. Выпрашивал у киномехаников рекламные фотографии и наклеивал все на свою стенку, мечтая втайне и сам взгромоздиться когда-нибудь в компании с Максом Линдером или Олегом Стриженовым, не подозревая, что мелькнуть на экране раз-другой и повиснуть портретом на чьей-нибудь стенке — дело нехитрое. Куда как труднее удержаться на ней. Сначала он скупал всех, думая, что если кого знать не будет, а вдруг про того спросят на приемных экзаменах в театральное, а он и знать не знает. Места артистов не были закреплены раз и навсегда. По каким-то неясным соображениям Володя передвигал их, а иных и вовсе снимал. Первым и неприкосновенным остался Лемешев. Еще в санатории Володя прочитал тургеневских «Певцов» и устроил соревнование с соседом по койке — кто дольше и громче выдержит оратор. Никто не выиграл. Обоих «певцов» с кроватями вместе на девчачью половину перетащили — таково было наказание. Но Яшка Турок впечатался в память и остался. Когда Володю остекленил звук Лемешева, образы Яшки и Сергея Яковлевича соединились на жизнь. Не нравился Володе только конец тургеневского рассказа. «Ну почему, — думал Володя, — Тургенев оставил Яшку в кабаке? Почему, почему не взял с собой, почему не послал учиться в Москву, в консерваторию?.. Почему не позаботился о божьем даре? Быть может, не только Шаляпиным и Лемешевым, но Яшкой Турком гордилась бы теперь певчая Россия». Он вырезал из



«Родной речи» рисунок к «Певцам» и повесил его к своей братии на стенку.

— ...**Как Лемешев, тогда ты артист...** А ты, Мотья, не обижайся, пригодится это ему... У тебя, Ларионыч, шесть ранений, но ты все же целый как-никак, хоть и светишься. А моя запчасть где-то в Европе сгнила. И вот лежу я в госпитале и все понимаю про себя. Не ем, не пью, ничего не слышу, не отвечаю... Не смыкая глаз, в белый потолок гляжу. Вся моя жизнь на нем вышла... И как от Колчака бежал молодым... Конь-бедолага вынес меня через эту речушку Исток... по одним почти колям копытами простучал... доски-то сорваны были... Увидал, как казнили на площади Акима Зыкина... Казнили за то, что белоказакам выдал баб наших, которые нам, партизанам, продукты на займки доставляли. Помню, никто и не перекрестился, когда мы эдак по-татарски судили его... А я в красной рубахе... Что ты будешь делать. Смотрю я в этот потолок, крутится на нем моя жизнь. Как огромная снежная степь он, с дорогами дальними, но не к дому все, не про меня — все их замело... Кому я, обезноженный, нужен... как на люди покажусь, как к бабе явлюсь... Нет, не жить мне таким. Погулял я с лихвой, две войны прокуролесил... ребятишек родил, колхоз построил — уходить надо. Выйду из госпиталя, камень на шею — и в реку... Думаю так, душусь. И вдруг слышу... «Степь да степь кругом, путь далек лежит...»

Лемешев... Впяивкался в меня этот голос и не отпускает. Не помню, за сколько суток первого человека расслышал... «В той степи глухой...» Да ведь это я в потолке, в проклятом бреду, погибаю в нем... Чую, подушка мокреть стала. «А жене скажи... слово... прощальное...» Ах ты, дьявольщина какая! Нет, думаю, шутишь, брат! Меня дети ждут, жизнь начата. Немца побили... Это ему, паразиту, надо камень на шею... Спасибо! Какая же благодарность моя Сергею Яковлевичу, что он меня жить оставил! Все хотел написать ему, да все некогда. Может, и не надо мне

всего этого беречь, но пусть ваш отрок знает, пусть помнит на будущее, когда артистом станет, дядьку Ермолая, которого из петли Лемешев вынул... Пой, Вовка, а больше ничего и не надо... Пой, может, и тебе кто поклонится до земли...

— Про степь я слова не до конца знаю. Я про войну знаю.

— Пой про войну. Только хорошо пой.

Володя сгреб костыли и поковылял на середину избы. Наткнулся на ведро со смородиной:

— Убери, мам, из-под ног, вечно раскидает.

Потоптался, примерился — все ли видят его, удобно ли будет... Отошел к двери. Закрыв ее, чтобы кони не фыркали и пчелы не гудели. Постоял. Внимательно оглядел весь дом, будто запоминая, будто сознавая исключительность момента — печь русская... кровать дощатая с лоскутным одеялом и старой шинелью... прицепная нога... ходики...

— Останови, деда, часы: тикают. Ермолай остановил.

«Представь, что перед тобой одни дураки, и валяй, — вспомнил Володя наставления Зинки Черепановой, запеваля колхозного хора — как выходишь выступать, сразу представляй, что перед тобой одни дураки... И когда в театральный поедешь, тоже так про всех там думай — и поступишь...»

— Стой, — прервал его приготовления отец, — не суетись.

— Помни, как я тебя учил... Не сразу понужай, а так... вроде как-нибудь... как будто не умеешь, значаща... Поначалу вроде как на лошадке едешь, с прохвалой будто... Не шевели шибко, если неблизкий путь, чтоб не устала раньше лошадка, не вспотела. Ну а как к селу подъезжаешь, можно и бича вложить, чтоб как с цепи сорвалась. Это помни на всю жизнь... И когда начинаешь, берегись звука первого, чтоб он тебя не загубил в конце, не зарезал. Голос не вправишь в дальнейшем, если ошибешься вначале! Это ты знай...

Отец любил похвастать своей наукой и часто грозился: «Если кто скажет, что я плохой председатель, я прощу ему, но если кто скажет, что я плохо пою...» Что было бы тогда, никто еще не успел испытать. Володя про первый звук помнил и знал, что он мог оказаться предательским и всю песню загубить. Первым звуком надо всегда попасть, чтобы допеть успеть... Володя улыбнулся и... попал:

Шумел сурово Брянский лес,  
Спускались синие туманы,  
И сосны слышали окрест,  
Как шли,  
Как шли на немцев партизаны...

Он пел, как всегда, хитро и расчетливо, не пуская себя по распутью чувств, чтоб не захлебнуться в них самому, как учил отец. Он пел не лучше и не хуже, чем всегда. Но присутствие в темной избе двух пар костылей — старого и малого — нагнетало настроение тяжелое. Незаметно прибавляя, Володя подкрался к последнему куплету, к тому селу, в которое въезжать надо было по отцовской науке — с пылью и собаками. Володя хлестанул своих коней, дернул за еще не образовавшийся кадык на манер отца, так что стекла зазвенели и вода в ведре рябью пошла.

В лесах спасенья немцам нет,  
Летят советские гранаты,  
И командир кричит им вслед:  
— Громи,  
Громи захватчиков, ребята! —

пел отрок, опершись на костыли... Сидел безногий солдат и отец-солдат, шестью пулями продырявленный... Уткнувшись в подушку, вздрагивала мать, и брат Ванька в ознобе сжимал кулаки на немцев... В сумерках, на па-

секе... у белых лилий... в задымленной избе... пел отрок, и комары затихли, и пчелы вечное занятие отложили, а кони хрумкать перестали, подошли к окну и в него уставились. Так две морды кониные и торчали в стекле до конца песни, не моргнув... Ермолай Сотников не стеснялся слез своих — утирался редко. Председатель глухо стонал, давил рыдания в себе, хотя Вовка давно закончил песню и жевал смородину...

Долго было тихо, никто не шевелился. Первыми зазвенели комары, за ними — пчелы. Ермолай простучал костылями, отогнал коней от окна. Вскоре вернулся:

— Да я поставил колесо, езжайте... Ну, прощай, певец... Быть тебе артистом, это даже мне видать отсюда... В Москве останешься, поклонись от нас, мужиков, Сергею Яковлевичу. Пой, а больше ничего не надо. Всем пой, кто попросит, не жалея себя, тогда тебя хватит... пой, Вовка...

Кони тронули...

Обратно ехали в объезд верст пятнадцать, минуя лягу. Певец спал, уткнувшись в колени матери. На плече у нее храпел отец-председатель... Конями правил брат Ванька, закутанный в материн платок. Кони шли шагом, утомленные лягой, песнями и смородиной. И никто не покушался сказать им: «Но, милоч... пошел, милоч...»

### ...тетка Васса пишет:

«...ты ищешь для нового своего фильма старинную песню. Интересно, какую тебе песню надо, на какую тему: патриотическую, любовную или трудовую. Вот слушай саму старинную на патриотическую:


За лесом солнце засияло,  
Где черный ворон прокричал,  
Слеза на грудь ему скатилась,  
Последний раз сказал «прощай».

На Исток-речушку, к детству моему

Я сяду на коня гнедого,  
Поеду в дальние края,  
    Быть может, меткая винтовка  
    Из-за угла сразит меня.  
Быть может, шашка-лиходейка  
Отрубит голову мою,  
    Быть может, назад ворочуся  
    Опять на родину свою.  
Прощай, отец и мать родные,  
Прощайте сына своего.

Слушай, пою  на одной ноте...

Второй раз  высоко на высокой:

Потом низко... .

Вот тебе «кардиограмма» моей песни.

Редко стали собираться, потому и утекает все из памяти. Приезжай, племянничек, я тебя подкормлю, как раньше, сырчиками из простокиши...»

# Дребезги

## Повесть в рассказах

Приходит у человека час, у каждого разный, когда тоска по истокам своим, по родине, по корням, от которых случился и прожил до этого дня, становится невыносимой до сердечной боли. Отсюда и пошло. Но это не автобиография. Здесь много выдуманно, изобретено для «легенды», в общем — сочинено.

Я говорю это в большей степени для земляков и родных, которые все в первой моей повести приняли на свой счет, а некоторые не на шутку обиделись, думая, что читают про себя, только потому, что я взял живые имена (по неопытности) и точно обозначил географию происходящего, дескать, имена взял фактические, а поступки подставил свои и события истолковал по-своему, *как я ни старался уверить, что это не автобиографический документ, а попытка передать на бумаге мир счастливых, утраченных эмоций моего детства*, воскресить простые, почти колыбельные чувства, как это случается с каждым во сне.

История, которая легла в основу сюжета, действительная. И записал я ее тогда же на случайных листках карандашом. Что-то искал в бумагах — уже теперь — наткнулся и на эти листки. И опять она, эта история, кольнула меня

## Дребезги

в сердце, как тогда. В некоторых местах карандаш потерся, и я решил переписать чернилами. Там, где карандаш исчез вовсе, нынешнее настроение вставил, нынешнее отношение. Оттого и лоскутность, оттого и дребезги. Но ведь лоскутное одеяло, оно ведь тоже одеяло, хоть и лоскутное.

Друзья обвиняли меня в нарочитой запутанности и невнятности построения, а язык, порой, дескать, напоминает бормотание юродивого. Кое-что я смягчил, изменил, но основному ладу остался верен — так слышится, а выбрасывать ничего не стал. Это ведь как карты — тасовать можно, а выбросишь одну, уже и в дурака подкидного не получится. Итак, «Дребезги» — повесть в рассказах. Очередность рассказов авторская, но не обязательная, каждый вправе, прочтя так, расположить их потом по своему разумению и прочитать еще раз: быть может, покажется лучше.

Так запрягу я снова вороных своих да каурых, тех самых, что звонко пронесли меня по золотому детству моему, авось и ныне вынесут они меня на Млечный Путь моей юности серебряной и подкатят не спеша к середочке червонной, а там, коль не сдохнут, и к закату...

Но, милоч, пошел, милоч.

## Дребезги

У мальчика была собака. Звали ее Уголек. Как-то в осень мальчикову собаку раздавила вдребезги с золотым зерном машина. Мальчик собрал дребезги, снес в укромный в огороде уголок, за баню, схоронил их там, полил водой и соорудил над ними крест из тополиных палок, которые проросли. «Уголек пророс», — решил мальчик. Стал водить людей и показывать, как пророс Уголек в тополек. Много, много лет спустя, когда не стало ни бани, ни дома, в котором жил мальчик со своими, а Уголек-тополек стал могучим и зеленым в огороде, к нему подошел человек, просверлил его

корень с разных сторон и влил в дырочки что-то. От такой заботы Уголек-тополек почернел и засох второй раз. Его распилили на чурбачки, и он горел плохо, только коптил, недовольный.

**Какой от него жар, когда он для другого был!**

## Отправленное письмо, или В Москву за песнями

Привет из далекой Москвы! Здравствуйте, мои дорогие папа, мама, сестра Тоня и брат Ваня! Во-первых, сообщаю, что деньги, 300 рублей, я получил. Купил ботинки самые модные, на аховой подошве, говорят, долго носиться будут. Мороженое два раза всего ел, зря деньги не расходую. Берегу к зиме. Питаюсь в основном пельменями, наша сибирская еда тут дешевая. Мам, пимы мне погоди присылать. Говорят, тут зима теплая, в пимах не ходят, а ездят на автобусах. А метро, говорят, круглый год отапливается, и пимы промокнут сразу, только простуду наживешь. Сейчас у меня есть время, и я пишу все по порядку, чтобы вы посмеялись.

С парохода в Барнауле я пересел на поезд и покатился к Москве. Четверо суток я катился, мешки свои не развязывал, в них не заглядывал, не ел, не пил, чтобы не бегать лишний раз куда не обязательно, не отвлекаться чтоб: мне сказали, что в городах одно жулье и, только ты отвернешься, у тебя все сопрут. Так не емши и докатился до Москвы и очень обрадовался, что меня привезли сразу в Кремль. Но знающие люди мне тут же растолковали, что это пока еще Казанский вокзал, до Кремля несколько дальше будет. Сдал я вещи в камеру хранения и, как был в шляпе дерматиновой, в шароварах сатиновых, отправился на поиски театрального института. Не буду же я доставать на вокзале «швиетовый» костюм и одеваться.



Ну, москвичи, как известно, народ вежливый, внимательный, стали меня посылать в разные концы... кто ближе пошлет, а кто и подальше чуть. Я только потом сообразил, почему они меня в разные концы направляют. Театральных заведений в Москве пруд пруди, но все они мне не годились, потому что: я подойду — училище, подойду — опять училище... А я четко выполнял наказ отца, чтоб на стене было приколочено — институт. Институт — это без обмана высшее образование. Пока ходил, темнеть стало, а темнеть стало, от меня люди в стороны шарахаться начали. Вечерами тут боятся люди друг друга, а у нас ночь-за полночь ночевать пускают. Но и то сказать, вид у меня по-нашему самый модный был, а для Москвы в шляпе дерматиновой и в шароварах широченных я уже угрозу некую представлял собой. Короче, милиционеры за наганы хватались, когда я к ним заворачивал. В общем, нашел я этот институт в два часа ночи. В Собиновском переулке он оказался, дом № 4.

Дом обнесен оградой железной, огромной, старинной, калитка на пудовом замке — к нему не подойдешь. Я повертелся, повертелся около этого замка, переждать-то надо где-то до утра. Вдруг слышу милицейский свисток! А напротив оказалось посольство какое-то, а посольство охраняется вечно. Правда, милиционер меня близко не подпустил: держит меня на расстоянии, а сам незаметно вроде наган поправляет. Ну действительно, шаровары вона какие, мало ли я чего туда наложил. Я ему, мол, так и так, две медали, за окончание школы и за целину... Отец корову продал, денег дал... В общем, приехал поступать в театральный институт... Он говорит: «Милый, да что ты, да тут с весны все набрано, по благу все ячейки законопачены. Тут как начали с Пасхи всякие машины-лимузины подъезжать с сынками да с дочками, ты, говорит, забирай остатки своей коровы и кати обратно, а то ты не поступишь, а корову прокатаешь, и не на что тебе будет

возвратиться назад. Я сам, — говорит, — «искусственник», уж который год в ансамбле МВД подметки отрываю, знаю все онёры вдоль и поперек». Этого я не ожидал, что с весны набрано, тут же загрустил, конечно, однако до утра, думаю, все равно надо дождать...

«А нельзя ли, — говорю, — у вас тут переночевать», — и показываю на храмину, которую он охраняет. В ответ мой милиционер как загопочет на весь переулочек, аж сам испугался, не разбудил ли послов. «Да ты понимаешь, деревня, что ты у меня политическое убежище просишь?» Я ему: а мне, мол, какая разница, в каком убежище ночевать, хоть в бомбоубежище. «Вон, — говорит, — твое убежище напротив — лезь через ограду, на скамеечке под кустом переспишь, я тебя заодно охранять буду и за посольством, дескать, присмотрю, в общем, у нас в переулке тишина будет». Я перелез, на лавочке уснул. Выходило, правда, не так, как я хотел. Я хотел уснуть на крылечке, как собачонка, чтоб профессора утром об меня споткнулись, а в палисаднике, думаю, они меня и не заметят, мимо пройдут.

А утром дворник начал из своей «кишки» поливать этот огород и меня прополоскал. Я встал, все ему опять повторил, дескать, две медали, полкоровы, а милиционер напротив говорит, что у вас с весны набрано по благу, — верно, нет? «Может, и набрано, — отвечает, — люди везде люди, но, — говорит, — процент блатных нам неизвестен, может, и для тебя лазейка оставлена». — «Если есть лазейка, — говорю, — мы в нее «пишша» влезем. Нам по лазейкам не привыкать — огородами, огородами и к Котовскому». — «Ну и правильно, а чего стесняться». Он оказался мужик боевитый, видать, из разночинцев в прошлом, а то, может, и из кавалеристов наших, во всяком случае, вид у него задиристый. Отомкнул мне канцелярию. Дал два листа бумаги. «Пиши, — говорит, — заявление, автобиографию, и как только десять часов стукнет и первая дверь откроется, шагай в нее и будь артистом».

Какие мне дворник тезисы выдал — я по ним свою жизнь и скроил. Первая дверь открылась... Однако нашего брата около этой двери скопилось сильно густо — сто человек на одно место было. И все одеты — будь спок! И спереди навешано, и сзади нашито — не нам чета. Я думаю, не смотаться ли мне скорехонько на вокзал да не напялить ли костюмишко мой по-быстрому? Но пока, думаю, бегаю, тут возьмет кто-нибудь да и поступит на мое место, в мою лазейку встрянет?! Потом поостыл, огляделся внимательно, гляжу — я такой один: ни в шляпе, ни в шароварах не видать никого. Стоп, думаю, вот тут-то я всех и объеду: все мытьем, а я — как раз тот случай, когда катаньем. Кто самородком, а я выродком: иногда ведь под дурака сыграешь — за умного сойдешь. И я как был, так и вкатился. Профессор на меня глянул: «Ой, — говорит, — отойди от меня... Дальше дальше отходи. Ты что, с гор спустился?» — «Нет, — говорю, — с Алтая приехал». — «А чего ты там делал?» — «Родился, учился, целину поднимал. За то и за другое медали имею». — «А зачем сюда приехал?» — «На артиста поступать». — «А что ты умеешь?» Я говорю: «Да все!» — «Как все?!» — «Да так, — говорю, — все. Мать таким родила, я виноват, что ли. Она меня с пяти лет привязывала на крылечке за ногу и уходила в поле работать. Отец воевал. А тебя, — говорю, — привяжи, ты поневоле запоешь. Вот я и запел. Пел до посинения. С крылечка на школьные подмости перебрался, оттуда на районную сцену, теперь к вам — диплом получить». — «С крылечка, говоришь, началось... это хорошо, а может, и плохо, не знаю. Ну ладно, спой мне, что ты там на своем крылечке пел». — «О! То я уже забыл давно». — «А зря, — говорит, — крылечки свои надо помнить... пой что хочешь, русскую народную песню знаешь какую-нибудь?» А я знал «Из-за острова на стрежень...», два куплета, первый и тот, где Стенька девушку... в Волгу-матушку...

А он, этот профессор, до конца никого не дослушивал. Споеет человек куплет, споеет другой — уже ясно, как человек поет. Да разве можно такую ораву до конца прослушать? Я думаю, ничего, обойдусь двумя куплетами, да я еще их в середине растяну пошире, и хорош будет. Спел я ему эти два куплета — не останавливает?! Заслушался, видите ли... Я думаю, батюшки! Какого же Лазаря мне дальше-то запевать? Куплетов-то не помню! Однако разворачиваю оглобли по-быстрому, и снова пою первый куплет, а сам думаю, если он меня сейчас не задержит, я эти два куплета буду ходить по кругу, как кот ученый, где-нибудь я ему надоем, не может же он меня одного до вечера слушать. И действительно, на втором круге он меня попросил остановиться. «Ладно, — говорит, — а басню знаешь?» А басню я учил в поезде, на своих мешках, да, видать, не доучил. Начал я читать и забыл. Забыл текст. И все! Вместе с текстом вся моя смелость улетучилась, и я, честное слово, не вру... заревел. Стою, реву и чувствую, что слезы мои аж кожу прожигают — четверо суток не ел и не умывался четверо, поэтому, возможно, из глаз кислота пимокатная закапала.

Я реветь-то реву, но одним глазом наблюдение я все-таки веду: девок красивых набилось кругом, мама моя родная! А профессор говорит: «Ты не реви. Москва слезам не верит. Ты своими словами дорасскажи, чем все-таки у медведя дело с зайцем закончилось». Я начал своими словами, у меня еще три зверя припутались каким-то образом. Я, оказывается, по пути где-то Крылова с Михалковым скрестил, у меня такой гибрид дикий получился!! У профессора глаза на лоб вылезли, чем же я этот эксперимент закончу?! Слушал, слушал, махнул рукой: «Ладно, черт с ним, с этим зоосадам, не разберешься. Плясать умеешь? Ах да... ты все умеешь. А ну-ка, — говорит, — играйте ему «русскую», да почаще!» Заиграли мне русскую, стал я плясать... На рояле, представляете, чешет бабка «подгорную».

Ну умора! И тут случилось самое, однако, главное, что меня в моей авантюре спасло. Этот профессор сидел-сидел, да как вскочит из-за стола, и ко мне в круг, и давай со мной оттопывать, да ловко так... Ах, думаю, засиделся старичок бедняга тут, надоело ему собак в еноты перекрашивать. Да боюсь за него, как бы с сердцем у него чего не случилось... Но я за него зря переживал, как потом выяснилось, месяц назад у него сын родился! Поняли, какой крепкий старик мне на экзамене попался? Он бы таких, как я, двоих бы переплясал в тот момент. Народ кругом визжит от радости, а профессор шепчет: «Частушки знаешь?» — «Какую глупость, — говорю, — вы у меня, однако, спрашиваете, человек в деревне рос, так, ясное дело, знаю». Он мне: «Пой!» Ну, пой так пой, — команда была.

Я со всего плеча частушку как врезал. А закончить не могу, нецензурный конец попался, представляете?! Я, значит, «ля-ляля»... и с ходу в такт вторую частушечку, а у меня от волнения опять непечатный вариант попался, и я опять «ля-ля-ля». А профессор думает, что я текст забываю: «Да что же ты, дьявол, не помнишь-то ни черта?» Я говорю: «Да как не помню, я их миллион знаю! Выгоните всех, я вам один на один таких наковыряю — век не забудете!» Ну он, конечно, надо мной потешался, на публику работал. Но я ведь тоже не лаптем щи... Я вижу, начальство разыгралось, а почему я, думаю, не могу над начальством потешиться?

Он отдышался и говорит: «Парень ты способный, наверное, но нахальный!» Я говорю: «Вот те раз! А чего я сделал такого нахального? Что сказал, что все умею? Да чтоб вы меня проверили вдоль и поперек? Я за столько тыщ километров приехал и буду стоять перед вами несусветную скромность изображать? Вы бы и не узнали, с чем я широк явился...» — «Ладно, ладно... В следующий раз, когда приедешь, зайдешь в аудиторию, поздоровайся». Я говорю: «Зачем? Я же вас не знаю здесь никого?» — «Да поздоровайся

ты, чума болотная, язык не отвалится, а за умного сойдешь, и обязательно подстригись, что же ты таким вахлаком явился в столицу?» А я ведь год отращивал, можно сказать, удобрял, поливал, считал, что артисты непременно должны быть волосатыми. Ох нет, думаю, да не на вшивость ли он меня проверяет? «Товарищ профессор, так, может, тогда наголо?» — «Нравится — можешь наголо».

Я пошел в парикмахерскую и оболванился под бритву, чем, думаю, хуже, тем лучше. Все с себя до синевы, до «семечек» буквально соскоблил. Пропадать так со звоном, думаю. Надел свой «швиетовый» костюм, ботинки купил на аховой подошве... Захожу! Он меня не узнал. Но потом по списку доходит до моей фамилии, я встаю... Эх, его, бедного, со стула будто кто шилом приподнял. Он понять ничего не может! Что за превращение! В костюме и бритый! Синий, как кабачок. Он на пальцы перешел, показывает мне, дескать, не заболел ли, парень, здесь от перемены климата? Я ему: «Так, Павел Михайлович, вы же велели немножко подстричься». — «Ну, нахал, знал, что нахал, но не до такой же степени?!» — «А чего степень, — говорю, — я же не уши отрезал, в конце концов, волосы сбрил. За пять лет учебы какая шевелюра отрастет». — «Какой учебы? Где?» — «У вас». — «Да ты же еще не поступил, а такие заявления делаешь?» Я говорю: «Как это не поступил? Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Зачем стричься-то велели? Считаем: коровы нет, волос на голове нет! Да что же я таким болваном явлюсь в деревню? Но волосы ладно, волосы отрастут... А корова? Да вы знаете, что такое корова в деревне? Кормилица, — говорю, — отец корову продал, денег на дорогу дал, я где-то месяц шлялся, явлюсь бритый?! Спрашивается, где ты был, сынок?» А сам опять чуть ли не в слезы. «Ладно, — говорит, — не реви, пой, пляши, а там видно будет...» В общем, так я и поступил за счет «шароварного вида» и дерматиновой шляпы на отделение артистов оперетты. Правда, мне

потом сказали, что делал я все плохо и брать меня не хотели, пожалели в основном корову. А мне больше и не надо, лишь бы зацепиться, а там видно будет.

Мама, учебники продай или как там сделай. Передай привет учителям и ребятам, пиши, кто где устроился. Почитай мое письмо соседям, пусть посмеются. Пиши, как здоровье ваше с отцом, как идет уборка, хватает ли техники и складов, держится ли погода? Берегите себя. Жизнь, оказывается, сложный предмет. Вон куда с твоего крылечка, мама, занесся я, а тебя на нем оставил. А ты глядишь небось теперь в небо часто, сощуриив глаза, не появлюсь ли я, не опущусь ли снова на крылечко, где привязанный пел, благо теперь аэродром есть... На зимние каникулы я уже не приеду, может, кто соберется из вас, а что?

Обнимаю всех, целую, ваш сын Владимир.

Да, Петру Клюкову скажите, что кое-какие сборники для самодеятельности я достал, скоро вышлю. Живу я в общежитии, в комнате № 95. С Лином Варфоломеевым и Стасом Пеньковым. Жду в гости».

Сын позвал родителей приличия соблюсти больше, не верил, что подымутся старики... **А отец собрался.** Он нарочно не сообщил сыну, что выехал, чтоб тот «не дергался от занятий и чтобы невзначай вышло, так-то нагляднее будет».

## Варфоломеевская ночь

...Лин Варфоломеев заквашивал в ночном коридоре очередную авантюру. Авантюризм и юмор он считал главнейшими началами в актерском деле, ставя их впереди голоса и темперамента, а потому упражнялся в том ежедневно.

— Стас! Собирай народ. Народ тебя знает, народ тебя помнит, народ за тобой пойдет! Устроим причастие к духу крестьянскому.

В комнате № 95 спал умаявшийся дальней дорогой алтайский мужик, отец одного из обитателей этой комнаты.

— Причастие... причастие... — повторял блудливо Лин, в теле которого все было крупным и надежным. И лицо тоже. Оно не было лишено привлекательности, но казалось приплюснутым. Про себя шутил, будто творец, работая его, уронил его голову со стола лицом вниз, отчего оно сплющилось, а создатель в суете не заметил, да так и оставил. Лин учился на последнем курсе актерского отделения, был силен и любил подзадорить начинающих, особенно тех, кто приехал издалека и еще не привык жить в столице.

Взбужденный своей идеей, Лин продолжал:

— Устанавливаем таксу. Регламент две минуты. Каждая минута — пять копеек. Свыше регламента — каждая минута на пять копеек дороже предыдущей. Четыре минуты, скажем, встанут нарушителю в 35 копеек. В свете последних исторических решений нашего коменданта нарушителя бьем тем же рублем. Стас, действуй!

Стас, малый что надо, из-под Орла, был человек рискованный, но несуетливый. Носил огромные, нелепые очки в черепаховой оправе и, казалось, был переполнен мудростью, которую никогда, нигде, ни перед кем старался не обнаружить, но для себя был переполнен ею.

В детстве его лягнула в грудь жеребая кобыла и покорежила клетку, которая осталась на всю жизнь погнутой, а Стас познал тайну. Он пел. Учился на первом курсе музыкальной комедии и сдавал кровь. Так подрабатывал на жизнь. Педагоги запрещали ему так подрабатывать, потому что он после очередной сдачи слабо пел, но Стас не бросал донорства и втихаря сдавал кровь, которая, как утверждал он, была у него лучше всех, потому что группа ее самая общая была, самая распространенная... Стаса упрекали: дескать, «что же тут замечательного, у художника



должна быть кровь индивидуальная, единственная в своем роде, с генами незаурядности, личности и пр.».

Стас оборонялся: «Зато донор — лучший друг людей, он самый хороший, выходит, человек на свете, он не может ни ударить, ни тем более убить ближнего, потому что смотрит на всех как на братьев по крови, ибо не знает, в ком течет или потечет завтра его кровь». Гений и злодейство, дескать, две вещи несовместимые. Но все видели, что основная причина донорства была на лице у Стаса. Он был прыщав. Прыщи не годились для будущей профессии. Ведь предстояло всю жизнь физиономию краской мазать и лепить на нее черт знает какую растительность, а кроме того, на нее и девушки смотрят. Стасу посоветовали делать переливание, но он решил лучше совсем избавиться от порченной крови, обновить ее, чем из одного в другое место перекачивать.

Он быстро примкнул к Лину и стал последователем и соратником в разработке его системы авантюризма и юмора в творческом процессе. И не боялся на себе проверять и демонстрировать эту систему. Часто повторял Наполеона: «Сперва надо ввязаться в крупное сражение, а там уж видно будет!» В одно такое сражение его впутал однажды все тот же Лин, так что «мудрый» Стас чуть не расстался было навеки со своей мечтой спеть «Севильского цирюльника» в Большом театре. Где-то в реквизите Варфоломеев раздобыл рваный хомут и предложил новичкам за пятерку повесить его на шею коменданту общежития. Ясное дело, что дело было не в пятерке, а в принципе: Лин играл на струнах молодого, отчаянного самолюбия, дескать, трус в актеры не годится. При этом он мощно рванул монолог корнелевского Сиды на французском языке, со слезами неподдельными и дрожью в голосе, закончив его русской поговоркой: «Тот не сиживал на коне, кто не леживал под конем!» Новички смалодушничали, а Стас согласился, недолго колебавшись. Расчалил в лестничном

пролете хомут, умудрился так ловко рассчитать, что, когда появился комендант, дернул за шпагатину, и хомут лавровым венком повис на шее у блюстителя нравственности. Скандал возник невообразимый. Стас чуть не загремел из института, но каким-то образом убедил всех, что, может быть, лишнюю кровь сдал и помутнение мозгов вышло. На два месяца был лишен государственного пособия, а Лин несколько дней дневал-ночевал в кабинете директора, клялся, божился: «Это я один, злодей, виноват во всем, я подбил, система моя порочная, считайте ошибкой молодости, конь на четырех ногах спотыкается, а... комендант пьяница». Как бы там ни было, веселая популярность Стаса в народе родилась тогда, и нынешняя его агитация подействовала мгновенно.

Скоро очередь у комнаты № 95 стала быстро прибавляться.

Володька, третий обитатель комнаты, самый молодой из всех, деревенский парнишка, словно семечко полынное занесенный случайным ветром в это общежитие, стоял около воеводы Лина с шапкой для денег, чуя сердцем, но не доходя умом, что происходит, и потихоньку скулил:

— Не надо... ну не надо, Лин, подумай, зачем этот цирк, насмешка получается. Разбудите отца...

— Какая насмешка, старик, о чем ты говоришь? Художник, подумай. Это урок жизни, судьбы нам всем подарок, можно сказать. Для будущих лицедеев это как воздух и важнее, чем арифметика. Они же почти все городские, что они знают о жизни мужика? А ведь от него все начала начались. Пусть посидят в темноте, повдыхают этот запах, у них мозги разморозятся, если не окончательно души заржавели. Это озон для них... Ты меня понял, старик? Отойти, не мешай работать! Шапку не урони!

— Ну пусть придут завтра, поговорят...

— Зачем завтра, когда ночное колдовство свято, только ночная логика великие творения создает. Это напряжение

чудные тени их предков из темноты вызвать может, а ты говоришь — завтра. Никакой разговор на них так не подействует, как дух! Это бьет навзничь, понял? Держи шапку и не мешай, ты еще мал и глуп и не видал у Дуньки пуп...

Зашуршала дверь, из темноты вынырнула щуплая девица с балетмейстерского, главный оппонент Лина, категорически отрицавшая его теорию авантюризма:

— Все имеет предел, кроме человеческой глупости... Идиоты, надо же придумать такое смехалище! Вас самих бы в клетку да в зоопарк!

— А зачем ты, зануда, сидела там четыре минуты?

— Да уж раз споткнулась, решила упасть.

— Иди, иди, убогая, тебе уже ничто не поможет.

Выскочил Колька, мокрый, как из бани:

— Потрясающе, братцы... голова кружится... реветь охота... покурю и зайду еще раз...

— На то она и голова, чтоб кружилась. А если бы не кружилась, ты бы никогда не узнал, что у тебя голова есть. Приходи, Коленька, я тебя бесплатно пропущу. Разве эти люди понимают? Для них стараешься, не спишь... приходи.

— Нет, Лин, и ты не понимаешь. Только вид делаешь. А я думаю так. В столице сквозняки — явление редкое, а коптим вдоволь. И не замечаем. Так и дышим. Замечаем, что сапоги воняют... Нам бы благодарить, а мы смеемся... Нам бы понять, да не успеваем... Грустная история. Грустный мужик. Грустный сын его... Вот так я думаю...

Колька не был студентом. Не жил в общежитии. Он был человек ниоткуда. Никто не знал, где он живет, как, на что... Работал помощником режиссера на телевидении, писал стихи, любил актерскую братию и нищету и был в общежитии свой человек. Если ночевал, спал на полу, бросив матрац и укрывшись плащом. Спал не раздеваясь, чтоб сразу бежать, как застучает комендант. Весь дом его и все богатство были всегда при нем, что на себе — в том

и в гостях. Состояло оно из плаща, берета и задрипанного портфеля, в котором и хранилось все Колькино «гениальное»: стихи, романы, сценарии и прочая дребедень. Так выходило, что все завидовали ему почему-то — потому что он ничего не имел и не собирался иметь? Считал себя Ротшильдом, а Стаса, у которого было три костюма, три пары туфель и пижама (пижаму Колька особенно не любил), — нищим... нищим духом. У людей солидных Колька вызывал подозрение своей обшарпанностью и необычайной болтливостью. Он был другом всех, кто считал его за друга, как бездомный пес, но дружил только с Володькой. Сошлись они случайно, благодаря той же Колькиной лиховатости и способности переходить к делу без вводных слов и лишней канители. Он был бродяга, а такие завлекают.

Заходили, выходили, улыбались, хмурились и просто так. Кое-кто в очереди не терял времени — зубрил уроки. Секундомер-часы нервничали, в шапке-кассе звенела порядочная медь, а Лин захлебывался словами:

— Воля... воля... поймите, люди! Степь, ковыль, трава нетронутая... конь летит, земля трясется... поп на курице несется... Старик, ты знаешь, это лучше нас в тысячу раз, так помоги нам или хоть не мешай! В эту тесную комнату, как милость, как прощение нам, кинул творец дух земли, чтоб вернуть нас, заблудших, к первородству, откуда вышли все и куда уйдем. Ты хочешь, чтобы я прервал причастие... Чудак-человек! Пускай сидят в темноте... это очищение, слышал про катарсис? Пусть души их богатеют воспоминаниями, иные эпохи воскресят иные запахи... Запахи теста земли... они вкупе здесь, их можно разложить на спектры, отделить один от другого и пронумеровать... Тут и парная земля, дождем покрытая... и полынь горькая. И кошенина колкая, когда солнце высоко-далеко, а ветерок, теленком взбрыкивая, разносит зной ее по округе... А вот дух пота — хозяина земли... да не воротите носы,

уважаемые! В обед, в передышку раскидывают мужики да бабы тела свои в тенечке — под телегой или кустом... усталые ноги в холодок суют, пошевеливают затекшими пальцами... затягиваются куревом... хлебают квас иль воду мутную из временного колодца!

В долгополой командирской шинели, доставшейся ему в наследство от погибшего родителя, вышел из темноты комнаты Василий Стукачев, немолодой уже студент театроведческого факультета. За две минуты, что он провел около спящего мужика, странным образом промелькнула перед глазами вся его собственная жизнь. Он удивился. Неужели это запахи былого, минувшего времени? Да... Ведь их еще хранила шинель, в которой его отец на лихом коне (это всегда так, отцы всегда на лихих конях) громил банды Антонова. Потом что-то случилось с отцом. И босоногим мальчишкой Васька Стукачев, сын командарма, на крышах вагонов, товарняками, пешком и кое-как, определяя направление по звездам, добрался до самого М. И. Калинина, зажав в руке, как драгоценный дар, катышек хлеба с клочком газеты, на котором отец нацарапал просьбу «всесоюзному старосте» — скорее заступиться за него. И отец вернулся и подарил сыну долгополоую командирскую шинель, но с Великой Отечественной войны он уже не пришел... Детство нахлынуло на Василия в темноте, отца увидел опять на коне.

Бледный, как застиранное полотенце, он сказал:

— Цинизм неслыханный. Я подам на вас жалобу. Что устроили — продавать темноту спящего человека...

— Так не покупали бы... кто неволил?

— Ты и неволил, негодяй, — Стукачев размахнулся и прозвенел открытой ладонью по щеке Лина.

Но Лин только ухмыльнулся.

— Не запутайтесь в шинели... осторожней на поворотах... гололед... Пойми, старый, это опыт, который мы ищем и которого все нет. Я больше скажу — это корень

жизни... женьшень! Где они еще узнают, как пахнет деготь... конь... портянка... земля... Сколько воскресит ушедшего каждому эта ночь. И краснеть будут, и страдать, ее вспоминая...

Виражи актерствования ввергали Лина порой черт знает в какие словесные штопоры. Эрудиция из него брызгала, показная, конечно, вместе со слюной самолюбования. Но для артиста, он считал, важно дыму нагнать... остальное не его забота. Он так подчас заигрывался в своих проповедях, что сам в них верил до слез и других ослеплял.

Подобные натуры могут здорово подражать, имитировать разные стили, подделываться даже под эпохи. Не умея создать свое, оригинальное, и не зная про это, берутся за перо, кисть... создают нечто и слывят литераторами, художниками... умирают, не подозревая, что всю жизнь только и вторили уже слышанному когда-то тембру. Лин был сирота, воспитывался в детдоме и часто плакал по пустякам. В свободное от занятий время он пописывал статейки на темы самые невероятные и рассылал по провинциальным издательствам. Это был его постоянный навар к стипендии, особенно по шумным дням. Лин умудрился опубликовать статью «Использование местных ресурсов в сельском строительстве», терминологию заимствовав у Даля и у парнишки с Алтая... А также трактат об итальянском певце-урлатори Мадуньо. Мадуньо Лин не слышал, но читал рецензии о нем и знал тех, кто был знаком с теми, кто слышал его. Не гнушался также писать отчетные доклады своим товарищам по институту за пачку кофе, чая, рубль.

...А люди шли и шли. Круг обманутых Лином расширился. Истинный смысл происходящего вряд ли доходил до многих сейчас. Они заигрались, забылись. Ночь размотала каждому клубок ассоциаций, образов, видений... Здравый смысл уступил место колдовству. Коридорные

лампочки уродливым, факельным светом выхватывали из этой ночи лица толкающихся у двери. Возмутившиеся уходили, плюнув. Хотя избежать соблазна «причаститься» (а вдруг в этом что-то есть?!) могли редкие. Другие не видели в этой шутке факт возмущения — смеялись... Дескать, люди играют иногда в игры побезобразнее этой ночи и относятся по-разному даже и к крестовым походам... особенно на школьной скамье...

Вот вернулся в долгополой шинели Василий Стукачев. Круг уважительно расступился.

Он вернулся не бить Лина — этим делу не поможешь. Он решил словом своим, хоть и неумелым пока, возвратить молодых к осознанию, чего они творят по неопытности.

— Табуретки плачут по головам вашим... Други вы мои нескладные. Ну, отложим это до завтра, когда и до вас дойдет этот проклятый миг. А пока расскажу я вам... Знаете ли вы, что отбитая только что литовка пахнет не так, как побывшая в деле. Отбитая только что резко пахнет железом и кровью человеческой, аж на зубах как соль хрустит ее запах, хотя всякое железо кровью пахнет. Мужики нервничают, злятся, когда новички с ними на покос общий попадают. Они называют литовку змеей, говорят, литовка жалит так же внезапно, как гадюка, оттого и называется жалом начало полотна литовки. Новички часто налетают на это жало или, хуже того, сами не рассчитывают захвата и подрезают своих же. Как откосились, и домой, обязательно обмотать надо все полотно тряпками, ветошью, чтоб не задеть кого случайно или самому не налететь. Случай был. Шел мужик с покоса, литовку на плече держал, а дорогу гадюка переползала. Размахнулся он, хотел черенком ей голову размозжить... Как даст! Так и смахнул свою голову с плеч, и осталась она на дороге лежать неживая, от туловища отделенная... А змея уползла. Вот что значит не обмотал.

Да что там... Отец рассказывал, что по клейму на литовке можно было определить достаток в доме хозяина. У нас сосед был — Митрохин, многодетный, работающий мужик. Покос его был рядом с нашим. Подошел обед. Он мальчишке приказывает: «Ванька, вари похлебку из яйца!» Всего одно яйцо было на обед. Ванька побежал, развел огонь, шумит отцу: «Тять, а тять! Всю бить али полови-ну?» — «Всю бей, сынка! Пусть глядят, как Митрохины ядят!» Вот как было. Да, ребята, всколыхнули вы меня вашим ночным безобразием... Стыдно вам будет на всю вашу жизнь за то, что над человеком, кормящим вас, надсмешались...

Володька стоял в стороне, держал шанку с медяками в дрожащих руках, будто нищий на паперти, и не принимал участия в разговоре, да про него и забыли. Что-то творилось с ним мутное. Тошнота от ночи поднялась в нем невообразимая, мучила, жгла: «Ах вы проклятые! Что же вы наделали?! Зачем случилось это в моей жизни? Неужели в этой пригоршне медяков все мои мысли, душа, поступки? Если я не останавливаю этот кошмар, значит, я тоже хочу его запомнить? Неужели я в призвание свое таким опытом пробиваюсь?! Кто этот Лин?! Зачем эти вороны над отцом моим глумятся? Тошно, тошно мне, мама моя... полынью накормили... Она горькая, я знал. Я не ел полынь, узнать, какая она. Я просто знал, что она горькая, как полынь, узнавал ее даже в молоке. Какой же надо горькой быть, раз Юнка-кормилица не могла справиться, когда полыни нахватается, и молоко горчило... Теперь нахватался полыни я!»

Его охватил страх, как в давнем детстве, когда его забыли в мокром подполье и крысы в горло нацеливались. Он закричал. Потом голова его брякнулась на грудь, будто хватил он сам себя острой косой по шее.

Медяки зазвякали на пол, и некоторые под дверь комнаты № 95 покатались.



## Ларионыч

— Граждане пассажиры, поезд номер девяносто пять Барнаул — Москва...

Ларионыч глядел в окно. Он тащился через всю теперь уже советскую землю к сыну проверить, как дела у того и не зря ли корову продал и учиться послал. Три раза уместился в жизни Ларионыча этот бескрайний путь. Первый раз он освоил его молодым, как ехал с делегацией к Михаилу Иванычу Калинин у на всесоюзную беседу, за вторым разом — немца бить шел, опять через это пространство. И теперь — к сыну надо было крайне поспеть да заодно Кремль поглядеть и описать его, вернувшись, матери во всех подробностях точно, а то забыл.

К сыну не так долго, по нынешней технике всего четверо суток без малого, а значит, на Володькин манер легко можно не пить, не есть, чтоб не отягощать себя лишним путевым расстегиванием да развязыванием, не менять, как говорится, коней на переправе. И Ларионыч все четверо суток мало чего брал в себя, не пил, не ел, оттого и не шастал по вагону почему зря, как некоторые.

Отец совсем другой, чем мать. По всему другой, как плюс и минус, как раскаленная каменка и холодный ковш. Мать отцу едва до подмышки доставала, а он головой только в своей избе матку не задевал. Доху зимой из двенадцати собак таскал. Ее, разъязвив ее, мать с крючка на крючок перевесить не могла. В одном сходились — петь любили, гулять им — хлебом не корми. И все до доньшка выскребали, от души давали жизни всякой забаве своей и детей нарожали быстро и крепких. Удадь их парная поражала глаз. Породы они оказались степной, вольной. Отца не только перепеть, — перепить никто не брался ни в районе, ни в соседних двух. Есть этакое фанфаронство среди мужиков, в Олимпийские игры, слава аллаху, не внесенное соревнование: кто больше водки вылакает в

один присест и под стол не свалится, а свалится — копыта не отбросит и коней своих засупонит. Он так жеребца племенного — рысака орловского — выиграл, уложив под стол четырех соседних председателей. А сам хоть и мертв был почти, однако хватило духу до пары своей добрести, отвязать поводья, перевалиться в коробок — кони дорогу знают, как почувствовали тяжесть хозяина. Жеребца он, конечно, не взял, под суд бы товарищ угодил, но шерсти по полцентнера со всех с четырех содрал для выполнения плана собственного колхоза. Была у него в этом питейном деле метода своя.

«Прежде чем за стол лезть, глянь, что на столе... Чтоб не рыба, а мясо. Чтоб не огурцом, а салом, как асбестом желудок сбережь, и ты никогда не окажешься на четвереньках». Из гостей когда возвращались с матерью, рядом по дороге не шел, а чтоб снег держал — параллельно целину сугробов месил. Так две траншеи и оставлял за собой, в каждой из которых мать схорониться свободно могла. Наутро, постарше кто был, узнавали, если буран не успевал замести, что за человек след оставил.

Мать — общительная и говорливая, певунья и хохотунья, с людьми на раз сходилась, за «здорово ночевали». Отец — скупой на улыбку, скупой на речи, крутой и гневный часто, и не скоро отходчивый. С людьми сходилась трудно, долго присматривался, приглядывался, но уж поверит коль — лучший пар в бане уступит без разговору. Мало чему радовался и то прятал глубоко. Только к старости разговорился. Но все же редко, да нет-нет и прорывалось в сердцах у него: ах, красота... красота, хорошо... хорошо... золото, — как видел удачный березник, к примеру, или богатый луг. Коней любил. Пчел любил. Коз и кошек выносить не мог. А раз молчун был, откуда Володе знать было много о нем и корнях своих по отцовской линии. Но иногда отец раскачивался. И снова мать — Федосеевна — ловко настраивала его, дескать,

расскажи, отец, да расскажи ребятишкам, кто, как не мы, им правду о нас передаст? А стороной они, знаешь, чего могут об нас понаслышаться...

### И отец рассказывает

— Золотая у нас мать была — Елена Александровна, царство ей небесное, действительно. Какие она нам кукурузные лепешки кружевные пекла... Ты бы, мать, когда ребятишкам сделала...

— Так я не умею, как твоя мать, я умею, как ихняя мать...

— Отца-то я, Лариона Петровича, плохо помню. Он на войну Первую мировую ушел и не вернулся. А дед-то жил долго, крепкий был — ни одного зуба не выпало, и глаза чистые сохранил до самой смерти. А как помер? Пошел, значица, к пчелам... два улья роились, они сбили его, лег он под куст, сыростью проняло — от притяжения земли умер. Дед наш прибежал в Сибирь из средней России. Был он из разночинцев, значица, из интеллигентов вроде бы по тем временам, а разночинцы были люди башковитые, грамотные, к осознанию жизни стремились, за народом шли. Вот и дед наш натворил штой-то против царя и спасся от его расправы в горах Алтая, пустил свой корень, и теперь нашей породы тут много. Петром, как сейчас помню, Григорьевичем звали, да... И вот ночью почему-то десятник постучал отцу: «Ларион Петрович, вставай, иди на сборню, германец прет на нас». А жил у нас тогда дядя — Тихон Петрович, мировой судья. Приезжал из России, из Воронежа откуда-то. «Ну, добре, — отец говорит, — добре... давай, Елена Александровна, наливай казенки да провожай». А мама-то знала уже, сухарей припасла. Как запало, перед глазами стоит: налила она им вот по такой фарфоровой чашке. А водки-то отец наш сроду не пил... Да... хороший у нас отец был... Тихон-то Петрович чашку перевернул

сразу, а отец все сидел. Потом и отец выпил. Тихон ему еще и сам чашку опрокинул... Стали прощаться... Всех он нас, отец, сердечный, погладил, перекрестил. Стала ему мама ладанку-хранительницу вешать, значица, да не устояла, так и повалилась снопом — сердце зашло, отходили еле. Видно, что-то знала наперед. Она у нас, мама, как потом выяснилось, даром чудесным обладала. Намного дальше знала, что кому предвидится. Вот и прочитала в глазах у отца неумолимость какую-то, ну ясно, какую... Так руки в колеса совала, чтоб подводу остановить. Но война не подвода. Не вернулся Ларион Петрович. Товарищи его рассказывали, что служил он в артиллерии, ранило его шибко, газом ослепило, и в мучениях отошел отец наш. Елене Александровне кланяться наказывал, прощения у всех просил и ладанку просил передать. До конца дней, значица, не снимала мама эту ладанку с себя и велела с собой похоронить.

После похоронной стала мама нас устраивать по людям, а было нас у нее шестеро. Попал я в Башчелак к кержакам.

Кержаки — это такие мужики, значица, которые бежали после раскола с реки Кержа, от Петра, однако. Но и у них много подразделений было: на мирскую и правоверскую веру — щепотники, двуперстники, дырники, тополевы, рябинники, филаретовцы и т. д. Из одной посуды не пили, не ели, каждый имел свою отдельную, такая, значица, гигиена соблюдалась. Не курили и матерных слов не употребляли. Гостей приглашали в горницу. Заходили, непременно обувь снимая. Горница застилалась в два-три слоя половиков-дорожек. Верхние — будничные, вторые — воскресные. А если это был Христовый праздник, то снимались и вторые. Оставались нижние, значица, самые цветистые и тонковытканые. В эту горницу и зазывались гости, вносили фигурный самовар... и на весь дом дух наваристого лабазника-бодана, значица...

И все это степенно и с церемонией, не как-нибудь... Не торопились они сроду.

Так вот взял меня в работники зажиточный кержак Новиков по прозвищу Щербатый — два зуба передних у него были ликвидированы кем-то. Он сам по себе очень умный был мужик. У него, между прочим, надо было учиться хозяиновать. Хотя грамоты не знал и подписывал пальцем. Но у него были люди грамотные рядом, да... Держал табун кобылиц, кумыс производил. Со всего края к нему на лето съезжались... Ямщину держал. Зимой гонял тройки на Барнаул — Бийск. Сибиряки народ бодрящий. Как сейчас помню, попа я одного отвозил — он мне четвертной. Прилетаю с мороза — мороз сибирский жизнь внушает всем — мне Щербатый стакан водки подносит: хорошо заработал и не утаил! Понимал. Вишь, оно как дело-то было... Сейчас народ сдал. А тогда мы до снегов босиком ходили — и не болел никто. Ступни ног так задубевали, так просмаливались — нож не брал. Долго я у Щербатого жил... да... И уважал он меня крепче сына, надо сказать. И остерегался. Так случилось, объезжали мы с ним загоны зимние. Коней вперед отпустили с мальчишкой, сами идем помаленьку. Как сейчас помню, любил Щербатый ногами ходить, и все бегом, и все бегом... И откуда вдруг взялся волчище матерый. А у нас ни ружья, ни топора... так я его двумя голыми руками удавил. Стал бояться после этого меня Щербатый. А тут революция... комбеды стали образовываться. Поссорился я, значица, со своим хозяином. Вывел в самый крепкий сон жеребца лучшего из конюшни, поджег сукновалку и был таков. Обернулся только на той стороне реки — столб пламени увидал. Сукновалка шерстобитка, мануфактура вся свечой взялись... свечой... Конечно, глупость сотворил, но что сделаешь, так начиналось... палили богачей...

Так начал Ларионыч со своей стороны борьбу с чрезмерным богатством. Сукновалка, конечно, была ни при чем.

Можно было, казалось Володе, ее и не сжигать, а оставить для будущего коммунизма. Но, с другой стороны глянуть, с чего-то все равно надо было начинать сжигать старый мир до основанья, чтобы потом все начать сначала и восстановить все на новый, невиданный доселе, лучший лад.

И все же отец редко раскачивался на такие задушевности — и по характеру своему, в тугой узел скрученному, и оттого, что и дома-то он мало бывал, вечно занятый своей больной заботой колхозного председательства. Ребятишки росли на руках матери и в окружении многочисленной родни по ее линии, которых только рядом было: тетка Васса, тетка Елена, тетка Лукерья, тетка Анисья и дядька Иван. Про себя смеялись: «Наш тятенька Федосей Харитонович так нас учил: шумну, говорит, Мотька — беги Ленка, шумну Ленка — беги Васка, шумну Васка — беги Ленька и т. д.» Вона сколько. Так что было кому рассказать Володе и про край родимый, про дедов и прадедов, и про его собственного отца. Иной раз больше, чем нужно, чем могла воспринять еще колыбельная душа. Но душа такая, оказывается, самая надежная торбочка. И что западет в такую, нет-нет да извлечется оттуда по нужде возраста.

#### Тетка Елена рассказывает

— Отец твой до батрачества воспитывался в семье Снегиревых. Мать обстирывала их, за это они кормили его маленького, но он об этом по известным причинам умалчивал всегда. А мне как-то пришлось закупать картофель на семена у Снегиревой Вари. Она мне и поведала трагедию их семьи. Ужасно. Кажется, в тридцатые годы, когда шла коллективизация. И в это время ее отец, который твоего отца маленького прокормил, не хотел вступать в колхоз. Варя помнит, что жили они справно — имели много овец, лошадей, десять коров, и семь ребятишек своих у них было. И какие-то машины: шерстобитку, молотилку, веялку.

И нанимали рабочую силу, что-то в этом роде, сезонно. А возможно, за плату сдавали машины для эксплуатации другим, не имеющим их. Это япустила спросить, и неудобно. И вот подошла очередь их раскулачивать. «Пришла, — говорит, — уполномоченная из сельсовета. А мама надела шубу свою любимую и не хотела с ней расставаться. Но уполномоченная стала строго кричать на маму, подошла и стала бить ее, снимая эту шубу. Маму от такого насилия парализовало...» Варя было в это время лет пятнадцать-шестнадцать. Она эту жестокость всю наблюдала, но не могла по молодости разобраться во всем. В приступе гнева побежала она к деду в баню, где он катал пимы, схватила таз с кислотой и плеснула в уполномоченную. Варю арестовали и присудили чуть было не расстрел. Степан Ларионыч, отец твой, работал уже в Камышинке председателем сельсовета, услышал об этом несчастье, прискакал... И Варя говорит, что ей дали всего пять лет.

Отбыла Варя срок свой, возвратилась оттуда с маленьким сыном на руках. В своей жизни она много горечи хлебнула на перекрестках хлесткой судьбы. Говорит: «Горела, облитая бензином по ревности, не дотла сгорела, спасли... кожа теперь чужая на мне. И череп, — говорит, — пробит, под плуг падала». Вот уж действительно: **бита, мята, клята, жжена, стреляна — жива!** «Иду, — говорит, — однажды, уж после войны по Быстрому, поравнялась с конторой «Искра», а на крыльце стоит какой-то широченный дядя в галифе и подзывает меня. «Узнаешь, — спрашивает, — Варя?» Я, мол, да нет, не приходилось вроде нигде повстречаться. А это был заступник мой, сельсоветчик тогдашний, с которым в детстве на одной печи спали. Пригласил он меня в кабинет и так долго и тяжело плакал, вспоминая те трудные годы».

Сам отец твой об этом никогда никому не рассказывал и другим не велел, а если слышал намеки, резко прекращал разговор... Это было давно. Жизнь переменялась,

постарел и он. И помягчел... Но вспоминать об этом и сейчас не хочет.

Раскулачив огнем Щербатого, сдал Ларионыч жеребца в коммуну. В комбеде стал председателем. В тридцатые — председатель сельсовета, в сороковые — председатель райисполкома, командир на фронте — шесть ранений, шесть медалей и орден Славы (через двадцать пять лет после войны), в пятидесятые — председатель колхоза с нескончаемыми выговорами и грозными окриками за падеж скота. А чего ему было не падать, этому скоту, когда кормов не хватало до середины зимы, когда скотные дворы продувались буранами беспрепятственно — крыши были раскрыты и скормлены. А морозы под минус полсотни добирались, и поросята мерзли, едва освободившись от матки. И чего можно было сделать, когда не налажено было еще ни силосование, ни комбикормование, техники не было... страна от войны заживала. А план на хлеб был вздернут под горло, и заливные луга шли под ножи плугов, а не сенокосилок.

Со стороны Володя слышал про неграмотность и даже темноту отца. Говорили про это в основном люди нерадивые, за что-либо обозленные на председателя, и за глаза, в сторону пыхтели, но до отца доходило это шипение и жалило его. Отец действительно никогда никому писем-записок не писал, не посылал. Фамилию свою выводил с маленькой буквы. Записные книжки, в которых помечал важные дела свои, прятал в брезентовый мешочек непромокаемый, где держал партбилет. Мешочек хоронил в нагрудный карман гимнастерки от лишних глаз, под пуговицу. Не показывал никому своей писанины. А читал легко. Володе было жаль отца. «Ну зачем он стыдится того, чего бог не велел, своей нешибкой грамотности? И чего ему еще надо, когда у него кони есть, когда он косить и петь умеет, лучше незнамо как, когда он сроки посевной



и уборочной, глубину и время пахоты, знаки на мороз и на солнце — одним словом, весь крестьянский календарь в уме держит, как Устав нашей партии, гораздо крепче приезжего агронома, который институт кончил, а никак не может усвоить, почем сеют, почем жнут, почем лихо сбывают».

И на беду Вовка с Ванькой-братом (Вовка брата догнал, тот не учился год из-за легких) к жене этого агронома в класс попали, в четвертый «Б». И что произошло. Ванька сильную книжку достал: «Генерал Доватор». И так увлекся, так уютно устроился на арифметике при свече под партой с «Доватором», что забыл всякую предосторожность и вообще где он есть. Учительница грохнула партой, задула свечку, отобрала «Доватора» и выгнала к доске. Ванька не переключился с перепугу на арифметику и, ко всеобщей радости, бойко стал молотить про фрицев, кое-где «ура» вставляя. Этими фрицами учительницу он в тупик загнал. Она обомлела, побелела, подпрыгнула к Ваньке и с визгом: «Какие фрицы, где «ура», ты думаешь, ты сын председателя, так тебе все можно, да?!» — схватила Ваньку за чуб и так притиснула его кочанчик к доске, что элементарные правила арифметики осыпались и исчезли с доски начисто. Ванька не заплакал, конечно, только бровки свел и глаза зажмурил. Его можно было в три раза сильнее притиснуть, черта с два из него слезу или покаяние вытеснишь.

А Вовка — тот нет, тот, глядя на одно притеснение это, носом зашвыркал. А дальше было еще хуже. Учительница шла между рядами, проверяя арифметику, и вдруг вскрикнула, скрючилась и метнулась из класса. Это Вовка-брат взял свой костыль, подождал, когда она подойдет, и ударил им по ее молодым ногам.

Потом прибежал директор...

Потом пришел отец...

Потом Ванька долго не ходил в школу, зализывал задницу на печи — ремень у отца широкий, офицерский,

еще с войны, а рука председательская. Меньшего не трогали, и так обижен, на костылях ходит. Вовке было жаль брата. Тот, выходило, двойное наказание получил за «Доватора» — от учительницы и от отца. А от отца-то он за него, за Вовку, получил — тот ведь учительницу ударил. Значит, он и виноват! Но Вовка-то ведь за брата заступился! За брата! И Вовка стал высчитывать на бумажке, почему Ванька лежит и кто же в самом деле в этом деле виноватее всех. Начал с конца, то есть с отцова ремня.

«Отец виноват, что бил. Но ему сделал внушение директор. Директор не виноват — ему нарыдала учительница. Учительница не виновата — ее ударил ученик. Но ученик не виноват, он мстил за брата, а кровь за кровь даже судом учитывается. Значит, виновата учительница все-таки, что притиснула брата головой к доске так, что правила арифметики улетучились. Но она его за фрицев притиснула. Значит, виноват брат, выходит. Но ведь он с перепугу про фрицев рассказал, не нарочно. И зачем она отца помянула: «Ты думаешь, ты сын председателя, так тебе все можно?» При чем тут отец? А при том, оказывается, что этот отец-председатель не терпел ее мужа-агронома, который институт кончил, а в земле разбирался как свинья в колбасных обрезках. Хорошо — тихий был. Забьется со своим мерином на дальнюю бригаду — с глаз председателя долой — и отсиживается там, а для людей вроде тоже делом занят. Вот кто виноват — агроном! Высшее образование ему как высшее наказание. Но где справедливость? Агроном еще наберется опыта и не будет прятаться от председателя, у него есть еще время. У агронома время есть. А время у председателя выдохнулось. У него три класса, и никакой бич, никакой партбилет не заменят ему институт и корочки. И выходит, виноватее всех он, председатель, вернее, его неграмотность. Вот и вся арифметика. Вся?! Нет, не вся! Он в ней виноват, что

ли?! В этой неграмотности? Когда ему было институты кончать?.. Он свои университеты в батраках освоил».

Про все это так или иначе мучился и считал Володя тогда, когда брат лежал на печи. Просчитывал и позже. С возрастом приходили вычеты и поправки. И чем больше умом входил в согласие с осуждающими иные действия председателя, тем душа его больнее металась в поисках правых и неправых путей в защиту судьбы и оправдание поступков отца. И находила их.

...Грамота не грамота, хорошо, когда на своих плечах своя голова. А как пришло время целину поднимать? Понаехало люду разного, чуть ли не всех национальностей, однако многие никакого отношения к земле не имели. И со всеми надо было разговаривать придумать как... А им ни жилья подготовлено не было, ни кормежки подходящей. Они, как пришельцы, на голову свалились. Пьянство, убийства начались. Вербованные с местными не ладили, свою веру хотели установить. И было завладели инициативой: городские, они всегда бойчее поначалу. Но потом, как случилось два-три труна, стало село вышибать помаленьку оккупантов-целинников, которые работать хотели, оказывается, под конвоем только. А техники было спущено в их район до черта, а сажать на нее некого получалось. И шли мальчишки на тяжелые прицепы, как в бой — в день, в ночь и разно. Не доглядел бригадир в одной бригаде, проработал такой сморчок цельный день и еще на ночь остался. Хотел часы осенью купить на трудодни. Уснул на прицепе, тряхнуло его на кочке, и свалился «целинник» под ножи трех плугов, что волок трактор в 80 лошадиных сил. По всему полю кусочки потом собирали, да ни мертвой, ни живой воды не оказалось рядом, а у тракториста ум отняло. К счастью для Ларионыча, не в его хозяйстве это случилось. Может, и не надо такие единичности вспоминать, да ведь как за-

будешь, когда рядом был, а Коля-тракторист и нынешний день селу улыбается жалостным ртом, значками пионерскими и лентами разукрасив грудь себе.

Конечно, всяко целина оборачивалась. Но, как в малом бою отдельный солдат не может постигнуть, да и не должен знать перспективы и масштабы всей битвы, так и целина многим не доходила до ума поначалу. «Чего, — казалось приедем, — тащиться надо было в этакую неблизь, когда полезнее и проще было бы в своих, среднеполосных землях разобраться, удобрениями их досыта накормить, тракторов лишних понаделать и не разрешать черноземные земли под стройки, а оставить под хлеб».

Местным же думалось: «Чего вдруг бросились распахать забытые земли и всякие неудобные, корчевальные, уклонистые, какие только лошадаками раньше обрабатывались, а нынешняя техника заваливается на них... Казахстан — другое дело, есть простор, пробуй... Да еще ребятишки должны терпеть и делить вместе со взрослыми вывихи этой затен?»

Поди объясни каждому, что страна не может ждать, когда возникнут новые заводы по выделке необходимого, миллиардного количества удобрений, способных поднять плодородие старых почв, а в мире день и ночь куется и изобретается оружие. Стране нужен хлеб сегодня, хлеб державный, в масштабе двухсотпятидесяти миллионного государства. И только когда стихией небывалой обрушился алтайский хлеб и допли ошеломляющие вести из наждачных степей Казахстана, всему миру открылось, что народ подвигом, равным подвигу первых пятилеток, вырвал всю страну от неминуемого послевоенного оскудения и к тому же заложил мощные резервные зерновые и промышленные зоны на случай новой войны.

Об этом говорил секретарь Шматов на школьном митинге по случаю целинного урожая. Так думал колхозный председатель, раздавая от имени правительства

мальчишкам и девчонкам высокие награды — блестящие медали — как всамделишным героям, медали, очень похожие на те, что звенели у отцов и старших братьев, когда те вертались с кровавых полей настоящей войны.

Целина продиктовала иные масштабы хозяйств. Иные пришли времена, иные потребовались и руководители. Старого председателя проводили на пенсию, и теперь он, свободный, спешил через поля России, политые и его кровью, и оттого выжившие, к младшему своему сыну с заботами, тоже важными.

**— Граждане пассажиры, поезд номер девяносто пять Барнаул — Москва прибывает в столицу нашей Родины, город-герой Москву.**

Пассажиры знали сами, куда едут, давно стояли у окон и глазели по сторонам — не пропустить чего. Но когда объявили, что не ошиблись и действительно подкатили к Москве, внутри у всех екнуло, заметалось, засуетилось даже.

Ларионыч стоял у окна, как проснулся — все боялся проморгать Кремль, который глядел с картины здоровенный и «должен быть, конечно, виден с любого низкого места, как пожарная каланча, а поезд все равно пойдет мимо... так что надо смотреть». Но Кремля все не было и не было. Церквушки были по пути, но это же не Кремль... «И вообще сказать, в центре Родины, на подступах вроде того что к столице, и вдруг — церкви!!» Он вспомнил, сколько этих церквей посшибали они на своем Алтае с Сенькой Рваным, сколько этого опиума народного, проклятого, выплеснули в небо дымом... устанавливая новую веру в новую жизнь. «Да, не было Сеньки тут, не было! Он бы поиграл этими маковками в лапту...» Пока он забылся Сенькой, поезд остановился у красного здания, смахивающего чем-то на Кремль с картинки, с потешными часами наверху. Ларионыч усмехнулся по-доброму, вспомнив, как сын принял вокзальную

каланчу за кремлевскую башню, однако на всякий случай поинтересовался:

— Это что же, Кремль нечто?

— Нет, дядя, это вокзал.

— А... да... ну да... он же на Красной площади... интересно. А почему же нас туда не подкатили?

— Возьми мотор — подкатят...

— А, да, да... а без мотора нешто не подкатят?!

— Слушай, дядя, я тебе не справочное.

Ларионыч понял, что им недовольны в столице, но не обиделся, смекнул, что задал одному слишком много вопросов. Зачем наваливаться на одного? Вопросов, в конце концов, оставалось не так много, а людей кругом — не протолкнешься, и он решил не раздражать народ лишний раз и спрашивать каждого только единожды. А если что мудреное, погода немножко можно спросить о том же у другого. Метод оказался верным, первый же ответчик послал его к милиционеру. И правильно... Милиционеру можно задать два вопроса. На то он и милиционер, чтобы выводить из заблуждений.

— Разрешите обратиться... (ишь ты, честь отдал, вот это воспитание, прижали, должно быть, опять, а то совсем распустили народ)... я говорю, у меня сынок...

— Я вам не сынок, а товарищ старшина, что же у нас получится, если каждый будет меня по-своему... чего тебе, папаша?

— Я говорю, сынок...

— Еще раз и последний, я вам не...

— Товарищ старшина, растолкуйте мне, где это такое находится, вот адрес... Сынок... Да послушай ты, милый, сынок у меня на артиста учится по этому адресу!!!

— Ну, вот теперь понятно, так бы и говорил, а то — «сынок» да еще «милый»... садись на метро и до Арбата...

— До чего?

— До Арбата.

— А что это такое? Не магазин, нет?

— Не могу знать. Арбат, он и есть... Арбат. Остановка «Арбат», улица Арбат, все Арбат. Старое название, непонятное, скоро сменим. Вот видишь букву «М» над домом? Вот в нее входи и валяй...

«Валяй-то валяй, но проверить тебя тоже надо». Он подошел к другому милиционеру, помучил того, показывая первого сошлись, и он со спокойной душой вошел в букву «М».

А в букве «М» народу тьма-тьмушая. Одни бегут туда, другие обратно, все толкаются, спешат куда-то, и никому ни до кого дела никакого. У лестницы, что сама туда-сюда ползает, особенно много народу. Просто гора людей, сверху жутко смотреть, как чудище какое-то шевелится. «Это где же они все живут? Это сколько же жилплощади государство им обязано найти, и почему они все здесь, в столице, опиваются? Неужели бюджет предусматривает такой расход? А сколько еды одной сюда требуется», — думал Ларионыч, шагая к сыну.

Он шагал проверить, не надул ли его сын, действительно ли учится в институте или брешет, поди. А может, в чем разуверился сын, так подлить ему масла и вернуть к земле... И еще одна тоска гнала его и грела сильнее, чем остальные, но он прятал ее за пазухой до поры.

Дорога дальняя, почетная. Отправляясь в нее, Ларионыч надел лучшее, что имел: собачью доху, баранью шапку, кирзовые сапоги тщательно смазал дегтем... И теперь в метро, в толчее, обмундирование грело лишне. Душновато оказалось под землей. Люди таращат на него глаза, водят носами — пахнет непривычно. Девки понахальнее оглядываются, не краснеют. Бабы постарше вертят башками, дрожат за кошельки, а сами будто за культуру митингуют: «Не напирай, бесстыжий! Не жми, хулиган». «Ох, народ, везде он одинаковый!»

Вспотел Ларионыч не однажды в своей дохе собачьей, пока добрался до непонятного Арбата. Еще одного милиционера проэкзаменовал. Совсем рядом оказался институт. Дошел, нашел. Прочитал вывеску. Действительно, название вывески совпадает с названием на конверте. Значит, все-таки институт, а не какой-нибудь там техникум или училище. Институт — это высшая школа. Это хорошо.

Зашел внутрь, объяснился с вахтером: дескать, сын пишет, что учится здесь, не знаете ли такого и можно ли с ним повидаться. Вахтер сочинил умное лицо и стал припоминать. Всех студентов он считал за хулиганье, память его хранила только имена нарушителей, а таковой в нарушителях не числится, так что, «может, и не учится он вовсе у нас, но все-таки справьтесь в учебной части: мало ли что бывает в жизни», — заключил он. Ларионыч помрачнел, помянул нехорошо бога, но в учебную часть пошел. В учебной части ему сообщили, что все-таки такой студент есть, и, к общей радости, способный, дисциплинированный парень. Ларионыч почесал глаза. Ему написали адрес общежития, начертили подробно путь следования на бумажке (по приезде домой, в деревню, он прикрепит этот план к вождю, под стекло) и даже дали студента, чтобы проводил до места, до самой той комнаты № 95, что Володька писал, где он жил со Стасом Пеньковым и Лином Варфоломеевым.

### За столом

«ЖМИ... ЖМЭ... ЖМА...» — гудело в коридоре общежития, как в сточной трубе. Студент Чиркин руки в брюки, фертом и грудью вперед, будто нес награды, работал над своими шипящими. Он собирался играть в Малом Отелло, но однажды случайно был выгнан за профнепригодность. Бывает так. Албанец Мисто у всех проходящих выпра-



шивал томат для своих макарон. Он не представлял, как можно макароны употреблять без томата.

— Чиркин, у тебя томат есть? Нет? А в магазине есть, не знаешь?

— В нашем магазине есть все! Дальше — не знаю, — с нажимом на свистящие и шипящие ответил будущий Отелло. — ЖМУ... ЖМО... ЖМИ... Кстати, Мисто, у тебя дусту нет, рубашку постирать?

— Что это — дуст?

— Стиральный порошок.

— Нет, я покупаю «Новость».

— Это что, газета?

— Стиральный порошок... тоже...

— Дашь?

— Дам.

Коридор оживал. Студенты возвращались с занятий, и общежитие начинало жить своею, никем не досмотренной жизнью.

«Артист должен быть худым и нищим», — писал в письмах сын в ответ на посылки с салом. Таким его Ларионыч и обнаружил:

— Худым — твое тело, твоя забота, но почему нищим? Против нищеты отец революцию делал.

— Нищета спасает душу художника — скрипку его. Сказано точно: что отдал — богаче стал; что сберег — то потерял, — пояснил друг Лина, артист знаменитого театра Владислав Романовский, который любил бывать в общежитии и навевать молодым их будущее на театре...

— Художники, — продолжал он, — часто очень одаренные, быстро становятся «рублевщиками». Не от Рублева, что вы на стенках в репродукциях видите, а от рубля. Вот они и стараются подольше задержаться в детстве. Не схоронить ребенка в себе раньше времени, а сохранить... Отсюда и наивное стремление к нищете, к ограничению желаний плоти и прочим химерам. Затем бросаются в не-

виданную разнузданность, цинизм, каются после и — в том обретают искомое — страдание. Но это у них пройдет... как зашелестит в кармане серебро... время лечит, это сказано точно.

Говорил Романовский в нос и с растяжкой, как будто не слова произносил, а козырные карты клал пухлой рукой. Находился он в том возрасте, ближе к среднему, когда люди его склада стараются ни с кем не спорить, берегут собственные нервы, мнений своих не навязывают и чужие пропускают мимо. Он ждал звания.

— Быть может, вы еще кресты нацепите и рясы натянете, — в ответ на проповедь Романовского усмехнулся Ларионыч, — что за муть вы, ребята, льете про нищету и души? Уж не завербовали ли вас в секту какую... На парады ходишь? — спросил он сына.

— Хожу...

— Ходи обязательно. Правительство знать надо. В Мавзолее был?

— Был.

— Еще раз сходи. Замечательной души и скромности человек был. Никакими благами не пользовался, значица, все отдавал в пользу сирот, морковный чай пил...

— Сейчас не пьют морковный чай, — съязвил Лин.

— Необходимости, по-видимому, нет такой. Смотрите, какие условия вам создали, какой храм, понимаешь, под общежитие предоставили... Вот это... да...

— Я это общежитие своими, вот этими руками творил. Каждый из студентов отработывал на строительстве свою барщину. Может, поэтому и строили долго, семь лет, несколько поколений старались. Ему повезло, — Лин кивнул на Володьку, — на готовое пришел.

— Ну что же, это закономерно, — рассудил далекий гость, — каждое поколение уготапливает последующему лучшую жизнь, значица, это закономерно.

Колька влетел как ошпаренный:

— Не опоздал? Разрешите представиться: режиссер телевидения Николай Степанович Конюшев. Очень рад познакомиться с представителем натурального, так сказать, крестьянства, с ходоком алтайским, можно сказать, очень рад, очень рад. Есть о чем поговорить. Ну что, прыгнем за стол, тем более что он круглый?

Албанец все еще не находил томат для своих макарон. Из коридора доносились его печальные надежды:

— Орест, у тебя томат есть? Нет? А у кого есть, не знаешь? Пиро, у тебя томат есть? — Никто не отвечал ему согласием.

Володя старался не суетиться. Расставлял тарелки, банки, изо всех сил пыжился сойти за самостоятельного человека. Но разве это выйдет сразу, даже если и способности есть какие. Опять, как в Быстром Истоке, все сыпалось из рук, гремело, звенело, брякало... И он в результате оказался в стороне и от стола, и от разговора, который вели сотоварищи с его отцом. Он видел, что друзья подзуживают отца, вроде невинно, но с умыслом и обидным прицелом, а ничего поделать не мог.

«Видать, прав отец — бабий характер». Он махал виновато своими длинными ресницами, две щеки горели маками — не парень, а девка. Мать так и смеялась: «Девчонкой хотел родиться, да в последнюю минутку передумал, наскреб на лишний пальчик и на тебе — парнишкой явился».

— Скажите, — продолжал свои подковырки Стас, — отчего деготь такой резкий и что вообще за фрукт?

Ларионыч, не подозревая яда, степенно растолковывал:

— Деготь — это такая смола, выгоняют его, выкуривают, как бы сказать, из бересты. Продукт наиважнейший: и колеса смазывать, и внутрь принимать можно. Без дегтю, как без соли, мужику существовать было нельзя.

— А вы не привезли с собой попробовать?

— Только на сапогах.

— Ну, в таком случае, — Стас принял гусарскую, опереточную позу, — от комнаты номер девяносто пять позвольте вам выразить нашу признательность за то, что вы воспитали такого сына. Сын крестьянина, а не кулачок, не скупердяй... всеми продуктами, что вы его усердно снабжаете, он делится с нами безотказно. Я донор. Понимаете, что это такое? Я кровь свою отдаю людям и вашим салом восстанавливаю! Так что свињьям вашим привет!..

— А ты, значица, Стасик, сало любишь... ну-ка, подойди поближе, сядь рядышком, не бойсь... я тебя научу, как воспитать хорошую свињью...

— А мне зачем их воспитывать?

— Не торопись, не отказывайся раньше времени, вдруг тебя не пустят представлять, в свинопасы пойдешь... крестьянское ремесло никому не лишнее, учти... Значица, так... нарубаешь ведро травы, добавляешь стакан соли да стакан толченых углей, да стакан глины, все это мешаешь и даешь ей...

— И жрет?

— И ты сожрешь, если я намешаю.

Застолица разразилась смехом. Друзья поняли, что дядя не так прост и Стас проиграл подначку, но он не сдавался.

— А стекла битого а... для вкуса... а?

— Стекла не надо. Стекло надо давать курам, обязательно, да... А вот гуси, значица, утки — те и железо употребляют. Разбери мотоцикл у них на глазах, в момент от него ничего не останется, все поглотают, все болты, все гайки... У нас сосед из-за них, дьяволов, чуть бабу свою не убил. Помнишь, сынок?

Володя кивнул. Хотя ничего подобного он не помнил и вообще изумлялся отцовской нынешней разговорчивости, балагурству его.

— Разобрал лисапед, глядит — ни колпачков, ни гаек. Он на жену... чуть не убил. Ага... А осенью стал бошки гусям

хватать, глядит — там, у них внутрих... Лисапед сожрали, черти... А вы, ребята, чего картинки религиозные на стенки навешали? Вы смотрите мне тут, Володьку в какую-нибудь веру не обратите.

— Он сам обратится, никто ему помогать не будет, — Романовский с грустью посмотрел на прилепившегося с края стола Володьку, — без веры жить нельзя. Толстой говорил, что вера есть сила жизни. Если человек живет, он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Это сказано точно...

Романовский страсть как любил показать свою ученость, прикинуться этаким «предводителем дворянства», завесить как бы невзначай над всем собранием ни к селу ни к городу иной раз притчу Соломонову, ввергнув тем самым на некоторое время всех в недоумение.

— А вы, ребята, не думайте. Правильно, значица, Лев Николаевич понимал, вера — сила жизни, это так. Вот и вы верьте, что для добра живете, для будущих поколений, для будущего коммунизма... Да вы ешьте, ребята, ешьте, салом закусывайте, а то опьянеете.

Произнесли несколько обязательных тостов, провозгласили здоровье отцов и детей... В комнате дым коромыслом и густой, терпкий, как патока, сложный дух от присутствия мужика. Парни переглядывались. Похоже, им нравилось, что вот так, запросто сидят с мужиком, ведут разговор и ничего, вяжется...

— Вот вам и ответ на вопрос — почему ваш сын не остался, как вы изволили выразиться, воспитывать свиней. Да потому, наверное, что ушел на поиск своей веры, — подтягивал подиругу беседы артист знаменитого театра, — и пусть это будет вера в искусство, что плохого, была бы вера... Из-за нее он и отца с матерью забудет и, их гневом и слезами мучаясь, обретать в том страдание будет, а в страдании силу художественную находить... Ради красного словца — не пожалеешь и... Это сказано точно...

— Не за верой он ушел от папки, — отрезал Ларионыч. Он вообще не любил этого слова и не понял, куда гнул Романовский, — он легкой жизни захотел, белоручкой стать решил, крестьянского ремесла погнушался. Сын крестьянина — косить не умеет, срам какой, грабли из рук выпадают, а ложка держится. А представлять косаря надо будет?

— Научусь...

— Да нет, поздно может оказаться. Вот и видно станет — и не крестьянин, и не артист. Да разве он один убежал в город? Ладно, с него еще спросится за это не один раз.

Мысль эта кольнула сына. «Не крестьянин и не артист». Кто-то говорил ему подобное. Да не он ли сам? Конечно, он, когда на занятиях ревел от собственного бессилия... Неужели отец приехал для того, чтобы навеки укрепить в нем это сомнение, перерезать сухожилие его и без того нестойкой веры? И почему убежал? Ведь он сам отпустил...

— ЖМИ... ЖМО... ЖМЫ... — Дверь отворилась, всунулась голова Чиркина. — Лин, в вашем чайнике Менахин рубаху варит.

— Зачем? — не сразу понял Лин.

— Говорит, чтоб чище была. Слышишь?

Из кухни доносились рулады лирического тенора: «О соло миа... а... а... а».

— Да он что, идиот? — взревел Варфоломеев.

— Нет, он просто учится на оперетте... ЖМИ... ЖМО... — И Чиркин пошел.

— Стас! Ты куда смотришь, донор! Стас выскочил, рулады прекратились. В комнате № 95 продолжался разговор. Колька речь держал.

— Понимаете, Степан Илларионович... это проблема давняя: город — деревня... деревня — город. Ваш сын учиться ушел. С его профессией... в деревне... сами понимаете... А вот мы с телевидением в подмосковном

колхозе были. Заработок хороший, клуб замечательный, а молодежь уходит в город. «В чем дело?» — у девчушки, у завклубом, спрашиваем: местная — знать должна. Не задумываясь отвечает: «Любовь! Ребята, — говорит, — неохотно гуляют со своими, да и девчонки предпочитают городских. Девчонки идут на фабрику, там работа не легче, но смену отстояла и гуляй себе. И замуж выйти легче. Девчонки боятся просидеть молодость, в городе мальчиков больше, проще с любовью. А здесь попробуй, вот осень подойдет — картошку убирать, спина отстанет с семи до семи, а дома хозяйство — руки во что превращаются...»

— Постой, постой, — перебил его Ларионыч, — это все девчушка говорит или ты так мыслишь?

— Она, она... ребята, говорит, чуть рассвело, он трактор завел и уехал — и дотемна... придет, умоется и спать... отдохнуть хоть немножко, а вырвется погулять — от него мазутом, и девчонки на этот мазут, как на мед, потому что он один, он и копаются: «Та не хороша, эта не та...» Ладно, говорим, любовь — причина веская, но девчонки, допустим, бегут за нею в город, а ребята? Ребятам любви везде хватает, а все-таки в первую очередь они бегут. Почему? Отслужил армию и не возвращается, а если вернется, попьанствует, похулиганит и смоемся в город. Почему? Молчит. Ну, скажите, ответьте мне, крестьянин, почему от вас народ бежит?

— А почему это я тебе должен отвечать? Чего ты меня допрашиваешь, понимаешь. Молод еще!

— Слушай ты, землекоп! — крикнул на Кольку Стас. — Кончай свой колхозный базар...

— А... а... не знаете, а мне кажется, я догадываюсь!!

— Ну, конечно, вы о земле понимаете больше, чем те, кто работает на ней!!!

— Бес-хо-зяйственность! — почти кричал «землекоп» с телевидения, который взнуздal своего любимого конька —

ставить перед партнером на попу неожиданнейший вопрос и самому из него выкручиваться винтом. — Лишили крестьянина главного, ради чего он жил на земле, отняли у него охоту хозяйничать самому. Труд механизировали, а он не в радость мужику стал. Что он имеет с того, что на земле трудится? Не хлебом единым жив человек, — он почти бегал по комнате, выбрызгивая слова, будто стакан купоросу хватил, — что посеешь, то и пожнешь — это конкретное дело для мужика было. А сейчас? Чего он сеет, чего жнет, какое ему дело? Он свои двести рэ получил и — гуляй не хочу, в магазине купит и ругается, если не оказывается. А земля, как баба, ей одного, но своего, хорошего надо, тогда и плод будет.

— А хлеб на столе, это чей же плод? Вы тут чей хлеб едите, чье сало трескаете? Кто же, по-вашему, на этой земле сейчас хозяйнует?

— Я... вы... он... они, а в результате никто. И это не мои слова, хотя я за них на двести процентов, это слова колхозного бригадира, когда мы ездили с телевидением в тот самый подмосковный колхоз...

— То-то и оно, что не твои. Не я этому бригадиру председатель, шельмец какой. Он вас, буряков, за возврат к частной собственности агитировал, надеялся, что вы по глупости на всю страну об этом ляпнете... провокатор какой, ай... ай... яй, — Ларионыч рассердился. Атмосфера в комнате стала нагреваться.

— Нет, подождите, — заинтересовался спором Лин, — зачем так обострять: «провокаатор»... «агитировал»... «частная собственность»... подождите... Но вы что, на самом деле до сих пор считаете, что колхозы сразу стали лучшей формой землеустройства... и ничего лучшего нельзя было... или...

— Да, считаю...

— И надо было так сразу... одним махом-побивахом... без нюансов... без подготовки...



— Да, сразу надо было решать этот вопрос. Сразу и круто, — Ларионыч поставил кулаки на стол и распрямился, — иначе нас бы задушил частный элемент. В каком окружении страна находилась? А сколько внутри ножей точилося в спину? Вы знаете об этом?

Володя вспомнил рассказ тетки Елены, как отец девочку раскулаченную спас. Он знал, что для отца это великая тайна. Он молчал о ней всю жизнь. Но прошло столько времени, может, теперь уже можно вспомнить об этом. Ему хотелось погордиться отцом, и он не выдержал: «Будь что будет, не век же молчать, раз на то пошло-поехало».

— Отец, расскажи, как ты Варю Снегиреву спас, которая уполномоченную кислотой обожгла... та шубу отбирала, что ли, у матери... ее?

— Ты про это где слышал?

— Тетка Елена рассказывала...

— Собираешь все сплетни, понимаешь... К чему тебе это, наговоры про отца всякие слушать... уполномоченная перегнула, конечно, было это...

— Расскажите... расскажите... эту историю, — загалдели за столом.

— Никакой истории не было... придумано больше. Хватит, — оборвал Ларионыч.

— Но ведь сами говорите, перегибы были, и какие! «Недаром помнит вся Россия»... — наседали Коля.

— А вы как хотели... на боярку забраться и задницу не ободрать. Так не бывает, не верите — полезайте попробуйте. Во всяком большом деле недоучет случается. Но не для того столько крови пролито, чтобы вернуть первоначальную жизнь...

— Вот это поворот, — Стас аж взвизгнул от восторга, — да кто говорит вернуть? Зачем слова передергиваете? Мы тоже думаем, как сделать лучше, что сочинить, какие книжки прочитать для того. Ведь и наши дети на этой

земле бегать станут. И нам отвечать придется... даже на-верное придется.

— И перегибы были, правильно, чего скрывать... Мне самому иногда, понимаешь, лодырей бичом приходилось из-под брички доставать. Это была моя агитация и тут же пропаганда. А как вы думали, человек не ангел, и об этом вопросе партия до конца и честно народу сказала...

— Без покаяния мы не можем. Согреши, покайся и дальше поезжай, это сказано точно... только сваливать на одного — не-ди-але-к-тич-но, — прорезонировал артист знаменитого театра.

— Прошлое вспоминаете, так вспоминайте по всей форме — и за и против... а не петляйте вокруг да около... Только, мне думается, вы еще мало об этом знаете... На слякоть клюете больше.

— Мы не петляем. Какой нам смысл, пусть петляет кто-нибудь другой...

Но Ларионыч будто не слышал. Впившись глазами в чьи-то глаза, тоном, заранее отрицавшим всяческие возражения, тащил Ларионыч свою мысль, никого не слушая, не обращая внимания на самые колючие слова. К такому приему он прибегал всегда, когда возникала необходимость во что бы то ни стало люто развернуть народ в свою сторону. И часто удавался ему такой маневр.

— А сколько врагов-provokаторов было, вроде того бригадира, что вас с толку сбивал... Но войну мы выиграли, вы забыли?! А кто фронт кормил и тылы обеспечивал... А? Я вас спрашиваю: кто? Колхозы наши через такие испытания прошли и выполнили задачу по поддержанию населения, а не частные элементы...

— Да, бабы на коровах пахали, — доступную информацию подбросил Колька.

— Да, бабы на коровах... для победы, для того, чтобы ты тут сейчас сидел и со мной про эти вещи рассуждал,

телка впряжешь, понимаешь, и поскачешь, а как вы думаете...

— Так мы и в восемьсот двенадцатом Наполеона прогнали, а тогда и вовсе царь трусливый правил...

Ларионыч опешил:

— Вы что, ребята, взбесились, при чем тут царь?! Народ победил...

— И в сорок первом все тот же многострадальный, но непобедимый, великий русский народ и отец мой, погибший за четыре года до войны, — впилил сирота Лин, и атмосфера в комнате достигла предела перегрева.

Ларионыч долго молчал. Молчали все. Потом Ларионыч растерянно произнес:

— Я и говорю — народ...

— И мы говорим — народ, а не отдельные граждане: цари, фельдмаршалы, герои и прочие частные элементы, — окончательный клин вбил Лин, как будто ждал сигнала для этой своей каденции и весь разговор должна была заключить она.

Ларионыч был поражен. Эти люди оказывались в сговоре. Они дружно ковыряли его старые раны, как маленькие дети, не ведая, что творят, прутиками через решетку дразнят больного зверя. Он раздражался, потом отходил, снова закусывал удила, снова отходил. Мучительно, горько, с каким-то стоном душевным и с состраданием к напротив сидящим, пытаясь наставить на путь истины неразумных:

— Ох, дак я смотрю, ребята, вы, однако, газет не читаете. Вас зачем грамоте-то учат? Чтобы вы разбирались в жизни, а вы такое непонимание основных событий показываете. Да вы знаете, кому ваша вольница на руку?

— И газеты читаем, и радио слушаем, и на парады ходим, — сказал Володя. Сказал больше для ушей Стаса, но отец уловил, аж зубами скрипнул от злости, высек взглядом, и весь гнев спустил на сына.

— На парады... язык-то распустил, а ума не набрался! Ты мне скажи, анархист Бакунин, ты зачем от папки ушел?! Эти разговоры поддерживать?! Кто тебя на плечах по больницам таскал... Кой черт тебя из дому смыгнул? Ты комсомольцем из села ушел, руководителем молодежи! И за полгода ревизионистом стал?! Ты чей сын, ты помнишь?! Крестьянина-коммуниста, понимаешь, или цыгана-ворожея, что в бане ночевал? Дед землю пахал, отец на земле советскую власть установил, а для кого старались? Для кого? Коль ты первый к этой земле любви не имеешь... Нет, я тебя спрашиваю, ты зачем это сделал?!

Ларионыч сидел багровый. Кровь кинулась к лицу. Он не ожидал, что вопрос, который казался давно решенным и никакой неясности уже не представлял, возникнет снова, как прорва на дороге. Это был вопрос нужности его жизни, нужности пролитой крови, своей и чужой.

Надвигалась гроза, и надо было что-то делать. Володя знал: коль скоро отец начинает только спрашивать и не ждать ответа, это к беде, к большому шуму, и он моргал друзьям, толкал незаметно, давил ноги под столом, дескать, не дразните... отвлеките на другое... Да они и сами поняли, испугались, что перегнули в своей лиховатости, и это уже не тот мужик, что им про воспитание свиней заливал. Такие глаза, как у этого дяди, они в кино у хороших артистов видали, когда те о классовой борьбе вопрос на ячейке ставили... Они впервые наяву почуяли огромный человеческий гнев, что зовется святым, который не затуши, раздуй — кровавой рекой забурлит.

«Ах, какая запредельная нескладеха вышла! Ну, помолчи, кто умней, и останься при своих, зачем гражданскую войну за столом затевать, — мучился Володька. Ему давно хотелось заступиться за отца, но с какого конца подступить? И вот на тебе — защитил «парадами». — И есть ли в этом споре, в этом дыму какой-то правый смысл? И кто прав, и могут ли здесь неправые находиться? Тогда где

они?.. Просто уступить надо... завтра уедет... зачем злить... и с каким сердцем уедет... Знают ли они, что он с фронта без всяких гостинцев, без всяких трофеев пришел, с одними ранами и пустым чемоданом, где только кинжал брякал... Да прожженная шинель на плечах болталась, которую он берег, как золотую, и ругался на мать, когда она с видного места в темный угол ее перевешивала, где бросовые вещи хранились и часа ждали. Могут ли понять они, что он потому и дома часто не ночевал — по колхозному хозяйству своему мотался и в бураны несусветные дохой своей собачьей свиноматок накрывал, чтобы падеж сократить, так старался авторитет колхозный поднять».

— Быть или не быть? — решал в коридоре свой бесконечный вопрос высокий, стройный узбек Ибрагим, скрестив руки на груди и посылая свой вопрос кому-то еще выше его, и, видно, не находил ответа — ему мешали дерущиеся тут же на шпагах и деревянных ножах трое парней, которым предстояло решить тот же вопрос завтра перед комиссией по сценическому движению. Свистели шпаги, падали деревянные ножи, и комендант смирился: «Пусть спорят, раз надо».

— Ибрагим, — прервал мысли узбека албанец Мисто, — у тебя томат есть?

— У меня томат есть, дорогой, — сказал узбек так, что вздрогнули веки простодушного албанца.

— Дашь?

— Какой может быть разговор: дать или не дать, всегда лучше дать.

А в комнате № 95 дело, кажется, шло к примирению.

Романовский, в который раз за этот вечер рассматривая рублевскую троицу, то приближая ее к свету, то отдаляя от него, как бы даже осеняя ею всех, менторски опускал слова на головы ближних:

— Не сердитесь на них. Это пройдет. Для вас это глубоко... серьезно, ранимо. Жизнь в защите этих идей прошла ваша... Для многих из них это пока еще баловство больше! Показуха. Начитались газетной болтовни типа: нужна или не нужна современному крестьянину русская печь... Вот и куражатся. Хоть мало кто из них спал на этой печи. Но не сдерживайте их, будьте великодушны... Не натягивайте на них узду раньше времени, они порвут ее. Вы помогите им. Их бесстрашие надо поощрять. Может быть, кто-то излишнее злорадство проявил — учтем, он и сам, наверное, понял. А сын ваш, что же... Вы хотите вернуть его к земле, назад, в деревню... Нет, это невозможно... И потом, вы для него и корову продали. А оттого, что он будет жить в городе, он не станет меньше любить свою землю, нет. Может быть, больше. У вашего сына способности к сцене. Колька, как всегда, напишет гениальный роман...

— Напишу, Владислав, не волнуйся, честью своей клянусь...

— Вот видите. Напишет, раз пообещал, а сын ваш сыграет еще лучше, чем напишет Колька, и прославит село ваше, откуда уехал на корове. Вы еще гордиться им будете...

— Ай... яй... яй... ребята, ребята... Шолоховы вы мои... Маяковские... Что же из вас дальше-то вылушится, — сокрушался Ларионыч, — когда вы сейчас такую развязность, такую нескромность проявляете. Стыд какой...

— Скромность, ах, эта скромность... По Далю: скромный — это кроткий, невзыскательный за себя и т. д., — начал медленно, как бы разматывая сокровенную тайну, донор Стас. — А я хочу быть взыскательным и за себя и к себе. Всю жизнь мне рот затыкали этим словом. Только в наш век оно такое дикое распространение получило. Скромность только у девицы должна присутствовать, когда «маман-папан» были. Как-то в школе нам задали сочинение на тему «Слово о полку Игореве». Это «Слово»

мое евангелие от литературы... Я накатал на двенадцати листах, как умел, изложил, пусть корявые и наивные, но свои, впервые собственные мысли и получил... «кол»... Много ошибок сделал. Мне показалась эта оценка моего труда неправильной. Если бы я сделал как всегда: переписал чужое и кратко, я бы получил «уд.» в худшем случае. Заявил протест учительнице: дескать, трудился в некотором смысле, здоровье потерял — от переписки мозоль на среднем персте. Хотите, говорю, на спор? На доске на любую пройденную тему сочинение простыми распространенными накатаю и ошибок не сделаю. На что учительница сказала: «Тебе, Пеньков, скромнее надо быть». В общем, в ответ на «кол» и этот упрек я написал трактат «О скромности и преподавании литературы в школе». Основная мысль — в школе меня учат не литературе, а скромности. Эпиграфом слова Данте вlepил: **«Нежась на мягкой перине, славы себе никогда не добудешь»**. Прочитал в классе, хотел в журнал отослать, но меня опередил директор: «Если, — говорит, — ты будешь писать пасквиль на нашу школу, аттестата тебе не видать, как собственных оттопыренных ушей». Ладно, думаю, затихну, скромным стану до окончания школы. Опоганили слово... к делу и не к делу стали им швыряться. Мы, простые люди... шпунтики... винтики... а в целом — великий народ. Так не бывает, из нулей целое не складывается...

— Стас! — окоротил его хозяйским жестом Лин. — Подай мне кусочек сала и не заводи эту слесарную бодягу со шпунтами и винтами. Сходи лучше за чайником.

Стас повиновался.

— А у нас в театре в нескромности и, более того, в наглости обвинили одного пожилого артиста, который, как пенсия подошла, стал требовать звания заслуженного... — продолжал трактат Стаса о скромности Романовский. — Директор с ним по-товарищески беседовал, на месткоме уговаривали, просили освободить место для

молодых, помочь театру... нет, уперся: давайте звание — уйду... Вынудил — дали... И никому, конечно, в голову не пришло, что звание, оказывается, давало ему право хлопотать для себя два метра земли на могилу. Он не хотел гореть, он хотел лечь в землю, и чтобы у него была своя ограда, и чтоб кто-нибудь приходил и песочком дорожку посыпал, на скамеечке сидел и цветы приносил. Пусть хоть не слава фамильная от него останется, так хоть ограда могильная...

— Да зачем она вам, слава эта, ребята... Вот она, однако, ваша вера... вы работайте, работайте над собой. Зачем кричать, всякую глупость на себя наговаривать раньше времени. Хотел бы я на вас, ребята, лет эдак через двадцать взглянуть: какого Лазаря вы петь станете. Собьет жизнь спесь вашу, помяните мое слово. Хорошие люди всегда скромностью отличались.

Ларионыч полез в мешок, достал что-то завернутое в белую тряпку:

— Натe вот, ешьте, мать послала.

Это оказались лепешки из черной смородины. Парни быстро сообразили, в чем смак, распаривали лепешки в кипятке, жевали, жмурились от удовольствия. И смородишный дух погнал по всем щелям табачные ко-ромысла и осадное настроение.

«Смородина росла по забокам, островам, прибрежным зарослям... пропасть сколько смородины у нас на Алтае, — глядя на лепешки, вспоминал про себя Володя. — Бабы брали ее нещадно и все-таки не выбирали всю, и она доставалась осенним птицам и ветрам, а которая и осыпалась, обиженная, что ее не выбрали. На смородину бабы, а иногда и мужики устраивали целые облавы. Как сортовой крыжовник, крупная смородина, разве сравнить с культурной, сладкая, как изюм, и душистая, не сравнить ни с чем. Можно себе представить, какой дух славный от нее, если мужики предпочитали заваривать чай сморо-



дишным листом, а не китайской стружкой. И в солонину: капусту, огурцы, помидоры, арбузы — обязательно для вкуса клали смородишник. На зиму, само собой, варили варенья и стряпали вот такие смородишные лепешки: мяли ягоду с сахаром, намазывали листы подсолнуха или капусты и засушивали на солнце или в русской печи. Зимой в сорокоградусный мороз как распарят бабы эти лепешки на пироги! И в каждой избе летом пахнет, как сейчас в этой комнате...»

Грустные мысли текли к Володе и уплывали по щелям общежития с дымом, словно сто лет прошло с той поры, как кинул он смородишные забоки, и уж не вернуться к ним никогда...

Боевой дух остыл. Смородина сморила и примирила всех. Один Ларионыч журчал и журчал, прихлебывая чай из огромной походной кружки, будто хотел выговорить все, что подошло, подперло под самое горло, будто чувствовал, что другого такого разговора уж не будет в их жизни, не будет никогда.

— Я не сужу, конечно, городскую систему, кто живет в городе, пусть живет, но если у человека корень в земле, не стоит его извлекать оттуда. Тоска его съест. Но еще заметили люди, значица, что немногие отбывшие в города приживаются на новом месте. Поначалу вроде и хвалятся жизнью новой своей, а потом, глядишь, вертаются обратно. Но пока блукали в поисках хорошей жизни, подрастеряли чего-то и хоть вернулись обратно, а не приживаются долго и как чужие все равно. И там не стали жить, и на эту жизнь, старую, смотрят как бы свысока, как будто секрет знают какой. А чего же вертались тогда, и жили бы себе там, куда уехали. Родина... не только умирать человек возвращается к ней, но жить, жить... Так и надо жить, нечего мудровать, нечего мудровать — надо жить...

Выучился бы на агронома, на худой конец, на врача, если в интеллигенцию потянуло, женился бы на

работающей девушке, приехал бы к папке, папка бы ему дом, значица, справил, с садом, понимаешь, и жил бы в свое удовольствие, для пользы населения. А в вашей сутолоке здесь и семьей не обзаведешься, и ребятишек не создашь!..

Стас поднялся:

— Насчет детей — не знаю, но сам скоро женюсь, перестану сдавать государству кровь, пропишусь и уйду из этой комнаты номер девяносто пять, но с детьми подожду, — Стас победителем оглядел друзей. — Зачем художнику, по природе своей одинокому страннику, семья и особенно дети? Наша старушка по балету говорит, что дети на дороге славы большая помеха. Правда, под старость теперь она осталась одна со своим пуделем и не расстается с ним ни днем ни ночью.

— Тьфу, ты... мать вашу, прости господи, на грех наведете! Эта старушка у вас несчастная, значица... Человеку, кто бы он ни был, без семьи и прожить нельзя никак, это вы знайте. Собака — друг, конечно, но заведи ты себе хоть ферму кобелей, они не принесут тебе на могилу охапку ромашек, значица... это вы помните.

— А дети принесут? — спросил Колька, глядя в сторону Володьки.

— Какие родители были, — зевнул Романовский.

— Какие бы ни были, они — родители, и уважайте их. А если умные очень, то учитывайте их ошибки и не колите им глаза лишний раз, может, они свои ошибки знают лучше, чем вы себе представляете. Вы своих еще больше не понаделайте... А то ведь жизнь пройдет... и ваша... и не заметите. Прогоняетесь за своей славой, повертитесь за ней, как пудель за собственным хвостом, и никуда не уткнетесь... кроме как... Ладно.

Ларионыч остановился. Он уже давно говорил больше сам для себя, думы свои выговаривал, и хотелось ему очень хоть немного отдохнуть.

В дороге он притомился очень. В поезде спать не мог: все мысли одолевали, все разные, так и ворочался с боку на бок от них, а они все не кончались. Ехал трое суток в полудреме, в полусне. Трое суток не раздевался. Шибкий холод по всему пространству стоял. Доху, правда, на ночь снимал да сапоги стягивал, но портянки не раскручивал, хоть и дополнительные одеяла выдавали.

«И потом, эта вонь паровозная, ну, прям голова от нее расшибается».

И не было уже другой мысли, как мечтать об отдыхе, видя при этом аккуратно заправленные кровати. «Чуть, правда, коротковатые, но можно стул подставить, если что, а под голову опять же доху сунуть, чтоб повыше...»

— Причастие... причастие... — с дьявольским прононсом прошипел Лин, но никто не обратил на это внимания, устали все.

А Володя повеселел — гроза миновала. Настроение отца было всегда для него барометром. Он не знал, что разыграется через час, что богомерзкое дело впереди. Не заметил он и того, что Лин давно уже ухмыляется погано, выискивая чего-то носом в атмосфере комнаты. А тот, поймав момент, видя, что гость совсем роняет голову на грудь, скомандовал без промедления:

— Давайте, други, разбежаться. Вы, товарищ, ложитесь, отдыхайте с дороги, а мы договорим в другом месте, сообразим, как нам жить завтра, что исправить в своем сознании и т. д.

**Через полчаса Ларионыч крепко спал. В шапку Лина упали первые медяки за сеанс причастия...**

## Сон

«...Мама, я летаю... Ну пойдем на улицу, ну посмотри, как я, оказывается, летаю...»

## Книга первая

«Сынок, ну подожди, не видишь, у меня блины горят. Покажи здесь, как ты летаешь».

«Здесь мне низко. Я в потолок ударюсь. Я с голубями сейчас полетаю, пойдем, мама».

Вышли во двор. Мальчик взмахнул руками и остался на земле.

«Подожди, мама, я сейчас, сейчас...»

Он сильно-сильно захлопал руками, хотел пролететь хоть немножко, хоть чуточку самую, но почему-то не получилось.

«Ну что же это такое, ведь я только что летал аж выше крыши».

«Ты спал, сынок, а во сне все летают в свое время. Это значит, ты растешь».

«Нет, не во сне, не во сне... я сейчас от нашего крылечка оттолкнусь...»

«Ну еще чего... Ноги хочешь себе решить? Не плачь, сынок, вот вырастешь, может, и научишься, и полетишь. Да разве ты видел, чтоб кто-нибудь в нашем селе летал? Петух с крыльями, и то всего и может, что с перепугу на плетень, а голубей твоих ночью кошка съела. Иди, поешь лучше блинчиков кружевных».

Мальчик ушел в огород за баню, где стоял крест из тополиных палок над его Угольком, поплакал маленько, что не летает, и пообещал научиться.

### В Быстром Истоке

Придя в сознание, Володя понял, что его уложили на матрасе близ кровати отца. На полу в темноте перед ним ясно возник ужас случившегося, все поганое, мерзкое, нечеловеческое, соучастником и виновником которого он стал. Чья-то злая воля швырнула в его жизнь эту безобразную ночь. Он предал своего отца, себя в нем, весь род, и это теперь на всю жизнь, и нет тому оправдания,

хоть и по неведению предал. Полгода всего как он жил без отца-матери, один на один с чудищем-городом, в который приехал с гармошкой и в шароварах. Но и это не оправдание. «Скорей бы отец уехал и не узнал об этой ночи, чтоб не почуял недоброго, чтоб не успел рассказать ему кто». Только в неведении отца искал Володя соломинку свего завтрашнего спасения, а сам как-нибудь...

Как далеко все, как далеко... За опаленными и заснеженными полями, за высокими и низкими горами, за ручьями и реками, за миллионными городами и копеечными деревушками, где-то в тридесятном царстве затерялась его родина с чудным названием Быстрый Исток. В этом Быстром Истоке мать и братья с сестрами, тетками, дядьки, дальняя родня и близкая. У каждого человека есть родина, и каждому она пахнет по-своему, но для каждого человека родина пахнет детством.

Память — штука удивительная: она погасит в сознании бином Ньютона, но не сотрет, не вытравит временем запахи детства, и опять, наверное, потому, что бином один для всех, а запахи для каждого свои, разные, потому что свои корни у всех.

Володя не помнил совсем ни одной бабки, ни одного деда ни по отцу, ни по матери. Они ушли в землю до того, как случился на ней он.

От них не осталось даже могил. Никто не знал, все забыли, где они лежат. Могилы утеряны... Как так утеряны?! Почему утеряны, почему крестами не означили, не крестами — камни почему не положили или памятники не поделали?! Это же неправильно, ведь надо же их навещать, их души тоскуют в ожидании. Он пугался, что и его могила заброшена будет и забыта. Ему объясняли. «Когда умерла твоя бабушка, ты в пузе у матери находился, в другой деревне. Но бабушка пеклась о тебе уже и таком. Не велела сообщать матери, чтоб не испугнуть тебя своей смертью. Да за могилами ли было глядеть, когда все смотрели в

ту сторону, где шла кровопролитная, одна похоронка, другая... сыны гибли, мужья, отец твой пули в себя хватал одну за другой... А могилы и сейчас не чествуют, хотя все до отвала наеты-напиты».

Утеранные могилы тревожили отроческую душу. Он искал родные тени по всем знакомым погостам, но ни один крест не ответил ему. И он выпрашивал у отца с матерью о своих предках, выуживал капельки свидетельств у теток... Ему хотелось размотать клубочек свой от мига, как он стал **быть** до появления на белый свет. Может, это рай и был, та самая жизнь в материнском чреве? Не о нем ли тоскует человек, его покинув?

А что с миром творилось, пока он там жил и собирался, и как мир готовился встретить его? Что мать делала день за днем, кого любила и ждала каким, пока неумолимо сокращался срок его блаженства в утробе ее? И что за сны он там подглядел, что явью обернулись здесь? Как узнать, от кого взялся ты и в кого уродился? Пращуров нет, а родители много ли про себя знают? И все-таки... Оказывается... Все сходились на том, что он был очень схож по характеру с дедом по матери Федосеем. «А раз так, значит, я уже когда-то был, — думал Володя, — дед ушел, а я пришел. Надо узнать, каким я был дедом, то есть каким сам дед был».

Дядька Иван Федосеевич рассказывает

— ...Федосей, отец наш, божьим человеком слыл, но не в том понятии, что с умственным недобором, а оттого, что жил и поступал часто не в свою выгоду, не для себя жил то есть, и выходило не по-людски вроде... Сам в бога не верил, а заповеди соблюдал строго и нам велел... «Они, — говорил, — заповеди, умными людьми составлены, опытом мирским собраны, а рисованный бог ни при чем...» Однако матери не мешал зубрить с нами «Отче наш». Она была куда оперативнее и решительнее его. И он часто

пользовался ее советами. Отец всех жалел, хотел всех перевоспитать словом, положительным примером повлиять... Сохой пахал. Я-то нет, я-то уже плугом железным пахал. Забрали Федосея Харитоновича, отца нашего, на Первую германскую вшей кормить. Три года он их кормил. В окопах сошелся с коммунарами. Пришел домой. Бога из дома выкинул, кресты со всех посымал и сказал, что всем надо подаваться в коммуны. В коммунах были люди разные: кто любил работать, кто — нет, начали ругаться, драться, и развалилось все. Везде они, коммуны эти, развалились, потому что неправильно было организовано это дело, не с того начали. Народ темный, сознательности никакой. Думает, раз курицу свою сдал, корми его задарма. Федосей был мужик передовой, верил в новую жизнь, откликался на все призывы. Вот так откликнулся — поехал на строительство Кузбасса, да не доехал, по-видимому, до него... Слухи до нас печальные дошли... Правда, разные версии его гибели передавали. То, будто почту он вез, и на него напали и в прорубь спустили, то вроде в забое с ним кто-то рассчитался. Справедливый был. В общем, уехал на Томь-реку и — как колун в воду... Документы-то подкинули потом в столовую, а вот предал ли его самого кто земле или мучается где посейчас... — непогребенный?

### Мать рассказывает

— Бывало, обоз идет из лесу, все позастынут, бороды в сосульках, просят переночевать к одному, к другому, а те все отсылают их к Федосею Харитоновичу, отцу нашему, отговариваются: «Вы знаете, у меня жена шерстяные дорожки постлала и детей нет, а вон дом большой, у них и дорожек нет, и детей много, так они всегда пускают — идите к ним». Вот приходят, Федосей всех располагает, велит маме ужин подавать. А ужин всегда в печи: чугуны ведерный щей, чугуны каши, кипятку... умываются, вешают четверть,

сажаются всем обозом и начинают посиделки. Федосей Харитонович, царство ему небесное, любил поговорить о жизни. Не помню, чтобы он в чем кому-нибудь отказал или слово грубое молвил. Нет. И грамотный был. Всех многочисленных детей своих, то есть нас, сам учил писать, читать и, бывало, наставлял: «Плунут тебе в одну щеку, а ты утрись спокойно и подставь другую». Всех мирил на селе, к нему мужики за советом в драчливых делах шли... Однажды среди друзей вспыхнул матерный спор. Федосей Харитонович начал поворачивать и настраивать на мирный лад, но получил за это взбешенный крик с плевком в лицо. Все ахнули. Но Федосей Харитонович не повысил и голоса, а спокойно, с выдержкой паузы отер лицо и сказал: «Ничего, все будет хорошо, а тебе, друг, спасибо за науку». Эта его сила выдержки привела потом провинившегося с покаянием и мукой: «Прости, погорячился!» — «Ничего, ничего, забудь обо всем. Одно помни: ты — человек».

В наше село, помню, каким-то образом судьба забросила татар. В те годы по своей умственной непроходимости считалось большим грехом оскоромиться с иноверцами. Им тяжело жилось среди нас. И когда умер их отец, то никто не хотел предать земле покойника из страха перед наказанием божьим. Наш отец пришел к ним в избушку, снял покойника с печи, завернул в свою палатку, унес и похоронил. Вот поди же ты, в Бога не верил, а все говорили — «божий человек». А вот похоронил ли кто его самого?..

«Неужели я в деда? — До боли вглядываясь в пожухлые фотографии и на себя в зеркало, сличал Володя. — Как это? Тебе в щеку... а ты другую? Надо ли прощать так? Это до чего дойти можно? Нет, надо уметь постоять за себя на крутых поворотах».

Но за него самого стояли в основном братья да сестры. Он был последний — «поскребышек», как говорила мать, и



в отличие от рыжих своих предшественников был черный, как цыганенок. Мать под большим секретом рассказала ему перед отъездом, что отец до последнего времени сомневался в своем старании к рождению последнего сына, не питал к нему отцовских чувств, и нет-нет да возникал в доме сильный грохот. Только после одной из последних фотографий, где этот «цыганенок» был чертовски похож на него самого, да и соседи начали трубить об этой похожести наперебой, отец понял, что в сыне течет его рыжая кровь, природой переиначенная. «Кто его знает, быть может, в деда Федосея пошел, бывает и так», — успокоился под старость отец и принял за сына.

А тот, в свою очередь, давно научился приспосабливаться к отцу, чтоб не показаться шибко знающим, выскочкой. Никогда ему не перечил, не спорил с ним или уступал в спорах, но признавал неправду свою больше для виду, чтобы не раздражать. Так и жили.

В детстве Володя был хиловат и не шел в счет за мужика. Из работы по хозяйству: на покос там, по дрова или еще куда — его не брали, а если брали, то поручали работу никудышную — подай-отнеси. Но мать защищала и говорила: «Кота ведь не пошлешь». Так он и не выучился крестьянскому ремеслу: ни косить, ни запрягать, ни сено метать. И работа аукалась ему тем же. Все у него из рук сыпалось: дрова начнет колоть — валенок разрубит, скотине пойло понесет — на себя выльет. Над ним смеялись. Он не обижался. Он на покосе играл людям на гармошке и пел песни, это забавляло их, и они прощали его. Но однажды номер отмочил, до сих пор район вспоминает, и ему икается, и еще долго будет.

Как-то в знойную целинную пору назначили его бригадным водовозом — подвозить на лошади воду на бригадный ток. Лошадь ему нарочно запрягли самую смирную — муха резвее. Управлять ею — не автомобилем: не разбежится, хоть оглоблей погоняй. А делов-то всего — начерпать воды

из колодца в бочку. Бочка укреплена надежно, дырка в бочке проделана небольшая, чтоб вода не выплескивалась на ходу. А можно и травой подстраховать, заткнуть. Прежний водовоз затыкал. Володя видал. Так и он, наполнив кое-как бочку, нахватал травы придорожной, законопатил дырку и поехал, благословясь на всю степь, во все горло тонкое распевая с бочки: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...» А солнце палит... А люди ждут... А хлеб идет, ровно стихия, не дает остановиться, дух перевести крестьянам. И наконец, водовоз-спаситель со студеной водой. Кинулись люди к бочке — распотелые, опаленные, в соли и благодати хлебной, стали глотать Володькину воду и ну выплевывать ее, и ну отхаркивать, как отраву горькую, проклиная на чем свет стоит водовоза-вредителя, и с кулаками на него, бедного, и растерзали бы, хоть и председателев сын, да конюх заступился. Оказывается, он бочку-то полынью заткнул. Он знал, что полынь горькая, но чтобы так... Чтобы какой-то пучочек бочку двадцативедерную испоганил до невозможности?.. Нет... Один только конюх старый радовался — лошадям от сапа полынная настойка — самое лучшее лекарство.

Отец же велел Володьке публично, на колхозном собрании принести покаяние и написать заявление с подписью, что не по злomu умыслу заткнул полынью, а по неграмотности. Он свирепел, когда видел сына-неумеху, и не мог в толк взять, как тот таким жизнь-то жить будет. Выговаривал не раз матери: «Работать его нет, а целый день выкобениваться, на это у него ума хватает». И опять мать встревала с защитой: «Для кого безделье, а для кого та же работа...» Может, поэтому в школьной самодеятельности, а потом и в клубной, ловчее и голосистее его был разве только Герка Елашкин. Но он и постарше был. Зато когда накатывала горячая выборная кампания и кони в лентах, с бубенцами только успевали перебрасывать самодеятельных артистов с одного участка на другой,

для Фомина-баяниста и его соловьиной пары — Володи и Герки отец отдавал, не жалея, свою змеиную упряжку — Рыжку и Гоголя под началом однорукого конюха Шаталова, которому тоже велел одеваться по-дорогому, кушаком красным опоясаться и коней нарядить, чтоб глаза у некоторых слепли от зависти... Володя с Геркой пели всегда в конце программы, и народ после их выступления старался успеть перебежать на другой участок, чтобы еще раз послушать, забрасывая по пути кошеву с соперниками пряниками, конфетами и бумажными цветами. Вот тут уж родне краснеть не приходилось. «Ваш-то... ваш-то... во дает!» А брат выдавал награду: «Ничего ты там выпендривался, придется взять тебя на охоту...»

Боже мой! Что это были за дни! Володя ходил с братом и на уток, и на глухарей, и даже на зайцев мать отпускала хрустящими зимними зорями, однако собственной добычи никогда не имел. Ему любо было смотреть, наблюдать, радоваться удаче братовой, но не самому стрелять. А в общем получалось — разевал рот и мешал охоте. От брата он узнал, что глухарей лучше бить, когда они поют, выщелкивают трели — это экстаз у них получается. Когда они просто сидят, подхрюкивают, по ним стрелять зря. Они чуткие, близко не подпустят, только порох на ветер. Но когда затренькали, засвистели, про все на свете перебыли и ни черта не слышат... «На заре, когда бородач заливаает своей шмаре про любовь, когда все на свете для него трын-трава, самый момент его стегануть под корень», — так Ванька учил.

А дед Федосей, рассказывают, складывал на дрожки свою многочисленную ораву и вывозил в природу глядеть и вслушиваться. И не то что ловить-стрелять — распугивать тварей запрещал. Старшим же наказывал брать с собою холщовые сумочки через плечо с угольками и карандашиками, зарисовывать, что видят, и стихи складывать. «Может, у деда ружья не было?» — думал Володя.

Но макушка Федосеева и у брата Ваньки проросла, хотя у него ружье давно появилось и он зайцев приносил. Мыша-то, мышата-то как спас?! Ведь на кой черт был ему этот мыш — брат, сват или дворовая скотина? Это ведь хорошо обошлось чудом — отцу не донесли, а то ведь опять могло случиться, как с «Доватором», неделю на печи лежать кверху задницей...

Разгружали за рекой дрова с баржи для школы. Разгрузкой руководила председатель сельпо, женщина властная и уважаемая в районе. И надо же было случиться на той барже мышу, которого кто-то толкнул в воду или сам не удержался на дровах. Мышь направился к берегу, но как только доплыл, «сельпо» сбросила его обратно. Мышь вынырнул, живуч оказался, как кошка, опять направился к берегу, но уже к другому месту, чуть подальше. «Сельпо» не поленилась, побежала туда, куда он плыл, схватила его и опять забросила в воду. На Ваньке, если можно так сказать, а так сказать можно, шерсть дыбом подниматься начала, и глазенки его опасно засверкали из-под насупленных бровей. Но он сообразил, если заступиться за мышу сейчас, когда тот в пути, «сельпо» утопит его сразу, как только он доплывет. Подождав, когда мышу осталось плыть с полметра, Ванька крикнул что силенок было: «Ты что, мерзавка, делаешь?» Мальчишки замерли, выпрямились, словно от выстрела. Слышно было только, как Обь хлопает о баржу с дровами. Мышь выбрался из воды и смылся, пока все, выпучив глаза в страхе, смотрели на Ваньку, у которого, оказалось, не все дома ночуют. А у него, бедняги, зубы друг о дружку стучали. «Что ты сказал?» — спросила председатель сельпо. «А то, что вы слышали». Отступить было некуда, но ему мерещилось, что люди должны быть на его стороне, хотя слова он, конечно, не те подобрал для спасения несчастного мышата и теперь оказался в положении не лучшем, чем тот в воде. «Ладно, — сказала, подумав, начальница, — давайте

работать, дома поговорим», — и первой взялась за бревно. Работала она жарко, за троих чурки таскала, будто ей это записывалось куда-то. Опять загалдела баржа, всем опять стало как было — тяжело и весело.

«На кой лях тебе надо было разводиться эту брань из-за какого-то мыша, ну и пусть бы утопила, тебе-то что до этого?» — подсмеивались ребята. «У мыша и так жизнь несладкая, и отведено ему на жизнь мало, и не за что его топить, пусть живет».

Но и дома председательша не «поговорила», как обещала, и возмездия за спасенного мыша не последовало. Где-нибудь и теперь живут его пра-пра-пра. И не знают, что ихний родитель чуть-чуть не был утоплен когда-то при разгрузке дров.

Да нет, нельзя всякий сердечный поступок на Федосеевы корни списывать, этак полмира родней окажется. А он, может, и добрый-то был оттого, что слабый был и ружья у него не было. А будь сильнее, он, может, сразу бы и накостылял тому, кто ему в лицо тогда плюнул. Но раз тот приполз извиняться, стало быть, выдержка и правда Федосеева оказались сильнее плевков и кулаков, так или не так?

Все хорошо в родном селе, особенно издаля, но нет добра без худа. Раз в год, а то и два, когда тают люды в горах Алтая и идет коренная грунтовая вода, Быстрый Исток затапливает сплошь. Село из приветливого хозяина становится похоже на ободранного странника. Большие льдины в село не попадают, но вода творит свой разгул захватом, унося с собою все, что можно унести, нередко и живое. По улицам ходят катера, мальчишки друг к дружке на плотках сплавляются, кто-то из взрослых наживается на беде. В небе стрекочут вертолеты, сбрасывая продукты, снимая людей с крыш, унося их к могилкам, на гору, где повыше. В такие чрезвычайные моменты райком комсомола собирает всех комсомольцев на борьбу с водой.

Днем и ночью дежурят они на лодках, спасая всякую живность, наблюдая за уровнем, за порядком... Чтобы не уснуть, поют песни, играют на гармошках, и ночью, если глядеть со стороны, беды в деревне вроде и нет, а даже наоборот. Но многие проклинают в наводнение эту дыру и обещаются, как только схлынет вода, сбежать из забытого богом села к чертовой матери навсегда. Но... сходила вода, оживали сады, зацветала черемуха, которой в селе гораздо больше, чем беды в половодье, село наряжалось в кружевной черемуховый тюль, благоухало, будто политое одеколоном, и собравшиеся бросить его говорили себе: «Ну, еще зиму перезимуем, а там видно будет...» Так, зима к зиме и зимуют, и проходит жизнь в наводнениях, черемуховом цветении, хлебном зное и зимних сумерках за семечками.

Длинные, одноликие морозные вечера. Буран воеет в трубах, пугает ребятишек. Люди стараются накопить тепло на ночь. Бабы квашню ставят, дрова на утро сушат: закладывают их в печь, с выгребленной допрежь золой, чтоб не загорелись вдруг, когда не надо, или просто на шесток кидают которые помельче. Мужики натаскивают впрок воды — вдруг занесет колодец за ночь, не подступишься, подкладывают корм скотине, помягче подстилку бросают, чтоб легче переносила ненастье.

А молодым не сидится, не спится. Собираются незаметно и тянутся в клуб: кто на танцы, кто петь и играть в самодеятельности, а кто просто поглазеть на тех и на других.

Тоскливо, нехотя, перелаиваются псы, огни давно погашены в избах, захоронил ось село в снеге — не сыскать сроду. Только из клуба вырывает ветер звуки баяна, валит пар из открытой двери, стоят парни на крылечке в одних рубашечках, прижимают к себе крепче краль своих и чужих в крепдешинах и туфельках. Захмелевшие все или вид делают, а может, в танцах распарились и морозом под-

крашены. Где-то возня отношений, с руганью, с кулаками, для убедительности ремни солдатские с медными бляхами щелкают в воздухе, кто-то за ножом полез, дурак, и вот уже беда невзначай на село набрела.

Конечно, и там была своим чередом, своим порядком уложенная жизнь. Люди работали, растили детей и хоть и умели радоваться, а жили невесело. Среди вечной работы, непроходимой тоски и непролазной зимней скуки вдруг вспыхивало у кого-то желание сделать что-нибудь дерзкое, звонкое, чтоб хоть как-то показать на себя пальцем, напомнить о себе — ведь зачем-то ты есть?!

Интеллигенция не в большом почете. Как же должны были люди ценить Генку Папина, двух очаровательных стариков из школы ветеринаров — Филипповича и Федоровича, Зинку Черепанову и, конечно, Фомина Владимира Степановича за их желание развеселить людей собою и тем скрасить жизнь, которая ведь действительно раздается, разбудить односельчан к деятельности, затащить народ в клуб, в хор, словом, вырвать из сугроба равнодушия соседей своих, у большинства из которых жизнь проходит безо всякой радости, у люльки, за бутылкой. Ведь не хлебом единым, действительно... Это были светлячки в тумане, апостолы в своем роде, пробивающиеся сквозь буран на тракторах с концертом в дальнее село. Они были подвижники, быть может, народные артисты в буквальном значении этого слова, за которыми хотя не так уж много шло народа, над которыми народ подтрунивал, а иногда просто злобствовал и ни за что мешал... И они не были избавлены от того, чем жили остальные. Те же заботы по хозяйству, ребячьи, притеснения домашних... И все же они притаскивали из дому свое тряпье, шили декорации, переделывали собственные платья под какой-нибудь забытый век, не жалели ничего для красоты, да еще расплачивались за нее синяками от лихих мужей.

С детства прилепился сердцем Володя к этим людям, увели они его душу, как цыгане Алеко, за собой, и среди них нашел он своего поводыря.

Ночь... Луна в «рукавичке»... на мороз показывает, в окно общежития заглядывает — уснул ли «поскребышек»... Юнка по грязному полю везет солому себе на зимний прокорм... Взяла и сломала переднюю ногу в барсучьей норе... мать потащила телегу сама, Юнка ковыляет рядом. Володя спит в соломе и не слышит дождя, потому что идет война и отец с шестью ранениями... Днепр далекий переплывает... Дед Ларион на подмогу ему собирается — первый раз водку пробует из фарфоровой чашки... Ванька-брат под партой «Доватора» листает, мыша за пазухой греет, и дед Федосей его наставлениями баюкает: «Плюнут в одну... подставь другую... помни, ты — человек...»

Облетает черемуха, которой в Быстром Истоке больше, чем воды в Исток-речушке. В снежное поле цвет ее преобразуется, и по этому полю Чалый тянет дровни с теткой Вассой... На руках у тетки куль из рогожи...

А в куле гостинцы братцам-кроликам, которые лисичка послала, — любимые замороженные сырчики из простокиши...

А на самом дне пирожок от зайца с калиной или **приветом**.

## Поводырь

Как заглянет человек поглубже в себя, переверошит до дна дребезги памяти своей, то обязательно в потемках прошлого наткнется он на того человека, которого поводырем своим по этому миру считает. Таким поводырем для Володи стал Владимир Степанович Фомин.

Их друг для друга чардаш нашел. Мальчик хотел было зайти в 4-й «Б» «почитать маленько», как услышал баян.



Постоял, послушал и потек на звуки. Звуки подвели его к школьной мастерской, там, где рядом столярка и кипяtilка воды для общего питья. За дверью мастерской кто-то играл красивую музыку. Мальчик узнал ее. Это был знаменитый чардаш венгерского композитора Монти. Малый отворил дверь и остановился на пороге. Игравший музыку, не моргнув глазами-ежами, в упор смотря на вошедшего, продолжал свое занятие. На пятирядном баяне (Володя видел такой впервые) белым перламутром было красиво выведено: «В. Фомин». «Значит, это мастер, — понял мальчик, — значит, это он». Этому мастеру суждено стало дать этому мальчику характер для дела на жизнь.

Родители — они само собой. За ними гены, хромосомы, личный пример, домашний надзор и т. д. — все это остается, все это само собой, и никто на то ихнее не посягает. Но есть в малом возрасте такие дела сердечные, куда ни семья, ни школа не допускаются почти, где эти поводыри властвуют, и никуда от этого не денешься. Но поводыри бывают разные. Одни, как звезда в ночи, на всю жизнь. Иные калечат и уродуют малую душу. У каждого человека, наверное, есть свой поводырь, свой Фомин.

Когда мастер закончил музыку, мальчик попросил:

— Сыграйте еще что-нибудь, пожалуйста.

— Иди поучись маленько. После уроков зайдешь, расскажешь. Звать меня Владимир Степанович Фомин.

С того раза они подружились, и Владимир-большой стал Володе-маленькому удачным оборотом судьбы, счастливым поводырем по этому миру.

Был он человек резкий, для большинства злой, на язык едкий и с глазами-ежами, проглядывающими, казалось, человека насквозь. Не любили его многие за его характер сварливый, за самостоятельность упорную и редкое, неколебимое достоинство собственное. «По течению, — говорил, — только дохлая рыба плавает и еще кое-что». В душу ни к кому не лез и к себе не пускал. Панибратства,

шапочного товарищества терпеть не мог. Значился он при школе вроде лаборанта. Следил за состоянием физкабинета, чинил вольтметры, амперметры, оформлял плакатами школу и все село, изготовлял нужные и ненужные наглядные пособия, преподавал уроки труда в старших классах, а в общем и основном руководил школьной самодеятельностью и безотказно играл девчонкам вальсы и фокстроты на ихних вечерах до самой той поры, пока пар не пойдет, пока с ног все не повалятся, может, потому, что самому дофокстротить свое не пришлось — воевать ушел добровольцем.

Фомин учил Володю добытчиком быть. Он выкапывал для него одного всякие хитрые вещи и работал с ним. И из каждого рассказа, песни, интермедии добывать максимум пользы учил, хорошую выгоду. Доделывать их до самого конца. До самого того кончика, который самый глубинный, самый, кажется, недобываемый, но который обязательно женьшеневый. И потому его надо обязательно добыть. Он учил его быть и Зайцем во хмелю, и одинаково Львом, дедом Щукарем и одинаково Аршином мал аланом. И хоть сам «академий не проходил» и образования имел всего семь классов, для малого учредил в своей мастерской академию всех художеств и заведовал в ней самолично всеми кафедрами одновременно.

Общались они друг с другом, как ровня с ровней, без разницы в годах. После трудов по искусству садились за шашки и разговоры. И тут уже доставалось всем — и школе, и учителям, и селу, и колхозу, и собственным домам. Большой, к примеру, спрашивал, и не в хохму, а всерьез, стоит ли его бабе рожать или, может, лучше не рожать? На что малый отвечал, что, по его мнению, лучше всего рожать мальчиков, чем ничего не рожать. Однако большой сомневался: дескать, с сеном нынче скупо, не напрясть на корову, а чем поддерживать станешь? «Соседям поклонись, а то дак и я принесу, а за гармонь тебе другой и дом отдаст». На

том за шашками и порешили. Большой обзавелся сыном, а малый стал вроде крестного отца ему.

За шашками и разговорами разными досиживались они дотемна, пока отец не приходил с палкой, не трогал, конечно, а попугать, а может, затем, чтобы в яму не угодить впотьмах. Заводил тогда Степаныч мотоцикл собственной сварки и доставлял отца с сыном до дому. «Не ругайся, Ларионыч, дело делаем. Людей не слушай, плохому не научу, а сноровку привью. Не свору, а сноровку, это понимать надо». — «Да я ничего, не зазнался бы только...» И пока отец подымался на крыльцо, Володя еще несколько мешкал у ворот, глядя, как удаляется, тархтя, красный огонек мотоцикла.

После появления сына делать работу какую на дому стало трудно, и переселился Фомин в мастерскую окончательно, а с ним и мальчик-ученик. И с утра раннего до последнего урока вечерников слушал Володя, как стучал молоточек Фомина, как тот клепал, лудил, паял, точил... И все при работе у него папироска горела. И не то чтобы курил он много, а не мог без огонька. Пока горела папироска, молоточек постукивал, гасла — молоточек затихал, поджигалась — мастер затягивался, и снова постукивал молоточек. Иной раз работа не выходила. Фомин отпихивал ее и напролет весь день играл на баяне, самодельщине своей пятирядной, про амурские и дунайские, про всякие волны, какие бывают, и про горы скалистые, и про бочки омулевые, и про многое другое, что душу теребит. Володя слушал и забывал, что у него есть дом.

С какой только заботой не обращалось население к Фомину — по закройке, кленке, починке... Это же уму непостижимо, из чего чего он мог слепить. И почти каждому делу Фомин ума давал, руками ль своими иль словом адресным.

«Золотые руки у Фомина», — часто слышал Володя о мастере. Но не реже влетало в него и другое: «Золотые-то

золотые... да загребущие вона какие. И куда только райфо смотрит».

А райфо смотрело куда надо. Принесли как-то Фомину очередной налог. Глянул он в бумагу — чтой-то много начеркали. Повертел туда-сюда и про новое положение вспомнил. «По новому положению это положено, все правильно. Налог великий, но верный — значит, никаких претензий к закону нет. И все же пусть разъяснят, как мне извернуться, может, самовольничают».

Подтянул ремень Фомин, затянулся махрой и направился в райфо. В райфо всех он застал на своих местах, и даже инспектор Тимофеев не шнырял в этот час по дворам, а сидел за столом и счетами постукивал. За Тимофеевым Фомин давно подозревал бяку на свой счет. Но не стал выяснять до поры, а подошел к бухгалтерше, женщине одинокой и отзывчивой. Она его просветила — дескать, в связи с новым положением... в связи с новым положением... с новым положением в связи... и т. д. и т. п.

Фомин все понял давно, согласно кивал, собрался было уходить, как услышал за спиной шипение Тимофеева:

— Что, Фомин, жаловаться на обложение пришел?!

Фомина как шомполом огрели по стыдному месту, но он не повернулся и даже не вздрогнул. Только скоро завертел шариками: «Ох знает, что-то, подколотный, ох, знает, ох, знает, но что, что знает, что???»

— Мы еще не знаем, какие у тебя побочные доходы... От нас ведь не скрыто, что ты и гармошки ладишь, и часы чинишь! Нам ведь это известно, Фомин, все известно, все...

«Ах, вона что?! Обкладывает, зараза! Ну, ясно. Ясно... и что нам теперь делать, Фомин, что делать...» Фомин не спеша разворачиваться стал. Был он роста небольшого, но сжатый... как укус! — казалось, захочет, плюнет — змея содохнет. Прицелился, глянул на Тимофеева. Тот папироску выронил из желтых рук и счета уронил.

— И это все, что ты про меня знаешь?! И это только! А тебе известно, что я сапоги шить умею? А не догадываешься ли ты, что костюм на мне моих рук работы?! А ты ослеп, что я художник-плакатист и деньги подделываю так, что золото от стали никто отличить не может?! А ты знаешь, что я швейные машинки всех марок насквозь, как вот тебя сейчас, вижу и гладью на них любой портрет вышить знаю как?! А тебе не говорили, что я двигатели любых сгораний вслепую чиню, потому токарь я высшего разряда, механик, слесарь, электрик... И валенки без кислоты скатать могу, на слюне собственной замешать?! А тебе разве не докладывали, что я фотограф первый на селе?! Ну а как я на баяне играю, ты на свадьбах и партконференциях слышал?! А что твоей супружнице я прерывание беременности делал! Она не скажет, а ты не докажешь, сиди — не докажешь!!! Так за что ты, мил человек, обкладывать меня станешь, хочу я тебя спросить, хороший ты мой?! За все сразу или по частям?! В розницу или оптом? К чему готовиться, голубок, какую квашню для тебя, родимый, заводить?! И не развяжется ли у тебя пупок мои ремесла пересчитывать?

— А что такое? К нам жалоб от населения не поступало... — всполошилась бухгалтерша, — мало ли на что вы годитесь, но ведь не поступало...

«Ах, вона что! Жалоб ждете?! Чтоб я, значит, кого-то ободрал, а вы, значит, потом с меня шкуру сняли... Так облезете неровно, эти жалобы ждавши», — подумал Фомин и вежливо попрощался. Но в дверях дополнил:

— Знаешь, Тимофеев, чем корова от змеи отличается?! Первая траву в молоко превращает, вторая — молоко — в яд! В яд! Молоко — в яд! Так и мы с тобой, по-разному «зашиваем»...

Через несколько дней Тимофеев завернул к соседям Фомина. «Как живете, да какая скотина, да кто пасет... а рядом кто живет?»

— Да учитель один, Фомин. С женой и тещей...

— А это не тот Фомин, что часы да гармошки чинит?!

— А мы не знаем, не слыхали...

А кого не знаем, чего не слыхали, когда на столе часы тикали, им сделанные, его золотыми руками отлаженные.

И умылся Тимофеев, и больше за Фоминым не охотился.

А тот смотрел на всех с большой колокольни, хотя друзей у него было всего что мальчик один, на защиту которого выпрямлялся коброй Фомин. Надо сказать и об этом, не забываясь о том, что длинно будет кому-то...

Каждое лето после празднования посевной устраивались внутрирайонные соревнования: спартакиада и олимпиада. За первое место смертельно бились два села: Быстрый, что на нашей стороне, и Акутиха, что по ту сторону Оби. Зазубрина заключалась в том, что Акутиха писалась рабочим поселком, потому что имела стекольный завод уникальной стоимости, и все из-за того, что стояла на особенном песке, на особенном каком-то. А рабочий поселок — это рабочие, а рабочие — это не колхозники... И хотя Быстрый считался селом районным и выращивал хлеба богатые, буханки в его магазинах продавались цвета иного, чем в Акутихе, которая дула стекла, пусть и уникальные, но все же... стекла?!!

Может быть, от этого разного цвета буханок акутяне бегали, прыгали, метали быстрее, выше, дальше быстрян. Быстряне же отыгрывались в веселье. Они пели, плясали и играли... звончее, отчаяннее, изобретательнее акутян.

И в то лето мнения по спорту были в пользу акутян. По олимпиаде другого иного мнения быть не могло, как в сторону быстрян. А у быстрян на Фомина надежда, на сюрпризы его. А у того — на любовь его нынешнюю и прошлогоднюю: Володю и Герку Елашкина... ах! Герка, Герка! Забубенная голова был этот Герка: красив...вы...ы...й! Мужики засматривались! А звонкий, господи! Вот уж поистине, если

был где первый парень на какой деревне, так это Герка Елашкин был. Бывало, как выйдет да как под собственный аккомпанемент на трофейном аккордеоне как вдарит: «Эх, звончей, звончей, бубенчики! Заливные голоса! Эх, ты, удаль молодецкая! Эх ты, девичья краса!»

Любовь Фомина делили Герка и Володя напополам. Однако вскоре Фомин привязался больше к малому, а о Герке улыбался только, потому что тому за девками пришла пора... И часто над чьей-нибудь шалью слышался звон его в разных концах села. В буран и в мороз, не подняв, как всегда, ворота полушубка, аккуратно или напролом ввинчивал он в чьи-то ушки сережки: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня».

«Ах, Герка, Герка... забубенная голова, застреленный в целинном городе инвалидом-сторожем в живот, потому что привык ты ходить напрямки... Что ты пел ему в тот миг, когда он стрелял в тебя, это невинный дядька, аптечный охранник, думая, что надо обязательно стрелять, когда поет кто-то и ничего не слышит... Что ты пел?! Может, то, что на той олимпиаде, когда мы поделили первые места? И почему ты в незнакомом селении, как у себя дома, зашагал напрямки, соперник ты мой, напарник ты мой... И ты опять не поднял ворота полушубка, как тогда... не страшась, что сорвешься на морозе. С кем же я теперь буду делить места на своих олимпиадах, соперник ты мой? Ну ладно, я пойду дальше, ведь ты ушел позже того времени, которое я пишу. Ведь мы еще должны петь с тобой на одной олимпиаде, а я уже пишу о тебе в прошедшем времени, слышишь? Напарник ты мой?!»

Была на них надежда, да вся вышла. Бежали эстафету на четыреста метров, бежали девушки. Для быстрин это было дело горелое, потому что со стороны Акутихи в эстафете мчалась Валька Рябчикова, которая так наворачивала своими кривыми «колесами», аж в глазах рябило. И надо же! Эта самая Валька при передаче палочки эту

самую палочку роняет! Пока акутяне подымали, быстряне убежали!

Радости у быстрян — полные карманы. Появилась надежда, что и в спорте Акутиху можно «выстирать», как выражался Фомин. И тут кто-то в очках над ухом Володи произнес: «Надо еще раз перебежать!»

«Вот тебе!» — крикнул Володя и сунул фигу под нос такое сказавшему. И на беду это оказался ни больше ни меньше как акутихинский завуч. А завуч побагровел. Он знал, кто ему сунул фигу. Он был все годы в жюри и сам ловко играл на гитаре.

«Отстранить от участия в олимпиаде» — таково было решение дирекций. Дирекции решали, но когда решали, Фомина не учли. Фомин подал протест в конверте, запечатанном собственной печатью. Когда взламывали печать, дирекции волновались несколько, как трясутся ученики, когда на их глазах вскрывается конверт с контрольной. В «контрольной» Фомина значилось: «То, что мальчик показал кукиш, это он, ежику ясно, нехорошо сделал... Но!!! До какой степени? Рассмотрим кукиш. Что в нем заключалось? Проявление. Проявление чего? Патриотизма, болезни за свое село, за родину свою, за честь свою. А честь береги смолоду... А если бы он свой маленький кукиш не завучу, а Елене Ивановне, уборщице, сунул? Отстранили бы вы его??! Ну нет же, конечно. А ведь кукиш под носом для всех одинаково пахнет, или я неверно чую? Ответ: без его участия ни о какой олимпиаде не может быть и речи».

Олимпиада состоялась. Герка и Володя поделили первое и второе места, оставив за акутянами третье. И Володю прозвали Фоминенком.

**«Жизнь есть борьба, это понятно ежику»** — так говорил Фомин. И у каждого человека есть сражение, может быть, не выигранное, но наиболее памятное. Есть такое дело и у



Володи — партия в шашки или урок Фомина, когда тот ему про мужицкие гармонии поведал, но перед тем...

Пели они в тот вечер долго, наконец взялись за разговоры и шашки, а к ним постучали. Вошел Василий Черепанов, моторист мукомольный. И чуть не в ноги: «Степаныч, выручай».

— Чего стряслось? — не отрывая глаз от доски, спросил Фомин.

— Выручай, Степаныч... локомотив заглох, и всем миром часа три, считай, бьемся, поднять не можем... Мукомольня стала, и полсела без света сидит. Всех подняли — от главного инженера до Кольки-смазчика — ну никакими судьбами, молчит, хоть тресни, проклятая машина.

— А за мной кто послал?

— В том-то и дело, кто послал, сам... Трофим Трифонович Савельев, директор! Герой войны.

— Как же это он сподобился Фомину поклониться?

— Да ведь и черту самому поклонисься, согнали специалистов со всего села, а эта железяка и не чихнула ни разу... Завтра район без хлеба останется... Нехорошо это. Голов некоторых может недосчитаться.

Пауза.

— Витьку Боровикова звали?

— Там.

— Ну?

— Что «ну», когда я здесь.

— Ясно.

Пауза.

— А к Лаптеву, что на радиоузле, ходили?

— Ходили, и он тебя ждет. Меня делегатом послали, зная, что мы с тобой не кусаемся.

— Так, ясно... А скажи, Вася! Мне Савельев помог чем когда? Просил я лошадь огород вспахать, дал он мне много? Зерно привез молоть, стал допытывать, где взял? В колхозе, дескать, не состоит, а зерно отборное, а если за

гармонь — найти эту гармонь?! Это что за отношение такое к Фомину, спрашивается, когда он у вас один?! А Фомин не обязан чинить ваши безобразия, он в них мало чего кумекает — образование не позволяет...

— Да ладно прикидываться, Степаныч. На твои руки надежда теперь... уйми характер, село кланяется, не тяни, поехали.

— Ничего, подождут. Три часа не можете ума дать машине, а полчаса дела не решат.

— Хоть обижайся... но как к тебе относиться после таких штук?

— Да идите вы со своим отношением! При мальчишке глупостей не смей... Вот доиграем — решим, что с вами делать станем.

А партию Степаныч за этим нервными событиями постепенно проигрывал, но шариками в уме водил: «А вдруг не сделаю? Тогда как? Вдруг не соображу! И упадет твоя честь, Фомин, что смолоду беречь надо?! Но... с другой стороны, пристало ль тебе, Фомин, работы остерегаться, и ведь полюбопытствовать надо, что с ним, с этим локомотивом, в самом деле, если село поднять не может, — вот ведь штука! — поглядеть надо, что с ним? Иль завшивел я? Но уж если из зингерской машинки пулемет можем сварганить, на одних шурупах свинтить, то локомотив-то большой, его без лупы видать, запустим как-нибудь, подумаешь, делов на копейку...» — про себя рассуждал мастер, а вслух продолжал:

— К Фомину пошли на поклон... И как же это они решились... нехорошо, должно быть, чувствуют себя после этого. А не сломись машина, хрен бы поздоровались... Вишь, какие пироги: надо, чтоб где-то что-то ломалось, чтобы Фомины не дремали, а то им делать нечего, у них руки заржаветь могут... Что, Вася, облезли они, значит, неровно со своими дипломами?

— Да облезли, облезли! — ерзал Вася, желая скорейшего поражения любому из этих «придурков-шашистов».

— А как вы думаете, молодой человек, про этот мукомольный пункт?..

— Сначала, мастер, я у вас за фуку возьму.

— За фуки не берем, известно давно... рубим сплеча... и дальше?!

— Дальше я думаю, что эту партию вы профукаете, — включился в тон мастера мальчик. — А локомотив надо посмотреть, полсела без света.

— Интересные шляпки вы мне предлагаете. Локомотив надо запустить, а не посмотреть. Если уж браться, то надо сделать. Это раньше меня сказал граф Толстой: на дуэль надо идти убивать... убивать! А не запастись допрежь белыми тапочками. Вы меня поняли, молодой человек? А за партию вы еще рано высказываетесь. Предлагаю отложить до моего возвращения... можете пока уроки подготовить на послезавтра... Ну, дай бог легкости, дай бог скорости, — и он встал...

Почтенное, с дипломами и разрядами, собрание раступилось, пропуская мастера к молчащему агрегату. Кто поважнее был, в сторону отошел — дескать, знать не знаем, слышать не слышали, кто такой и почему вдруг. Фомин долго всматривался в машину, почему она, сволочь, молчит, швыркал носом и щурил свои хитрющие ежики... Потом прохладно обошел машину со всех сторон, глянул ей туда-сюда, потрогал чего-то гдей-то у ней, отошел и громко объявил стоимость работы, да такую... аж сама немая рот раззявила, казалось, а коллектив очнулся и загудел:

— Ты что, Володя?

— Фомин, опомнись!..

— Совесть у тебя есть, ведь люди без света сидят и хлеба не купят завтра.

— Голосовать этот вопрос мы не станем. Не хотите платить, делайте сами, а меня мальчик ждет в шашки обыграть... — и пошел было.

— Стой, погоди... кассира нет...

— Пошлите за ним. За мной послали. Или между собой сбросьтесь.

— Обираешь советскую власть.

— Это вы советская власть? Не много ли на себя берете?

— Да как же мы тебе их оформим, такие деньги... Это же калым, товарищи! Вымогательство полное!

— Закрой глотку, кишки простудишь! — Фомин весь колючками пошел. — Я не знаю, что такое калым, и как его оформлять — не мое дело. Моя работа на этом участке стоит эту сумму. Я прошу... да что я говорю? Прошу?! Ничего я у вас не прошу. Это вы меня просите, потому что облезли неровно. Двадцать долбостроителей сошлись вместе и не могут движок запустить. И если вы его не запустите сегодня, завтра некоторые из присутствующих будут отчитываться в другом месте. А на вас, товарищи, которые в стороне, я в крайком напишу. Калым! Вам там расскажут, что такое есть калым!..

Отошел в сторону Фомин и сигаркой пыхнул. Через две минуты к нему подошел сам.

— Делай!.. Но учти — не запустишь, сгною за издевательство над гордостью рабочего человека!..

«Трифоныч, ведь я тебя уважаю за подвиг твой. Пацанам про тебя рассказываю. Чего же ты в работе-то героическую свою натуру не проявляешь и не гонишь лоботрясов как врагов советской власти... И я трижды убитым быть мог, кто бы тогда чинил твои локомобили? Моя голова ведь тоже чего-нибудь... А в общем... деньги».

В характере мастера была одна греховина — любил погордиться собой, особенно на людях, на миру, как говорится. И иногда, не вдруг, конечно, очень даже свободно запузыриться в такое мог, что другой бы и не вынырнул, а ему сходило. Зато радовался потом... почему зря!

— За плохой язык хорошую голову потерять можно... держи. Герой сунул не глядя в живот Фомину пачку денег.

Фомин снял кожанку. Он любил все доброе и весь кожаный ходил, с замками, пряжками, застежками... Носил кожаные галифе, хромовые сапоги. Только на концерты надевал шелковую безрукавку и широченные матросские клеши. «Под ними, — говорил, — не видно, что ноги трясутся».

— Тряпки есть?

— Какие тряпки?

— Тряпки... ветошь, рвань, чем руки вытираете после работы.

— А-а... Дак нету.

— Ищите, хоть штаны снимайте, иначе не приступлю. Денег набрали, а уж тряпок-то... порыскали, порыскали — нашли рвань.

— Масло есть?

— Какое масло, зачем?

— Машину чем смазываете?!

— А, это? Дак нету.

— Ищите. Сбегайте на сахарный, попросите, купите где хотите... как хотите.

Принесли ведро масла, поставили рядом ведро керосину. Фомин облачился в чью-то спецовку и с масляной тряпкой двинулся на агрегат.

— Прошу всех отступить шагов на пятнадцать! — приказал сверху мастер. Мужики, бормоча нехорошести, ровным кольцом окружили громадину и копошащегося на ней Фомина. В цехе установилась мертвая тишина.

Слышно было только, как мастер переходил, переползал от одного узла к другому и делал, казалось, всего, что опускал тряпки в разные ведра, меняя их по очереди. Никакого инструментария в руках его вроде не сверкало, кроме сигарки.

По грязному, заплеванному телу немой машины ползал Степаныч, золотыми руками своими оттирая и вылизывая ее. И через час умытая и обработанная ма-

шина бойко щерилась медными частями, а мастер снял спецовку, обтер руки, надел кожанку и так же молча, не глядя ни на кого, зашагал к выходу.

— Стой! Куда! А чинить кто будет?!

— Запускайте, готово. И последнее слово — букварь надо читать до конца, и смените шкив, разорвется, убьет кого.

И ушел.

— Да ведь он ничего и не сделал! — загудело собрание. — Кто видел, чего он делал?

— Все видели, чего он делал: промывал да смазывал!

— Вот змей, ну стрелять надо таких!

— Вот сукин сын! За нечего делать огреб такие деньги!..

— Да нет, он скрыл. Разве Фомин скажет, чего сломано и как сделать!

— Хитрюга! Дармоед!..

— Гнать его надо было сразу...

— Звать не надо было, Фомина не знаете...

— А я слышал, будто он шептал чего-то около форсунки, молитву какую-то.

— Какую молитву, балбес?! Про нас нецензурно выражался, хапуга...

Но всего этого потока мастер уже не слышал. Он шагнул к мальчику и нервничал, поглядывая на столбы, где висели холодные, слепые лампочки. Наконец хлопнул выхлоп. Мастер подпрыгнул... второй, третий выстрел. Машина зачихала, заворчала, прокашлялась и благодарно захрюкала вдогонку. Мастер захихикал, и тут же засветились столбы. И мастеру весело и светло стало торопиться к брошенной партии и к мальчику, который ждал.

— Так вы что, правда ничего не исправили, а деньги взяли? — смущенно спросил Володя, и Фомин понял, что мальчик может извлечь из рассказа не тот корень.

Он сдвинул в сторону шашки и, несмотря на поздний час, счел крайне важным попробовать объяснить мальчику еще раз свои действия, да и себе лишний раз доказать правильность своих принципов.

— Ну, какое это имеет значение, молодой человек? Ну, промыл, ну, смазал... А может, по ходу и разогнул чего или загнул чего? Я ведь не об этом, я ведь не про то. Я ведь с них не за свое умение взял, не за свою работу, которую каждый из них проделать мог. Я за их нерадение взял, за урок. А урок этот они запомнят уж теперь до бугра. Каждый из нас зашивает как умеет. Но в этом-то вся штука и состоит, что портные мы все разные. Зашил хорошо — получай, плохо зашил — свое отдай.

Фомин сморщил нос, поискал в себе что-то и начал свой рассказ, похожий тоже на урок.

— Так вот. Представь себе картину послевоенную. Мужики, кто вернулся, драные, подлатанные, но все-таки живые. Земля разорена, а тут неурожай, в общем, картина понятная. Ты знаешь, где я живу, и тогда, вернувшись из Маньчжурии, там жил. Избу мою разрисованную ты видел, а тогда я ее и раскудрявил, как ума хватило. Так вот. Воскресенье, базар. До обеда день морозный, ясный, а после обеда снег и буран — свету белого не видать, на улицу за водой не выйти. Ну дома, сам знаешь, убрано-прибрано еще со вчерашнего. Сажу на кухне, клепаю чего-то. И заходит мужик: в шинельке драной, худой, как Дзержинский, валенки подшиты бесчисленно раз, и с мешком в руках, тоже залатанным. Ну, думаю, работу привез. Зашел и молчит, ага. Я тоже молчу. Продолжаю клепать. Помолчали. И я чувствую, что ему трудно начинать. Вижу, что он в своем драном виде оказался в слишком чистом месте, что его тут не примут, не подадут ничего, не поймут. Засмеялся и говорю: «Что ж, ты ругаться со мной пришел, так начинай. А не ругаться — проходи, рассказывай, что у тебя ко мне. Иль ты своих вшей с моими боишься перепутать?»

Закуривай», — подаю ему табак. Не берет. Молчит. Потом говорит: «Нет уж, спасибо, я лучше пойду». Во!!! «Нет уж, — говорю, — дорогой, раз зашел, закури хоть, раз у тебя никакого дела ко мне нет». А он свое: «Нет, спасибо, я вижу, не туда зашел». Видать, чистоты смутился. «Кого же ты ищешь, — спрашиваю, — может, я знаю его?» — «Да вот... я... — а сам еле языком шевелит, заоченел. — Я... понимаешь... с базара еду на быке... понимаешь... еду в Паутово на быке... а он встал и идти не хочет... буран, понимаешь... Я ночевать просился — не пускают меня...» Вид уж больно у него того. Ну, думаю, дела. Да как закричу: «Какого же рожна ты тут в тепле стоишь, а скотина там мерзнет?!» Он растерялся. Наверное, даже плохо понял, что я хочу. Надернул шапку, полушубок, хватаю его и на улицу. «Заводи, — говорю, — быстрее свою технику во двор, а то завтра ехать не на чем будет!» Он, бедный, с перепугу не знает, как быть, чего делать. Ну, в общем, завели, распрягли. Накрыл я его транспорт какими-то половиками, а самого, напоив горячим чаем, затолкал на печь сушиться. «Неужели наши быстряне не пустили!?» — «Не быстряне не пустили, а люди». Но только дело опять же не в том, хотя уму непостижимо, как это можно в такую погоду человека не пустить на порог, когда собаку выгонять нельзя, ну да бог им судья, ладно...

Сел я опять, сию ковыряюсь, но что-то нейметса, глянул я на печь, где он у меня сушился... А он башку-то с печи свесил, глядит на меня поперек шире и слезы в лохань роняет, а я думал, умывальник потек. Испугался я, жуть берет, буран воеет... «Ты чего, — говорю, — дурень?!» И вроде слышалось «гармонь» он сказал. «Че-го?» — говорю. «Гармонь...» И пуще ревет. Допер я тут, что в мешке-то, однако, он работу привез, не ошибся я. Тронул я валенком мешок его, зазвякало знакомо. Ну вытряхнул я его сокровище на пол. Знал я, конечно, что он мог привезти мне: послевоенный музинструмент напололам



с клопами и тараканами и со всем чем угодно. Для количества на базаре каких-то колес, шестеренок подкупил до кучи. Да... Так вот, про что я — ему нужна гармонь. Ему жить надо. Веселить себя надо, хоть и надеть нечего, а?! Лежит на печи мужик, отвоевавший, полсвета прошагавший, и ревет про гармонь?! А ревет, потому что в кармане вошь на аркане. И что мне с ним было делать? А ну-ка я на его месте? И как мне с ним было поступить? Пожалеть и отпустить: где же я столько материалу достану, на что?! Гляжу я на эту кучу, потом на его судорожного, опять на кучу. Ну что делать? — подскажите, молодой человек? Ему, может, жениться надо, а у него и завлекательность вся и богатство-то, может, в пальцах в одних да в этой мечте, что из мешка я вытряхнул. Куда ему податься?

«Что, — спрашиваю, — у тебя есть?» — «Заплатчу все, что запросишь... то есть за работу, в общем».

«Я спрашиваю, что у тебя есть, а не сколько дашь».

Называет какой-то накопленный мизер, которого едва мне хватало на половину материала, а уж про работу я молчу. «Быка отдам». — «Да бык-то, — говорю, — колхозный. Зачем он мне, для прокурора?» Молчит. «Ну ладно, — говорю, — раньше, чем теплом, не сделаю». Как уж выкручивался я с материалом, не помню, только отъехал он от моих ворот летом на том же самом быке со своей гармонью, такой же худой и драный, и во все горло песняка давал: «Когда б имел золотые горы и реки полные вина!» Гармошка кричала не больно ладно, но громко, а он все приговаривал: «Ах, сукин сын! Вот сукин сын!» Это уж он мне честь отдавал — хорошо сделал. Мастер всегда сукин сын. Плохо сделал — сукин сын, а кто же еще? Хорошо сделал — тоже «ах, сукин сын!», а как иначе. Будешь упираться, и ты станешь «сукиным сыном». И сейчас уж иной раз я про тебя такое слышу, так что не посрами в будущем каморки нашей. И сколько у меня таких случаев было, со всех деревень, со всего района. На скольких свадьбах мои

гармошки кричали! Кричат! И кричать еще будут, а ты говоришь — локомобиль!

...И наступил день, когда мальчик получил документ о совершеннолети и пошел в решающий класс. С этого дня двери мастерской, той самой мастерской, куда привел его несколько лет назад знаменитый чардаш венгерского композитора Монти, где с учителем он выпил колодец чаю с подушечками, миллион партий в шашки сыграли, сотни гармошек починили, десятки концертов срепетировали и спели несколько песен, где было принято решение родиться наследнику, и тот родился — двери этой мастерской захлопнулись перед совершеннолетним навсегда. Перед тем как закрыться этим дверям, между большим и совершеннолетним малым состоялась тайная беседа. Нет. Беседы не было. Был ультиматум. Фомин повернул ключ в двери и отошел к окну думать. Фомин глядел в окно и курил. Володя ждал. Фомин завернул вторую сигарку, затянулся и, морща привычно нос, начал:

— Разговора у нас никакого не будет. Я говорю, ты слушаешь и делаешь, как я велю. С этого дня ты мне больше не товарищ и, где дверь в мою мастерскую, забудешь, пока не принесешь в зубах медаль за окончание школы. Желательно желтенькую, но соглашусь и на светленькую. Это в твоих силах. Скребись, упираться отчаянно, чтоб кровь из-под ногтей брызнула. Песни, пляски, шашки, гармошки в сторону — и за книжки. И учти — это нужно, просто необходимо для наших с тобой планов — покорить мир без единого выстрела. Принесешь медаль — скажу, что делать дальше. Не принесешь — забуду как звать. Если бы у меня родился такой сын, я бы знал, что прокоптил свой век не зря. Медаль за целину ты имеешь, иди и неси эту. Смолоду собирай по пути все регалии, какие есть на свете, — сгодятся при

случае. Доброму вору — все впору. Только по чести все делай, своим горбом, своим умом, как всегда настоящие мужики делали, что честь смолоду берегли. Ступай.

## Отплытие

Медаль Володя получил. Светленькую, правда. Но Фомин и на такую был согласен и сказал, что теперь надо плыть в Москву.

Дома знали, что младший невесть в какую даль собирается. И в селе много разговоров было, что сын бывшего председателя в столицу лыжи вострит. Иные хихикали в кулак, дескать, «вгонит в разорение отца и вернется с дерьмом пирог, потому что поступить в артисты труднее некуда и надо сначала около сцены побыть, пыль с нее подышать, грязь с нее повозить, а уж потом самому пытаться». Другие не шибко переживали за отцов карман. «А чего? Пусть попробует. Подумаешь, делов на копейку... не боги горшки... Давай не посрами честь берега — назло акутянам, на радость нам артистом стань... Валяй! В случае чего — мы тут, поддержим!» Но все одинаково сходились, что это Фомин — дьявол кучерявый, науськал пацана на столицу.

Старый пароходишко «Зюйд», что при царе Горохе матушку-Обь лопатил, раз в неделю причаливал к ихнему берегу. И если уж плыть, то надо не прозевать билет достать. Весь день накануне Володя, как за язык подвешенный, метался по селу и кое-что успел осуществить: запастись билетом, нужными справками, а главное, выцыганить в сельсовете паспорт под медаль. Под вечер появился дома, бросил матери: «Все, завтра еду». Матрена охнула. «Как завтра?! Да погодил бы, сынок миленький, до следующего «Зюйда»?» — «Некогда годить, мать, плыть надо, Фомин сказал», — крикнул с порога и унесся оповестить, с кем хотел проститься.

Готовилась Матрена к этому «уеду», а все не верилось. Еще не скоро, казалось, да, может, еще и передумает, а он вон какой: волос мягкий, а характер неломкий.

Села мать и долго не шевелилась, в одну точку глядя перед собой, ко всему глухая, не зная, за что приняться, с чего начать собирать. Не плакала, а молиться разучилась давно (**век комсомолка!**), только тяжело вздыхала иногда, будто все горе накопленное хотела выдохнуть одним разом, а оно не тут-то было.

Отец пришел, узнал и ушел в баню переживать один с самим собой.

Стадо прошло, оставив после себя пыль несусветную и лепехи. Коровы и телки разошлись по своим дворам. Только у Матрениных ворот не раздалось родное мычание. Юнку-дочь вчера свели со двора, продали. А сегодня отец на вырученные деньги костюм «швиетовый» по блату достал сыну — «в Москву, не в Акутиху едет». Юнка-дочь, кормилица... А Юнка-мать...

Когда пришел отец с фронта первый раз, раненный, из госпиталя, позвал его секретарь и сказал: «Иди, Ларионыч, в колхоз, выбери себе хорошую коровку для поддержания здоровья, за пролитую кровь твою, за боевые дела, залечивай раны — война идет еще». Но Ларионыч корову дойную брать не стал, а справную телку выбрал стельную — Юнку. Юнка отелилась, раздоилась и каждый год аккуратно по теленочку приносила. Она-то и стала родительницей той Юнки, что вчера продать пришлось: не поедешь в Москву как попало. И уж не напьются теперь братцы-кролики парного молока прямо из-под Юнкиного пуза. Не прибегут с кружками под звонкие струйки из богатых, тяжелых Юнкиных сисек. Женихи уж, а до последнего раза наперегонки бегали с кружками, не дожидаясь, пока Юнка все отдаст, а мать процедит. Двумя руками мать две кружки надаивала, и тут же проглатывали парное братцы-кролики. За место под Юнкиным пузом дрались, как когда-то за

место около матери — рядом кто спать ляжет. Сегодня уже не прибегут, не подерутся, молочка не проглотят. Костюм свернутый лежал в чемодане рядом с медалями и бутылкой воды из ихнего колодца, что волос на голове прибавляла. А мать, столько лет встречавшая кормилицу у ворот, все ждала — вдруг вернется, промычит «дочка»... Но откуда? Далеко от родного стойла, привязанная за телегу, Юнка покорно шла в чужую деревню.

### Мать вспоминает

— Поехали с бабами в войну на коровах за березняком. Бабы-то своих коров жалели... нарубили возы скромные. А я думаю, ах ты так твою растак, нас, баб, никто не жалеет, ребятишек не жалеет, а я корову жалеть буду, ага... Нарубила, нахвостала березняку конский воз, вези. И что ты думаешь?! Она ровно чувствовала, что нам с ней помощников взять неоткуда... Голову в землю — и прет... Хомут, из мешка состроченный, натянет, упрется копытцами, и пошла... Матушка, думаю, голубушка, ведь входит в положение, реву, помогаю ей... И корову жалко, и ребятишек, чтоб зимой не поморозить... да и себя... А ничего не поделаешь, надо работать, дрова нужны. А спуск был крутой и в забоку... в чащу можно было врухаться, и уж оттуда никакими судьбами... Устинья Салтыкова говорит: «Нет, я свою корову не пущу!» — и отпрягла ее. Я ей: «Да ты что, Устинья, как же ты воз-то будешь спускать?!» — «А на себе», — говорит. «Вот, разъязви тебя в душу, себя решить, а скотину пожалеть?!» И пошла со своей Юнкой... Она, роднешенька, опять голову уперла — ну до чего смирна была... Я держу ее, голову ей завернула, и потихоньку попехтерили вдвоем. А ей неудобно, она же для другого рождена, не кобыла же... приспособиться не умеет, когда воз под хвост бьет. Я ей приговариваю на ушко, ну, в общем, скатили воз благополучно.

А Устинья начала свой воз спускать, да разве баба удержит, он ее как поволок, она его, конечно, выпустила, и загремел он в эту забоку... Полдня мы его вытаскивали оттуда, переругались, измучились. Вот, говорю, Устинья, корову пожалела, а баб заставила надрываться...

Разбредается дом, разбредается жизнь. Вот уж и отца спровадили на пенсию. Дескать, чего без диплома человек возглавлять колхоз будет? А раньше ничего, без диплома хорош был. А разве такие времена-то были?.. Но не так просто оказалось спровадить старого председателя. Два раза собирали колхоз на собрание, и два раза село «прокачивало на вороных» нового, присланного, и голосовало за старого. В третий раз вызвали отца в райком: «Отрекись, Ларионыч. Скажи против себя слово. Сам понимаешь — установка, или болезнь выдумай какую». И отрекся Ларионыч. А теперь коня не выпросишь копны сvezти — ходить кланяться надо. А раньше — пара змей вороных у крыльца всегда дежурила, копытами землю грызла.

Сидела Матрена, ворошила жизнь свою, как остывшие угли в потухшем костре. Потом встала кряхтя. Выгребла давнюю золу из печи (кто летом русскую затопляет? — у всех уличные печки-временки). Велела отцу лучины нащепать, березовых помельче принести и пару кизяков для жару. Село укладывалось на покой. Коровы были подоены, молоко процежено и в погреба спущено. Уже первые, «деточные» бабенки отплясали на «пароме» свою порцию под Володькину гармонь и возвращались с песнями по домам, когда над единственной крышей в селе поднялся дым. Кто видел — знали: это Матрена на проводины завела квашню на ночь.

А сын наяривал на гармошке последний фокстрот, последний вальс, последнее танго и все не мог завершить эту свою прощальную гастроль на «пароме» среди комаров и мошки. Все просили и просили — ну еще, ну, пожалуйста, ну, последний заход...

Толкучка эта, топтание и пляска происходила в сельском саду, в парке отдыха так называемом. Несколько лет назад на месте болота, что посреди села располагалось, решено было заложить парк культуры и отдыха. В основном чтобы от болота избавиться. Его давно надо было осушить. Но осушать просто так, это одно. А осушить под такую перспективу — совсем же другое. Молодежь с жаром взялась за это дело. Посадили много деревьев, кустарнику, прорыли канавки и канавочки, и через несколько лет парк поднялся и высосал болото. Чтобы привлечь публику отдыхать, поставили пивную точку с местным медком, понаделали лавочек-скамеечек и соорудили на сваях-столбах танцплощадку, которую молодежь тут же прозвала «паромом».

Поднятая столбами над землей, она и в самом деле была похожа на паром, и ее не затапливало даже в половодье, когда высосанное болото все же надолго задерживало в себе воду. Но ничто: ни сырость, ни мошка, ни комары, миллиардными миллионами слетавшиеся со всего света на молодую кровь, — не могло заставить рассыпаться молодежь, когда та сходилась на отдых. И девки стыдливо хлопали себя по всем оголенным местам, убивая кровопийц, а парни по лицу себя лупили, и чудной танец получался. Спасались только в вальсе — так сногшибательно вертелся весь «паром», такой вихрь поднимался, что комарье не в силах было преодолеть этот барьер.

## Кланя

А Володя играл и играл... А надо было уже идти домой, чтоб пароход не проспять... А еще Клавку проводить... Больше жизни ему хотелось сегодня проводить Клавку. Может быть, как никогда. Посидеть с ней на бревнах

около ее дома, подышать запахом ее и поговорить под луной, какие у них дети могут быть в результате. И под эту тему по ее богатству невзначай дрожащей рукой проехаться, и, конечно, схлопотать по руке, но уже с опозданием, конечно. И опять заговорить зубы луной, стихами, клятвами до гроба, и еще, и еще в разведку разок-другой.

А богата Кланя была везде, что сзади, что спереди, будто наворовала туда чего не в меру. И коса — змея курчавая в руку толщиной до самой развилки, что в конце спины, стекала. Как брал Володя Кланю за теплую подмышку, как чуял он Кланино количество, так судорога по телу, ровно молния, пробежала, язык немел, и глаза туманом застились.

Было их три сестры. И все трое полнешеньки и густые, ложкой не провернешь, всем тем, чем жизнь замешена. «Племенные девки у Семена Гальцева», — говорили про них на селе. Две старшие уже детей пустили, и Клавка, последняя, готовилась, однако, того и гляди, кровь тело прорвет.

Ходить они друг с другом стали года три назад, когда Кланя в ихнюю школу из семилетки перешла. И теперь редкая свадьба, гулянка обходилась без этой пары. Он играл, она пела, плясала и всю компанию, впрягшись, тащила на себе к веселию и удали. И девка совсем еще молодая, а вот поди ж ты, пенилась в ней кровь, что брага, что вода живая: на кого ни плеснет, всяко лихо, что одной ногой в проруби уже, начнет шевелиться и другой ногой притопывать. Не девка, а сущие дрожжи — в какую квашню ни кинь, всякая бродит. И все заставляла своего «подлеца» гармониста играть и играть, аж пальцы у того, бедного, немели. Да следила, чтобы не выпил лишнего. А то один раз не углядела, саданул ее дружок стакан водки, не успел допить, как осел торбой на лавку и стакан выронил... А до гармонии дело дошло, не тем боком взял ее, и



все удивлялся, что же не выходит музыка-то, ведь была же... Уж его, бедного, Кланя и снегом терла, и по щекам колотила, и нашатырь под нос совала — испортил он ей всю обедню, не допела, не доплясала Кланя, а уж чего еще хуже может быть.

Но уж в последующие разы рысью глядела, кто подливает-наливает, сама за него допивала или в потолок выплескивала — ничего, забелят потом, если сейчас хотят погулять жарко. И не было устали на нее и ровни. Никто ни перепеть, ни перезубоскалить, ни переплясать не брался. Хоть трех гармонистов зови с подменкой наяривать, не сойдет Кланя с круга, ровно как и косить выйдет или зерно лопатить — иным мужикам не угнаться. И многие хозяева на нее глаза распяливали: такую бы сноху в дом заманить, горя не знать бы. Бабы жидковато угукали, соглашались вроде бы, однако в сердцах побаивались такой огонь в свой дом зазывать, не ровен час, к чертям собачьим сгорит и собственная постель.

А Кланя наливалась соком, как калина позаречная, ждала своего часа. И никакие, видать, институты не дождутся ее. Пойдет, видно, баба по своему извечному делу — детей рожать, семью хранить.

И мать Матрена сокрушенно качала головой, глядя на эту пару, и отговаривала как умела:

— Не морочил бы ты, сынок, девке голову. Тебе учиться, а ей замуж нейдет. Погляди, она какая?! Да разве тебя ей надо? Ей надо под рост, а ты ей под хвост. Не обижайся, сынок, но чтоб людей не насмешить... Нет, не пахать тебе эту пашню. Твои жены еще в постельки писают. Не торопись этот хомут надевать, еще успеют засунуть, еще успеют наездиться на тебе. Мала лошадка, а седлу место будет. Походи пока за Светой Шматовой. Она в пединститут собирается. Вместе высшее образование получите, а там видно будет...

## Светка Шматова

...Это была у него другая любовь, но совсем иного края: худенькая, остроликая, отличница кругом и аккуратистка. Да не из простой семьи. Отец секретарь первый в райкоме, мать в библиотеке книги выдает.

Но козырной картой в жизни Светки было не секретарство отца, а немецкий язык. Она по нему в школе первой была и в восьмом классе немецкую программу, однако, за десятый класс шпарила. С ней Федорыч (так сокращенно звали учителя по немецкому) отдельно занимался, замену себе подготавливал, что ли? Специалистов по этому делу не хватало, и Федорычу приходилось вести немецкий еще и у вечерников. А вечерники были взрослые дяди и тети, иногда родители тех, кто учился днем, и которым в свое время помешала война или иная какая причина доучиться и освоить немецкий язык. Заканчивал среднюю школу по вечерам и первый секретарь — Шматов Петр Денисович.

А Федорыч, надо сказать, был большой оригинал. Из моряков, чуть ли не переводчиком службу проходил. Весь из себя черноус, черноглаз, буйноволос, одним словом — Денис Давыдов. Мальчишки его побаивались, девочки были поголовно от мала до велика влюблены в него, а все вместе обожали и старались потрафить ему. У него была дерзкая методика, за которую его не раз промывали на педсоветах, но он продолжал внедрять свое. Довольно часто из самих учеников назначал он себе «заместителя». Этот вновь назначенный педагог должен был крепко усвоить не только нынешний параграф, что объяснял сам учитель, но понять и вызубрить следующий и самолично всему классу растолковать потом, в присутствии, разумеется, Федорыча и под наблюдением. Конечно, уроки смахивали на спектакли, проходили весело и незаметно, скучная наука превращалась в игру и усваивалась легко. Не обходилось и без

потехи, конечно. На экзаменах обнаруживалось иногда, что иной «учитель» из всего немецкого языка знал только тот пункт, что самолично преподавал когда-то.

В очередной зимний вечер, когда Володя с Фоминым пили чай с подушечками и играли в шашки, их потревожил завуч, переполошенный до заикания:

— Что делается, товарищи... что будет, подумать страшно... У вечерников немецкий срывается... перемена заканчивается, а Федорыча все нет... Сам Шматов сидит... Володя, не в службу, а в дружбу, сбегай к Федорычу, в чем дело, узнай!

Володя вмиг собрался — и к учителю. А дверь не заперта, и света нет. Спит? Или стряслось что? Мальчишки ходили тогда по деревне с самодельными светильниками. В банку жестяную или кружку укрепляли свечной огарок, а то фитилек сальный, и запаливали. Устройство пряталось от задувания в рукав, и оттуда мельтешило светом. За это изобретение задницы многие были драные, потому что не один рукав прожжен случался, а то так и вообще «от жилетки рукава» оставались у некоторых, но что делать, светить-то надо было как-то... Володя засветил свою кружечку и вошел в дом...

Учитель лежал на полу лбом в крашенные половицы. Угорел, видимо, страшно. А что? Свободное дело — холостяк: выюшку то закроет не вовремя, то откроет невпопад, из полыньи да в пламя. Володя дал учителю воды, рассказал про панику в школе.

«Беги к Светке своей, пусть она по-быстрому оденется и проведет этот урок. В журнале все записано... Им нельзя пропускать, у них времени нет, скажи — Федорыч просил выручить».

Светка затряслась, как же, там отец, но стала собираться, а гонец пулей за врачом учителю и снова в школу — за Светку болеть. А как же, ведь они дружили, провожались, записки друг другу с четвертого класса писали и часто,

когда были не в ссоре, пели дуэтом, а на переменках норовили к бачку с водой для общего питья рядом стоять, хоть и пить не хотели.

Светка, бледная, но гордая, оглядела класс, села за стол, ознакомилась с записью в журнале и вызвала к доске ученика — Шматова Петра Денисовича. Старый завуч за дверью остолбенел, попытался закрутить «козлиную ножку» и не смог. Ученик, голова района, не растерялся, не перевел момент в шутейность, а стал нормально отвечать, как самому Федорычу. А Светка-нахалка гоняла начальника перед подчиненными не только по заданному уроку, а по всему пройденному материалу. Класс подчиненных притаился, каждый думал об этом по-своему, но руководитель ответил на все вопросы и заработал четверку там, где Федорыч бы вlepил пятерку в пол-листа. Кто-то шепнул: «Занизила!» Но Светка была неумолима.

Однако без злых языков жизнь пресная. Иные были уверены, что, дескать, подстроено все было, Федорыч здоров как боров и что ему с угара станет. Да и какой угар — печь сроду не топит, по бабам ночует, пьяный небось лежал, его на этот подвиг уговаривать не надо — любитель... А девчонку подослали — спектакль перед деревней разыграть, авторитет отца повесить и чтоб тот умастился и кирпич выделил директору на школьные сортиры вместо нынешних деревянных, хотя бы на один, на тот, что по переменкам так дымился, будто и вправду горел. Народ все знает, только потом. А вначале-то, ой, как все счастливы были (какой грамотный и некичающийся человек Шматов!) и норовили все позать секретарскую ручку за ответы точные на вопросы трудные и за того, кто эти вопросы перед ним ставил. Володя знал, что никакой инсценировки заранее сочинено не было, учитель действительно угорелый был. Только он потом этим угорением злоупотреблять стал, и Светке приходилось плюсквамперфекты всяческие

объяснять не только вечерникам, но и своим хулиганам однокашникам. И старый завуч был приставлен к ней для наблюдения за порядком. Оттого, может, Светка для Володи чересчур умной стала казаться, если не сказать высокомеристой и занудливой, но так сказать нельзя, потому что она по-своему и симпатичной считалась тоже, это ведь на чей вкус.

Недаром за нее Володя кровь первую в своей жизни пролил, вроде как за Прекрасную Даму, через Альку Беляева. Алька — спортсмен, бегун резвейший на стометровку и на турнике солнце крутил на переманках, пока Володя со Светкой в очереди к бачку попить стояли. К тому же он переросток был: какой-то класс он два раза прошел. В морозы лютые ходил в фуфайке ватной, ремнем с бляхой перехваченной, и тонких кожаных перчатках, которыми хвастался, конечно. Однако парень он скромный был и сам Володе не намекал, но через ординарцев передал, чтобы тот от Светки отстал. Но тому не хотелось отставать так просто, хотя Клавка уже появилась на горизонте и коса ее курчавая не раз его нос щекотала в вальсах на школьных вечерах под баян с перламутровой надписью «В. Фомин». Когда однажды Володя приволокся со Светкой на «Бродягу», его пригласили за клуб на разговоры. «Я же тебя предупреждал, — с какой-то даже тоской прошевелил языком Алька, — будешь ходить за Светланкой, подумай хорошенько». Володя подумал, взвесил, Светку, Клавку, Альку — кожаный кулак и сказал: «Буду». Потом он умывался кровью и прикладывал снег, но стал свободен. Алька ударил его только раз и то для понту больше, и все же разрубил одним махом то, что Володя сам рубить не решался, оставлял для других, для самой Светки той же, которая, между прочим, позволяла Альке провожать себя, а может, и целовать, кто знает. А теперь... что? Отбили! И можно спокойно приглашать на круг жизни Клавку. Да еще Светке все время стихи подавай. Клавку же от них в

сон клонило. Зато частушки ёрнические обожала Клава до слез, а он знал их миллион.

Но... со Светкой медленное танго танцевать хорошо и в сторону глядеть. С ней хорошо на катке прокатиться не спеша на коньках под тихую музыку, и чтоб обязательно снег падал крупный, величавый и такой густой, через который бы еле пробивались разноцветные лучи прожектора. И чтоб обязательно рука в руке и шарфик на ветру, чтоб... ну, словом, чтоб как в кино — вот как чтоб... А с Кланей, с той нет... С ней хотелось к кому-нибудь на гулянку закатиться с гармошкой, с песнями... Или в баню вместе париться до одурения, поддавая пыли-жару, с визгами, стонами, и в сугроб кувырком — охладиться. А потом забраться на печь горячую под шубу огромную и проспаться там с ней всю жизнь, временами только ребятишек из-под шубы подавая матери на воспитание.

Зато со Светкой про всякое кино интересно поговорить можно было. Или часами сидеть в читалке и одну и ту же книжку читать, скажем — «Консуэло», и одними переживаниями переживать, в одних и тех же местах вздыхать согласно, краснеть сообщая и не спешить на мороз, где Кланы малиной рдела, а Светка сливела сливой. Клане можно было сказать на ушко, что взбредет, напрямки, не объезжая. Светке же кое-что из этого можно было сообщить только в записке мелким почерком и условным шифром. А записку оставить в пятом бревне задней стены клуба и мохом прикинуть, чтоб не выдуло. Такая была Светка тонкая и гордая. И любовь у них непростая была. С ней осторожно надо было обращаться, бережно, чтоб не хрустнуло до времени. Но с ней, со Светкой, не хотелось в баню и на печь под шубу. А баня с шубой сейчас верх над книжками держали, и маятник любви в последний год заметно в сторону Кланы подаваться стал.

Кланы-любовь жила на другом конце села, далеко. Это было неудобство, но не препятствие для ихней люб-

ви. Бывало, зимой с клубных танцулек, если провожал ее до дому в скрипучих ботиночках для форсу (валенки-то в клубе оставлял), носки к подметкам прикипеть успевали. Так уж обратно зайцем несся. Отец сильные засовы придумывал, чтоб не пускать поздно, чтоб не шлялся по ночам. Но брат Ванька на стреме стоял, охранял братовы заблуждения — неслышно отодвигал отцовы засовы или тряпками обматывал, чтоб не гремели, и проволоку, за которую тянуть, в условную щель просовывал... А если летом, так окно отворял, не глядя, что комары зажрут.

А Вовка-брат все наяривал и наяривал и не мог остановиться. Но уже не раз его сердчишко обрывалось не на шутку. Уж больно часто захватывал Кланю Генка Бобрышев, приехавший на побывку из летного училища. Сапоги блестящие, в голенища смотреться можно заместо зеркала, галифе с прожилочкой голубой, гимнастерка ремнями перехвачена. И все это не какой-то хлопчатобумажки солдатской, а сукна тонкого, офицерского, по-видимому... Но главное — крылышки, пропеллеры серебряные на погонах и кокарде. Да в таком наряде английскую королеву сбить с панталыку можно, не только Кланю. И рвал Володя гармонь на части, аж планки хрипели.

Но вот три последних аккорда условных, и Кланя поплыла с «парома». Так условилось, сложилось само собой. Не ждут девки никого, а разбредаются по сторонам. И тут уж варезку не разевай, догоняй свою, а то ведь и перехватить могут.

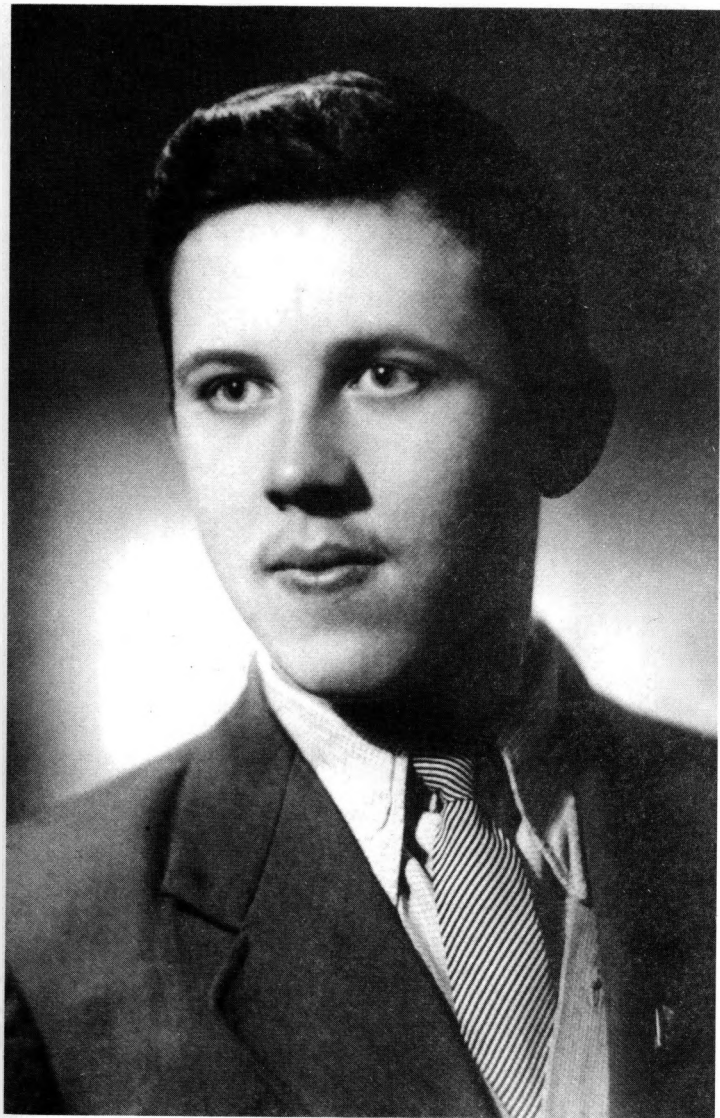
Поплыла Кланя с «парома» и в его сторону сверкнуть не забыла. А он гармонь в охапку, хоть и мешать будет, но не бросишь, не оставишь в кустах такую крикливую, с собой брать надо. И потек за Кланей с гармоною. Тек за ней, и крепдешин ее ароматил, аж ноздри разрывало. Так ароматил, аж догонять не вмоготу, а то ведь говорить

надо будет, а как начать после такого напряжения. Так и тянулся, вытянув нос за крепдешинном Кланиным, как на заклатие, правда что. Но ему не пришлось разговор выдумывать, и не по своей воле. Крылышки не зря перед ним вертелись. Только он к Клане пристроился, про все забыв, только пыль от ее продвижения целуя, как на пути вырос кто-то. Да не кто-то, а Генка Бобрышев, что на побывку пришел с пропеллерами серебряными.

«Стой, куда пялишься? Пропуск!» — «Какой пропуск?» — «Ясно, нет у тебя пропуска в те края. Комендантский час настал. Разворачивай костыли — и в койку. По-быстрому с «дурочкой» своей!» Так он гармонь, под которую только что Клавку вертел, мог обозвать смело, потому что сильный был. «Ну, чего думаешь? Дрыгай домой, а то «дурочку» порву и пельмени надеру». Пельмени — это уже к ушам, это уже хуже. Разве станешь с ним спорить, когда он головой выше, а на спартакиадах диски закидывал туда, куда собаки не добежали, где их потом днем с фонарем искали. Он график соревнований срывал силой своей дурацкой. А когда копыя принимался метать, директор школы из дома сбегал или в погреб за сметаной скатывался, потому что копыя эти Генкины в огород к нему залетали не раз, и тыквы и арбузы попроколоты после оказывались, как после Мамаея все равно что. Не ровен час в окно закинет. Ну а коль не в силе был, так только до штакетника игрушки свои добрасывал. Но в несколько попыток и его весь изрешечивал дотла. Со зла что ли? Но штакетник за счет школы восстанавливали, а арбузы не вернешь, не попробуешь, на стол не подашь дырявые. Генка, может, рекорды мировые все поколотил по этому делу, только не измерял никто, потому что он за черту заступать всегда любитель был.

Так разве станешь спорить с таким, когда гармонь под мышкой, нож дома и брата рядом нет, а главное — Кланя далеко уже.





*Перед поступлением в Театральный институт. 1958*



*Родители: Сергей Илларионович и Матрена Федосеевна. 1938*



*С мамой Матреной Федосеевной. Санаторий «Чемал». 1949*



*Мне 10 лет*



*С первой женой Ниной Шацкой  
в окружении родственников*



*Папа, мама и Денис*



*Бабушка Матрена Федосеевна держит внука Дениса. Москва. 1970*



*С сыном Сергеем. 1983*



*Со второй женой Тamarой  
и сыном Сергеем. 1980*



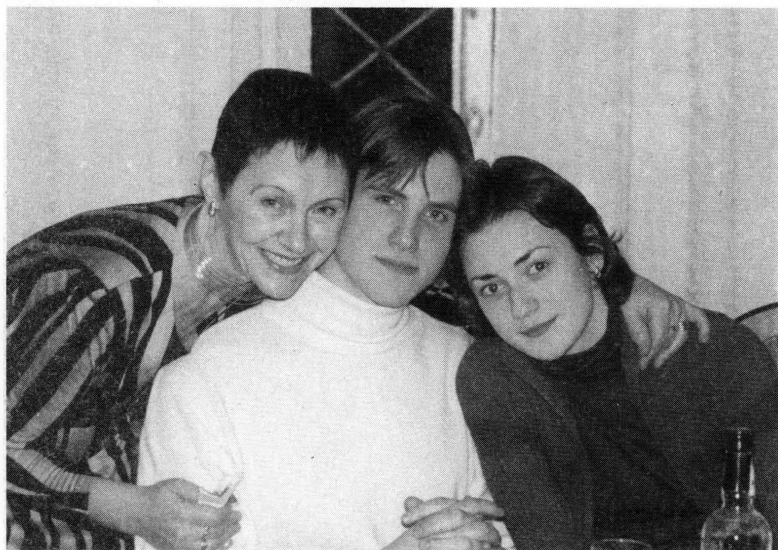


*Сын Сережа с друзьями на Каширском пруду. 1985*

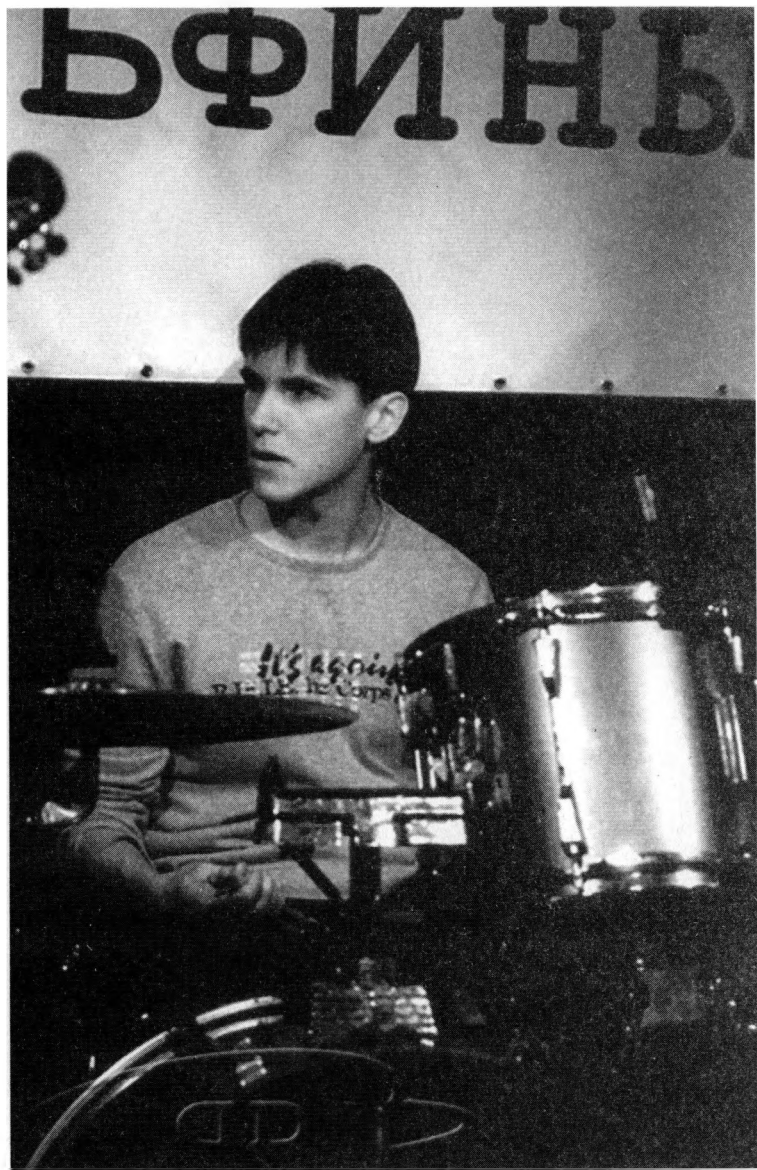




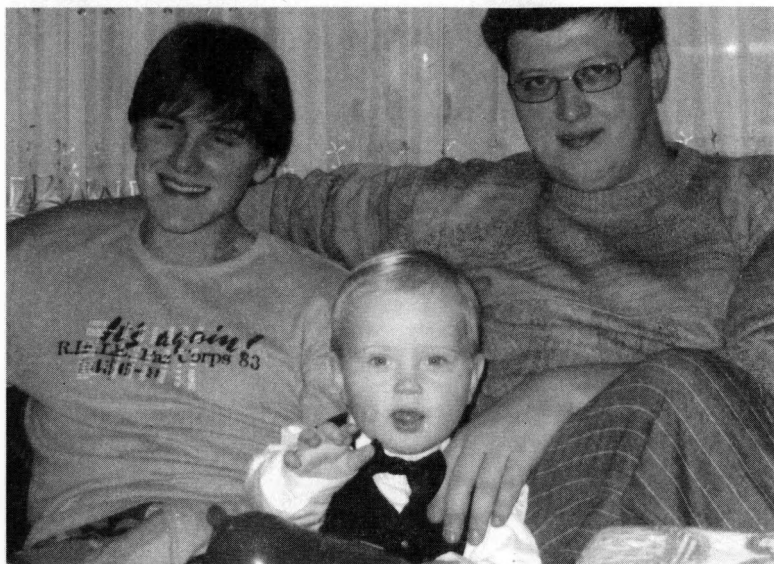
*Группа «Мертвые дельфины»:  
Сергей Золотухин, Саша Помаев, Артур Ацаламов*



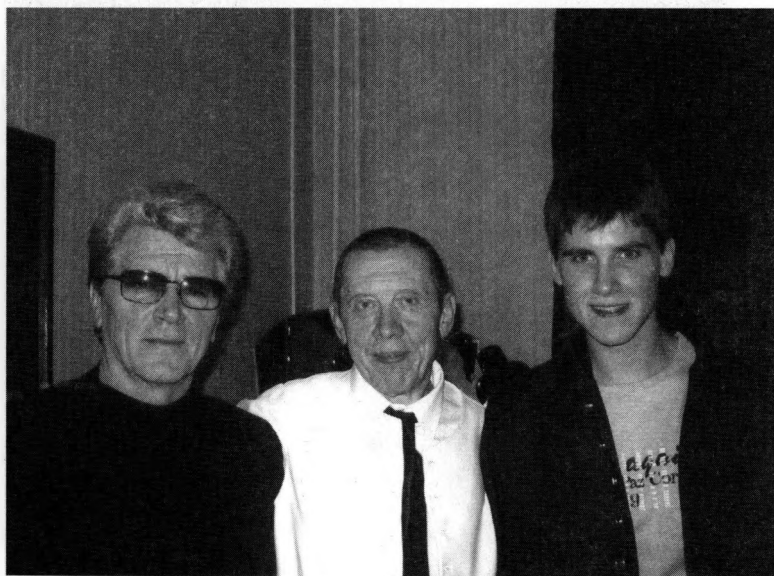
*Сергея с мамой и любимой Катей. 2003*



*Сережа на репетиции*



*Сергей, Иван, Денис – мои сыновья*



*Калуга. После спектакля «Ревизор». Сергей в мундире Городничего*



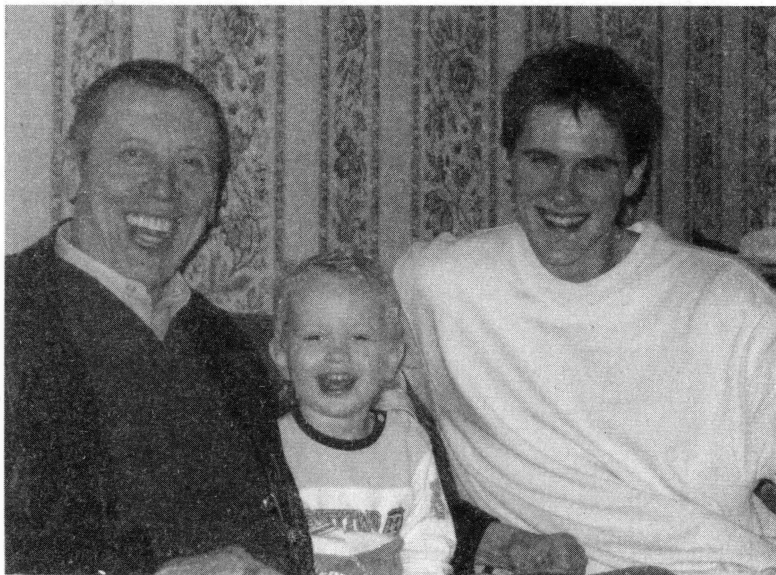
*Последняя фотография с мамой. 2001*



*Ваня с папой и мамой в зоопарке. 2006*



*Крестный отец Вани Михаил Евдокимов. 23 апреля 2005*



*С Сергеем и Ваней*



*С Тamarой и Сергеем*



*После спектакля «Марат и Маркиз де Сад» с сыном Ваней*

«Ладно, — вспомнил Володя мать, как она говорила: где коза на дворе, там козел без зову в гостях, — спорить тут не выпорить... вы так, а мы поперек». Пошел вроде как домой, но, отойдя на расстояние, не разглядеть, мотанул в переулочек, чтоб перехватить Кланю огородами и быстренько смыться с ней в баню. Но Генка хоть и сильный, но не дурак был. Он это предвидел и выставил посты в темных местах, братьев своих послал стеречь. На детсадовского Бобрышева и наткнулся Володя. Его, сопляка, с ботвой картофельной не разобрать, а он уже тимуровцем на посту трясется, но от холода трясется, не от страха. Эта титька тараканья такой визг подняла, что в ближних избах свет замелькал и тени зашмыгали. Гармониста, ухажера-бедолагу, ветром понесло через плетни, задами, чтоб не видел никто. Так в последний вечер прокатали на вороных от Клани, от крепдешина ее пахучего, и прокатали, отвадили навсегда, так случилось.

И Светки нет, и Клавки не будет... Как будто чуяли парни, которые отваживали, что вырвет он отсюда свой корень, так пусть уж и девок оставит в селе нетронутыми, пусть рыщет в другой стороне.

Гармонь в сених оставил. Зачерпнул воды ковш. Отдышался, ободрился, чтоб мать расстройств не заметила. Матрена топталась у печи. Стряпни было наготовлено всякой: шаньги, калачи, пироги с калиной, смородиной, с картошкой любимые, блины завела кружевные...

— Зачем ты, мать, все это лепишь? Ничего мне этого не надо, что я, мешок из-за твоих лепех брать стану, позориться в Москве. Вечно наготовит на свадьбу!

Да на свадьбу-то я разве так изготворю? Доживу — увидишь. По пирожку разного возьмешь, и то хорошо.

— Разбуди пораньше, — и брякнулся в старую койку, где они с братом всю жизнь спали. Ваньки не было еще — огороды держали. Не спалось, ворочалось, обидно и скверно было. Клания перед глазами кружилась, пахла



сладко, и в ухо дышала, и шептала, что на фотокарточке в Новый год написала, когда он Раджа Капура изображал, а она индианкой была с пятном акварельным на лбу. «Быть может, память обо мне недолго будет длиться, но пусть она назло судьбе на фотографии хранится», — так писала Кланы на фотографии, что лежала теперь в чемодане вместе со «швиетовым» костюмом, бутылкой с водой из ихнего колодца, что волос на голове прибавляла, медалями, и готовилась увидеть столицу.

«Вспомнишь — спасибо, забудешь — не диво, ведь в жизни случается все». Вспомнил, как гуляли. Как ночью морозной однажды в сене просидели под шалью огромной с песнями, с ласками и не заметили, как мать пришла корову доить. Но не потревожила их. Подошла и ушла, а они спали будто. Зря, что ли, носки к ботинкам приморазживались? «Эх, мать моя Матрена! Вот ведь жизнь какая?! Кто сильнее, тот и царь. Взял и увел. И та не задержалась, корова. Да ведь и глупо девке в мужское дело вплетаться, с другой стороны... А утром плыть. Придет ли на пристань? И как ее оставлять без присмотра с таким богатством после всего этого, — лежал и мыслил, — надо Ваньке наказать не забыть, чтоб влил с парнями Бобрышеву по первое число». А из кухни прорезался свет тонкой полоской через дверь. В этой полоске неслышно возникла мать. «Ты не спишь, сынок?» Володя не ответил. «Зачем она пришла, чего спрашивает? Сейчас опять будет мешать о Клавке думать. Наставления, советы пачками наговаривать да еще плакать начнет, совсем тошно будет». И он не откликнулся. Плотнее зажмурил глаза, будто спит давно. Мать постояла, повздыхала, опустилась в изголовье сына на колени и начала-таки свою канитель.

Да это кто от меня улетает,  
 Да кто пригожий уезжает,  
 Да на столицу кто меня меняет?

## Дребезги

А столица велика, белокаменна,  
А матери родимой там нету все равно.  
Да кто, сыночек, там тебя приветит,  
Да кто, хороший, приголубит,  
Да кто тебя, сердечный, сизый,  
защитит?!

А дорога-то какая дальняя!!  
Да ведь не по сахару пролегает,  
не изюмом усыпана.  
Раскатила бы я перед тобой ковровую  
дороженьку,  
Да пироги в печи подгорят.  
Да запрягла бы я тебе вороных коней  
и сама в хомут,  
Да деда не на кого оставить!

Полоска света из передней просекала по ее глазам.  
Но она не видела света и не замечала, что сын не крепко  
зажмуривает глаза и подглядывает за ней.

И никто тебе сказочку не расскажет,  
Спинку тебе не почешет,  
Баньку не протопит,  
И блинчиков кружевных не испечет.  
Дальше Чуйского тракта нигде не был,  
Живой паровоз только в кино видел.  
Да уж, видать, лети, сыночек,  
Лети, сизый голубочек.  
В молодости по поднебесью  
не покружись,  
Потом и вовсе хвост от земли  
не оторвешь.  
Только не при на рожон зря,  
Наверняка только обухом бьют,  
Да и то промашки случаются,

## Книга первая

Присмотрись, приглядись.  
Чего добрые люди творят, чего говорят,  
куда смотрят, —

Глядишь, и сам жить научишься.

Беда — драться не умеешь.

А брата-заступничка рядом не будет,

Сестру-выручалочку тоже не пошлешь.

А я тебе шанежек в дорогу напеку,

Яичек в тесто запеку, маслица баночку

Да медку с брусничкой скляночку...

Глядишь, и доберешься до Москвы,

А там — не зазнавайся,

На сквозняках сидеть остерегайся,

А ноги держи всегда в тепле.

К зиме, если все подобру-поздорову,

Ванькину пальтину тебе вышло.

Ему уж новое справлять надо...

Ванька у нас жених уже, в армию

собирается,

А девки все еще не манут его,

Лупит всех подряд до сих пор...

Это что за мужик такой растет у нас.

Ты нас не брани, сыночек,

Не храни обиды на родителей своих,

Когда чего не так сказали или обидели

невзначай.

Прости меня, дитяtko мое ненаглядное,

Не запомнила я личика твоего

маленьким,

Когда в люльке качался.

Выронила тебя я нечаянно

И поздно слишком, ранка ты моя

незаживучая.

Не помню, как и ходить начал,

Ванюшку помню, а тебе не досталось,

Война проклятущая да работа несметная.  
И вот улетаешь, выроненок ты мой,  
Да чей только подборенок станешь?!

Слезы пошли у матери. Володе эта канитель нравилась уже. А со слезами и совсем здорово. Ему сверкнуло, что происходит редкое. Мать на коленях плачет и чудно приговаривает — провожает его. Сколько раз они читали вместе из Гоголя, как мать над сынами курлыккала, провожая в Сечь. Ведь просила читать и плакала всякий раз. Видно, знала — и ее поджидает похожее. Теперь пришло. Запершило — не продохнуть. Он отвернулся к стене, чтоб не выказалась слеза вдруг, но молил про себя, чтобы это подольше было, запомнилось, а потом **сказалось так**. «Ведь это можно сыграть когда-нибудь, изобразить где-нибудь, похвастаться опытом... И слезу матери в копилку. А что?! Какой миг, Господи! Хоть бы протянулся!» Подушка мокрела его слезами, и он не кричал чуть, но просил, просил...

«Не уходи, мать, не уходи! Постой еще чуть. Еще жальчее, еще заковыристее, еще цветистее слова подбери. Прожги меня ими насквозь, просквози на всю жизнь. Я нанижу слезы твои на нитку суровую и за пазуху с собой до могилы. Пусть спасают, пусть греют и не дадут забыть. Твою боль я за свою выдам и вырвусь из среды, потому что своих болей я еще не скопил. Я займу у тебя твои раны до своих, пока наживу. А не наживу — потускнею, пожухну без времени, как бессекретная картина какая. Прости меня, мать, только это для дела моего надо, пойми... Напомню тебе страшную легенду о художнике давних столетий. Писал он Спасителя распятого. И чтоб, значит, живее, чтоб кровенистей было, чтоб муки Христа укрепляли веру смертных в него, потребовал мастер, чтобы для вдохновения его натурально пригвоздили к кресту настоящего человека, чтоб по-настоящему корчился, чтоб с настоящей кровью краски мешать для своего бессмертия.

И власти исполнили просьбу творца. «Подумаешь, одного человека для всего человечества». И никого другого, как лучшего ученика своего, отправил мастер на крест. Распятый скончался и не дождался взглянуть, чему натурой служил, и стояла ли овчинка выделки. И сам мастер давно встретился с ним на Суде, разве что по разным воротам развели их после. Одно творение от обоих осталось. Я не знаю, может, распятый сам пожелал, а не выбран был. Может, он сам отдал кровь свою в палитру того, в чей гений верил свято, и с радостью шел для него на распятие, с песнопением, быть может, шел. Я не знаю, может, когда-нибудь и надо вот так, за ради чьей-то воли, чьего-то гения, шагнуть один раз в прорубь. Одним махом смерть принять, бессмертием себя обеспечив по пути. Но зачем оно смертному, это бессмертие дьявольское?! Из-за которого столько пакостей люди совершают?! А другой-то с топором к нему пробивался, да промахнулся. Хотел по старухе, да по матери угодил\*. И сам писатель на казни пропуска просил, смотрел, хотел все, что касается человека, изучать. Плачь, мать, а я понаблюдаю...»

Горьким молоком я тебя вскормила,  
Вот и рвешься теперь от меня.  
И не крещеный ты, жаль.  
Хоть и не верила ни в кого сроду.  
А черт его знает,  
Может, и помогла бы молитва  
при случае...  
Зачем ты только гармошку берешь,  
Тащишь с собой тяжесть такую?  
Неужели уж, если надо, в Москве  
Гармошки не найдут?  
Да еще сопрут в дороге...

---

\* Имеется в виду персонаж Достоевского Раскольников, который своим преступлением сводит с ума мать.

Ванька пришел.

— Ты чего тут, мать, над ним колдуешь. Иди, пироги горят.

Наутро тошно на душе было, но вскоре прошло за отъездом. На пристань хотели всей семьей ехать, как когда-то. Но ребятня выросла, потяжелела, и Ваньке с Тонькой пришлось пешком идти вперед. Отец сходил к однорукому совхозному конюху Шаталову. Тот не отказал по такому случаю. Выделил бывшему председателю старого мерина Гоголя, который больше шагом теперь ходил, и уж селезенка не екала у него теперь, как бывало в прежние времена, когда они с председателем в силе были и птицей летали по полям.

— Да, ребята, — развспоминалась мать в худом коробке, — как меняется человек к человеку от обстоятельств. Ты, Вовка, ехал рождаться на райкомовской «эмочке». Отец уж на сборах был. И Веряскин, шофер, помогал мне с крыльца сойти, под руку вел. А когда ехали, то и дело справлялся о здоровье, не шибко ли везет и не выроню ли я тебя раньше, чем доедем. А в день, как родился, войну объявили, и отец со сборов прямиком на фронт ушел, отказался от брони. И домой с тобой на руках я уже пешком возвращалась. А тот, что вез тебя рождаться и ручку протягивал, с твоей матерью уже не здоровался. Вот на что меня Гоголь вывез. Чем я провинилась в больнице? Секретарю бронь и для шофера бронь, а Степан Илларионович, думали, не вернется. А он через полгода возьми да и приди из госпиталя. И опять меня Веряскин катал на легковушке и с крыльца сводил. А потом опять отец на фронт ушел, и опять я пешком ходила.

— Не болтай, мать, чего не следует.

— А чего мне болтать... Я правду болтаю... Неправду я только ребятнишкам на сон болтаю...

На пристани собрался весь класс. И Кланыя пришла улыбочатая. Стояла в стороне, подобрала руками свою пышность. Пришел с баяном Фомин и с ним тот, с голенище

ростом, появление на свет которого решилось за шашками в мастерской. Той самой мастерской, где столярка и кипятилка для общего питья, где отец его Владимир Степанович Фомин без всякого что ни на есть магазинного материала собственноручно ладил мужикам гармошки, которые кричали теперь на всех свадьбах и поминках чуть ли не в пятнадцати деревнях по кругу.

— Ну, мужик, вот и пришла пора сказать друг другу — не поминай лихом... — Фомин тряхнул кучерявым чубом и полез за табаком. — Не реви, мать увидит... поступишь, я уверен. Это будет твоя первая ступень, а должно быть их как на одесской лестнице. Ребята мы не вшивые. Кипяток в стакане ты держать натренировался, это редко кто может. И остальное одолеешь. Слушайся учителей. Не задевай их самолюбия. Делай так, как учить будут. И все, что считаешь лучше, держи про себя и никому не показывай до поры. Но свое собирай, копи копилку, фотографируй глазами, памятью интересные образины. Упирайся во все мослы. Подбирай все что ни попадя — запахи, кусочки, привычки, словечки... От каждого его сноровку старайся перенять, не свору, а сноровку. Голову выше, но нос не задирай, а то не напрял был чего зря. И помни клич Александра Сергеевича — берегись бесславия!.. Так вроде... Любовь к славе за ради Отечества пускай тащит тебя. Можешь прославить фамилию — хорошо! Сможешь прославить село наше — действуй. Хватит таланта и сил прославить Отечество — до земли поклонюсь и всех заставлю. Только по чести все делай — как раньше настоящие мужики делали — не чужеспинничай. Также не забывай никогда хорошего русского слова: «Ура!» Как устал вдруг или отстал от кого, крикни себе «Ура!» — и вперед, и с песней. И траншеи будут твои, и копыта коней своих ты ополоснешь в Индийском океане!..

Володя слушал Фомина и видел, как украдкой в стороне отец доставал из своих многочисленных карманов

помидоры, яйца, всякую снедь и набивал ею и без того набитый под завяз мешок с продуктами. Гуднул пароходишко «Зюйд». Мать обняла, заревела, хоть обещала отплакать все ночью. Отец так сдавил, что кости хрустнули и, отвернувшись, быстро зашагал к Гоголю на кручу, где неподалеку стояла Кланя Гальцева и махала белым платком. Володя поцеловался со всеми, поднял над головой своего крестника «фоминенка»: «Расти в отца!»

Одноклассники заволокли на пароход чемодан с медалями и костюмом «швиетовым», мешок с пирогами... Гармонь Володя не доверил даже брату. Ее, отлаженную Фоминым, он держал крепко под мышкой и увозил с собой в Москву покорять мир без единого выстрела. Старый пароходишко «Зюйд» поднатужился и, ворча сходящими, кое-как отвалил от берега Быстрого к столичным пределам.

Фомин зажмурился и грянул на самодельщине своей пятирядной знаменитый чардаш венгерского композитора Монти, и непонятно было, кто из них больше грустил, то ли Фомин, то ли баян, то ли сам Монти.

И уж не прокатиться, не вернуться сюда тому, кто махал сейчас с кормы дерматиновой шляпой своему берегу, своему пыльному, золотому детству, нет, не успеть теперь уж ни на Гоголе, который дожевывал усталыми зубами старую уздечку, ни на «Зюйде», имевшем уже предписание на списание и шлепавшем в свой последний рейс. Отлопатил он матушку-Обь; как только он освободится от нынешней публики, его поставят в Затоне на прикол и разрежут автогеном на лом.

## Отрок Варфоломей

Когда Володя проснулся на своем матраце, Лина и Стаса уже не было. Отец сидел одетый-обутый и внимательно изучал обстановку, расположение, запоминал, чтобы



матери потом описать все в точности. Во вчерашней суматошной встрече и заземельных спорах он это сделать как следует не успел.

— Ты чего так рано, пап?

— Вставай, сынок, ехать вечером надо, а дел еще у нас с тобой невпроворот. Мать наказала кое-чего купить, раз уж в город подался. Ишь, простынки вам белые стелют, кто-то ведь их стирает вам, цените, не зазнавайтесь, это все трудом честным добывается.

Володя в момент собрался, умылся. На скорую руку они позавтракали остатками вчерашнего ужина и двинулись в путь.

— Так, ну куда мы спервоначала?

— Мне люди все в ГУМ этот главный советовали забежать, вещи, говорят, там добротные попадаются.

— Вообще в этих больших магазинах всегда столько народу, все приезжие туда прутся, день протолкаешься и ничего не купишь. Надо тебе не только купить, и поглядеть надо. Так что «шнуруем» в ГУМ. — «Шнуруем», в смысле идем, было любимое словечко старшего брата, которого отец уважал больше других, и Володя, желая расположить отца, показать самостоятельность и сметку в житейских делах, вворачивал братовы выражения.

День выдался морозный и без ветра. Расплывчатое солнце коптило помаленьку и даже умудрялось тень от домов отрывать. Солнце же души Володиной, напротив, сияло июльским жарким светом и растворяло в себе вчерашнюю тоску и ночной позор. Этим солнцем Володя плавился изнутри, наполняясь бесшабашностью трын-травы и достоинством большого. Ему казалось, что отец сегодня гораздо ниже ростом и смотрит на него снизу вверх, а не наоборот, хотя Володя в своей огромной козлиной шапке еле доставал отцу до плеча. Володя вспомнил, как гордились они с братом мощью и ростом своего отца и как изводили пацанов кличем: «Нас папа выше крысы, а вас до

гвоздя». До какого гвоздя, почему до гвоздя? Очевидно, был вбит где-то такой гвоздь, и много крови пролилось ребячьими носами из-за этой дразнилки.

По пути к покупкам Володя заправским хозяином выспрашивал отца о доме, о хозяйстве, об урожае, всем видом тужась показать, что он теперь уже не тот «хлюст», и хоть издаля, но понимает толк в крестьянстве. Ларионычу эта показуха заметно нравилась, или он не разглядел ее, а может, и не выкинул еще мысль вернуть сына к земле, хотя вчерашний день вывернул его надежду наизнанку.

Народу в ГУМе действительно многовато, как на базаре в базарный день, «но да ведь на то и главный в стране», – рассудил Ларионыч.

– На что нацелимся сразу, пап, чтоб не расплытаться?

– Думаю, платьишко матери какое-то посмотреть, да туфли праздничные, ну, полушалок... покрасивше да подешвле... ко дню рождения, значица.

– А когда у нее день рожденья?

– Вот те раз, не знаешь, когда мать родилась. Сейчас скажу... по-старому, значит, на Благовещенье, третья встреча весны... птица гнезда не вьет, девица косы не заплетает... В этот день отбивают омшаник, достают улья... девятого апреля – день Матрены-наставницы, срок прилета наставниц-чибисов... В это время отбивают проруби на реке. Что наткано было за зиму холстов, начинают белить. То есть холсты мочат в проруби, выбивают валиком для смягчения, обжимают и расстилают на снег. От промораживания снеговой влагой полотно также смягчается, а от солнечных лучей выгорает, выбеливается, становится приятное. Готовое полотно идет на полотенцы, наволочки, белье, простыни...

Володя слушал и удивлялся: «Ты смотри, какой неугомонный на речи и философию отец к старости стал, а всю жизнь промолчал». Поднялись наконец в отдел женского готового...

— А размер какой, пап?

— Размер-то? Да возьмем на глаз, номеров-то я не помню, да и меняются они у нее год от году.

— Ну а как же будем выбирать?

— Ты не ерзай. Сначала подберем платье на глаз, примерно... потом станем подбирать под него гражданку, по габаритам сходную с мамкой, попросим ее померить и сказать...

— Зачем так не по-русски делать? Давай уж сначала подберем гражданку, выясним ее номер и станем наряжать...

— И так можно, даже вернее, пожалуй.

Поначалу Ларионыч осекся. Вместо габаритов заглядывался на лица, ошибался в возрасте, сбивался на молодых, но потом исправился и подобрал что нужно. Отобранная гражданочка хоть и смущалась, однако охотно выполнила просьбу и даже оговорила продавца за невнимательность и нерадение к приезжим. Примерила по просьбе Ларионыча и собственной инициативе много разных платьев, и скромных, и фасонистых, и наконец вышла из-за занавески счастливая. Платье лежало в сумке, хуже дело обстояло с туфлями. «Шут их знает, ноги-то, были они когда-то аккуратненькие у нее, да ведь растоптала она их с этим хозяйством в лепешки...». Взяли с запасом. «В случае чего бумаги или ваты в носки насует...».

Где она растоптала ноги... ей немногим за пятьдесят, а выглядит она по сравнению с городскими бабами старухой. Милая моя мама, неужели это о тебе — старуха?!

Последние год-полтора мать Матрена работала в местном быткомбинате, делала конфеты-подушечки. Но это дело скоро прикрыли — то ли потоки не стало, то ли специалисты не годились — и ее послали на подсобные работы. Володя видел, как она с бабами таскала камни на закладку фундамента под винный цех. Но она и камни таскала весело, и, как всю жизнь, смеялась чересчур бесшабашно.

А смеяться ей жизнь давала ой как мало поводов. Но так уж повелось: смех на людях, слезы себе.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Кто сказал, что ты старуха,  
Милая моя, добрая мама?!  
Ты самая молодая из всех, потому что знаешь ЛЮБОВЬ.  
Ах, эта Осень! Опять она давит меня  
Своим золотым кушаком,  
Опять пораскидала она сети дождей, оравы птиц  
И лужи кровавой листвой заварила, —  
Напиться из них и остудить глаза-фонари.  
Милая моя мама! Я чувствую, что  
Не отправлю тебе это письмо никогда.  
Оно слишком невыносимо для нас с тобой.  
В нем много того... оттуда... чего думала ты,  
Я не помню, чего не родился знать.  
Но я не могу спустить свою память,  
как кровь в унитаз,  
И рад бы вспоминать разучиться,  
Но проклятая Осень,  
Гонит меня рваным туманом  
на панель вспоминать,  
Как когда-то тебя выбрасывал в снег мой отец,  
Думая, что я НЕ ЕГО.  
Мой отец, когда взбесится, хуже, чем зверь, мама,  
Ты знаешь и любишь его  
больше, чем мы,  
И готова снести о нем ложь,  
Так чего тебе стоит еще раз узнать правду о нем.  
Ты пряталась под столом от него, как ребенок,  
Думая, что не видно тебя.  
А он доставал тебя сапогом или палкой,  
А когда палка ломалась, отдышал...  
И шел за другой.

Милая моя мама! Не кричи замолчать мне,  
Это не я, это что-то орет во мне,  
Может быть, кровь и боли твои наконец  
во мне проросли..

Мы лежали с братом в кровати одной,  
Две чурочки мертвых от страха,  
зарывшись в постель с головами,  
Как в животе твоём.  
Вот когда мне не страшно все было,  
Когда я жил у тебя на квартире.  
Я только слышал ласку твою и тепло темноты,  
А теперь у меня в ушах...  
Ты кричишь тому, кто топчет тебя:  
«Подожди убивать... подожди убивать...  
Дай мне проститься с моими детьми,  
Еще раз взглянуть на них и уйти!»  
И лежишь в ночи, на снегу под бураном  
В чем мать родила и крови.  
И я вижу потом, как ползешь ты,  
Чтоб не замерзнуть, в сарай, и Юнка  
Удивленно глядит на тебя, как ты рано  
Пришла отбирать у нее молоко.  
Так и стояли вы с ней до утра,  
Обнявшись, как две родимых сестры,  
И она лизала твою красную соль,  
Отдавая взамен спасенье теплом.  
Такое случалось не раз и не два.  
Сколько слез вылила ты,  
Они бы сугроб растопили.  
Избитая, от смерти на шаг, ты  
Не давала согласия разрыва, как  
Ни уговаривала тебя наша родня.  
Ты не разрешала врачей вызывать, чтобы  
Не вынесли они сор из избы.  
Я помню твой черный, кровавый бок,

## Дребезги

Чуть не случилась гангрена тогда,  
Отец отбил тебе ногу ухватом, но и тогда  
Ты недопустила врача —

Отца могли засудить.

«Я всю жизнь любила его и люблю,

Что я могу поделаться с собой?!

А разошлись бы тогда —

Что было бы с вами?

Не было бы у вас папки теперь.

И он бы уверился в том, что ты не его.

А теперь он уверился в том, что ТЫ ИЗ НЕГО.

И у меня на старость гнездо и защита есть.

А что стерпела и вынесла, так

Разве знает об этом кто?

Да и сама не помню давно.

Сынок дорогой! Я прошу тебя —

Не кори отца,

За то, что касается нас только с ним,

ЗНАЙ —

Старое вдруг кто помянет —

Тому глаз вон.

НЕ СУДИ НИКОГО,

ДА НЕ БУДЕШЬ СУДИМ НИКОГДА».

Милая моя мама! Я все забыл

Как просила ты,

Но плакать мне разреши,

Этого никто не увидит; знай.

Никто не видел его слез, правда. И Володя, как смог, забыл отцу и простил. А тот понял это собственным смыслом, мужицким чутьем и успокоился. Прощение — главное было, что дернуло его через всю страну тащиться к сыну на поклон. Вот что держал он за пазухой, выходя из села. Душу свою рвал он вдребезги долго и теперь собирал ее по частям и натаскивал сына на то же.

Человек приходит на землю богатым. Потом жизнь его обтесывает, и, незаметно для других и не зная для себя, он начинает приспосабливаться и красть сам, и становится нищим, и всю жизнь собирает потери свои. Разорвалась пуповина, и остался человек один, возникла разорванность с людьми, исчезла непосредственность, и начинает человек собирать дребезги свои сначала. А бывает — озлится и всех виноватыми считает, что разорвал пуповину, и плохо от него и себе и многим.

После того как хозяйственные вопросы были решены: платье, туфли, полушалок и всякая базарная мелочь лежали в сумке, а до поезда еще было время, Володя повел отца по Москве, по тем местам, которые надо показать для общего представления, куда все идут. «Обязательно надо в Третьяковку». И пошли. Володе казалось, что в Третьяковке (он знает там одно такое место) отец поймет, что он простил его. Слова в этом решении не помощники. Но чтобы и отец простил его и понял бы, в какую дорогу отправился сын его, отпустил бы и благословил. Сродниться, конечно, так, может быть. Володя хотел родить отца для себя сначала. И водил отца по этому царству, чтобы убедиться в возможности такого.

Он любил это сумеречное таинство третьяковского царства. И часто, когда ему было совсем тошно, прятался среди его богатства. Ходил и глазел до одури, а как уставал, приползал в нестеровский зал и замирал около отрока Варфоломея. К этому полотну и от него он бежал всю жизнь. Оно пахло родиной, каморкой Фомина и шептало детством. Он любил разные, многие полотна, они были любимы ему своими непохожими струями..

На курсе часто спорили о живописи. И чтоб быть современным человеком, необходимо было любить Пикассо, Леже и разных других абстракционистов. И Володя делал вид, что вроде любит, но он не был подготовлен, и их рисования не говорили ничего ни уму его, ни сердцу. Он не

понимал их усилий и раздражался, что люди, которым он верил, заставляли любить их. И он честно посещал выставки, запоминал названия картин, подолгу рассматривал их и силился полюбить, но не получалось. И как ни старался сдружиться с Пикассо, его тянуло к Куинджи, Полену, к «Красному коню» Петрова-Водкина, а к Нестерову он прибегал просто, как в детство, и успокаивался. Порой ему грезилось, что это он на полотне и знает, что отроку видится дед Федосей, а избы точь-в-точь как тогда... Уходя, Володя жалел, что отрок оставался, и его нельзя было взять с собой, они бы дружили и ходили вдвоем по земле. Разлука длилась месяц, два, три... Володя учился создавать красоту для всех, ходил на свидания к девушкам, церквям и другим полотнам, потом становилось тошно, он бросал все дела и шумы и бежал в Третьяковку. Но не сразу к нему... А измучивал себя, оттягивал время, ходил вокруг да около, отвлекался и, вконец измаявшись, приползал к Варфоломею и затихал, пока слугитель не просил оставить зал.

Что происходило с ним в те минуты, вряд ли он мог разъяснить сам себе... Да это и хорошо, что не все можно словами выразить. Иной раз пытаешься что-то сказать — говоришь, говоришь, бормочешь, кричишь — и видишь пустые глаза перед собой. И себе противен, и людям непонятен. Одно ясно: человеку необходимо знать, что он может быть лучше, только дайте ему возможность соскоблить с себя накипь, накопившуюся по дороге. Человеку необходимо прощение, и чтоб было у кого просить, и знать, что прощен будешь.

В Володе, как и во всех людях, жила вечная тоска по прощению. Но он не осознавал так, не догадывался. Ему было просто спокойно, просто сладко сидеть перед Варфоломеем, глазеть, и думать, и не замечать никого. Он забывал свои неудачи, свои обиды, и наступало равновесие.

Собираясь в Москву, Володя задался целью обязательно поговорить со многими народными артистами,



постараться убедить их в необходимости срочно ехать по деревням, руководить самодеятельностью, создавать театры для крестьян, выявлять таланты, помогать им открыться. Володя был убежден, что и народные могут найти себя среди народа, и произойдет что-то прекрасное, прочное, вечное... Вот когда он выучится на артиста, прославится исполнением главных ролей, снимется в кино и станет знаменитым, тогда сам поедет в свою деревню на смену Фомину руководить самодеятельностью. Он мечтал, сколько деревенских мальчишек и девчонок направит в Москву учиться на мастеров красоты и какие трогательные письма будет от них получать. Собираясь в Москву, он был уверен, что через год его будет знать вся столица и на всех перекрестках будут продавать его фотокарточки.

Стоя перед отроком, он забывал и о фотокарточке, и что надо стать знаменитым. Спокойные, добрые мысли уносил он с собой от отрока и жил ими, пока они не растрачивались в городской толчее, и тогда он снова и снова приползал к отроку зализывать боль любовью ко всем.

А девятая колонна в музыкальном театре, к которой он всегда прибегал после первого акта? Первый-то акт он просиживал в партере, на хорошем месте опоздавшего, а в антракте служительница прогоняла его на галерку. Потом он уж и не дожидал ее, а сам, добровольно поднимался наверх, к девятой колонне, и устраивался на ступеньках. Запахи театра начали свою атаку на запахи детства и отвоевали себе плантацию.

И об этом тоже не скажешь словами, потому что это какая-то глупость, скажет некто, мистика... отрок... девятая колонна... игрушки... прятки...

Но почему обрывается сердце, когда ползет занавес, хотя ты еще по эту сторону... и только учишься. Почему начинает знобить, когда замирает на взмахе дирижер, будто коршун над добычей... медленно тает свет... луч пис-

толета и толстый тенор несется через всю сцену, слышно, как трико трещит. «Что наша жизнь — игра!!! И слезы комом... Пыль... Грязь... пот... лицедейство... аплодисменты... браво...» — струи театра. Сколько артистов выходит каждый вечер на поединок с залом, ранить и врачевать души... Но чтобы уметь это, необходимо самому быть открытой, ходячей раной... Чужую боль на себя перенести. Тысячи артистов по вечерам надевают костюмы, мажут лица, подбрасывают ноги, разогревают мышцы, голоса, шаманят, бормочут что-то и выходят стрелять в сердце. Володя любил эту братию, благословлял и молил им богатого урожая. Игрушки... прятки... ну и пусть, раз это людям необходимо...

За все время, пока ходили по третьяковскому царству, Ларионыч не проронил ни слова. А как сели перевести дух перед отроком, сказал: «Да, хорошие вещи собраны. Какую красоту может создать человек». И все. И опять ушел в свои думы.

— А теперь напоследок, — когда вышли, Ларионыч вспомнил, своди-ка ты меня, сынок, на Девичье кладбище. Мать где-то вычитала или кто-то ей сказал, будто там Зоя Космодемьянская похоронена, нет?

— Да вроде так... Но правильно говорить не «Девичье», а «Новодевичье».

— Ну да, ну да... Новодевичье.

— Зимой там не очень интересно, вот летом — другое дело...

— Летом не соберешься: огород, поросята... куда от них?

На кладбище задержались. Володя водил отца от могилы к могиле, указывал на имена, рассказывал, если знал...

— Новодевичье кладбище — кладбище известных людей, все больше людей искусства... Здесь похоронены писатели Чехов, Маяковский... многие великие артис-

ты... Вот памятник великому Дурову... Вот могилы Станиславского... Качалова... Москвина... Это все гениальные артисты. Весь Художественный здесь похоронен...

— А помещение кому же передали?

— Почему? Театр функционирует и называется так же. Я имею в виду тот старый МХТ, знаменитый, для которого Чехов, Горький писали...

— Ну, а как ты о себе думаешь? Где велишь закопать себя? Здесь или в Быстром Истоке?

— Странно от тебя такие вопросы слышать...

— А ты говори, не петляй, быть может, не придется больше...

— Чтобы здесь быть похороненным, надо быть достойным этой компании... О золото трешься — сам золотым не станешь. Да потом место, говорят, очень дорогое... музейное кладбище... Но скоро откроют филиал...

— Ну а родина всякого тебя примет, и в славе и без нее. Копейки с тебя не возьмет за метр земли. И вообще, когда будет плохо, приезжай домой. Ах, сынок, сынок, и зачем ты вчера Варю Снегиреву помянул?

— Но ведь было?

— Мало ли что было... Будь осторожнее, сынок.

Володя не знал, где могила Зои Космодемьянской, но признаться отцу стыдился. А может быть, она и не здесь. Вроде она там, в Петрищеве, и памятник с дороги виден, когда ездили на картошку, останавливались, осенние цветы оставляли, как же забыл? Или это только памятник, а могила не там?

Быстро темнело. Зажглись фонари. Надписи разбирать стало трудно, к тому же пошел крупный снег.

— Да, сынок, не уедешь ты ото всего этого никуда, и ладно, — говорил Ларионыч, пока они под медленным снегом подвигались к выходу, — среди добрых людей ты вращаешься и видишь много чего. Ладно, оставайся и

не подводи нас с матерью. Учись, работай как следует. Может быть, и тебя здесь похоронят, и на твою могилу кто-нибудь бросит горсть васильков. А родина простит тебя и отпустит, коль нужен будешь здесь. Что поделаешь? Действительно, значица, у каждого свои заботы, своя вера... Вчерашнее мое забудь. Это я для проверки подпустил дыму, может, думаю, не уверен, так нечего тогда мозги людям добрым засорять. Только не суетись, спокойно понужай. А мы с матерью рассчитывать на тебя, значица, не станем и будем подаваться к Ванюшке. Около него свой век доживать станем. К одному концу прибиваться надо. Медленный снег одним покрывалом укрывал одинаково все могилы, всех рангов и величин. Володя думал, что жизнь — это, в сущности, постоянный бег. Длинный бег с препятствиями, от темноты предрождения до темноты могильной. И важно в беге не разбазарить с чем пришел, не растерять себя, собирать свои дребезги и поливать их. И отцу кажется, что он уже близок к темноте второй: а сыну еще бежать и бежать, и он беспокоится, чтобы бег его кому-нибудь был нужен, тогда все правильно, тогда хорошо все.

При выходе с кладбища Ларионыч еще раз оглянулся: «Вишь, как оно дело-то, берегут, значица, могилы... обихаживают покойников не хуже живых, а может, некоторым-то тут лучше, чем при жизни было, и так бывает, сынок».

И он заспешил к магазину напротив, который засветил свои громадные окна и завлекал ласкательным названием «Березка». У входа в магазин их остановил человек и неласково спросил:

— У вас какая валюта?

— А у нас советский рубль, а у вас, — в тон ему сострил Володя.

— С рублем тут делать нечего.

— Я знаю, нам поглядеть...

— И глядеть нечего, пройдите, товарищи.

— Отец приехал из Сибири, мы трогать ничего не будем, честное комсомольское...

— Что такое? — забеспокоился бывший председатель. Володя пояснил:

— Валютный магазин, товары для иностранцев.

— Уж разрешите нам взглянуть, — начал было Ларионыч...

— Что за бестолковый народ, обязательно неприятности иметь хотят!

Подошел милиционер:

— В чем дело?

— Пойдем, пап, зря теряем время.

Отошли. Ларионыч остановился, стал наблюдать.

— Ты посмотри, значаца, как неумно омрачают мужику его существование, не пускают глянуть... Дожили! Завесили окошки, поставили милиционера и чего-то там от народа торгуют? Чего они там продают, чего нам видеть нельзя? Что за товар? Ослепнем что ли, если глянем? А правительство знает об этой лавочке? Может, надо просигналить или на шершавой бумаге написать кому? Как же я матери-то расскажу об этом?

— Да ты погоди, я тебе объясню, может и писать никуда не надо. Видишь ли, много иностранцев стало приезжать к нам, туристов... А они ввозят что? Валюту — деньги своей страны, которые имеют устойчивое золотое обеспечение, как правило, это наиболее развитые, богатые страны... Часть мы им обмениваем по курсу на рубли, но нам интересно, чтоб они оставляли у нас все деньги, которые потом ихнее государство выкупит у нас за золото. Улавливаешь? Для них и понаделали эти лавки. Каждая страна имеет такой ширпотребный товар, на который турист бросается как таймень на мышь. Скажем, наша балалайка... — копеечное дело... Иностранец ее не для игры берет — для стенки, для коллекции... Выброси

их во все магазины, он их за наши же копейки и скупит и своим приятелям, вроде экзотических побрякушек и свезет, да еще наживется там на них. Ну и что? Ну и зачем? Приобрести ее за золото! А как же? Торговать надо уметь. Некоторые государства только за счет туристов и живут...

— Ну, а зачем закрываться-то... ну не продавай ты мне мою балалайку, но поглядеть-то? Разве смылится?

— Да, форма отвратительная, просто дурацкая, но образуется и это, дело-то новое, важное — золото...

— Ну, может быть... да, сынок, чуть не забыл с этими иноземцами. Мать наказала привезти ей открытки с видами Москвы, чтоб я, значаца, по приезде составил ей отчет. Ты не думай, что мать у нас такая простая, у ней видение богатейшее. Я расскажу ей по этим открыткам, она запомнит, и если случится быть в Москве, она будет здесь, как своя, ориентироваться будет, что у себя на огороде, это ты знай...

Ларионыч торопился. Боялся проворонить поезд. В общежитие за мешком кинулись на моторе-такси, этой машиной и на вокзал.

Поезд № 96 Москва — Барнаул. Прощались, Ларионыч отвернулся, чтоб не показывать лицо и слез, которые уже закипели в почти зажмуренных глазах. Володе тоже хотелось заплакать, чтоб показать, что и ему тяжело, но он не сумел заплакать, как ни старался, и глупо улыбался взамен, подозревая, что наревется один. Отец сказал: «Иди, сынок. Не торчи на холоде зря. Поговорили, попрощались, и иди к своим делам».

И Володя послушался, подчинился, ушел...

В общежитии, куда вернулся от отца, в его комнате, той самой, где ночью происходило причастие к духу земли, теперь стоял жуткий холод. Окно было распахнуто настежь, на столе лежала записка: «ОКНО НЕ ЗАКРЫВАЙ. ПОКА НЕ ВЫВЕТРИТСЯ ВСЕ ДО КОНЦА».

## Книга первая

### Дребезги

Мальчик построил машину. В старом саду он нашел какие-то железки и построил машину. Подумал. Представил. Между старым тополем и упавшими, бесполезными листьями он построил машину. Она была готова. Вот она. Но чего-то недоставало. Он ушел на поиски.

В сад пришли пионеры и унесли его железки на металлолом. Мальчик в это время искал другие части автомобиля.

### Фомин пишет (Вместо эпилога)

«Ну что, брат, растиражировал ты себя вдребезги. На каждом углу продаешься за пятак, из каждого продуктора орешь почем зря. Вот так-то... Привет жене, а сыну по заднице, чтоб крепче была, и благодарность с занесением в молокоанную книжку, что и по ночам отцу дремать не дает. Теперь ты запоешь «Ноченьку» как надо, в особенности если дочитаешь это письмо до конца. Изработался я основательно, да и здоровье пошаливает, но, порассуждав о тебе несколько, думы о своем положении отбросил и решил, что писать тебе и драть тебя еще надо, а то будет совсем поздно.

Был я у сына на Новый год, то бишь у твоего крестника. Смотрел, естественно, «Голубой огонек», обрадовался, что и на этот раз тебя не обошли, включили в программу. Но что ты пел?! А?! Что за муть ты нагородил, за которую тебя, между прочим, наградили аплодисментами, между прочим, по-моему, по инерции или записанными допрежь. Откуда у тебя эта мерзостная расхлябанность? Похлопываешь по плечу старух — героев соцтруда, доярок молодых вводишь в стыд своей фамильярностью?! Да ты что, брат, сдурел там совсем, что ли? А вчера сын заехал в магазин и

купил твою пластинку. И то, что я услышал... это... Голос, как палка с крутыми обрезами, и где?.. в лирической шуточной песне? По-нашему, по-слесарному, это — кидать в спину металлические чурки. Куда твоя певучесть делась? Кто тебя научил так базлать песни? И что ты поешь?! Срам в зубы взять. Какие-то отбросы, да еще как попало. И если это по каким-то причинам надо петь, то ты уж пой, а не ори как зря.

Из института ты мне часто писал, что собираете силы, начинаете борьбу с этой дешевкой, с этой эстрадой. Ведь это как футбол или катание вподпрыжку — отвод глаз, а не искусство. И это когда тебе жрать досыта не хватало. Ты стал предателем. Ай, яй... яй... Ладно я, старый дурак. А крестник твой в народе лазит.

Люди поговаривают, что он-де себя показал — и все, больше ему показать нечего, на халтуру спустился... Каково мне это все слушать и как это понимать? А то, что говорит народ, это, брат, приговор. Или ты достиг вершин во всех твоих делах? Если ты только так подумал, то тебе... конец будет, и довольно скоро. Не знаю, может, это мода? Но мода — это не песня. Сегодня мода есть, завтра ее нет. Сегодня ты есть, завтра — пузырь дутый, а послезавтра и пузырь лшикнул. Ведь врезал же ты в кабаке однажды... в лаптях да в армяке... Отменно врезал, хоть и в приляпанной наскоро бороде! И где ты только песню такую хитрую выкопал, с поворотами немислимыми. Я-то знаю, какого труда стоят эти повороты! Так они и стоят. Остальное так — дребезги... Вот это твое. Берись только за то, что твою душу теребит, тогда ты и другую зацепишь. Не рядись в шляпу, коль к кепке прирос. А раздувать себе славу на разных мизерах, мизера и получатся. Много мизеров, много мизерной славы. Дел ты на себя набрал довольно много. Смотри, не сделай из каждого не нужный потом никому мизер.

Ты забыл, однако, свое крылечко, ты забыл нашу каморку и чай с подушечками? Ты предал нашу непролазную



уличную грязь и девическую честь черемухового половодья. Чего же ты сыну-то передашь? У кого он займет краешек того богатства несметного, которым тебя снабдила когда-то в дорогу наша чистая земля, а ты базаришь его почем зря и не донесешь, однако, до своей кровинки... Берегись.

Вот тебе, брат, еще одна бессонная ноченька... если одна?! Не обижайся на старика, напортачил — исправляй. У одного музыканта спросили: «Довольны ли вы своей игрой?» — «Нет. Я часто делал ошибки». — «А теперь вы исправили свои ошибки?» — «Не успел. Я стал знаменит».

Это не к тебе. Это к слову, чтобы в разговор встрять, по тому анекдоту с ежом...

Обнимаю, привет семье. Твой Фомин».

# День рождения

## Из нашей жизни каждодневной

*...он не любил актрис и актеров, говорил о них так: «На 75 лет отстали в развитии от русского общества.*

*Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот например...»  
Позвольте, а помните... Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать.*

И. Бунин о А. Чехове

*Он любил актерскую нашу братию...  
И часто просил меня рассказать ему что-нибудь из нашей жизни*

Н. Орленев о А. Чехове

– Зайчатки, так слышите? Не забудьте: завтра сразу же после спектакля хватайте машину и туда. Я раньше уйду со спектакля, буду всех встречать.

– Хорошо, Танечка, спасибо, Что тебе подарить?

– Ничего не надо, слышите? У меня все есть. Две бутылки столичной принесите.

– Хорошо, Танечка.

У Танечки завтра день рождения. Но никто не спросит завтра, сколько ей трахнуло. Это не обязательно знать и выспрашивать некрасиво. Важно — есть день рождения, есть повод для радости.

Полтора года назад у нее преждевременно (странная формулировка: как будто у человека есть время, когда ему умереть в самый раз) умер отец. От инфаркта. На собрании. Он был большой артист.

– Неудобно без подарка.

– Две бутылки — шесть рублей, прекрасно! Что мы на больше наедем там?

— При чем тут «наедим»? Некрасиво.

— Да ну тебя, Зайчик. Ты во всем какую-то красоту ищешь... Цветов рубля на два купим, придумай тост пошнее, скажи, что подарок за нами.

Назавтра. «Еще один спектакль, а славы все нет».

— Зайчик! Ты опять по кабинетам?!

— Меня директор...

«...пригласил я вас по одному вопросу...»

— Слушаю вас.

— Какие у вас претензии к себе по сегодняшнему спектаклю?

— Гм... у меня еще не осело... (куда эта лиса клонит — думает Зайчик, — как бы половчее извернуться)... ну, во-первых, для меня прошлый спектакль в целом был удачей, сегодня — нет, но претензий серьезных я к себе не имею. Не доволен финалом, кажется, перекричал...

— Вот, вот... У нас в театре, я заметил, с некоторого времени появилось два рода-племени артистов: «шептуны» — это те, которые эмоции свои прячут так далеко внутрь, что не видно, есть ли они вообще, и «крикуны», которые в пику первым так разоряются, так орут, что не улавливаешь смысла, а только следишь, как человека колотит и боишься, как бы он не лопнул или «физически» не родил на сцене. Я понимаю: диапазон голоса надо расширять, — но пользоваться им надо умело. Иными словами — вы зрителя кунаете то в снег, то в кипяток. Так нельзя. От этого даже трубы рвутся. Слышали, рядом катастрофа произошла? Жертв много, а главное — работа лишняя газовикам, и все по той же причине: от резкой смены температуры. Но там стихия, а здесь вы должны сами следить, чтобы резких перепадов звуковых не было.

«Директор наш рожден ухватом», — думает Зайчик, улыбается и говорит:

— Хорошо, спасибо, Трофим Степанович, что еще скажете?

— У меня к вам особых претензий нет. Работаете вы наполненно, темпераментно, но в следующий раз, когда будете готовиться к спектаклю... я всегда делал это... перед спектаклем, сядешь так... в уголочке... и пройдешься по рольке: здесь я это... он тебе так... там такое приспособление, а тут иначе подашь... расставишь акцентики правильные... Это очень важно в нашем деле — правильно расставить акцентики. Подчеркнешь в памяти нужные мысли, вспомнишь основные мизансцены и спокойно идешь играть...

«Вот и доигрался, что в директора подался... чего уж там!» — думает Зайчик.

Говорит наш директор, как ездит, не превышая, хоть режь, 60 километров. А в осень и того занудливее. Но всех можно за что-нибудь пожалеть. И директор тоже человек, хоть и директор, и депутат... Конечно, он зря бросил ту и связался с этой. Но та старая и вредная, а эта молодая и буфетчица, и скоро родит ему человечка. И понять его можно, если захотеть. Директору за сорок, и давно надо, чтобы его звали папой. Ему этого так хотелось, что он махнул на все, как шашкой, и пошел по приемным отчитываться, почему поступил так.

Мальчишкой совсем директор наш командовал эскадром, ходил в отчаянные рейды, отмахивался от пуль, как от слепней, неоднократно ранен и награжден орденами. Уважать его есть за что, если разобраться. Совсем недавно, по весне, он советовал Зайчику, когда тот забузил из-за съемок: «Две вещи в жизни не спешите делать: разводиться с женой и уходить из театра». Чудак-человек, а сам, только ударилась слякоть, перепутал всю свою жизнь и ходит теперь по кабинетам начальства, отмахивается от сплетен, как от пуль, прикрывая рукой

недавний инфаркт, извиняется, что полюбил буфетчицу и хочет человечка.

— Большое спасибо, Трофим Степанович, я обязательно учту все, что вы мне сказали, вы натолкнули меня на принципиальные вещи.

— Человек вы, Зайчик, со странностями, но это не мешает делу. В моем лице вы видите союзника. Мы думаем о вас. И не только о вас. Обо всех думаем. И о вашей жене, в том числе... Думаем прибавить некоторым зарплату. Но мы не видим соответствующей отдачи, прибавляем, так сказать, авансом...

«Авансом, авансом... пять рублей... авансом... иди ты со своим авансом. На эту пятерку я тебе и наработаю, — думает Зайчик, — нет, надо что-то делать, надо искать халтуру, надо срочно искать халтуру, заводить знакомства на радио, телевидении. Театр — это «чистое искусство, не приносящее доходов». Предпринимать что-то надо...»

...надо подождать Леночкиного мужа, чтобы взять машину на четверых.

Леночка вышла замуж второй раз удачнее первого. Теперь у нее муж — режиссер-мультипликатор — это уже перспектива.

— Вот какая зараза! Как рюмку выпьет — готов карманы вывернуть. На этой почве все ссоры. Договорились встретиться здесь, а его нет, ушел, наверное, к другу художнику. Ну, что мне делать? Скандал ему учинить? Что ты, как мужчина, посоветуешь?

— А чего страшного? Ты же знаешь, где он?

— Вроде знаю...

— Ну и чего? Может, ему неинтересно с нами. Чехов сказал, что артисты отстали в развитии на 75 лет. Это тогдашние артисты, хорошие, а теперь... чего уж тут рас-

страиваться. Компания для твоего мужа безынтересная. Ему где-то хорошо, тебе — с нами.

— Ты прав, ты рассудил. Действительно, ему скучно с нами. Что мы можем ему дать? А с другой стороны — они собираются фильм делать, может быть, уже рисуют чего-нибудь. У них свои дела, свои разговоры, ну и пусть... ну и пусть...

...на улице мокро и грязно, а в машине тепло, уютно и фантастическая симфония Берлиоза, которую так любил «певец сумерек»... мы катимся в кабак...

«...надо что-то делать, так жить дальше нельзя. Надо хоть кооператив строить, что ли? Занимать, но строить, иначе разойдемся и в третий раз мне уж не подняться замуж. Невозможно в одной комнате со свекровью. Она на меня действует, как бормашина. Никого не привести, не поговорить, все при свидетелях... Как я тому паразиту 400 рублей не дала? Паспорт не нашла, хотела материну подпись подделать?! Как он меня закрутил, ну и ну, вспоминать без дрожи в коленях не могу. И ведь что выдумал, кобель! Идет спокойно, потом вдруг задрожит, задышит, как жеребец и... иии... р-раз меня в дыру какую-нибудь... а ему, паразиту, от меня 400 рублей надо было...»

— Зайчик! Мне надоели бесконечные звонки. Почему ты не пошлешь этих девчонок? Или ты контактируешь с ними?

— Я не принадлежу себе. Я теперь явление общественное, а ты присваиваешь все себе, это пережиток проклятого прошлого.

— Договорились. Мне тоже надоело быть твоей частной копилкой, с сегодняшнего дня я — колхоз.

— Протестую. Я не в производителе подрядился. Для такого большого дела я не гожусь.

— Зайчики, не ссорьтесь. Сегодня у нас радость, и пусть опоздавший плачет, кляня свою судьбу...»

...гостей встречает Танечка и ее молодящаяся мама...

«...простите, я не узнал вас сразу. Зайчик, познакомься — Танечкина мама, главная виновница радости!»

— А мы с Ниной знакомы!

— Да? Когда?!

— Помните, вы у меня рубль на орехи брали?

— Зайчик, ты слышишь?! Я должна рубль за орехи.

— Да, да, Зайчик, отдам... Старик! Сколько лет... ты совсем поседел...

— Упал снег на пенек и не тает.

— А ты его жженой пробкой или копиркой... Халтура есть?

— Елки репетирую.

— Деда Мороза?

— Для Деда Мороза, говорят, я еще не так стар.

— Кого же ты работаешь?

— Зайчика пока. Волка хотел, за него платят больше, говорят — лицо доброе. Мне бы, дураку, пьяным прийти. Ты бы меня хоть в кино продал куда-нибудь.

— Самого не берут.

— Ну, ну, у тебя жена — красавица.

— Не за жену берут.

— И за жену берут.

...Стол чуть поменьше посадочной полосы. Много незнакомых совсем, много малознакомых. Несколько кавказцев, Танечка любит жарких людей, и они прилетели нарочно на ее огонек. За Танечкой на стене плакат:

«РАДОСТЬ ВЕЛИКАЯ ДЛЯ НАС ДЛЯ ВСЕХ —  
ТАНЕЧКЕ БУРЬЯНОВОЙ ИКС, ИКС ЛЕТ».

А вот и мультипликатор. Пришел трезвый, ироничный, вполне современный. Он — режиссер. У него на то бумага есть. Это дает ему право смотреть на нас, как на шайку. От самого бездарного режиссера мы лет на двести сзади, а то и дальше. Но мы не обижаемся. Ну, отстали и отстали, и догнать не собираемся. Нам и так хорошо. Тот отстал, кто догоняет. А кто не догоняет, еще неизвестно. Может быть, он никуда и не торопился, чего же ему считать себя отставшим, коль он не бежал ни с кем вперегонки. Но режиссеры — представители другой «флоры и фауны». У них с нами геометрии разные. Особенно нехороши, кто из нас же вышел, из неудачников. Они знают все боли нашего брата и колют жестоко. Кто нас не знает, уважает нас больше. Удивительная метаморфоза. Вроде они были на нашем месте, знают все «прелести» нашего дела, а люют и унижают его гаже, чем те. Как будто соскрести с себя хотят и на нас сбросить, чем раньше их обляпали. До чего хорошо сказал наш любимый поэт: «А режиссеры все подонки...», правильно заметил и другой: «Всякая власть развращает человека...» Ну их в пим дырявый, этих режиссеров, сегодня праздник и думать надо о светлом...

...Танечка в полном порядке, кто-то будет сегодня чесать ей спинку... тамада говорит, как всем сегодня повезло, какая у всех сегодня великая радость, а у него, дескать, больше всех...

«...Ох, это неизвестно, тамада, не ешь нашу Танечку преждевременно, не торопись...»

«...Съешь вьюна, Леночка».

— Я не люблю вьюна.

— Почему? Это очень вкусно, и, главное, без костей.

— Я его видела один раз живьем... извивается, как змея, тьфу, гадость.



— А вкусный необыкновенно, и без единой косточки, ты только попробуй!

— Да оставь ты меня со своим вьюном. Я не люблю мягкое, я люблю все твердое. Подумай лучше, как кооператив построить!

Через несколько тостов Леночка наклоняется к Зайчику:

— Презирай меня, как последнюю дрянь, если я завтра не набью морду Майке, может, еще и сегодня успею.

— А что случилось?!

— Ты представляешь, эта... подстилка, прости господи, сказала мужу, что оператор Гуткарц был у меня первым. Ты представляешь, что она наделала?! На самой пробы негде ставить, чистого места на теле не найдешь, а она про других такое... пусть это правда, но зачем мужу знать о тех, кто был до него?! Она же мне половину семейной жизни испортила, гадина... ох, мерзавка! Ну, я ей покажу!!!

И Леночка вскинулась на Майку:

— Сволочь такая, ты же та... с патентом, как у тебя язык не отсох про других грязь болтать. Я тебе завтра морду при всех набью, если сегодня не успею...

— Леночка, какую грязь я сказала? Разве это грязь, милая, я люблю тебя, дурочка!

— Ты та... с патентом! Ты понимаешь это или нет?!

— За границей патент обязателен: учет и здоровье, там этот вопрос хорошо утрясен...

...Мультипликатор не выдержал.

— Лена, я тебя перестану уважать, если ты с этой патентованной шлюхой будешь выяснять отношения. Ты унижаешь себя и меня позоришь.

— Леночка, Леночка... Ну, что я сделала?! Зайчик, ну ты представляешь, я рассказала про ее первую любовь.

Ну, хотите, я про своего первого расскажу, что может быть дороже... раз в жизни, боже мой! А она мне морду собирает начистить. Господи-и-и...

...и-и Майку повели успокаивать и поить валерьянкой; а тамада разрядил обстановку и произнес тост, после которого драться поздно...

...«мы встанем с мамой»... потеряв нить происходящего, нехотя отрываясь от плошек, стали подниматься гости...

— Зачем вы встали? Это наша с мамой печаль. Спасибо, Караваджо, что ты вспомнил об отце...

За окном скука, дождь... А, может, занавески тюлевые слезятся по стеклу. На аптеке три заповеди века: «Летайте...», «Пейте...», «Храните...»

...горячим калачом в масло р-р-раз!!! и за икру... но ее уже и след простыл. Хоть кусок балыка с другого конца оторвать, а то и не пожрешь.

— Гляжу на бабу... ем ее задницу и думаю: «А что я с ней делать стану, если лягу...»

— Ну нет! Я знаю...

— Вся мировая литература — краткий справочник обращения с женщиной...

...«После обеда надо обязательно чашку чая выпить, чтобы запора не было...»

...«Бородавки сводят пшеном. Горячим пшеном...»

...«Вы можете кастрировать кота?»

— А что, это очень сложно? Наверно, смог бы...

— Значит, вы не человек. Я с вами в разведку не пойду. Как же можно кастрировать кота? Он же живой!! Он радуется и, как все, получает удовольствие, может быть,

единственное, выслеживая кошек по чердакам. Они кидаются в драку, не страшась исхода поединка, не думая об алиментах, не думая при этом, как они выглядят в глазах общественности, не боясь потерять глаз, хвост и прочие детали. Это рыцари без страха и упрека. Им живется нелегко, и как можно их кастрировать?! Это все равно, что оглушить лабуха, выжечь глаза живописцу! Ударить кота в лет... На кой черт ему жизнь без кошек?! Он становится жирным, ленивым, постельным... Ему приобретут пижаму, и кончен кот; был и нету кота — целый день спит, жрет с трех блюд только за то, чтобы забыл про чердаки, про волю! Отхватили коту самое дорогое, что есть у человека, и нету кота — труп...

У него жена кастрировала кота, он долго плакал и они расстались.

— Танечка! Я пью за тебя, я уверен — ты никогда не станешь кастрировать котят, у тебя не поднимется рука на божий дар...

...Глядишь иногда в черноте кулис на нашу братию, как собирается она на массовку, и так почему-то всех нас жалко делается и обидно за всех, и нежность ко всем, оттого, что много нас, что все мы одной веревочкой повязаны и сейчас высыпем на свет, и станем покрикивать, притопывать и делать вид — ой, как весело нам!! И смеемся друг над другом, и кусаемся зло, и подшучиваем над ближним до боли подчас. Но в своем кругу прощается. В своем можно. Но другим... Боже упаси. Другим нельзя, другим не надо, мы защищаться будем, и делать мы это умеем не хуже других, которые свой круг выше нашего чтут, потому что мы на виду и сами про себя такое городим иногда вольно или невольно — для понта, для разжигания интересу, для тайны, а вообще, для сбора публики, в результате, но мы и пожары тушим, и детей спасаем, и... и... и нравственность наша отнюдь не страдает от

публичности профессии, как это представляется иным, или как бы кому не хотелось видеть нас (особенно женщин наших) таковыми.

А у нас за столом менестрель знаменитый, и на наш стол скандальная певица зырит. Ее гражданский поэт Граммофон водкой зачем-то опаивает. У них своя компания из больших людей. Они от нас менестреля хотят увести себе на забаву, но мы не отдадим. А они гонца прислали маленького, лысенького, вертлявого. Ему все можно, потому что он — Бармалей. Он менестреля с ложечки кормит и шепчет чертом: «Притуши огонь, притуши... Нельзя так зверски тратиться, нельзя. Сгоришь, помяни мое слово, сгоришь. А зачем? Уверни фитиль, уверни... вот так... покопти, повоняй... Пусть о тебе забудут, отвыкнут... и тут ты опять и дашь, и сверкнешь. А будешь все время полыхать — порох быстро истратишь, а его надо беречь, порох-то, ой, как надо беречь. Истратишь — не купишь, не купишь, не продается он, старик, нигде не продается, даже в Китае... Уверни фитиль... уверни... повоняй... покопти...»

Но у нас свой Бармалей есть.

Такой же маленький, лысенький, только черненький. Вот он отдельно сидит со своей буфетчицей (у нас нынче мода на них), присосался, доит ее. Она на исходе и жадна до «мышей». Трудится Бармалей за бутылку кефира и пару свиных сарделек. Когда наобжужливает она нас, оба идут сюда, она его коньяком угощает, а вчера мы ей на аборт собирали с миру по нитке. Бармалей как выпьет, так не узнает ее, стыдится и шляется по столам. Ей обидно, но она улыбается и сверкает фиксой. В левой руке папироску держит, правую под стол прячет — татуировка похабная на кисти. А Бармалей ее уже к нам подсел. У него сегодня праздник, он в бане был, расхвастался:

«В сорок лет понял, что самому мыться — удовольствия никакого, только устанешь шеркаться. Обязательно нужно, чтобы тебя скребли, парили, приносили пива. Только при всем этом чувствуешь себя человеком и гордо понимаешь, что ты в бане, что на тебя смотрят остро, ждут чаевых и лупят веником изо всех сил — стараются. Больно, но терпи, не роняй «престижу»... Меня так выпарили сегодня, что я с бутылки пива окосел. Меня куда-то носили, что-то делали со мной... Вот это да! Это настоящая баня, это настоящее удовольствие. Раз в месяц артист должен позволить себе приличную жизнь. В бане все равны. И если ты даже шишка, но жадный, в бане я больше тебя человек, потому что я в бане денег не жалею. Всю зарплату могу оставить в бане, если захочу. Голодным буду сидеть, но помоюсь от души... Танечка! Выпьем за бани! Ты молодец, что ходишь в баню, у нас с тобой много общего... Таня-Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. За творческие твои успехи, Танька, главных тебе ролей... Салют!!!

— Спасибо тебе, Бармалей, спасибо.

— Бармалей, тебе буфетчица фиксой машет!

— Ну, не идиот ли Бармалей — «за творческие успехи, за роли...» Их сроду-то у Таньки не было, а теперь откуда? От сырости что ль? Дурак лысый!

— А почему нет?! Надеяться надо, она еще вон как выглядит!

...И действительно. Танечку сегодня не узнать. Женщине столько лет, на сколько она выглядит, а Танечка выглядит сегодня на «ять»! Сидит в конце стола не шелохнется, как будто расплескать чего-то боится. Встает только на главные тосты. Жидкие волосики свои взбила подушкой и закрепила лаком. Много их стало, и они красиво блестят. Глаза подвела тушью на особый манер, несколько дальше обычного. Получилось раскосо-обаятельно.

Ко дню рождения своему Танечка начала готовиться задолго.

Решила похудеть, кровь из носу, и быть красивой. Стала ходить в бани, париться, принимать душ Шарко. Живот Танечкин уменьшился и подчеркнул холодящую крутизну зада и выпуклости бедер. И ноги не стали казаться худыми, как раньше. Танечка подмазалась где надо, надела французское белье, самое мини-размини платье и теперь сидела ровно и счастливо, как сливочный торт.

— Шея и бородавка все-таки сильно портят ее.

— Да, Зайчик, да!

— Почему она ее пшеном не сведет?

— Не сводится, наверное. Уж, конечно, она сводила...

— Или ляписом... Я бы просто пассатижами вырвал.

Да, некстати Бармалей всунулся с творческими успехами, идиот. Хоть бы любовничек — режиссер какой, тогда конечно. Хоть бы телевизионный какой. А так — гиблое дело. Тамада глазами режет, как ножами, коньяком наливается, мясом утробу набивает, видно готовится «выстирать» Таньку. «А что ты думаешь, и «выстирает». Другой и этого не сумеет».

...В детстве Зайчика никогда не били, «физически», как говорит директор. Он избегал драк, а если ударял, то только в присутствии братьев или здоровых, зная, что за него заступятся. Не били его и позже. Но не может прожить человек небитым, и Зайчик с ужасом ждет этого. Он не рыцарь, хоть и не кастрированный, но очень хочет на него выглядеть. Тихим таким, скромным рыцарем. Он давно мечтает о каком-нибудь не опасном, но героическом деле.

«Не важно, каким быть, важно, на кого выглядеть», — думает Зайчик.

Или вон, гражданский поэт Граммофон носит на руках от стола к столу детского писателя Колобка и кричит эстрадным звуком: «Несу писарчука... не Толстого, но толстого!!» Кругом ржут жуя. Скандальная певица громче всех. Подпрыгивает в своих кожаных красных штанах и хлопает в ладоши. Колобок чуть не плачет, но нельзя.

«Дурачок! Вот момент отличиться!

Знаменитость распоясалась, надо дать ей в рыло, чтобы перестала». Но Колобок не рыцарь, как и Заяц. Хотя за Зайца мы ручаемся, гарантий не даем. С перепугу он отчаянным делается иногда. Вон у него как сегодня жилочки налились! Ох, как хочется ему, не подвергая себя опасности, набить кому-нибудь рожу, кому-нибудь не в меру популярному, чтобы говорили потом. Но жена! Жена все равно не поверит в его гениальность. На то она и жена. Ни одна жена (своя, разумеется) не верит в мужа. Как это несправедливо и горько! Ей всегда больше нравятся другие артисты, чем собственный муж, про которого она всегда может сказать: «Уж передо мной-то не прикидывайся — я-то знаю, какой ты артист!»

— Да откуда ты знаешь?!!

— Да знаю, знаю...

«Вчера наш директор устроил буфетчице «бемс». Зрители, говорит, жалуются, что со сцены сивухой несет, а вы пивом торгуете!»

— Директор наш рожден ухватом... С пива не будет вонять за три метра. Это мочей из туалета несет. Туалет на сцене!! Это же обалдеть! Кому скажи — не поверят. Ну, мы отстали, ладно, но зрители тут при чем?! Вытяжки нет, полотенце висит... не за столом будет сказано... хлорки за три года ни разу не видел, как и прибавки, впрочем... Но прибавка ладно, обойдется... Главное, конечно, туалет... отсюда повышение мастерства, в конечном счете...

## День рождения

— Говорят, главный предупредил вас, если заметит кого выпимши на спектакле — разгонит весь театр, правда — нет?!

— Откуда он взялся, гад такой?.. Что он нас за больные места трогает?!

— Черт его знает, знакомый Леночки и мультипликатора; бывший балетный, теперь кооперативом заведует...

— Шеф нас призвал у вас, балетных, учиться точности в искусстве, покажите вашу точность — смойтесь с глаз.

— А вы играете, наверное, исключительно шутов? У вас получается...

— У меня — да, мне даже на пять рублей зарплату повысили сегодня, а вот у вас не клеится и, судя по всему, не склеивалось никогда...

— Где уж нам до вас, вы дурак известный...

— Пушкин дрался на дуэли много раз, но никогда не разряжал пистолета первым...

— А вы из тех, кто стрелялись с Пушкиным?!

— А вы из тех, что любят чесать брюхо о чужой стол?!

— Молодец, Зайчик, так его! Дай я тебя поцелую, — взвизгнула Леночка, — посмотрите на него и запомните этот день, когда вы сидели с ним за одним столом! Это талант, а вы — трепло!

Мультипликатор шепотом: «Леночка! Это председатель нашего кооператива...» Кооперативщик: «Он — клоун!»

— Да, клоун! Мы все за этим столом Арлекины и Коломбины... но мы тоже люди, как бы там ни шло ни ехало! Это наш хлеб, и не попрекайте нас нашим же куском!

Мультипликатор шепотом: «Лена! Ты останешься с моей мамой, с твоей свекровью...»

— А ты бы помолчала, я тебе просто скажу: «Ты — жена своего мужа, жена и больше ничего».



Зайчик дернулся. Близкосидящие поняли, что прохожему дали в лицо. Кооперативщик начал медленно подниматься, сопя. Зайчик вскочил бодро и весело. Он соображал быстро, даже когда был в подпитии, и сообразил, что вот он уже и герой. Он дал пощечину! Не в морду, не в глаз, не в нос, как хулиган, а... пощечину! Это не кошка плюнула. Он прикрыл честь чужой жены, можно сказать, просто чужой тети. За жену личную он был бы не большой герой, даже совсем не герой — за жену по штату положено, а просто за чужую тетю дать в лицо — это уже надо иметь... что-то.

— Ты меня, сопляк... при всех... в этой норе, — кооперативщик, хоть и здоров был, но чуть не плакал от обиды, очевидно, и до него дошло, что пощечину он схлопотал, а не в морду, — что ты наделал, гад?! Я ведь тебя сгною, зараза, из-под земли достану... Да я... да... ты знаешь, кого ты задел, прыщ?!

Зайчик склонил голову низко-низко. За ним стояли его друзья и тот сильный, у которого люди кастрировали кота, и теперь он восстанавливал справедливость повсеместно. Зайчик выгнул шею и поднес на ней свою буйную головушку кооперативщику: «Режь... но я знаю — ты хороший! Извинитесь перед этой женщиной, милостивый государь, и идите с Богом — никто ни в чем не виноват».

— Спасибо, Зайчик! Нинка, гляди, какой у тебя муж, радуйся, Нинка!

Старая официантка: «Эти артисты, как нажрут, всегда дерутся. Это у них заведено, как у цыган кровь на свадьбе. Пять лет я тут работаю, не помню дня без драки! Какое удовольствие они в этом ищут?!»

— У нас сегодня такая радость! Танечка! Не обращай внимания, ничто нам не испортит сегодня нашей радости, сегодня ты появилась на свет, и это прекрасно, черт возьми! Летай самолетами, пей... храни... люби нас,

мужиков, мы хорошие! Я поступил сегодня на курсы тележрежиссеров, и гад я буду, если не сниму тебя в главной роли, это тебе мой сегодняшний подарок. Я пью за тебя, дай бог тебе удачи в моем фильме, дай бог тебе здоровья, ура!!!

Какой удар тамаде — Танечка заплакала: «Спасибо, Борода, спасибо всем, что пришли...»

Майка, с размазанной от слез и подштукатуренной на скорую руку мордой, комментирует заявление Бороды: «Кино — это такое отхожее место, под каждого ложиться надо, каждому улыбаться на всякий случай. В театре все-таки меньше этого. Вызвали меня как-то в одну группу и безо всяких спрашивают: «Может быть, понадобится с режиссером в интимной обстановке встретиться, у вас комната есть на этот случай? Нет? Ну, об этом не заботьтесь, мы сами побеспокоимся, если возникнет необходимость...»

Вышибала потушил свет и в третий раз прокричал давнишний свой декрет: «Женщины, как курево, общими должны быть! Угостите папиросочкой?!»

— Бери, Зайчик, яблоки, бери, не стесняйся! Официанткам оставлять что ли? И мясо собирай. Собирай, собирай — Кузька тебе только спасибо скажет.

Официантки закудахтали, стали в дверях, шарят по сумкам: «Эти артисты под видом колбасы посуду растащат, дорвались до дармового!»

— Бурьянова заплатила, и мы с собой две столичной принесли.

— А я вообще не ела, только салат фирменный попробовала, да полстакана воды выпила — у меня печень больная.

— Леночка! Ну перед кем ты оправдываешься?!

— У артистов совесть сезонная...

— Мы отстали от вас на 50 лет, это Чехов сказал, а он был большой ученый...

— Леночка, во-первых, на 75 лет, а во-вторых...

---

Какая дрянь нынче осень. С колес не успевают стекать жижа, ее разносит по сторонам в прохожих, в стекла машин, в соседей, во влюбленных и разлюбивших — кто подвернется.

Осень! Бутылочное время года! Как будто переживаем чего-то, сидя в кабаках. А чего переживаем? Жизнь, что ли? Особенно противно в такую осень на гастролях. Даже темные норы чужих жен не спасают от хандры. И режиссеры в такую осень свирепствуют, как злыдни.

— Вы сегодня плохо играли, просто плохо ирали, и я с вами буду разговаривать серьезно!

— Сыро, знаете, голос не слушается...

— При чем тут голос, чего вы оправдываетесь? Можно вполголоса играть, но правильно. А вы все не туда, все не по существу. Учитесь у балетных точности в искусстве. Я нарочно говорю так жестко, чтобы вы поняли, к каким плачевным результатам приходят многие артисты, когда они не следят за своей профессией, как они быстро скатываются к штампам, как гибнут даже очень одаренные люди! Почему я должен беспокоиться о вас больше, чем вы сами?! Я очень часто разговариваю с людьми другого калибра: Капица, Флеров, Эрдман, Вознесенский, и они относятся ко мне с гораздо большим уважением...

Тащишься в гостиницу, и белый свет не мил. Портвейн хорошо целыми стаканами пить натошак. Выпить и посидеть не закусывая, подождать, пока докатится и обожжет.

И долго смотреть в угол, и потихоньку сходить с ума. Жены нет, дома сидит. Не в кого уткнуться, некому пожаловаться, не на ком злость выместить. И что за профессия такая! Всем подряд должен, не успеваешь извиняться. С утра встаешь и уже всем должен.

— Мы думаем о вас, прибавили вам зарплату авансом... ждем от вас настоящего творчества...

«Вот на пять рублей ты и получишь творчества...»

— Вы сегодня плохо играли... актер обязан знать свои профессиональные болезни...

Десять минут в сутки можно позволить себе не думать о профессии, о карьере. Они возникают в середине дня, между репетицией и спектаклем. Уже собран к выходу на работу, но еще есть 10–15 минут, и можно сварить покрепче кофе, опуститься на стул и отключиться. Можно думать о чем угодно, хоть не думать вообще. И никто извне и изнутри не судит тебя за лень, за халатность. Зыркаешь в окно, не елозишь, ничегошеньки не обмозговываешь — красота! Но это 10 минут в сутки. В остальные — кто-то гонит и гонит нас, обжигая нам спины бичом. И, закусив удила, засекая ноги, мы мчимся куда-то, то рысью, то в мах, стараясь обойти друг друга и прийти обязательно первыми. А к какому столбу рвемся? 10 минут, когда можно не думать о карьере. А тут еще главный грозит набрать молодых артистов, и они действительно приходят, страшные своей неизвестностью. И надо снова вставать рано; кланяться налево, направо, подбрасывать ноги, сгонять лишний жир — быть стройным и быстрым. Артиста ноги кормят. Надо бежать, надо отрываться от молодых, или хоть не отставать, и чутко следить, кто дышит в спину.

А осень вокруг буйствует то кровавая и роскошная, то жидкая и мерзкая. Но мы ничего не видим, мы рвемся к столбу,

«пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди». Пять рублей прибавили, какое счастье! Это уже аванс, это уже верят, надо ждать, что и рольку дадут, а там... и пошло... Роль за ролью... Для этого и живешь, чтобы играть... А не играть — хрена ли огород городить, а раз играть — значит просить, выбивать... унижаться. «Рожденный ползать — летать не может», но ведь, чтобы взлететь, разбежаться надо, проползти, или как?

**«РАДОСТЬ ВЕЛИКАЯ ДЛЯ НАС ДЛЯ ВСЕХ —  
ТАНЕЧКЕ БУРЬЯНОВОЙ ИКС, ИКС ЛЕТ».**

Бармалей запихнул певицу в красных штанах в такси и укатил с ней, пока менестрель за сигаретами для нее бегал.

Колобок очутился в одной машине с Граммофоном. Граммофон сел по праву знаменитости на первое сиденье, Колобок примостился сзади и думал. Он думал с самого того, как оказался на граммофонных руках и только теперь надумал: «Граммофон, повернись!» Граммофон повернулся. «В высшем свете, Граммофон, бывают разные тонкие штуки», — как приговор произнес Колобок и ударил Граммофона в глаз. Но не выбил. Так и бил, чтобы не выбить. Граммофон ахнул от неожиданности: «Что это такое... Какая гадость... Остановитесь!» — и вышел вон, кутая глаз в американский мохер.

Колобок катил и думал: «Правильно ли было в глаз? Не плебейский ли прием? Какой-то актеришко до пощечины додумался, а писатель должен быть впереди толпы! Ах! Все не так, как надо!» Граммофон же, приняв страдание, вдохновленный Колобковым синяком, отстукивал на машинке знаменитое потом стихотворение, бурлящее гражданским пафосом: «Даешь зайчатину... физкульт-привет!»

— Лена! Ты меня опозорила сегодня с головы до ног. То с этой шлюхой патентованной связалась, то с председателем кооператива... Он нас выведет из членов и все!

— Андриюша! Ну, в другой вступим, подешевле. Прости меня, дуру, — так все надоело!

---

— Зайчик! Ты оказывается герой, маленький мой! Раздухарился, ух ты, господи! Больше не смей такие эксперименты. Один раз доказал, что ты можешь, и хватит!

— А что с Ленкой? Она была такая злая сегодня... Она всех и завела, идиотка!

— У нее пломба выпала, и она не могла есть, а на столе было много вкусных вещей.

— Да чего уж там вкусного... व्यюн один, да и то сожрали, не успел распробовать.

---

Красными фонариками горят в темноте сигаретки любовников. Одной рукой будущий режиссер стряхивает пепел, другой — оглаживает крутые половинки Танькиного зада и говорит. Он говорит, что ему надо начинать новую жизнь, что он засиделся: раньше он легко оставлял все и шел вперед, не жалея о прошлом, а теперь стал ленив и расслаблен. Необходимо срочно встряхнуться. Он бросит жену (это главное, что путает ноги), выучится на режиссера и, конечно, снимет Таньку в первую очередь... А там ее заметят из большого кино... и пошло... Главное начать...

Таньке хорошо. Она затягивается дымом, улыбается, верит... «Сколько лет? А что, сколько лет? Любая актриса одну роль может сыграть гениально — самую себя... А больше и не надо... А вдруг это так и будет. К тому времени они будут знать наизусть друг друга, и он напишет роль с нее... Сейчас все режиссеры сами пишут сценарии...

— Только ты будь в форме. Не полней, а то у тебя вон и до пупка не докопаешься... И обязательно сведи бородавку... Говорят, они пшеном запросто сводятся...

# «Поздно, Лора, ты полюбила вора!»

Рассказ бывшего администратора

Служил я, не поверите, администратором в кино. На киностудии имени... Работа... она сама по себе... ну... сами знаете, какая. Трудная. Объясню, почему. Это достань, то принеси, ту встреть, про этого забудь невзначай, чтоб сам забыл, куда едет. Трудная, трудная. Она и психологически поэтому вредная. А со стороны кажется — человек на побегушках. Поэтому, в соответствии и согласии с цитатой, рыба ищет, где глубже, а человек, где рыба, — ты и сам ищешь, выслеживаешь, вынюхиваешь, фирменные сигареты подсовываешь директорам тех картин, у которых красивые экспедиции к теплему, скажем, морю намечаются. Не говорю про границу (там мафия, в тот круг с мылом не протолкнешься), а просто... у хорошего синего моря им по плану пожить охота. К директорам таких картин как-то тянет, как-то они тебе ближе и дороже, и они всегда умнее других... для тебя. Объясню почему — помыться в море всем охота.

Но иногда — чудеса. Обсуждаем мы как-то, где искать тайгу для фильма «Комендант... скажем... тайги». Оператор говорит: «Где-то... где-то... стойте... я видел где-то...



хорошую тайгу, видел... сейчас вспомню... в Пицунде! В Пицунде я видел очень хорошую тайгу». — «Точно, Иван, в Пицунде... Там сосны... Во! Корабельные... реликтовые... государством охраняются... лучшей тайги не найдем, и говорить нечего».

Другой раз ищем по карте, где снимать на пленку «Директор... скажем так... Чукотки». «Где... где... — морщит лоб художник. — Где-то я видел... дай бог памяти... замечательную Чукотку где-то видел... В Ялте!» Оператор: «В Юрмале! В Юрмале Чукотка краше!» Режиссер: «В Ялту!» Директор: «В Боржоми... я, в Боржоми... мы, наша Чукотка в Боржоми». Режиссер бьет банк: «Ялта... Лучшая Чукотка для всех Ялта, чеховская Ялта. И объяснять не хочу, почему».

Но в экспедиции администратору даже и в Ялте не шибко сладко. Все в море, ты дуй в Симферополь, встречай артистов. Не-на-ви-жу! Кого в кино ненавижу — артистов. Все спят или чего хуже делают — в ресторане, скажем, музыкой наслаждаются, да, а ты не наслаждайся, жди по ночам артистов в аэропорту. Не-на-ви-жу! Им ведь отдельный номер подавай в гостинице, а нет... каждый грозит:

«Уеду, тут же уеду обратно». Ну для чего, скажите, каждому, ему или ей, отдельный номер? Ну зачем? Для каких особенных трудов? Подумайте. Нет, вредный артисты народ, вредный, но смешной. Я бы им за их привередливость доплачивал бы крупно, чтоб они нам роли в кино не портили своей вредностью природной. Отслюнявил бы каждому по лишнему столынику: «На, бери, только не вредничай. Не вредничай, тебе говорят, играй хорошо, хорошо играй, только не вредничай, кому говорят?!» Нет, плохо играет, вредничает. А отдельный номер требует. Ну почему все артисты хотят, видите ли, хорошо и отдельно жить? Они ж за художников себя выдают. А художник карманом нищий должен быть, а духом густ невпроворот. Администратор — наоборот. Шучу. Шучу. Шутка.

«Поздно, Лора, ты полюбила вора!»

Но и смешной народ артисты. Ах, смешной! Знал я одного. Кто-то сказал ему, что батька Махно и он — одно лицо. Загримировали под батьку для групповой фотографии анархистов, сняли фото и отпустили. И надо ж, заклинило. На Несторе Махно заклинило. В буквальном смысле. Объясню почему. Отрастил себе патлы до плеч, засалил их чем-то, по году не мылся, завшиветь хотел, по видимому, для образа. Потом охромел. Костыль сунул под мышку. Идет по коридору, дико озирается, потом р-р-раз... так на костыле развернется и в обратную сторону чешет... И на тебя с вертящимся глазом прет... с дороги не свернет. И сверлит тебя, и буравит, и зубами скрежещет на всю студию. Он в рот шины автомобильной кусок специально для скрипа засовывал. Как-то мы о Горьком... Алексее Максимовиче, картину запустили. И какой-то чудака, мягко выражаясь, вроде меня, сказал, что он очень на молодого Пешкова смахивает. Не поверите! За сутки человек фазу сменил. Окать стал, постригся, помылся, каблуки вздернул, костыль бросил, палку взял и всех батеньками обзывать стал. Кем он сейчас, интересно, прикидывается? Аркашки все они... Аркашки... Господи! Чайники! Снимали мы «Преступление и наказание» как-то. Есть такая книга настольная, Достоевского Федора Михайловича. Работа эта интересная у него считается. Объясню, почему. На одной детали объясню. Помните муху на стекле? В гробе-каморке Раскольникова бессильно бьющаяся, зудящая в окне муха в жару... простая муха, и больше ничего. Помните? Гениальная аналогия с героем. Ну, мастер... чего там. А снимали зимой. В павильоне. А муху где взять зимой? В Москве... а? А режиссер требует, вынь да положи ему муху на стол... Художник, сами понимаете, фантазия кипит... Без мухи уже жить не может. Меня директор вызывает:

— Обеспечить кадр. Достать ему муху... Голов пятнадцать для дублей чтоб!

— Где же я их достану, они ж вымерли?!

— Не знаю... Где хочешь... Два часа думай, потом доложишь! Через две минуты я разрубил этот морской узел.

— Илья Ароныч! — говорю, — нашел... знаю, где они есть... только в одном месте!

— Где?

— В Евпатарии!

— Точно?

— Командируйте!

— Немедленно!! С тобой полечу, чтоб наловить ему на всю оставшуюся жизнь.

А что делать?! Кино делать надо! Берем под отчет, берем много, чтоб хватило... и... и... залетные! К морю, родные, за мухами! Первым классом, с белым вином, черной икрой, как люди!..

Прилетаем, он себе — люкс трехкомнатный, мне — камеру одноместную. Я на базарчик сбегал, холодильничек ему заправил всякой травкой-муравкой, чтоб у шефа голова ни о чем не болела. С утра у нас бассейн с морской водичкой подогретой, сами понимаете... Завтрак (а я уже две три мушки словил) в номере с шампанским, кальмарами... Ужин, сами понимаете, в коллективе нежно-душистом. Днем шеф в бассейне барахтается, я мух ловлю и в спичечную коробку складываю. Дырочки проделал, чтоб дышали, сахару засыпал, чтоб не сдохли до Москвы с голоду... По всей Евпатории я за ними не гонялся, не дурак.

Я в номере у себя сахару набросал везде, по столу варенье размазал и убирать запретил. Но в основном я около дежурной Любочки за ними охотился, для смеху. Одну даже с носу у нее снял, да так ловко, что Любочку не разбудил. «Ой, — говорит, — что-то вы делаете?» «Мух, — говорю, — ловлю, Любончик-пончик! Спи, спи, дорогая. Задание, — говорю, — у меня такое производственное... Меня коллектив ждет, не работает. Мы преступление с наказанием совмещаем...» А сам вторую р...р...раз с правой груди у нее.

«Поздно, Лора, ты полюбила вора!»

— Ой, — говорит, — целый день вы их ловите.

— Ночью не буду... ночью не буду... А завтра по мухам опять.

— А завтра я не работаю.

— Ну так послезавтра.

— А послезавтра я вам своих принесу из дома... можно?..

— Можно, Люба, можно.

А из Москвы — звонки: «Наловили? Поймали?» Директор: «Кое-что поймали... и хороших... но не хватит, боюсь, на дубли...» А у меня полная коробочка, вторую начал. Но тут деньги кончились у шефа. Полетели назад. Мушки мои за пазухой, в тепле, сахар гложут, нормалек!

Нас встречают чуть ли не с музыкой. Ну, что там — герои, охотники за змеями... Миклухи-Маклаи... аборигены евпаторийские.

Камеру поставили, свет полный, тишина гробовая. «Высаживай муху свою», — командует режиссер. «Не тут-то было, — говорю, — она ж не дура. Она ж улетит. Вы, — говорю, — сначала медом стекло смажьте, потом я вам дам муху. Они у меня на глюкозе неделю воспитывались». Режиссер... фантазия... ух... кипит! «Разведите, — говорит, ведро рафинаду... промажьте стекло! Промазали. «Сажай муху на стекло!» Я коробочку открыл. Мои насекомые роем вверх ринулись, одна за другой сплошным десантом, и исчезли во мгле. Объясню, почему. В павильоне ж наверху-то, на лесах-то, там же фонари, там свет, там тепло, как в Евпатории. Минут пять группа стояла, головы задрав, в сплошной анемии. Как у «Ревизора» в немой сцене, помните? Тоже деталь гениальная.

Первый очнулся директор. «У него, — говорит, — еще одна коробочка за пазухой есть». А режиссер: «Поздно, Лора, ты полюбила вора!» И зло так сплюнул по касательной, чуть в меня не попал. «Где художник? — орет. — Рисуй муху быстро». Художник... а у него ж тоже фантазия

вздрычена, кисть в сажу, и, как с шашкой, к окну... приступил. «Где прикажете писать насекомое?» — «В нижнем правом...» — «Есть в нижнем правом...» И с размаху... бах... кистью в правый нижний... Муха получилась лучше не придумаешь, да лучше и не надо, живее всех моих пятидесяти шести сбежавших, улетевших к свету, к фонарям.

Сняли кадр. Да еще как сняли!

Вот что значит искусство. В настоящем искусстве правда бывает жизненнее самой жизни... Это не я придумал. Но что он имел в виду, хотел бы я знать, когда сплюнул и сказал: «Поздно, Лора, ты полюбила вора!» Это что? Слова из песни или поговорка такая есть? Не знаете? Вот и я не знаю. А знать бы надо, «не в первой женатый раз».

# Рассказы бабки Екатерины

...любезная хозяйюшка,  
пусти нас ночевать...  
*из песни*

У самого синего моря живет любезная хозяйюшка Екатерина Юрьевна Юрьева, старушка лет около восьмидесяти, у которой нам с женой посчастливилось остановиться дачниками с лишком на две недели. Друзья не советовали нам задерживаться в одесской духоте, а проехать автобусом к Санжейке, поселку, с маяком и чистым морем, в стороне от железной дороги, а потому и не сильно забитому нашим братом. Мы поехали. Сезон дачный был в самом разгаре, и найти место у чистого моря казалось делом несбыточным. Какая-то добрая душа посоветовала нам пройти от самой Санжейки в «сторону Турции» километра два на хутор Левонидово и там спросить.

Хутор затерялся между виноградными и кукурузными, с лопухами подсолнухов, полями и обнаружился вдруг, когда мы совсем отчаялись его найти. На хуторе, как выяснилось потом, не было ни магазина, ни какой-нибудь керосиновой лавчонки, и за всем, что купить, нужно было ходить в самую Санжейку, к маяку. Но и это неудобство не останавливало дачников, и здесь, в Лесто-

нидове, все хаты оказались заняты, кроме хаты бабки Екатерины.

Дачники к ней селились неохотно, в самую последнюю очередь, когда не оставалось свободных хозяев. А почему они селились неохотно? Да потому что хата у нее имела вид заскорузлый, заросший, скотины на дворе никакой такой, чтобы можно было случаем подразжиться продуктами, только качки инкубаторские, да и то еще жидкие совсем, постные, время их еще не поспело, и бабка берегла их на свою одинокую осень-зиму. Да и пускала она — не разбежишься особенно. В каком-то «годе» ее надул наш брат. «Ушла к морю полоскаться — он и смотался. Жить жил, в огород ходил, место занимал, а денег не оставил. Невелика утечка — десять рублей, а жалко... Но ему такой винт дорожке станет. Налетит на контроль и выкинет мою десятку. Вы не встречали козла такого в своих городах?!»

На первый огляд образина ее — не приведи во сне увидеть. Во рту зубов два всего, деснами работает. Оставшиеся друг за друга цепляются, только мешают. Руки растрескавшиеся, крючковатые, а в остальном все как у всех нас было, есть и будет в восемьдесят лет.

Поначалу погода стояла великолепная. Целые дни мы проводили у моря, питались солнцем, воздухом. И даже вечерами приходили к морю: жгли костры, пили кислое вино, смотрели на луну и ждали на ее дорожке появления пиратского фрегата. Потом погода размокропогодилась. Мы чаще стали сидеть дома, а уж вечерами и вовсе не выползали, и под шелест дождя вели житейские разговоры с нашей хозяйкой. Кое-что я умудрился записать под видом, что пишу письма. Жена переспрашивала интересные места по нескольку раз, дотошно дознавалась до мелочей, так что я успевал записывать слово в слово.

Откуда она взялась,  
така паскуда, ежовчина?!

— Во, добры люди, посудите сами — кому на роду что прописано, то и будет, правду говорю. Поначалу жила я хорошо, так хорошо, что и сказать невозможно — не поверите. Муж мой работал председателем артели. Держал коняку, тачанку запрягал, ездил по делам, по полям — куда надо. Я не работала. У меня дом был, корова, три поросенка, до 60 качек держала, курей, двое хлопчиков на мне... Начальство, местная власть вся у него в друзьях состояла; гостилась, столовалась у меня постоянно. Муж с кем придет: «Катя, собери вечерять». Я побегну, качке шею сверну... рибки (скупбрия тогда ловилась жутко, куда она сычас подевалась? Турки ее сманывают, что ли?), вина нацедю охальну банку... Да, правду говорю, хорошо жили, правда, хорошо. Работать в степу я не знала как.

Жила себе барыней: что же? муж председатель, а я себе работать пойду?! Да если кто придет, мне надо сотню скупбрии, он возьмет сам выпишет, я пойду да возьму, правду говорю... Его любили, за работу хвалили часто. Всем он хорош был: и народу, и начальству, и мне. А тут откуль ни возьмись случилась эта ежовчина. Знаете, да? Откуда она взялась, така паскуда, господи, прости? Да... И мужа моего забрали. Пришли ночью в 2 часа, тогда по ночам дела делали, и увели. Я в слезы: за что, воплю, он не виноватый, у него двое деток! А мне старший, видать, ихний говорит: «Он враг народа, молчи, а то и тебя заберем!» Во, ескина мать! Ну, думаю, вправду еще и меня зацапают — заткнулась, а то хлопчики с голоду сдохнут.

Дня через два подалась я до начальника. А он с моим человеком в дружбе состоял, вина не одну банку у меня опрокинул.

«Здрасте», — говорю. «Здрасте, Юрьева». — «Я, — говорю, — хочу повидать своего мужа и знать, за что его взяли». «Своего мужа, Юрьева, тебе уж никогда не видать. Ему



паяют ежовчину!» Откуда она взялась, така паскуда, да?! Я говорю: «Что же мне делать, он мне двое деток прижил, их кормить надо, они хлеба просят?!»

«Деток твоих Сталин возьмет себе, а тебе советую подать на развод со своим мужем, тебе делить теперь с ним нечего, а о детках твоих Сталин позаботится». Во, ескина мать, поняли вы?

«Нет, — говорю, — на развод я не подам. Как он жил со мной, так хорош был, а как вы его взяли, то он испортился?! Нет, — говорю, — это не по-честному. А деток никому не отдам и сама прокормлю». — «Наше дело, говорит, маленько, мы тебе хотим, как лучше». Ну да, правду говорю, добры люди. Тогда я спрашиваю: «А где мне его повидать?» А начальник, друг его, говорит: «Не знаю. Кажется, он сидит пока на Молдаванке, но скоро его отправят на дальнюю Сибирь. Но тебе его не покажут, ему паяют ежовчину». Поняли вы, да?

Я расспросила добрых людей, где эта учреждения находится, и побегла с некоторой родней туда... Они остались на травке спротив, а я пошла. Зашла в первую дверь — никого. Друга дверь открыта, там коридор и отдельные таки загородки. А в уголку сидит человек и названивает по телефону: дзинь, дзинь, дзинь — да, да, дзинь, дзинь — да, да, да... Ну я представилась такой дурной, в платке, колхозницей — шасьт и туда. Он как скочит, в грудь меня як вдарит, я и полетела в ту дверь, в кую вошла и пала беспамятства. Он думал, я яка шпиенка, во, ескина мать! Они меня водой булькнули, я очухалась. Стоит надо мной другой, вже часовой — паспорт мой спрашивает. Ну я достала, он прочитал — Юрьева... «Зачем туда шла?» Я говорю: «Хотела повидать мужа, его забрали тогда-то». Он, якой меня вдарил, красивый такой, мамочки, белый, кудрявый такой, списки пробросил: «Да, есть такой — враг народа, паяют ему ежовчину, вам его видеть нельзя, идите подобру-поздорову, бабушка». Бабушка... Яка я бабушка,

мне тогда 35 не было. Ну я снова залилась, он спрашивает: «А кто вас сюда привел?» Ну я хоть в расстройстве была, но не така дура, чтобы сказать, сообразила: «Сама, — говорю, — нашла». А то бы их засадили или к стенке, во, ескина мать...

Вышла из ворот, мои ко мне. Я им мигаю — не подходите. А то бы их засеки враз. Села в трамвай, они бегом, да на Привозе раньше, чем я, были. Встретились, там уж мы поделились. Они меня благодарить, что я их не выдала. Да, правду говорю, добры люди.

Делать нечего... хлопчики мои маленькие, жить надо как-то, они хлеба просят. А тут фриц войной пошел, хлеб по карточкам. Мне добры люди присоветовали: «Хочешь прокормиться, делай так: днем работай в степу, а ночью тягни тканку». И что вы думаете, добры люди? Пошла я эту тканку тягнуть. Это сейчас хорошо — ее на ворот мотают. А тогда... лямку вокруг живота наматываешь и тягнешь по песку, аж глаза вылупляются. Поняли вы? Ее метров за сорок в море бросают, а мы, бабы, по берегу ее тягнем. Домой придешь, пузо болит, ноги в кровь. Откуда она взялась, така паскуда, ежовчина, прости господи?! Но кое-что все ж стала зарабатывать. А добры люди присоветовали мне хлопотать: «Муж руководителем был, за него тебе должны заплатить».

Поехала я в Одессу, на Бебеля, 12 — это самая главная учреждения. Сказывают, в Москве тоже есть Бебеля, 12 и там така же учреждения... главная... Это самая главная учреждения у советской власти. Пошла я на Бебеля, 12, мне начальник говорит: «Ваш муж — троцкист, идите, Юрьева, домой. Колхоз вам должен заплатить за мужа 12 тысяч». Я пришла к председателю — они решали, решали — откуда взять таки деньги, сунули мне 80 рублей и остановились. Я залилась, но поняла — видать, ничего не исправишь, жалиться идти некуда (до бога высоко, до Сталина далеко), еще хуже бы не было.

Так и стала: днем работать в степу, ночью тянуть тканку. Получила от мужа в первый год два письма. В обоих просил денег. Писал — их везут далеко, наказывал беречь хлопчиков. Ну, я что наскребла — отправила. Не знаю, чи дошли, чи не дошли, больше я о нем не слыхала.

А после войны пришла бумага: «Ваш муж реабилитирован, он умер в 1935 году». Я говорю: «Вы меня опять надуваете, моего мужа только забрали в 36-м, а по-вашему он уже в 35-м умер, а в 35-м он еще при мне состоял». Они свои бумаги перевернули, говорят: «Зайдите дня через два». Поняли вы, да?

Дня через два я опять на Бебеля, 12. Начальник говорит: «Да, ошибка влезла, муж ваш умер в 1937 году». Сами не знают, куда моего человека заховали. Збрехали, что он помер в учреждении, мне похоронная пришла, поняли вы? Я стала их пытаться. Они потребовали фоточку его, чтобы установить. Я им фоточку не дала. У меня всего одна она... А им отдай, они ее зафартачат — и ни его, ни фоточки, пошли они к бесу. Говорят: «Вам полагается с колхоза за него пенсия. И не 12 рублей, а 40». А колхоз, где он работал председателем, назывался «Червоный пахарь», но он заработал миллион и стал «Путь Ильича», а у них и концов не найдешь, во как. Я подала в суд на Москву. Они озлились и это вычистили с меня — оставили 8 рублей. А на восемь я проживу? Это еще организм работает: цибуля, картошка, вино свое. А организм откажет, что тогда? Я снова в суд. Так они и 8 рублей отобрали, говорят: «У тебя огород большой». Но потом стали платить за сына, он погиб на производстве. Так я свою жизнь стрепала, добры люди, верите, нет.

...От времени и пережитого кое-что спуталось в памяти Екатерины Юрьевны. Не могли, конечно, тогдашние милиционеры этаких законченных ярлыков-формулировок знать и поминать всеу имя Сталина. Многие понятия вошли в нашу жизнь гораздо потом. Бабе Кате, разуме-

ется, подобные мелочи были невдомек, да и зачем? Она, например, до чудного долго гадала, подсчитывала, «когда же она случилась-то, эта паскуда, ежовчина: до войны, или после». Потом выяснилось, что она еще две войны, кроме главной, помнит. А войны для нее все на одну колодку. Говорит она потешно. И сами выражения и их интонации с большим юмором «одесско-хохлацко-кацапского» происхождения. Часто в самых трагических местах ее рассказа еле держимся, чтобы не расхохотаться и тем не обидеть. А уж где ситуация позволяет — смеемся досыта.

...Дождь перестал. Качки накормлены, улеглись в просе. Палаточники бредут по дороге, закатав штаны, босиком по грязи. От дождей в палатках воды по уши. Палаточники просятся на хату. Но у нас некуда, нам втроем хорошо. Мы просим бабулю не изменять нам, не брать никого. Так нам никто не мешает, душевно беседуем, горилку иногда потягиваем для здоровья от сырости... И слушаем, слушаем...

— Во, добры люди, правду скажу. Был у нас один ярый председатель райисполкома. Знаете, что такое райисполком? Вот, эта главная учреждения у советской власти после Бебеля, 12, поняли вы? Так этот председатель домогал меня, чтоб я с хаты своей съехала, бо я в обороте была. Сколько раз он вскидывался и кричал: «Выбирайся, бо ты в обороте!» Выкидает меня, и все тут. Что ты ему сделаешь? Во, ескина мать!

— А как это — в «обороте»?

— Ну, моя землянка, что еще с мужем лепили, на краю земли стояла, в поле... Трактору надо прямо жарить, ему мой дом объезжать неудобно, он кругаля вокруг меня дает. Ну, правда, в обороте неудобно, добры люди. Но меня надо тоже понимать. У меня сын в армии советской власти. Другой 10 лет со мной не живет, у него своя власть в Ростове... Сама же я невсесильна подняться: хозяйство, корова, телка за сыном приписана... А этот дурачок сель-

ский, как мимо едет, так выкидайся да выкидайся, и аж до слез. Трем он сделал выкидыш. Но у тех деньги были. Они купляли досок, камень... со своих домов, что можно было, перетаскали. А я старуха, ну куды я... Да... не поверите, добры люди, правду, чисту правду говорю.

Что делать, хоть в печь полезай. Ну что бы вы мне присоветовали, добры люди? А тут, как глядь, катит на машине начальник заставы. А машина у него така черненька, «жучок» мы ее звали. Вот пылит этот «жучок», а в нем, конечно, начальник тот сидит: проверяет, чи ходит часовой, чи не ходит часовой (посты назывались они), правильно ли ходит, чи, может, спит, али пьяный. У нас тогда полоса первый номер была — погранична полоса. И паспорта у нас первые номера были. Я с этим паспортом и в город пройти могла и сюда домой. А ты, езли у тебя первого номера не было, то ты уже не мог к нам пройти... да, правду говорю, добры люди. И что вы думаете? Представилась я такой ненормальной, подняла руку, он остановился.

«Здрате», — говорю. «Здрате, — отвечает. — В чем дело?» — «У меня до вас, — говорю, — просьба в запасе...» — «Да, пожалуйста», — говорит. — «Разрешите мне в обриве дирку выкопать». — «Зачем?» — говорит. — «Я там жить буду...» — «Нет, — говорит, — нельзя в обриве дирку копать. Этот обрив государственный — погранична полоса, номер первый. Он охраняется от шпионов, вольным гражданам в нем находиться нельзя». Я говорю: «Но в степу я не могу дирку копать, меня дождик зальет». — «Зачем вам в степу дирку копать? Где вы живете?» — «Вон, — говорю, — за телкой моя землянка. Но председатель райисполкома выкидает меня из нее, потому я в обороте: трактору объезжать меня неудобно, ему вдобно прямо жарить... А сын мой в армии, как я одна выкинуть?» Он говорит: «Вот что, бабушка, идите домой, никто вас не тронет. Этот председатель незаконно поступает. Если ему нужна тая земля, пусть

подыщет вам место, построит вам хату и сам перевезет. Ваш сын служит в Красной Армии и пусть служит спокойно, как нам нужно». Поняли вы, да? Пришла я домой и сыну все отписала. Через малость времени подкатывает председатель. «Здрате», — говорит. «Здрате», — говорю. «У вас сын есть?» — «А куда ж он девался?»

— «А почему вы к нему не выбираетесь?» — «А не хочу, — говорю.

— Я здесь родилась, мамка с батькой тут закопаны, и я хочу тут опрокинуться». — «А другой сын в армии?» — «В армии. За ним вон тая телка расписана». — «Ну, ладно, — говорит, — тут живи пока». И уехал.

Еще через скоко-то дней вызывает меня в партийную организацию, в их главный дом. А там, не поверите, добры люди, ногой ступить некуда.

— Народу много?

— Какой народу... ковры бархатны, не поверите, кругом... везде, а я в ботинках в австрийских.

— Грязные?

— Не, не грязные... но они не наши, таки охальные, солдатские... Стала у стороночки, стою... «Вы кто будете?» — спрашивает. «Я — Юрьева.» А он же меня знает, он же меня и вызывал... «Ну, проходите». А я боюсь ступить на ихни ковры, таки на стенку весить надо, а не под ноги стлать... «Вот начальник части пишет, что ваш сын ходил до него, жалился, что вас притесняют, выкидают из хаты. Ему надо служить спокойно, как нам надо, а он не может, о матке думает, не спит, беспокоится. (А он поваром был у них, не может, говорит, вкусно готовить.) Мы обсудили ваш вопрос и решили — пока сын служит, вас не трогать. Идите и спите спокойно». Я ему говорю: «А мне на телку на сынину корму не дают. Она на него приписана». — «Ну, вы же знаете, бабуся, с кормами везде плохо. Продайте эту телку». Шутите вы, телку продать?! Я доперла, что корму мне с него не добиться, пошла, да второе письмо сыну

отписала... мол, так-то и так, корму на твою телку не дают, велют продать, иди к начальнику, проси корму на телку.

Он пошел, опять пожалился, что не может служить, вкусно готовить — о матке с телкой думает. Начальник распорядился. Так аж с-под Бугаса привезли мне арбу соломы. Во как! Поняли вы?! А кабы я не встретила тогда «жучка», не спросилась бы у начальника дирку в обриве выкопать, так слопал бы меня председатель. А его потом самого, этого председателя, турнули за всякие такие незаконные поступки. Отправили руководить в холодный район. Так народ передавал — вагон добра с собой потахтарил. Во, ескина мать! Погода погана. Считай — надо идти и одевать чего-нибудь.

По ночам чаще и чаще стало грохотать. Но мочит не всегда. Чаще всухую трещит. А так еще страшнее. Когда льет — думаешь, сейчас выхлещется и перестанет. А когда не хлещет — неизвестность. Бабуля наша за стенкой в кладовке похрапывает смачно. Иногда спросонья бабушкин храп путаем с небесным. Смешно. Керосин кончается. Идти по такой погоде охота? А на чем нищу готовить? Печка на улице неисправна. Как говорит бабуля: «Некому трубу свертеть, да и залеза нет... Эхе-хе-хе-хее...»

— Во, добры люди, правду скажу, как спуталась моя жизнь, как убили злые люди моего сыночка. А почему они его убили? Да потому, что он очень честный был. Пришел с армии, стал коммунистом. Насыпал на дворе четыре кучки проса и заступил лепить хату нову.

— А зачем кучки насыпал?

— Чтобы домовой указал угодное место. Насыпляют ему четыре кучки по углам и оставляют на ночь. Утром глядят. Если кучки раздристаны, надо с этого места отодвигаться, значит хата стоять не может на том месте — домовой не хочет. На метр, на два в тую сторону, кудой зернышки указывают, и опять насыпляют и снова

ждут до утра. Утром глядят... И так насыпляют кучки, пока они не раздристаны будут. Значит, домовой место облюбовал. Во, ескина мать! Поняли вы? Правду говорю... А руки у сыночка были... ай какие лапушки! Быстро он эту хату сконопатил, да только пожить ему в ней не привелось. Честный очень был. Работал бригадиром на баркасе — рыбу доставали. Тогда скумбрия ловилась богато и не така дорога была... Это сейчас ее не стало. Куда она подевалась? Турки ее смывают, что ли? А тогда... Ух ты, ескина мать, скоко ее было, и он всю ее сдавал государству. А им, с кем он работал, воровать надо было, а он не давал: всю колхозу сдавал. Стали они копить на него злобу, подумывать, как от него избавиться. Болтали про него, что он выслуживается — план перегоняет и тайно, дескать, гребет премию. Но сыночек был парень кремневый, свою титьку он дососал, да только не помогла ему моя титька в ту непогодь. Договорились они его укокошить. Выспросили водки с него, взял он им ящик с собой. Чужало мое сердце — не надо было ходить им за рыбой: погода дурной быть обещала. Так оно и выехало. Напились они в море, поднялся ветер, а им того и надо было. Нарочно заспорили с ним, парень он был — за два метра над обривом мотоциклет слету затормаживал, — слово за слово... кто-то его ключом и ахнул сзади, да в море и сбодали сыночка моего. Говорили потом, будто стал он пьяный переходить, баркас вихлялся, его и сшибло. Дескать, не показался ни разу из воды — все решили, что сердце лопнуло.

Они думали — море покроеет их. А оно его вынесло через три недели. Мне, дуре, надо было дорогу спертизу выписать, а я понадеялась на местную. Они с ней снюхались, и местная спертиза их покрыла: «Действительно, упал и сердце лопнуло. А дира в голове от того, что на камень бросило, когда он уж мертвый был». Что там можно было разглядеть после месяца с рыбами?!



Я как узнала, кинулась из хаты и с обрыва в море осунулась, как ноги не перемолола. Стала вопить, рвать волос на себе, просить море: отдай, отдай! Да где там!!! Разве море с ухами?

Мне, дурной, надо было снять со стены двуфстволку, да пострелять их, шакалов. Мне за то ничего б не было б — я в аффекте была. Двое суток без сознания лежала. Казалось мне — жив он, только пошел к другу за баяном на маяк. На третьи сутки маленько очухалась. Все зеркала от меня попрятали, чтоб я не увидела себя, какой я седой и срамной сделалась. С того и глаз стал у меня зарастать. Врачи говорят — лопнула в нем жилочка от беды. Так и осталась бабка одна в недостроенной хате. Телка, что за ним приписана была, коровой стала. А зачем мне молоко? Я ребянкам ее растила. Забила да свезла на базар.

— Екатерина Юрьевна, а почему бы вам к старшему сыну не уехать?

— Он зовет все время, приезжай, мама, да приезжай. А кому я там нужна?! У него своя власть... жена така дикая, не приведи господь. Город Ростов... Я не привычна к ихней жизни. Кавунчика своего летом не попробуешь, все с чужого огорода. А я люблю вино делать. Вот осень подойдет, соберу винограду, натолку бочки две вина... Сосед меня пьяницей обзывает. А кто-нибудь меня под забором видел, чтоб я валялась?! Я выпью стаканчик-два, да сидю дома, с качками говорю. А он сам не выпьет — дачникам сбережет. А какое вино в августе — уксус голимый. Да еще табаку подсыплет, чтоб дурнее было. Ух, хулиган! А меня пьяницей обзывает, ескина мать! Нет, добры люди, не поеду я никуда. Тут у меня батька с мамкой закопаны, и я тут опрокинуться хочу. Еще организм, слава те, господи, работает: цибуля, картоха, вино — все перерабатывает. А не будет организм работать?! Обдерут и отнесут Екатерину Юрьевну к батьке с мамкой. Кой раз решусь пореветь, а слезы не капаят — кончились давно. Так и реву всухомятку.

Мужа меня лишила ежовчина, сына люди ужокошили, а я все живу, живу...

На прощанье мы трубу ей все-таки «свертели» из брошенного ведра. Натаскали глины, песку из-под «обрива» для всякой заделки, керосину два ведра полных приволокли. Обрадовалась она, как дите малое, когда мы забрали старые, чиненые сетки и оставили шелковые, новехонькие. Нагрузила нас кавунчиками, дынями со своего огорода, подсолнухов наломала на дорожку. Приглашала на новое вино. «Пишите, пишите... Не отпишу, а читать стану, вспоминать...»

Так и осталась она опять одна-одинешенька над обрывом, в котором просила выкопать «дирку», у своей разбитой и никем не починенной, не согретой жизни.

Кому случится быть в тех местах, загляните на хутор Левонидово к Екатерине Юрьевне, кланяйтесь от нас, «свертите» чего-нибудь по хозяйству.

1969

# Нина Ивановна

Нина Ивановна вернулась домой в свою Магнитку, как она по старинке называла Магнитогорск, из города Белгорода, где она похоронила старшую сестру Лизавету и выдала одновременно замуж младшую сестру Валентину.

«Сестра у сестры юбочку носила, сестра у сестры дроблечку отбила...» Привязалась на ум эта частушка в гостях, никак не могла Нина Ивановна с языка ее считать, так и доехала с ней до дому. Приехала она рано, внуки еще спали и дети — дочь да зять — не вставали еще на работу, нежась остатним, самым сладким сном.

Не раздеваясь и не разбирая дорожной клади, пришла Нина Ивановна на кухню и устало опустилась на диванчик, на котором спала вот уже несколько лет, с тех пор как Ирка-коноплянка, как звала она дочь, вышла замуж и привела мужа в дом на семнадцатиметровую площадь однокомнатной квартиры. Через полгода, как молодые разместились и расписались, родилась у них Катя, а следом погодком явился и Сережа на свет божий. Нина Ивановна всей душой своей и одиноким давно сердцем крепко прилепилась к внукам, особенно к младшенькому Сереже.

Катя росла девочкой разумной, славной, тихой. Никогда ее не было слышно, словно жила в гостях. Часами могла играть одна, аккуратно расставив по углам игрушки, заботливо уложив по постелькам ребят и зверят. Ее можно было спокойно оставлять одну дома надолго, не ожидая от нее никакой беды. С трех с половиной лет потянулась она к краскам и карандашам. Ее рисунками были украшены стены детского сада в ее группе и в малышовой Сережиной. Гордости братца не было конца, и он драл вверх свой и без того курносый нос, как мог. Для Сережиной стенки дома над кроваткой Катя нарисовала большого Кота в сапогах. Очень красивого. Посоветовали показать Кота на городской выставке детского рисунка, и Кот нагло забрал в свой мешок первую премию. Прототипом к портрету этого господина послужил Кате одноглазый, вечно голодный и блудливый когда-то соседский кот Масевич. С него, конечно, только бы Базилио писать, но у Кати была задача нарисовать для Сережи котика спокойного, благородного, чистого, потому удали у братца и своей хоть отбавляй. И она раскавалерила Масевича от души, что называется. Одеда в кружева и бархат, обула в красные сафьяновые сапожки, при шляпе велюр, пистолете с раструбом и шпаге аля-улю! Так что не Масевич вовсе получился, а маркиз Помпадур, сплошной делякруа, хотя и с казацкой наглой мордой, потому что полностью закрыть одеждой суть Масевича Катя не смогла, это было выше ее художественной природы, то есть в этом, конечно, и заключалась, собственно, ЕЕ природа, что НАТУРА проглядывала: натура природы и натура творца.

Сам прототип Масевич был изрядно стар и основательно потерт жизнью, два раза сваливался с четвертого этажа, но все же выживал тем не менее. Однако последнее время Масевич стал часто являться домой позднехонько и со страшным перегаром. Старуха хозяйка с ног сбилась, никоим образом уразуметь не могла, от кого это в

ее давно вдовьем доме могло пахнуть водярой, и пришла в совершеннейшее смятение, когда поняла вдруг, сивухой несет ни от кого другого, как от ее любимца кота Масевича, и зарыдала бедная навзрыд: до ее тоже уже кучерявых мозгов дошло, что Масевич запил. Где-то за тремя заборами обнаружил Масевич какую-то перевалочную ликерно-разливочную малую контору. И то ли с полу, то ли отходы какие он лакал, а то, быть может, и люди подносили, с них всяко станет, и, что самое пакостное, замечен он был в этом безобразии не один, а с двумя такими же драными собратями. На одного управу еще можно сыскать, а коллектив обуздать уже сложнее. «Хоть бы компанию выбирал себе приличную!» — сокрушалась старуха, которая с ума сбилась, поняв, что при возрасте и состоянии здоровья своего Масевич при таком режиме долго жизнь не протянет — попадет пьяный под колеса и погибнет окончательно, уже физически. Она было затеяла против него воспитательную антиалкогольную кампанию, но если на людей строгие указы не действуют, то мыслимо ли зверя увещеваниями от пагубной страсти спасти. И пьянь ускорила его гибель — упал с подоконника четвертого этажа и к жизни не вернулся. Старуха, кстати, втайне знала, что это было натуральное самоубийство, факт сознательного поступка, так как по ее вычислениям алкоголизм Масевича совпал с пропажей к нему интереса дам своего вида, да и они не занимали его больше. Не стало больше любви в жизни кота, не стало и его самого, и сохранился след его на земле только на Катином портрете. Чего только соседка не сулила и как не подъезжала к Кате, чтоб та отдала, подарила, продала или хоть копию сделала со своего рисунка в память о Масевиче, Катя была неумолима: «Это Сереженьке я нарисовала, и только у Сережи будет такой котик». Потом Кот поехал в Москву на большую выставку, и взрослые решили его оставить в столице в обмен на почетную гра-

моту. «А где Сережин котик?» — спросила Катя, когда ей вручали конкурсную награду. «Кот твой, Катя, в Москве висит на почетном месте, его много ребят смотрит, а тебе за него награда... вот... получай!» — «Награды вешайте над своими кроватями, а над Сережиной должен висеть Кот в саноггах!» — «Катя!..» Катя топнула ногой: «Как вы смели отдать мою работу без моего разрешения?» И закатила такие слезы! «Верните моего кота немедленно Сереже, или... я перестану кушать!» Сказала — сделала: объявила голодовку. Думали, шутит — нет, проходит день, второй... не ест, не пьет, отворотилась к стене, лежит и молчит. А тут еще Сережа заподозрил что-то неладное, и стал пытаться Катю про кота. Не проходило дня, чтобы они не митинговали и слезно не требовали вернуть в дом свое сокровище, и матери Ирке пришлось срочно писать по всем инстанциям с просьбой немедленно вернуть кота автору. И кот вернулся из своего столичного пребывания и заграничного, кстати, турне на родину и благополучно устроился на своем месте у Сережиного изголовья навсегда.

Сережа в противовес серьезной и умненькой Кате рос баламутом страшным. «Белоголовый черкиз» — прозвала его соседка, хозяйка Масевича. По-видимому, она имела в виду отчаянных лермонтовских черкесов, но за давностью забыла и неизменно называла Сережу «черкизом». Как только «черкиз» поднялся с четверенек, а подниматься с четверенек, надо сказать, он не хотел, потому что так шустро на них шустрил и заползал в такие тонкие щели, что достать его рукой и ухватить за шиворот, чтобы выволочь на свет божий, было не так-то просто. Но как только он однажды поднялся сам, сделал несколько шагов на двух ногах самостоятельно, он понял, что это совсем другая жизнь, что освободившиеся передне-двигательные превратились в хватательные, а значит, образовались дополнительные возможности, и этими возможностями

можно творить много чего. И он творил без устали. Даже выдавший на своем веку и не таких «черкизов» кот Мазевич при приближении трубных звуков Сережи брал с места в карьер (в авиации это называется вертикальный взлет) и уходил за три забора, откуда уже возвращался в состоянии полной эйфории и невменяемости.

Однажды, когда «черкиз» не был отправлен по болезни в детский сад, бабушка Нина Ивановна уложила его с собой на родительскую постель на дневной сон. Читала ему сказки, пела колыбельные песни... Долго она баюкала внука, тому аж надоело за ней подсматривать (когда же она уснет наконец?!), наконец бабушка утомилась и знакомо засопела. Внуцёк еще подождал немного, чтоб бабушка уснула наверняка, выскользнул из-под одеяла и в момент оказался на кухне, где его мысль давно привлекал холодильник. Из кухонного стола он извлек все возможные дары природы: перловку, манку, гречку, все чаи и кофе, сахарный песок и специи, тщательно все перетолок и перемешал на полу, открыл холодильник и не закрыл его, а смесь всю полил молоком, сметаной и кетчупом. Забрался в ванную руки ополоснуть, обнаружил материн лак для ногтей (к нему он тоже давно присматривался), расписал им всю свою рожицу под клоуна — щеки, нос, лоб, подбородок, так что оттереть потом можно было только пемзой вместе с кожей, и опять вернулся к своему опыту с дарами природы. Чем бы все это варварство закончилось — неизвестно, если бы по дороге не попала ему вскоре банка с горчицей, которой он набил себе нос, рот, глаза, и тут почувствовал что-то неладное. На рев его бабушка очнулась, примчалась на кухню и так была уязвлена увиденным натюрмортом и дико орущим автором сей икебаны, что чуть было не померла от разрыва сердечной мышцы.

Зато два дня в неделю, что «черкиз» не ходил в детский сад, — субботу и воскресенье — взрослые дома заболели от него, затыкали ватой уши, глотали капли и анальгин,

и только Катя не переставала любить его никогда и умела отвлечь его от самых рискованных начинаний.

Впрочем, она иногда так глубоко уходила в свои рисования, что налети гуси-лебеди и унеси ее братца в недведомо-куда, она не сразу бы и заметила.

А по утрам Сережа часто смеялся во сне. Но смеялся совсем не так, как наяву, когда играл и веселился. Во сне он смеялся осмысленным, грубоватым смехом, с какой-то жутковатой иронией, так что было и не по себе даже, как будто он смеялся надо всем сразу, что увидел здесь, придя из живого небытия в мертвый мир взрослых. И над собой тоже.

Как-то он изрек, развалясь на диване, перед самым уходом в детский сад, нога на ногу и руки под головой: «Не хочу жить... вырастешь — трудно будет, потом помирать — не охота...» — «Что ты сказал?» — Ирке показалось, что она ослышалась. Сережа повторил: «Ты что, мама, глухая что ли... Я говорю: неохота жить. Вырастешь — трудно будет, а потом помирать — неохота будет». Ирка собралась его опровергнуть, но слов не нашла. Устами младенца, как ей показалось, выглаголилась истина.

Нет, Нина Ивановна не хотела смерти сестры, нет, нет!!! Не торопила ее, нечего зря говорить! Но она ждала перемены в своей жизни всю жизнь, ждала и жаждала долго. А так как один из вариантов перемены, хочешь не хочешь, был связан со смертью Лизы, то вот тут-то и начинался адовый огонь, стыднющая мука сердца и совести. И на этот раз, когда она получила вызывную телеграмму, первое, что вырвалось: «Вот беда-то, вот беда-то!» А потом промелькнуло: «Ну что ж, чему быть, тому не миновать, а мы живы пока, а залечу — рожать буду!» — с какой-то неистойой, шальной лиховатостью решила она. Собираясь же в гости к беде, она не думала возвращаться домой, но произошла осечка. Она вернулась, и дом показался ей



пустым и постылым. Нина Ивановна плакала, чего не помнила за собой давно, даже на похоронах сестры глаза ее оставались сухими.

С детства Лиза страдала ревматизмом сердца. Вся жизнь ее была связана с докторами, больницами и лекарствами. Она и сама в конце концов сделалась «профессором» сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи настоятельно советовали ей переменить климат, уехать из промышленного задымленного города куда-нибудь в деревню, поближе к природе, к земле, парному молоку. Выйдя замуж за Гришу, Лиза вскоре активно засобиралась в город Белгород, где училась на медсестру их младшенькая сестра Валентина, которая очень звала к себе и рекомендовала — «я тебе говорю это как будущий врач» — этот город для жительства. И Лиза с Гришей уехали. На зеленой окраине города им нарезали участок. Подзаяв денег у родни, они построились с горем пополам. Из шлака отлили пятистенный домик, разбили и унавозили огород, обзавелись кое-какой живностью и стали жить, а Нина проводила свой отпуск у них почти каждый год. Лиза работала библиотекарем в школе, а Гриша — на стройке каменщиком и зарабатывал хорошо. Был он человек добрый, непьющий, к счастью, и уступчивый. Доброта его, правда, отдавала тряпичностью, но мы до поры до времени этого не осознаем, не различаем и склонны чаще квалифицировать это качество в человеке как положительное.

Врачи запрещали Лизе рожать, и Гриша отговаривал, боялся за нее, но Лизе так хотелось иметь ребенка, что она махнула на все предостережения рукой, и когда пришло время ей разрешиться, врачи вынули девочку Веру через живот. И все шло хорошо, но вскоре старые болезни напомнили о себе, стали прогрессировать, и опять пошли косяком врачи и клиники. Когда она лежала в больнице и если Нина по каким-то причинам

не могла вырваться из своей Магнитки, за дочкой и Гришей доглядывала младшенькая Валентина. У самой Валентины личная жизнь не задалась. Выйдя замуж, она дважды рожала мертвяков и сама при этом бывала при смерти, врачи выхаживали ее, но муж оставил. Может быть, были и другие причины разлада, но Валентина все их относила на свою не удавшуюся плоть, хотя девушка она была далеко не из последних. Бросив медицину, она устроилась диспетчером в автоколонну, где и заработок был значительно выше, и дружков, предлагавших ей свои услуги «по скользящему графику», навалом, но нужного одного так и не попало.

Сестры уговаривали и Нину переехать в Белгород, к ним поближе — «всем вместе-то и легче и веселее будет», — и Нина совсем было собралась оставить завод и перебраться к сестрам, как на пути ее образовалась неодолимая пропасть, и она стала от сестер еще дальше, чем была.

Случилось это давно, когда Верунька была совсем маленькая, а Валентина была еще несчастливо замужем. Лиза слегла в очередной раз в больницу с гипертоническим кризом, и Нина в счет отпуска приехала помочь Грише с дочкой и по хозяйству. Картошку огребала, коноплю продергивала, поливала огурцы и шинковала помидоры, козу доить выучилась, нянчилась с Верунькой и обо всем, что сделала сегодня, на завтра докладывала подробно Лизе в больнице. Лиза влажными от благодарных слез глазами смотрела на сестру и гладила ее руку.

Гуляли у Валентины по случаю ее дня рождения. Народу мало позвали, в основном товарок близких. От мужчин были Гриша да муж Валентины, который стопки не выпил и одну за другой поджигал беломорины на балконе, всем видом говоря: «Этот еще день перетерплю, а с завтра вы меня не увидите здесь никогда». А Гриша был веселый, без конца дренькал на ложках плясовую самодельщину,

заводил радиолу, танцевал со всеми подряд и только Нину, как нарочно, обходил своим вниманием. «Гриша! — шумела ему из кухни раскрасневшаяся именинница, — ты почему Нинку-то не приглашаешь, она у нас холостая, заездили вы ее своим огородом! Вызови, попарь ее «Барыней»...» — «Нельзя, Валюша, под одной крышей спим, влюблюсь еще, черт ты дери...» — «Ну и влюбись на время, по-родственному, пока Лизка залечится, смылится что ли... ха-ха-ха. Какой барыней не будь, все равно тебя... ха-ха». — «Отрезать бы тебе язык, Валентина, да кобелям швырнуть!» — краснея сразу вся, оборвала сестру Нина. «Ой, ой... ой, святые какие, батюшки... ну не буду, не буду, живите, как умеете!» И пошла кругом под Гришины ложки, выбивая дробь с припевкой: «Сестра у сестры юбочку носила, сестра у сестры дролечку отбила...» И товарки подхватили: «Сестра у сестры дролечку отбила, сестра да сестренку в проруби топила!» — подхватили ладно, видать, припевка эта тут знакомая была.

Возвращались с Гришей при полной луне, темными переулками и короткой дорогой. Маленькую Веру пожалели будить, она осталась ночевать у тетки. Пала роса, и было знобко. Гриша накинул на Нинины плечи свой пиджак, прижал ее руку локтем к себе, будто железом сковал с собою, и шагал все быстрее и быстрее. Они почти бежали. «Гриша, я не успеваю, я задыхаюсь...» — «Мало времени, Нина, надо успеть, пока луна ведет!» — «А куда она ведет?» — «Куда, куда! За кудыкины горы!» Нина чувствовала, что его колотит, как в роде по нему ток пропускают неровными порциями. Бегом они одолели пустырь, на который выходил Лизин огород, и остановились, загнанные, в черной тени исполинского вяза-карагача, что, как ревнивый свекор, стоял на страже секретов и крепости этого дома. На задах огорода своего Лиза с Гришей каждый год сеяли коноплю, и нынче она особенно удалась, выдурела роста в полтора человеческого, а ветерок сплел ее

косички в такую дремучую чашу, что в ней безбоязненно могли бы хорониться дезертиры и хахали, рассчитывая, что здесь их не сможет разыскать ни одна собака с карацупою. «Подожди здесь», — сказал Гриша, прислонив Нину к вязу-карагачу, и исчез.

Нина не успевала понимать. Вибрация Гриши перешагнула к ней. Она прижалась теплом тела к вязу, и свекор-вяз потерял бдительность. «Нина!» — позвал ее кто-то. — Нина, иди сюда!» «И-ах-шу-щу-ща-ах», — шумела конопля, мешая в косах своих звук его зова с шелестом запутавшегося в них ветра. «Иди сюда!» — «Зачем?» — и не дожидаясь ответа, ступила вдруг из защитной тени вяза в лунный плен. В стене штакетника, залитого лунным светом и оттого казавшимся цинковым, она увидела черную дыру — голос звал туда. Она обернулась на вяз, как на последний шанс спасения, карагач благословенно махнул кроной, как она потом уверяла себя, инстинктивно сжалась перед черной дырой и перешагнула невидимую жердь. Конопля расступилась перед ней и через миг шумно сплотилась за ее спиной живой оградой. «Сюда, сюда», — звал, жалобно скуля, голос. Она сделала еще шаг и почувствовала внезапно что-то живое, мокрое и горячее в своих коленях. Это мокрое от слез было его лицо, а живое и горячее — его губы, тыкаясь которыми, как слепой кутенок, покрывал он безумными поцелуями колени и бедра ее.

«Нина... Нина, коноплянка моя...» — «Гриша, нельзя... Что ты делаешь, Гриша?! Грех-то какой, ведь сестра я... Гриша, родной...» — она пыталась еще что-то сказать, еще чем-то урезонить зятя, ласково и нетерпеливо теребя лен его головы, пугаясь одновременно, что он остановится на полпути, но было поздно для всех холодных расчетов — конопля уже сомкнулась над ними. «Ах... хоть ночь, да мой!» — последнее, что успела выдохнуть Нина.

И долго баюкала их конопля ласковым шумом своим, но усыпить ненасытных не могла.

Наутро она пошла не к сестре в больницу, а побежала в церковь, хоть сроду не знала, как лба перекрестить.

«Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честные твоя главы усекновения!» — услышала Нина, спешно прибирая голову косынкой по наущению монашки-служки. Батюшка растолковывал прихожанам исторический случай отрубления головы пророку Иоанну. И такой у него был голос журчащий и завораживающий, такой простой тон и доверительная манера повествования, словно он не тысячелетней давности легенду ведал, а рассказывал добрым соседям случай, случившийся в соседнем дворе, свидетелем которого он был непосредственно сам. И Нина доверилась ему.

«А это было, любимые, в дни царствования Ирода Антипы, сына того Ирода окаянного, в дни царствования которого явился на свет божий Иисус Христос Спаситель наш. Того Ирода, который повелел избить четырнадцать тысяч младенцев, в надежде что среди этих тысяч и Царь Израилев погибнет и не сбудутся пророковы предсказания. Так вот сын его Антипа развелся с женою своею и в жены взял жену брата своего Филиппа Иродиаду. Силой отнял и прелюбодействовал с нею на троне своем, а брат, заметьте, любимые, еще живой был».

«Ай, ай... яй... какой негодяй, жену брата на троне, чего не сотворит человек, какой грязи не попробует», — делились впечатлениями кругом Нины старухи, иная из которых слышала эту историю из года в год не один десяток лет на своем веку, однако всякий раз сокрушалась сердечно, негодуя и трясая головой, словно внове и внове, впервые слыша эту историю. Такое свойство имеют темы вечные, таким проникновением в сердца людские обладают.

«И Иоанн, любимые, говорил Ироду, что тот неправильно поступает, нехорошо очень, очень нехорошо. И эти слова его очень не нравились полюбовникам.

А Ирод Иоанна уважал, к советам его внимательно прислушивался, знали его в округе за мужа праведного и святого. Однако по настоянию жены Иродиады заключил его в темницу и держал его там около года, но убивать боялся, опасаясь гнева народного и восстания. Иродиада же не знала, как известить Иоанна в смерть, искала неусыпно случая, и случай ей такой представился. Праздновал Ирод день рождения свой. Праздновал пышно и разгульно. Гостей назвал со всего свету самых знатных и богатых и возлежал с ними с вином и объедением. А дочь Иродиады Саломея услаждала их пляской своею, любимые. И плясала перед ними с непокрытым лицом, а так не положено было, любимые. И усладила гостей как нельзя лучше. И Ирод поразился тому и сказал ей, Саломее, что какое ее желание будет, он все исполнит, вплоть до того, что полцарства даст в награду за услаждение возлежащих. Проси что хочешь, дескать... Саломея скорехонько побежала к матери и рассказала ей, что так мол и так... «Ирод полцарства отдает, проси, говорит, что хочешь, что, мама, спросить мне с него, чтоб не प्रदेशить...» И мать говорит ей: «Проси голову Иоанна на блюде!» Девушка пришла к Ироду и это свое желание ему высказала. Ирод запечалился. Он ведь не обещал чью-либо голову, он обещал добро, богатство, но не желая показать себя слабее словом перед возлежащими и сдержать клятву свою, послал в темницу палача с приказом. Палач отрубил голову Иоанна и поднес ее на блюде бесстыжей плясунье, та же это «угощение» матери своей передала. Вот какое бессмысленное жестокосердие гнездится подчас в сердцах наших, любимые... А почему? Да потому, что совесть их уязвлена была словами Иоанна и не давала им спокойно предаваться своему сладострастию. Они хотели хорошо жить, услаждая себя и ни за что не отвечая. А так не бывает, любимые... Бог дал им еще маленько пожить... А потом плясунья сея шла через реку по льду. Лед под ней рассту-

пился, и она провалилась по шею. Лед сдавил ее горло и голова таким образом оказалась как на блюде, а ноги в воде производили тот танец смертный, каким она услаждала Ирода и возлежащих с ним. Что мы из этого исторического случая должны вынести для себя, любимые?! Что наша здешняя земная жизнь — жизнь временная, скоротечная и не главная... Надо стремиться приобрести не земные блага и удовольствия, а готовить себя неустанно к жизни той, главной, к жизни вечной — к Царству Небесному. А для этого необходимо жить во Христе, исполнять заповеди, которые оставил нам Господь наш Иисус Христос, и первейшие из них — «не убий, не прелюбодействуй, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим!»

Нина ставила свечки и била поклоны всякому святому лику без разбору, не зная, у кого конкретно выпрашивать прощение за свое конопляное падение, кто из божьих угодников занимается этим вопросом, и на всякий случай ставила и просила у всех, слезно моля при этом: «Простите меня, люди добрые, простите, меня, окаянную!!!» Перед ликом Богородицы замерла она, кто-то словно в бок толкнул ее, и сердце крикнуло: «Вот кто поймет тебя, вот кого молить надо!» Нина рухнула перед Богородицей и забилась на полу в безутешном рыдании. Из горла ее будто кто выдирал калеными щипцами бессвязные звуки, из которых, прислушавшись, можно было составить странные слова: «Сестра у сестры юбочку носила, сестра да сестру в проруби топила!..»

Очнулась она на улке, на лавочке. Убогая старушка отирала ей лицо, оправляла одежды. «Что, доченька, согрешила, небось, крепко?» — «Согрешила, матушка, согрешила, ой, согрешила!» — «Ну ничего, Бог простит, Бог — он милостив к человекам. Кто из нас не грешил. Не согресишь — не покаешься, а не покаешься — Царствия Божия не увидишь... До дому-то сама дойдешь или препро-

водить?» — «Дойду, родимая, дойду». — «Ну, иди с Богом... иди... Перемени печаль на радость, слезы на смех — Бог простит».

Вечеру этого дня ушла на станцию, не распростившись ни с сестрами, ни с Гришей, оставив записку, что получила телеграмму с завода со срочным вызовом (будто на этой громадине металлургической кроме нее, бабы, анод к катоду приставить некому), и уехала. Через месяц, как поняла, что брюхатая, расписалась срочно со своим давним ухажером, забулдыгой Филиппом Антиповым, которого и выгнала через полгода, а народившуюся Иркуконоплюнку записала на его фамилию, «чтоб отец у девки хоть липовый, а был». Филипп — отец липовый — «липу» подозревал, но поскольку «элементов» с него не требовали, а порой и под бочок пускали («пошвабрить для здорового сна»), молчал от стыда, а потом и в самом деле забыл про детали. Так Ирка и выросла, и живет, детей рождает и не знает своего истинного отца.

Получив из Белгорода телеграмму от Валентины, что Лиза при смерти, Нина Ивановна, в спешке, словно в панике засобиравшись. Попросила отпуск за свой счет — не дали. Сгоряча и в надежде на перемены в личной жизни написала на расчет, полтора месяца оставалось до законной пенсии. Она думала, испугаются, уговаривать станут, отпуск дадут, нет, не шибко церемонились, — подписали расчет, и баста. И гуляй. И пенсию тебе оформят куцую. И все по закону. И не придерешься, обидно, тридцать шесть лет отдала заводу сварщицей на ремонте внутривозовского транспорта, и хоть орденов и медалей не давали, на Доске почета висела иногда и грамоты иной раз получала.

В 1942 году окончила Нина сельских четыре класса. Надо было идти в пятый, да к ним на Урал привезли тяжелораненых. Разместили в школах, где можно и по домам с достатком. Зимой ходила к раненым, ухаживала,



писала письма под диктовку, а весной услышала по радио, что в Магнитке объявлен срочный набор в ремесленное училище на сварщиков и машинистов. Поехала-пошла в Магнитку, хотела на машиниста паровоза выучиться, не взяли — мала, а на сварщиков зачислили, к тому же год по возрасту она себе приплюсовала. Закончила ремеслуху, пришла на завод, так тридцать шесть лет и простояла с расплавленным металлом в руках. Впрочем, тут ошибки большой не произошло. Весь их род — Зыбкиных — с огнем в руках жизнь коротал. Дед — Сидор Зыбкин кузню в Верхнеуральске держал, казачий гарнизон обслуживал — коней ковал, пики, сабли делал и, как водится, сыновей к кузнечному делу привадил. Отец — Иван Сидорович — в колхозе потом плуги, бороны чинил и своих двух сыновей, старших братьев Нининых — Мишу и Ивана — к наковальне, к огню приручил. Сами себе мальчишки коньки ковали, и даже полозья санные вытягивать отец им доверял. Младший, Ваня, прикурив отцовской закалки, в войну на «Катюшах» страшным огнем термитным фашистскую погань выжигал с земли Русской и сам сгорел в нем — где-то уж на подступах к Будапешту, не дожив до победы трех месяцев. Похоронку его и несколько писем с фронта, разгадывая кроссворд с внуками, обнаружила Нина Ивановна перед своим печальным отъездом в Белгород в старых учебниках по истории и географии. О старшем брате Михаиле и думать, и вспоминать не хотелось, уж больно тяжело и неприятно. В войну без вести пропал. В плену был. Вернувшись из плена в Россию, в тюрьму угодил за это самое. Отбыв наказание, опять туда попал, теперь уже за мошенничество на базаре. Теперь где-то в Пензе обретается, а может, в живых уж нет — снова без вести пропавший. А сестер их трое было: Лиза, Нина, Валя. Лиза уже не в счет. Двое, значит, осталось от рода Зыбкиных, что в Бурановке на реке Гумбейке проживали. Малая деревенька, в две с половиной улицы, в полсотни дворов, но зато

колхоз передовой, имени Ленина. И деревенька первая получила лампочку Ильича, еще до войны. На станции и в районе не было, а в Бурановку и лампочку дали, и радио она получила первой, потому что колхозники работали сознательно, как им велели, колхоз стал зажиточный, вот в войну и досталась ему великая мука: все выложил на алтарь войны — и мужиков, и коней, и хлеб, и добро. И сколь ушло всех, столь и не вернулось. Теперь и Лиза... «Лиза, Лиза, Лизавета! Что не шлешь ты мне привета...» Как ни спешила Нина Ивановна в Белгород — опоздала. Одну сестру она застала уже в гробу, другую при Грише. Дождавшись по просьбе родни сороковин, которые больше напоминали свадьбу, чем поминки, Нина Ивановна вернулась домой, так и не открывшись Грише, что есть у него дочь на стороне и внуки. Да и к чему? Сестру она не переживет теперь, да и Гриша не вечный. Пусть живут счастливо, лишь бы не зазнались.

Ирка проснулась, пришлепала босая на кухню. «Ну что, ма?..» — «Опоздала, доча, коноплянка ты моя несчастная, опоздала я, не застала Лизу в живых!» — и упала лицом в диванную подушку, крупно вздрагивая.

Душа человеческая, ясно, потемки. Но человек меняется за свою жизнь подчас весьма резко — обстоятельства таковы. Изменилась и Нина. После той ночи в конопле она думала про себя: «Неужели это я, неужели то было со мной, нет, не может быть, и в том виноват карагач и немножко Гриша». И она всей жизнью, работой и поведением старалась вычеркнуть ту ночь из своей судьбы. Прошли годы, пробежало почти двадцать лет, Нина превратилась в особу степенную и осмотрительную, стала бабушкой строгой и даже со стороны злой и крикливой, и вот поди ж ты — известие о смерти сестры распрямило ее плечи и поселило в ней стопроцентную надежду, что она может ту ночь вернуть в свою жизнь и узаконить. И опоздала.

# Старики

Из историй давних, невероятных

## I

Это было давно. Лет тридцать назад. Теперь такого не бывает. Мы излечились от многих бед, доставшихся нам в наследство от тьмы веков. Но слова из песни не выкинешь. С героями этой истории я пересекался пацаном на узком пространстве села нашего. И все же кажется мне, что они-то жили-были еще при Горохе-царе, задолго не только до моего рождения, но и до рождения того, от века которого считаем лета.

Семидесяти с гаком лет «отстрелялся», отошел, как говорится, к богу Абросим Назин. Почудил он много за свою жизнь, особенно как был моложе, только к старости остепенился, потому приобрел известность и уважение. Был он столяр-краснодеревщик, большой, тайный искусник в своем деле. Выполнял заказы «на века», ввиду того по дорогой цене, большинству недоступной. Брал их лишь у хозяев района, передавая тем самым изделия рук своих в надежное сохранение. Лицам простым Назин ладил только гробы, ладил бесплатно, но на совесть, как на выставку, и толпа за гробом удовлетворенно примечала, что «гроб-де сработан дедом Назиным, стало быть, покойника прово-

дили в последний путь по-людски». Гробостроительство было делом разорительным, покойники обирали деда, но, раз застолбив принцип, дед не менял его, а потому хоть и заламывал цены за прочие заказы, но капитала не сколотил даже на собственные похороны.

Для себя гроб он сработал загодя, подновляя его не однажды. Загодя наварил пива двенадцативедерную бочку на свои поминки, но пиво не успело укиснуть впору — его выпили еще при жизни, по случаю празднования борозды. Дед было засуетился ставить новое, да не успел, слег невзначай и в три дня окочурился.

Хоронили его на Троицу. Народу за гробом шло человек с десяток, больше родственники дальние. Старуха шла молча. Одна из баб попробовала было выть, да спуталась и замолчала в неловкости.

Так бы и ушел Абросим тихо, никого не мутя особенно, если бы путь его последний не изгадил Миколай Сычев, верный друг молодости и средних лет, а после — до старости и кончины — враг заклятый. Он замыкал похоронную толпу, держась от нее на всякий случай шагов на тридцать.

У Сычева с Назиным были старые счеты двадцатилетней давности, и все последние двадцать лет их вражда то затаивалась под спуд, то вырывалась наружу.

И вот теперь на мертвую голову Абросима сыпался град пьяных оскорблений, плевков и всяческих, совершенно невысказанных ругательств, сварганенных в старческом мозгу запоздалой, неутолимой мстостью.

Миколай часто нагибался, хватал по пути коровьи лепехи, гусиный помет и швырял ими в толпу, тая сладкую надежду попасть в мертвеца. Когда он чересчур близко подтягивался к процессии, от нее отделялся молодой парень, аккуратно сбивал старика с ног, и тот, несуразно взмахнув костями, шмякался в пыль, как торба с овсом. Недолго лежал затихший, лицом в горячую пыль, заляпанный грязью

и позором. Потом поднимался снова: на карачки... на обе ноги... взывал горько, — и начинал по новой.

Когда Абросима положили в землю, укрыли быстрехонько и разошлись, Миколай натаскал битых кирпичей, хламу разного, мусора могильного и втоптал все это босыми ногами в свежий холм приплясывая, а после с восторгом помочился в него.

Старик творил нехристианский суд над своим врагом и так затратился в нем, так измочалился мстью, водкой и побоями, что, прикорнув около вражьего бугра отдохнуть, затих навсегда.

Так закончилась эта дикая вражда, нелепая до чертиков. Вражда, застеклившая глаза бельмом ненависти бывшим друзьям, начавшаяся давно, с истории невероятной, но происшедшей на самом деле, и хоть комической, но чуть было не увенчавшейся взаправдашним убийством.

## II

После Второй германской ворочались по домам уцелевшие мужики: заросшие, прокопченные, бритые, бородатые, с пустыми рукавами, с пустыми штанинами, искореженные, подлатанные, но... живые.

С шестью ранениями, но на двух ногах, с обеими руками, и даже с пальцами уцелевшими, дошел до родного плетня, до любимой Фетиньи своей, Абросим Назин. Руки, зудившие от охоты пилить-строгать, быстро подняли хозяйство на ноги. Нужда по мастеру, чувствующему, кому как угодить своим искусством, была большой, и вскоре Абросим зажил с Фетиньей не хуже других, складнее многих. Но лет через пять после фронта стал ощущать Абросим недомогание в груди: жечь стало грудь, давить изнутри, воздуху не хватало, будто крючок стальной без червя заглотил.

Пошел Абросим по врачам. Год ходил. Врачи лечили, бабки заговаривали — ни хрена, стало хуже. Заподозрили у него рак и направили с двумя мужиками из заречного села в город, оттуда в областной центр. В центре подозрения подтвердились: у всех троих обнаружили рак, житься им оставалось сроки разные, но с гулькин нос, а потому предложено было всем троим ложиться под нож, резать кому чего, отсекай смерть. Велели Абросиму писать расписку, что «мы-де за тебя не отвечаем, коль не выдержит сердце и помрешь — виноватых не ищи».

Абросим такой постановкой оскорбился. Пораскинул мозгами: конец один — год туда, год сюда — значенья не играет, жить заново все равно не начнешь, а подыхать на чужой стороне и не от пули вражьей, а... под ножом доктора-благодетеля неловко как-то, да еще бумагу подписать на себя, как приговор подмахнуть... нет, так дело не пойдет. И он как был, так и явился помирать в свою деревню. Во всех подробностях доложил он свое худое положение Фетинье, та завыла, запричитала, Абросим освирепился, замахнулся на нее в сердцах, да не ударил, осекся и вышел вон.

### III

Приятель его, Миколай, жил на краю деревни, в самой последней, кособокой избенушке. Знали они друг друга с босоножества, дружили, имели в молодости на случай женитьбы одну и ту же кралю на примете, но, по причине сухорукости Миколая, краля, Фетинья, предпочла Абросима. После некоторого разлада друзья сошлись вновь. Миколай имел сердце доброе, зла не помнящее, забыл вскорости обиду и стал в доме Абросима жданным гостем. Но о личной судьбе, о женитьбе своей думать забыл и отправился в дорогу, связующую свет рождения с

теменью смерти, один-одинешенек. На войну его не взяли из-за той же немочной руки, и он помогал фронту чем мог — в колхозе, с бабами. К Фетинье заглядывал крайне редко, только по важной заботе, чтоб не заподозрили глупостей промеж них.

Так и вековал один. Сторожил по ночам колхозную конюшню, но жизненный доход ему обеспечивали кролики, в разведении которых он так наострился, что председатель как бы в шутку и вроде всерьез обещал создать для него в колхозе кролиководческую ферму и поставить бригадиром над ней.

Миколай считал эту идею дельной, перспективной, выписал литературу по кроликам, учился, так сказать, «заочно» и уверял всех, что, кабы ему карты да ферму в руки, накормил бы враз всю страну отборной крольчатинной.

Когда Назин заскрипел калиткой его двора, Миколай, потный и злой, полчаса как бился со своим кролом над покрытием некой крольчихи из школьного уголка юных натуралистов. Крол-производитель у него был отменный: сизый, с отливом цвета морской волны, сильный и больно охочий. Потомство от него шло обильное и крепкое, если не роняла мать, и с каждого помета Миколай имел маленького крольчонка. Производитель работал, как выражался его хозяин, плодотворно и «с процентом». Но последняя тварь попалась совсем молоденькая, а уже пугана: забивалась по углам, поджимала хвост, не оторвать руками, и терпеливости оказалась звериной. Крол гонял ее долго, без усталости, кусал, ласкал, припугивал, но впустую, барабанил от бешенства лапами, как строчил из пулемета на Второй германской Абрисим Назин, измаялся и обмяк. Миколай схватил крольчиху за уши, отдал смущенному пионеру и раздраженно пояснил, утирая потную шею: «Пошла она к черту, скромница проклятая. Выбрось ее, проку от нее никакого не будет, а производителя портить

напрасным горением куда годится!» — и пионер, подавленный неудачей, ушел.

Абросим достал из кармана бутылку «светланки», Миколай поставил свою, нацедил банку «стенолаза» напололам с гущей, подал хлеб, с полдесятка яиц, утрешней картошки, друзья выпили и молча жевали.

Миколай знал уже о смертельной болезни Абросима, но притворялся, что не ведает, и старался не намекать. Абросим ерзал, сморкался пронзительно, громко чавкал и никак не мог приступить к делу, из-за которого явился. Наконец, ковырнув второй стакан, побагровев от натуги или неловкости, вперившись глазами в порог, сказал, как плюнул: «Сдохну я скоро, Миколай. Хочу проститься». Миколай поперхнулся, как по затылку вдаренный, и застекленел с недонесенным стаканом. «За моей Фетиньей ты шастал, помнится, норовил себе ее присвоить», — продолжал Абросим. «Перекрестись, когда это было», — засуетился Миколай. «Ай, забыл, ай, забыл, бесстыжий пес, шастал, шастал. Я всю вашу породу кобелячью знаю. Ты и не женился из гордости, что она меня предпочла». Абросим нарочно закусывал удила, говорил дерзко, чтоб озлиться и не выказать жалости к себе.

— Ну, ну, бреши, бреши. Тому лет тридцать назад, может, и было чего, да былье крапивой поросло, а за давностью амнистия мне полагается.

— Полагается, да не совсем. Помру я скоро, рак губительный сидит в моей груди, гложет... болезнь такая новая есть, на Второй германской я, однако, нажил ее. Врачи жить не обещают мне.

— Не верится что-то, на тебе пахать еще всю можно.

— Это с виду. Внешность обманчива. Врачи ноне ушлые, образованные, магнитами нутро проглядывают, да и сам чувствую: околею скоро.



Миколай освоился с темой и сам в уме водил, вертел шариками:

— Струмент мне свой отдай, слышь, на кой черт он тебе на том свете?

— На том свете он мне ни к чему не сгодится, это ты правильно заметил, но ты и на этом одной рукой им не больно наработаешь, разве спекульнешь невзначай. Но на струмент ты не зарься, у меня для тебя товар поинтересней имеется. Знаю тебя с малолетства за хорошего человека, а потому отдаю тебе свою любимую Фетинью, тем паче, что, помнится, ты шастал за ней молодым.

— Рехнулся ты, Абросим, или пьяный вконец — блекочешь чтой-то непутевое. Баба мне твоя ни к чему не нужна, я один приучился ладно жить, отнял ты ее у меня по закону, смирился я, как видишь, и другом лучшим считаю тебя, хоть и тоскливо иной раз воет ветер в трубе...

— Не забижай меня, Миколай, не забижай. Я те покель ничего плохого делать не собирался, да и не стремился. Тебе еще жить да жить, и ее век длинный. Вдвоем вам веселее будет вечера коротать, вспоминать меня добрым словом станете. Баба она смиренная, на все руки: и похлебку сварганить, и рубаху залатать, и капусту засолить будь здоров. Ласковая очень, слова худого от нее не услышишь. Бери, не бойсь, такой золотой бабы нет больше во всей земле, перекопай хоть всю насквозь — не найдешь...

Миколай погрустнел вдруг:

— Да... расхлебачилась, совсем расхлебачилась твоя жизнь, Абросим... И сколько баб у тебя было, как у дурака махорки в кармане, как по клюкве, шел ты по бабьим сердцам — так и брызгал в сторону алый цвет.

— Потому верь мне и не упирайся, бери Фетинью теперь. Много я не возьму с тебя за нее: три ящика «светланки» и дело в рукавицах!

— Ха... ха... ха... Ох, усохни моя душенька!!! Очумел ты, совсем очумел! Не страмись ты, Абросим, не страмись!

— За такую бабу, ты не смейсь, глупый, разве такая цена?! Да и не цена это вовсе, а выкуп, просто, калым за нее... За вашу жизнь счастливую в дальнейшем, буду пить я в одиночестве, чтоб не чувствовать приближение смерти мерзкой.

Абросим размяк, тон его с категорического перешел на душевный, просительный.

— Пожалей ты ее, Миколай, она хороший человек. И подумай, весело ли ей в пустом доме остаться. Хранить она тебя, как стеклянную посуду станет, а уж домовитая... не узнаешь свою конуру, Миколай.

— Три ящика много, не наскребу на три.

— Два давай, черт с тобой, вымогатель проклятый. По рукам, и на Покров день жди свою птаху, но прежде водку выставь, всю сразу!

Миколай поскребывал кадык. Скреб он его в ответственные моменты на крутых поворотах жизни, когда требовалось принять мудрое решение. Абросим знал это и гнал лошадей.

— Жизнь, Миколай, дается нам один раз и прожить ее надо с моей Фетиньей.

Последние слова окончательно сломили робкую оборону Миколая. Он и сам не представлял своей жизни с другой бабой... Но внутри его жили сомнения на свой счет:

— Она ведь тебя слушается, а я ей кто? Лет тридцать назад я был готов принять ее в свой дом, а теперь? Засох совсем для такой жизни, не нужен ни к чему я ей.

— Да ведь и она к тебе не девицей явится. А рядом с хорошим человеком и состариться, и помереть не страшно.

— Но чтоб по-людски все вышло, по-похорошему чтоб, строчи бумагу.

— На что?!

— Как на что? Дело не шутово. Без обману чтоб, без хитростей.

Бумага... Она это... вроде загса будет, что баба твоя передается мне в личное пользование без возврата.

— Наверде лигистрации, что ли?

— Вот, вот. Документ должен быть у меня на нее, да не забудь в бумаге указать, чтоб не прекословила мне.

Миколай подал тетрадку, пузырек с чернилами, примотал к карандашу ржавое перо, и Абросим сочинил свое завещание.

### Расписка Абросима

«Я, нижеподписавшийся, Абросим Назин, с одной стороны, и Миколай Сычев, с другой — заключили между собой уговор на том основании, что по случаю моей скорой кончины, по причине неизлечимой болезни — рака, которую засвидетельствовали доктора в областном центре и приближение которой чувствую неизменно сам, передаю мою дорогую Фетинью, преданную подругу моей порожней жизни, Миколаю Сычеву, вышеуказанному, на вечное пользование и охранение от бед при старости. Фетинье велю слушаться Миколая, как самого меня, за что с него причитается два ящика водки по 40° в виде выкупа».

Миколай внимательно изучил документ и схоронил его за портрет вождя в важнейшие бумаги и кролиководческую литературу.

Приятели ударили по рукам, допили водку и расцеловались. В сенях, глотнув ковш холодной воды, Абросим давал последние наставления:

— Будь ласков с ней... не приставай пьяный — не любит. Напозволяешься и ложись — либо с глаз долой.

— Ладно, не верещи, знаю...

— Веников готовь березовых больше, мои забери в дровеннике, париться она любит очень, после бани «светланки» поднеси.

— Об этом не беспокойся. Со мной, не с тобой жить, с иродом. Твоей бабой быть — должность собачья.

— Ну об этом ты покамест понятия не имеешь, опыта у тебя никакого, а потому не мели на мели, слушай и усекай. Шибко халучая она до ягод, до грибов. Не пускай ее. Бабы по секрету донесли, будто задыхается она совсем, когда бежит с ведрами по кустам, чуть не померла однажды. И не жаднющая ни капельки, но не любит, чтоб добро пропадало зря, а потому впереди всех всегда чешет и берет ягоду без устали, у кого ведро, у нее — два. Смотри, не вернется когда-нибудь. Черт с ней, с ягодой... Ну и все, живите с миром.

Друзья похлопали друг друга по хребтам, и Абросим, покачиваясь, направился со двора. Миколай заложил воротца на крюк и закопатил к своему хозяйству.

Зверюшки глядели сны, посвистывали от удовольствия и не подозревали уже разразившейся над ними беды. Хозяин объявил производителю и всей честной компании, что с завтрашнего дня жизнь его повертывается сначала, и в этой новой жизни они не предусмотрены по смете. Он распустит их всех до единого и обзаведется нормальной скотиной, может, даже коровой, благо доить будет кому, и тут же, на мешке с молочаем, блаженно заснул.

Три месяца с Покрова дня отчаянно пил Абросим, ждал кончины своей.

Три месяца жила Фетинья у Миколая, ела крольчатину, изредка наведывалась к Абросиму протопить хату, сготовить поесть. Миколай взревновал и не стал пускать ее, но зато стал наведываться к смертнику сам.

Абросим уже опорожнил не два и не три ящика, но не помер, требовал водки еще и еще, клялся, что не протянет

и неделю, но... недели летели, и ожидание его встречи с костлявой выходило разорительным для обеих сторон.

Изба так иногда выстаивалась непротопленная, что вода в ведре замораживалась, и удивительно, как Абросим не помер от холодов. Когда же в просветлении затапливал он печь, изба наполнялась дымом непролазным, и Абросим шарил по ней, согнувшись пополам. Давно прошел срок, отпущенный врачами Абросиму для окончания его земных дел, но похоже было, что он не собирается закругляться. Больше всех дивился он сам: чем дальше, тем лучше он чувствовал себя.

Пришла весна, смахнула снег с полей, распрудила реку, и Абросим с первым парходом отбыл в сторону областного центра.

К величайшему удивлению врачей, признаков рака у Абросима не обнаружилось, внутренности его заглядились. Врачи не верили своим приборам, а глазам и подавно, проверяли Назина снова и снова, но рак исчез, как будто и не ночевал. Выспрашивали у него методы лечения, рецепты, способы, но Абросим только щерился и бубнил одно и то же: дескать, пил «светланку» — выжег, пил «светланку» — выжег...

Мужики, с которыми он приезжал на лечение прошлым летом, отдали концы, один под ножом хирурга, другой дома. Абросим крякнул то ли от жалости, а скорее от удовольствия, что сам спасся ненароком.

По завершению всех осмотров потребовал себе Назин справку, что не помрет теперь от рака, поскольку рака нет, а потому годен снова для дальнейшего продолжения семейной жизни.

Была ли у него такая справка, никто толком не знает, но будто бы махал он чем-то вроде этого под носом у Миколая, когда заявился к нему отбирать назад свою Фетинью.

С этого момента вся их дружба давняя пошла прахом и началась смертоубийственная вражда.

Абросим приходил за Фетиньей не единожды, пробовал разные маневры, но безрезультатно. Миколай принял решение не пускать соперника на порог. Тогда Назин прибыл под окна молодоженов с ружьем. Залег поудобнее на травке, достал початую бутылку, разворошил узелок с закуской и стал палить в небо. Пальнет — глотнет — закусит, пальнет — глотнет — закусит... Абросим брал на испуг, ждал, что Миколай выбросит белый флаг, капитулирует, расстрелял весь патронташ, но Фетинью не выкурил. Фетинья и не хотела возвращаться к Абросиму, в отместку ль за продажу, а, может, старое что засвербило, раннее откликнулось. Приглянулся ей больно Миколай своим обхождением ласковым, сердцем теплым, внимательным. Тогда Абросим воротил ее коварным, захватническим путем: пригнал бичом, как заблудшую корову, воспользовавшись отсутствием хозяина. Водку Миколаю не вернул ни натурой, ни деньгами, и пригрозил в случае бунта оторвать здоровую руку.

Миколай ходил по инстанциям, жаловался на Абросима, писал письма, показывал расписку, но никто не имел к нему сочувствия, не принимал его притязаний на Фетинью всерьез, и сочли Сычева тронувшимся с ума. Глубоко-далеко в душе своей нараспашку замуровал Миколай злобу лютую, затаил месть и мучился жутко, потому что был добр и сердоболен по натуре. Но втоптал его в грязь, надсмеялся, вывернул душу своим мерзким поступком подышающий червяк — Абросим. Опозорил перед всем миром. Дважды дал пощупать счастья обыкновенного, мужицкого, теплого и отобрал, как у голодного, которому дали сладкий кусок и, только вкусил он его, вырвали, надсмехаясь...

От таких мыслей мрачнел Миколай, выл волком, скулил щенком, но укусить не мог, уж больно легок он был. По ночам придумывал он Абросиму страшную месть, не спал, маялся, ходил вокруг вражьего дома, хоронился, ждал слу-

чая... Но вставало солнце, приходил день и растапливал заготовленные козны, и стыдно делалось Миколаю за ночные мысли свои... На смену дня шла ночь, и снова мучился Миколай. Несколько раз он пытался подняться, уйти из села в другое, но не смог одолеть сердечного притяжения. Упросил председателя вернуть ему должность сторожа, днями же напролет сидел в своей конуре. На народ выходил редко, в большинстве в сельпо. А уж после домой чуть тепленького доставляли добрые люди. Однажды Миколай осмелился спалить назинское сено, ушел в луга, да спяну перепутал стога и сжег чужое. Стали таскать его по судам и чуть было не засудили, да удалось отбрехаться, что не нарочно спалил, по нечаянности, а от хозяина отбоярился деньгами, киззяками и чем попало.

Летом, как-то в жару, пустил он Абросиму в нужный узел своедельских дрожжей, параша закисла и затопила «добром» всю ограду. Назин почувал, чьей руки это мероприятие, ворвался в миколаеву избушку и жестоко избил его.

Во вражде, в подобных штуках и состарились оба, и померли разом почти...

Фетинья пережила их недолго. До конца дней своих плакала одинаково по обоим, а как стала помирать — просила положить ее в могилку к Миколаю. Просьбу ее уважили. Положили. И наступила гармония. Единственно, однако, возможная в здешнем мире — гармония отсутствия.



*В роли Женъки Ксидиаса с Е. Шиффирсом в фильме «Интервенция»  
Г. Полоки. 1968*

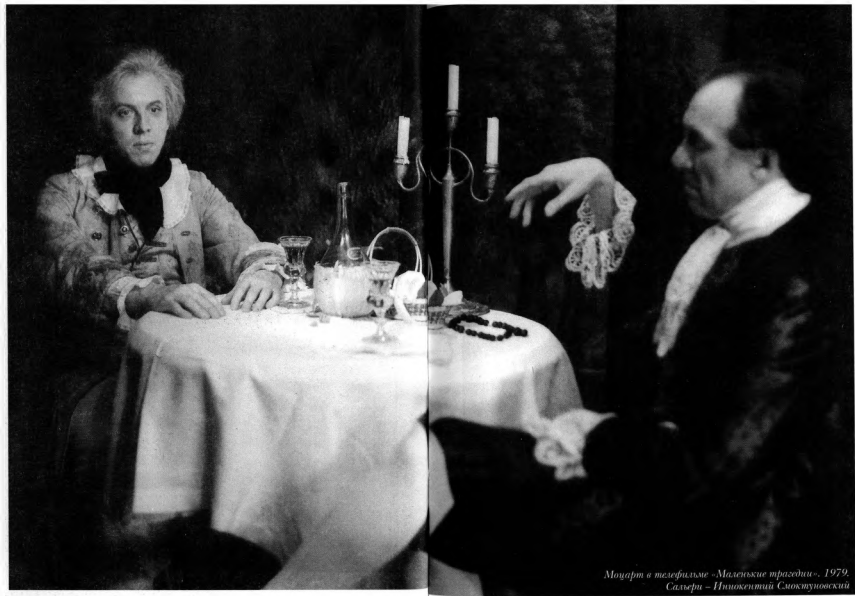




*В роли участкового Серезкина в фильме «Хозяин тайги». 1968.  
С Владимиром Высоцким*



*«Хозяин тайги»*



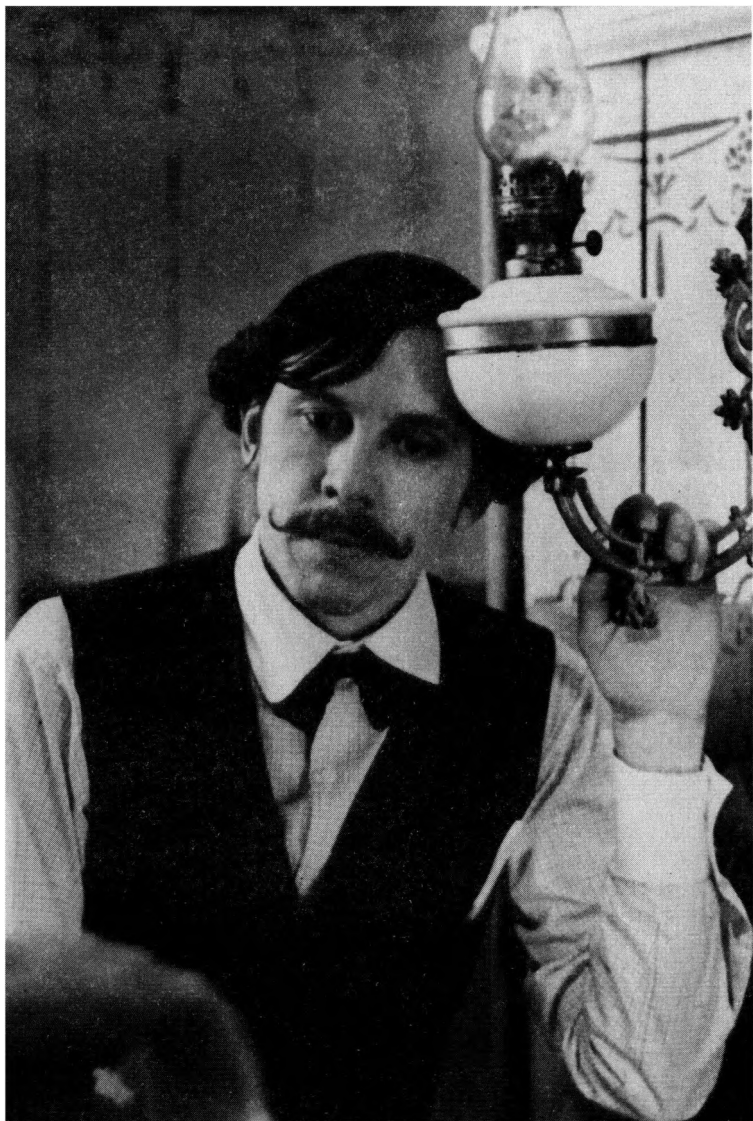
*Моцарт в телефильме «Маленькие трагедии», 1979.  
Салери – Николетти Сикстунувский*



*В фильме «О тех, кого помню и люблю». 1973. С Екатериной Васильевой*



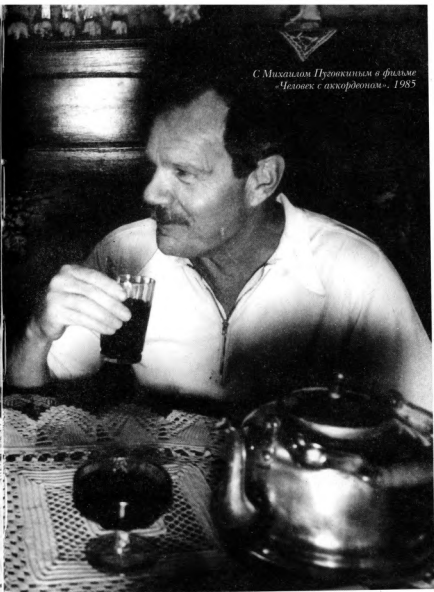
*С Анатолием Кузнецовым в фильме «Пакет». 1965*



*Макарушка Блесткин в фильме «Смешные люди», 1976*



*С Еленой Прокловой в фильме «Единственная». 1975*



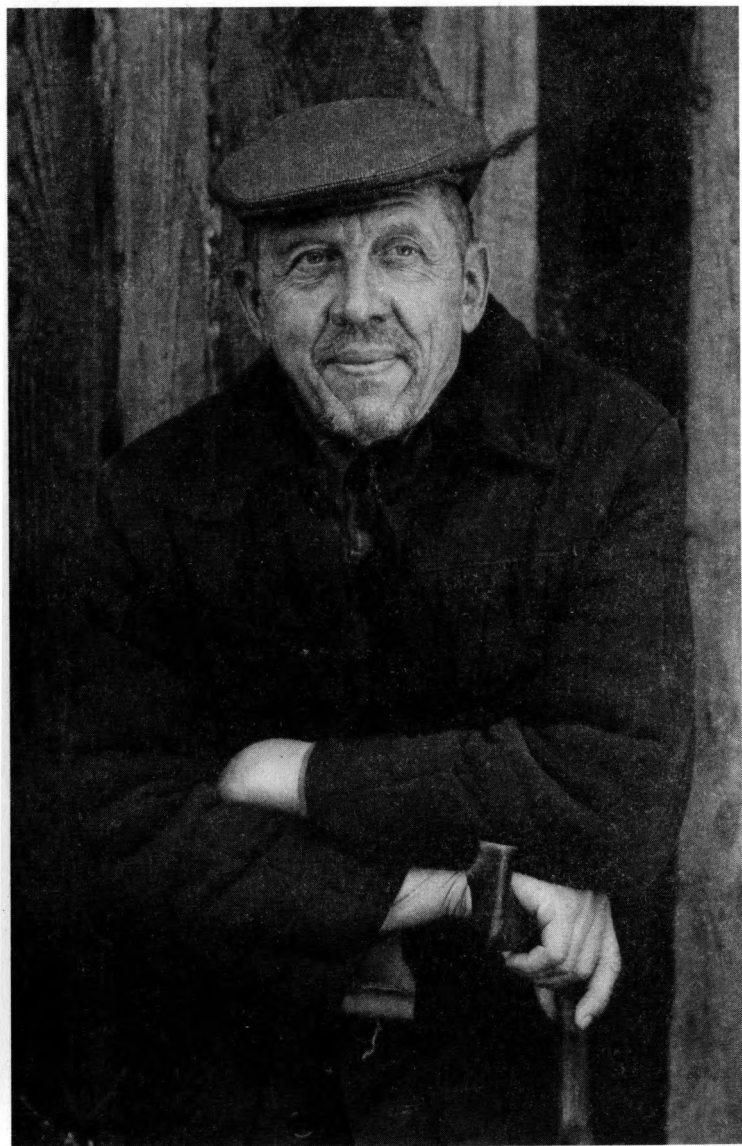
С Михаилом Пугачкиным в фильме  
«Человек с аккордеоном», 1985



*«Человек с аккордеоном». 1985*



*С Екатериной Васильевой в фильме «Участок». 2004*



*Хали-Гали в «Участке»*





*На съемках сериала «Счастье ты мое...»*



*Егерь – В. Золотухин, Брежнев – Сергей Шакуров. 2005*



*Суворов в телесериале «Адьютанты любви». 2005*



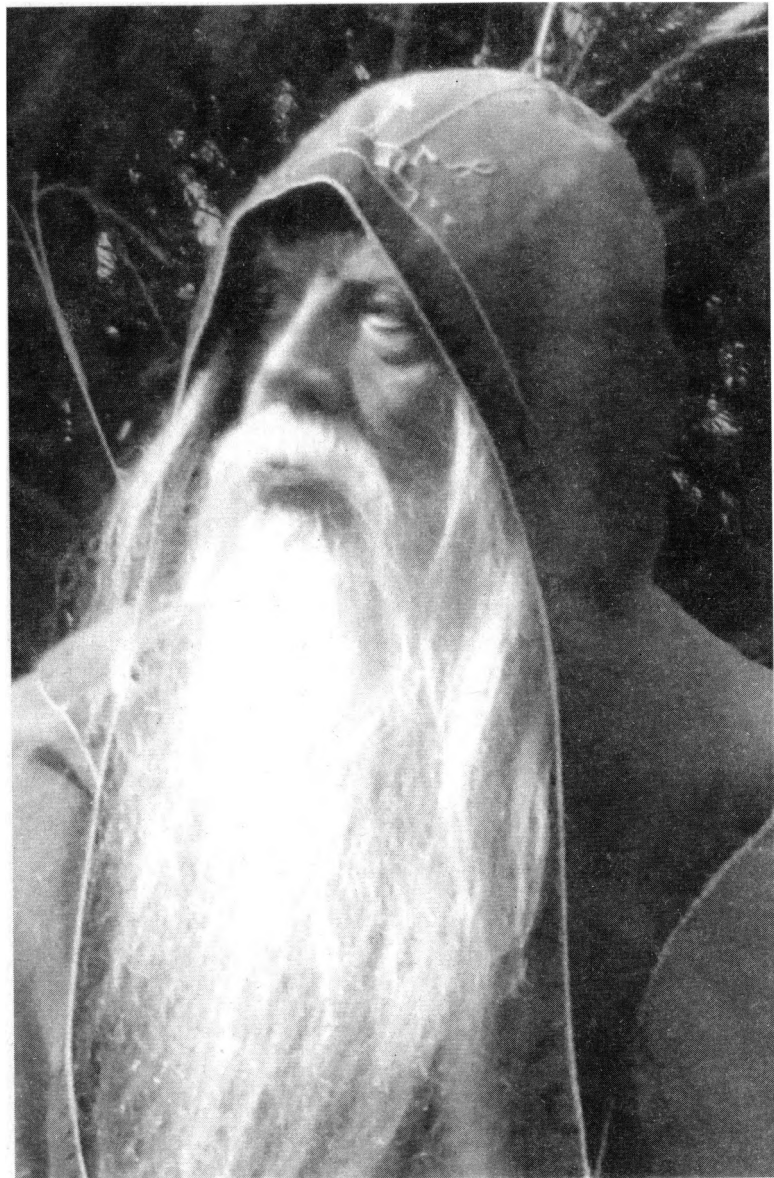
*Сериал «Полонез Кречинского». Муромский – А. Петренко, Зуев – В. Золотухин*



*На съемках сериала «Полонез Кречинского». 2005*



*Суворов в телесериале «Адъютанты любви». 2005*



*Стольник «1612 год». 2007*

# Комдив четырнадцатый

## Рассказ-быль

Комдив — сокращенное название должности командира дивизии в пехоте или кавалерии. Однако в данном случае речь идет о командире Н-ского Отдельного гвардейского минометного дивизиона в Великой Отечественной войне.

Подчиненные в дивизионе почти всегда называли своего командира комдивом. В дивизионе — две батареи по четыре боевые машины в каждой. «Четырнадцатый» — код, шифр командира. Отдельный дивизион имел свой штаб, свою печать и бланк с грифом «Отдельный», потому что по приказу командующего фронтом мог в любое время быть выделенным из своего полка и приданным другой армии, с которой воевал и два, и три месяца, как того требовала обстановка.

Для справки

Комдив сидел на голой земле в квадрате 360, на опушке Черного леса, прислонясь соленой спиной к шершавой большой березе, которая, оторвавшись почтительно от основного массива, являла собой, по-видимому, межевой столб — за нею сразу начиналось поле зеленой ржи.

Комдив вслушивался в молчание леса, в шум жита, в шелест березового листа над собой, всматривался в голубизну июльского неба, в свою нутрь и старался уяснить себе, что смяло его настроение. Был он родом из Харькова, коренаст, в кости упруг, с густой копной светлой шевелюры и глазами небесного цвета, когда над украинской ширью ни ветра, ни облачка. Шел от роду комдиву двадцать пятый год.

С утра им владело превосходное настроение. Быть может, как никогда, он чувствовал жизнь и близкую победу. Победу он чувствовал всегда, даже когда драпал. Но в последние месяцы от ее распирающего душу жара и неминуемой близости ноздри его особенно раздувались, и крылья их опадали лишь в короткие затишья сна. И вот веселье в крови, такое кромешное с утренней зари, угасло теперь. Сутки тому был взят Минск. Три часа тому еще он получил приказ занять позицию в квадрате 180. Прибыв в обозначенный квадрат, расположив дивизион гвардейских «катюш» в густом кустарнике, комдив сообщил фронту: «Пришел в гости, сажусь за стол». «Хорошо, четырнадцатый, отдыхай», — был получен ответ. А через малое время к его запыленному трофейному грузовику, трансформированному под штаб-квартиру, подбежал заморенный связист из кержаков: «Товарищ капитан! Вас к рации! Срочно!»

Из наушников хрипело: «Лафет... лафет... Я — капсуль... капсуль... как слышите... Прием!»

«Капсюль! Капсюль! Я — лафет, слышу хорошо! Прием!»

«Лафет... лафет... приказываю: немедленно в квадрат 360!»

«Товарищ сотый, я вас понял... но — не может быть?!»

«Я тебе, так твою и тому подобное, немедленно в квадрат 360, немедленно!»

Ну что ж, по машинам — и снова отступление, снова назад, к себе в тыл, километров на сорок с лишним... Что

за причина?! Приказы, как известно, не обсуждаются. Но когда приказ выполнен, подумать не возбраняется.

Вот он — квадрат 360. Впереди Черный лес, растянувшийся вдоль шоссе на двадцать три километра, позади зеленая рожь... Тишина... Несусветная тишина: ни тебе выстрелов, ни бряка железа, ни воя мин, ни посвиста пуль — загробная тишина. Кстати, какая она, эта загробная тишина, век бы ее, правда, подольше не услышать. Лес молчит, рожь легко пошумливает, верхушка шершавой межевой березы через листочки с небом связь поддерживает, да птички поют. Тишина и покой. Не война — рай. «Так воевать можно, — думает комдив, — когда самое громкое вокруг — стрекот кузнечиков да чириканье птиц, так воевать — не навоеваться».

И будто не было никогда финских «кукушек»-снайперов, сталинградского ада и не позавчера был взят Минск. Не было, ничего как будто не было — так тихо и хорошо. А между тем в наградном листе капитана значилось: «Тов. гвардии старший лейтенант Близнюк А. Ф. в дни жестоких боев за г. Сталинград показал себя бесстрашным, мужественным и инициативным начальником штаба дивизиона. Благодаря организации т. Близнюком разведывательной службы, связи и хорошо продуманному выбору расположения боевого порядка дивизиона, несмотря на ожесточенные атаки с воздуха и ураганный обстрел артиллерии противника, дивизион быстро и точно давал многочисленные, уничтожающие сталинские залпы на головыседающих гитлеровцев, не имея при этом со своей стороны почти никаких потерь. Только за период с 5 по 23 сентября благодаря его точной подготовке данных было дано 160 залпов и уничтожено: до 5500 солдат и офицеров, 64 автомашины с пехотой и грузами, 11 минометных батарей, 3 склада с боеприпасами, 21 станковый пулемет, подожжено 9 танков, много уничтожено обозов и другой техники противника.



В особенно тяжелые дни для защитников Сталинграда, с 24 по 27 сентября, тов. Близнюк, невзирая на прицельный огонь артиллерии противника, выводил боевые машины на ОП у переднего края и давал губительные залпы, в результате чего было сорвано 7 крупных атак противника, где враг был задержан на длительное время.

Тов. Близнюк 19 сентября лично, под непрекращающейся бомбардировкой противника, восстановил телефонную связь, тем самым обеспечил выполнение срочного приказа поддерживаемой части по открытию огня по наступающему полку пехоты противника, 3/4 которого данными залпами было уничтожено, а поддерживаемая часть удержала оборонительный рубеж. Командование считает, что за боевые подвиги тов. Близнюк Александр Филиппович достоин правительственной награды, ордена Красной Звезды».

Раз достоин, получай награду, начальник штаба Отдельного гвардейского минометного дивизиона, а потом и дивизион убитого комдива Баскакова под начало.

Нет, он не был рожден для такого обильного пролития крови, он не был рожден солдатом. Больше всего на свете он любил... печь пироги, сочинять салаты, варить «борща» — творить трапезу, одним словом. Потому-то и окончил торгово-кулинарную школу с отличием, а после школы без ведома родителей поступил в музыкально-театральное училище: кормить и веселить людей готовился. Но пришел супостат, и надо было срочно научиться его истреблять, и истреблять помногу, и он обучился этому лихо и люто, потому что жизнь для него стала делом не сугубо личным.

Вскоре после назначения в комдивы Близнюк был вызван «хозяином» — командиром части.

«Вот что, капитан. По точным данным нашей разведки, из пункта этого на пункт этот завтра в три часа дня начнется танковая атака немцев. Ваша задача — занять

огневые позиции здесь, здесь и здесь и не пропустить врага». На фронте нет «нет», «не могу», «не знаю», а есть «есть», «слушаюсь», «так точно»... и «кругом». Первое крупное сражение в должности командира дивизиона, да еще против танков? «Катюши» против «тигров» в ближнем бою?! Кто-нибудь скажет: «Не может быть... «Катюша» поражает цель не ближе двухкилометровой дальности». А мы скажем — было! Было и не такое!

Сашко Близнюк страшно любил и отлично знал топографию. Любую местность, любой рельеф, ландшафт и расположение войск на нем он наносил условными знаками на лист бумаги так точно и чисто, что, казалось, оттиск сделан в типографии. Отправляя боевые донесения, выполненные таким образом, будучи еще командиром взвода управления противотанкового артиллерийского полка, он вызывал удивление и восхищение командования умением точно развернуть на клочке бумаги с учетом конкретной местности начало, развитие и завершение боевой операции, что, собственно, и послужило одной из основных причин персональной телеграммы, которой он был отозван из своего полка в штаб формирования фронта, где и получил батарею «катюш» — «БМ-13» в дивизионе гвардии майора Баскакова. Дальше — начальник штаба этого дивизиона, и вот теперь сам — комдив четырнадцатый. К тому времени дивизион был оснащен уже улучшенными установками, не потерявшими свою маневренность перед прежними. Знание, использование и разгадывание рельефных сюрпризов: где, за какой кочкой что может прятаться, за каким кустом, под каким видом что может двигаться, какая овражина или, наоборот, выпуклость во что может обратиться, часто выручало в боевой страде ратного работника, бойца Красной Армии Александра Филипповича Близнюка.

Получив ту отчаянную противотанковую задачу, комдив с начальником своего штаба, с командирами батарей и

помпотехом досконально — на ощупь и шаг — изучил местность, выбрал огневые позиции, указал фронт каждой батареи, определил каждой машине сектор обстрела и дал приказ — зарыться в аппарели и смешаться с землей.

Потом позвал к себе для отдельного разговора помпотеха, или, как еще чаще звали в дивизионе, «помпотеша» (помощник, то бишь, по потешной части), Иван Ивановича Зыбкина, мастера с пятью пальцами на обеих руках, но башковитого — свет не видывал. Помпотеху в августе минуло двадцать два года, и хоть ростом не вышел и в весе остался, как в народе говорят, бараньем (ну чего там — 50 кг с маленьким довеском, это разве вес для мужика?), несмотря на эту молодость и неавторитетный вес, помпотеха все величали только по имени-отчеству, такое уважение к мастеру в народе испокон веку. И в помпотехи-то он был возведен и назначен по случаю, не за выслугу и шибкое образование, а за умение и технический талант.

«Иван Иванович! Для тебя не секрет, а позор, что машины часто возвращаются с огневых позиций со снарядами на горбу...»

«Прости, командир, перебыю — это забота пиротехника и артиллерийского мастера, что снаряды не все слетают с направляющих, значит... нелады в пиропатронах... от времени или погоды...»

«Я знаю, чья эта задача, и погоду на фронте не заказывают, но, Ваня, если завтра хоть один снаряд в этой позиции не слетит по танкам, мы все с установками и потрохами останемся в этих аппарелях, которые сейчас во спасение себе роем, а враг пройдет...»

«Каждый снаряд проверить надо... каждый... Как? А как... как... А вот как... — вслух думает Иван. — Взять батарейку от карманного фонарика... два проводка... вольтметр — и к пиропатрону... Качнется стрелка — годна чушка...»

«А с места не сорвется чушка от твоего электричества?»

«Случиться может всякое, но другого выхода нет, ведь нет? Сам изложу это дело, с каждой миной поговорю отдельно, выбракую и доложу. А ты закурай, комдив, и спать ложись, утро вечера мудренее, сам знаешь...»

К рассвету следующего дня дивизион по фронту будто вымер, и над землей в сторону врага оскалилась замаскированная оборона в 128 направляющих. В ту пору стояла глубокая осень. В ночь ударил шибкий мороз, и земля сплотилась бетоном. Инеем украсились деревья, металл и маскировочные ухищрения. «Этот мороз в подмогу нам, в случае драпать будет веселее, не увязнем, не задержимся», — горько усмехнулся комдив своим паршивым мыслям.

До означенного дела оставалось еще несколько часов. Бойцы томилась ожиданием и тревогой. Многие догадывались, что придется вести странную, неслыханную оборону: «катюши» вместо пушек пользуют, значит, общее положение на фронте невеселое. В такие тошные предгрозя потешный помпотех бессознательно брал на себя неведомо кем возложенные на него обязанности изничтожать неуютный климат в настроении дивизиона, исподволь, как бы невзначай, отвлекая бойцов от мрачных раздумий на живой лад своим неиссякаемым балагурством. Всю ночь вместе с артиллерийским мастером проверял он своим самодельным прибором надежность пиропатронов, забраковал уйму снарядов, что не слетели бы с рельсов, когда придет час, и теперь, почерневший от усталости, с глазами, как два березовых, раскаленных когда-то в горне отцовской кузни уголька, взгромоздившись на ящик из-под снарядов, раскрашивал он перед бойцами очередную свою байку, или, как он их величал почему-то, притчу. Притчи его, кстати сказать, разносились окопными лабиринтами по разным фронтам и порой появля-

лись в армейских газетах за подписью весьма известных литераторов. Иван не сокрушался: «Пущай воруют, я еще навру, у меня такого добра на всю войну хватит».

«Родитель мой, царство ему, товарищи бойцы, небесное, вместе со мной и с моими соутробниками петушка воспитал знатного! — горделиво вскрикивал Иван с ящика, придавая голосу своему магнетизирующую, загадочную «тембролизацию», — это он умел. — Встав поране, вышел мой родитель однажды во двор трубочку свою покурить и пальцами босыми в росе пошевелить... Да... Покури-вает родитель свою трубочку, глядит, а воспитанник его крылышками захлопотал, зенки распялил и бежит что есть мочи через весь двор, торопится сердешный, вроде бы проспал, вскочил на плетень да как заорет во все свое молодецкое горло: «Растягаев! За товаром! Растягаев! Кукареку-твою, за товаром!»

«Ванька, не ври, это ты был, у тебя горло драное... Это ты орал с плетня с похмелья! — перебил «помпотеша» всегдашний его соперник во вранье Гришка Маслов, тоже свистун отличный, но второй, «ведомый», что называется, командир, между прочим, отличной батарее.

«Гриша! С какого похмелья! Я не только до стакана, до стола еще не дотягивался!» На Маслова зашумели. «Продолжаю... Так вот... Орет мой петух: «Растягаев, за товаром!» — это он будил деревенского лавочника Александра Семеновича, тот как раз жил за нашим огородом. Глядит родитель мой, царство ему, товарищи бойцы, небесное, у лавочника свет замельтешил, стал он запрягать коня своего, чтобы ехать в район за товаром. Убедился петушок, что лавочника он разбудил, с плетня скок и через весь двор во все моща на другой плетень, где жил Микитка Катункин — другой сосед. Человек Катунка был при бедности, но политически грамотный. И вот петушок давай его призывать к действию тоже: «Катунка! Закурй! Закурй, Катунка!!!» Ничего другого он предложить ему

не мог. А почему, товарищи бойцы? А вот. В Гражданскую был Катунка комиссаром в нашей деревне. Тогда, как вы знаете, по всей российской планете буржуев изничтожали. А жил у нас мастер-сыровар. Эстонец. С виду мужик крупный, степенный, и двор у него был не по-нашему чистый, широкий и аккуратный. Вот Микитка и решил его вызвать на сходку и происхождение проверить. А сыровар в это время болел, однако привели его под конвоем с вилами. Поставили сердешного на колени, один партизан стал с дробовиком сзади. Ждут решения комиссара. Решал Катунка долго, кисета два табака высадил, дым изо всех щелей — горит изба, крепко думает комиссар. Наконец появился на крыльце и сам объявил: «Товарищи! Наша советская власть и православная религия не хотят проливать больше кровь! Это не буржуй! Он просто истонец, мастер-сыровар, оттого у него и двор с нашими не схож, потому что это истонский двор!» И отпустил сердешного эстонца варить сыры дальше. Может, кто из вас и пробовал его сыр, кому довелось побывать на нашей уральской земле до войны... Ты, Маслов, не хмылься, а угости табачком!»

Затянулся «помпотеша» конкурентным табачком и подвел итог притче: «Пришло мирное время. Микитка не состоял больше комиссаром, сидел дома и мучался бездельем. Была у него рыжая кобыленка, работать можно... но больше всего на свете после комиссарства любил он курить табак. У него во дворе синий туман всегда от табаку стоял, и чудилось часто, будто Катунка и кобыла его рыжая друг за дружкой плавают в нем по двору. Вот петушок и заметил, чем занимается Катунка веселее всего — курит. И что он мог ему предложить с утра натошак? «Закурай, Катунка!» Умный был петушок, слов нету. Часто лавочник родителю моему, царство ему, товарищи бойцы...» — «Небесное-е-е!» — рявкнул дивизион по сигналу Маслова. «Спасибо, Гриша! Я думал, ты забудешь... Часто

лавочник спасибо говорил, что родитель мой петушка такого воспитал: он не давал проспять ни лавочнику, ни бывшему комиссару... Ведь тот по цельному кисету табаку высаживал, когда петушок будил его рано... А доход от этого занятия кому, смикить, Маслов?.. Пра-а-авильно, Растягаеву, лавочнику... Так что закуряй, Гриша, теперь из моего кисета...»

Потешный помпотех брехал про петуха и не ведал, что комдив давно слушал его и терпеливо ждал, когда тот выхлебает брехню и исчерпает время. И дождался. «Позволь, Иван Иванович, прервать твое слово и про дело молвить!» Иван спрыгнул с ящика, помог комдиву взгромоздиться на постамент, и бойцы с удивлением взирали, как их командир чисто выбрит, отутюжен и, несмотря на вековую ратную занятость, бодр и легок.

Комдив глотнул воздух, вырвал ладонью кусок холодного неба, и из-под распахнувшейся как бы невзначай шинели блеснули награды.

«Хлопцы! Други мои дорогие! Порадуйте комдива! В ночь минувшую пошел мне двадцать четвертый год! Отпразднуем день моего появления страшным кровопролитием врага... Вон на том дереве я буду сидеть... Жарко станет, трудно или страшно кому — гляди на меня, я скажу, чего делать. В случае моей гибели ты, Маслов, дивизион примешь! За Родину! За землю горькую, за матерей наших! Спалим гвардейским огнем фашистского гада до такого тла, чтоб не только он сам сгинул, а и потомство его в веках не вылупилось! По местам! К бою!!»

Спрыгнул комдив с временного пьедестала и, не глядя больше по сторонам, не спеша направился к своему наблюдательному пункту — огромной сосне со сбитой войной верхушкой, где ему привязали старое, невесть откуда взявшееся кресло, укрепили стереотрубу, подали телефон и замаскировали под глухаря.

Немцы — народ аккуратный. Ровно в 15 ноль-ноль семнадцать «тигров» насчитал комдив из своего гнезда. Плавно, плавно, по кочкам пошли танки... Так плавно — загляденье, залюбуешься... А за ними — черная, пригнувшаяся пехотная саранча с первоклассными автоматами.

«Закуряй, комдив», — вспомнил про Ванькиного петуха четырнадцатый.

Вынул партбилет капитан, глянул на вложенную в него мать свою фотографическую: «Спаси, матушка и Царица Небесная... В день рождения сына твоего». Поцеловал карточку, убрал поглубже и прильнул к трубе.

Плавно, спокойно, не суетясь, движется армада металла с огнем внутри на рубеж в 128 направляющих, а впереди наша пехота залегла — надеется, ждет, как поведет себя прославленная «катюша» в ближнем бою...

Только дал комдив целеуказание командирам батарей, как видит вдруг: один тигровый умник отрывается от общего порядка и подгребает в его направлении, обходя фронт с ближнего к наблюдательному пункту фланга. Шевельнулась шевелюра у комдива. «Гриша! Ты видишь этого умника?» «Вижу!» — отвечает Маслов, командир второй отличной батареи. «Попробуй-ка его одним снарядом!» Глянул Маслов в сторону комдива, но перечить не стал. «По отдельному танку! Взрыватель осколочный! Прицел 110!» — командует Маслов первой машине...

...110!

«Отражатель ноль!»

...ноль!

«Угломер 30-ноль!»

...30-ноль!

А тигр ползет, ползет, собака, и прям на старинное кресло комдива стволом пялит...

«Упреждение полкорпуса!»

...полкорпуса!



«Одним снарядом — огонь!»

...огонь!

И... и... и могучий снаряд весом в добрую чушку — жик-жик, и... башни у зверя как не бывало, и вспыхнула сверхсекретная, бронированная сволочь, и началась катавасия. Не только башню с танка, с панталыку сбил комдив немецкую стратегию. Немцы, конечно, ошалели сперва от такой неслыханной наглости русских: «Пустить минометы против танков — нелепость и самоубийство, на что эти ваньки рассчитывают!»

Но панталык был рассчитан точно. Маслов совсем озверел. Он подпускал танки метров на 700–800, почти к самой первой линии обороны, где окопались наши ребята, и расстреливал танки, казалось, в упор, рискуя поразить осколками своих же.

Девятый «тигр» уже полыхал, когда комдива катапультой с креслом и стереотрубой рвануло к звездам российского поднебесья. Он не слышал окончания боя, не слышал, как на всю вселенную хрипел в трубку Григорий Маслов, корректируя огонь за комдива и вызывая подмогу.

Не слышал четырнадцатый, как его, истекающего кровью из четырех ран и с остановившимся сердцем, завернутого в плащ-палатку, положили аккуратно в свежевырытую могилу, как прощались с ним его товарищи, и только когда боец бросил первую лопату дымящейся земли в мертвые ноги его — комдив открыл глаза. И храбрый солдат, уцелевший не в одном смертельном бою, хлопнулся оземь от разрыва сердца. И пришлось его закапывать в этой самой яме, что он для комдива приготовил.

Всякие казусы на фронте случаются, все равно как в жизни. Однажды стояла жара нестерпимая — где-то с месяц назад до 360-го квадрата дело было — и уж больно пить захотел командир. Просит воды напиться, старушка

одна подсуетилась. «Шинок, — говорит, — подожди, родной, я тебе молочка ш холодушкой принесу». Стерегли единственную корову в деревне, в лесу пасли всем миром, только среди детей малых молоко распределяли. Ну, а тут освободители пришли, сам командир главный пить просит. Несет старушка молоко, передает Филипповичу глечик, тот принимает с благодарностью и, прильнув к нему, пьет холодное как лед молоко... И вдруг видит... из кринки, вылупив свои большие глаза, смотрит на него огромная лягушка. Бросил солдат в ужасе глечик на землю, закричал капитан не своим голосом, побелел комдив, как только что выпитое молоко, а к нему товарищи бегут, оружие на ходу расстегивая, а комдив слова молвить от страха не может. Старушка с перепугу, что убьют, на колени пала, кричит, причитает: «Ведь я ш предупредила, шо молоко ш холодушкой, ш холодушкой, шоб не шкишло...» Разобрались, посмеялись... А комдив, как первую медаль, запомнил эту несчастную холодушку, от которой такого страха натерпелся, что никогда не переживал, даже когда на сосне сидел под прицелом танкового калибра.

Четыре «катюши» потерял комдив в том бою, 19 транспортных машин сгорело. 42 человека убитых и 76 раненых... Сам получил четыре ранения и тяжелую контузию, но бой выдержал, важный, ох какой важный бой... Хотя на войне неважных боев не бывает. Все они — большие и малые — складываются в один единый, в единственный, который и составляет в конце концов победу жизни.

А раз выиграл сражение, сжег врага, отстоял рубеж, получай, комдив, в день рождения твоего орден Отечественной войны I степени и залечивай раны: впереди еще много работы, потому что в наградном листе твоем, в графе «домашний адрес», все еще значится: адреса не имеет, территория временно оккупирована...

Но самая дорогая, самая памятная награда — это, конечно, первая самая — медаль «За боевые заслуги», что он получил из рук самого Михаила Ивановича Калинина в мае 1940 года в Выборге за Финскую кампанию... Оркестр туш играет, Михаил Иванович руку жмет: «Спасибо, друг, что воевал. Мы тебя не забудем!» И медаль на грудь. А тогда медали высоко ценились. Их запросто так, за компанию не давали, заслужить надо было. Кровать его в казарме выделили, сделав надпись на ней, что это кровать награжденного человека. Пойдет хлопец в город в увольнительную ли, по парку ли прогуляться или по заданию, все равно — два кубаря, три кубаря навстречу и мимо... на строевой шаг переходят... Да что там — комбриги, комкомры честь отдают. «Эх, сейчас бы в Хохляндию, чтоб девки видели, в галушечной покуражиться!»

Дивился этой чести хлопец: «Что за штука?» Старшина объяснил: «Не тебе, Сашко, они честь отдают, а награде правительственной козыряют, награде Родины нашей за защиту ее». Потом разрядка в полк пришла — одного человека на офицера... в МАУ — Московское артиллерийское училище. Кого? Награжденного в первую очередь, и экзамены сдавать не надо... Стал учиться хлопец — грянула большая война, Отечественная. И вместо двадцати четырех месяцев обучения — досрочный выпуск в восемнадцать месяцев. И недели... галуны, черные петлицы с золотой каемочкой, портупея, сапоги хромовые... два кубаря... лейтенант!! Мать честная! Самый момент батковщину поразить, в галушечной покуражиться! Заглядывались на молодого лейтенанта с медалью и московские страдательницы, а ему на ридной Украине авторитет интересен, а не здесь... Но не тут-то было, воевать надо. «А раз надо, потом покуражиться, скоро... Сейчас мы этому фрицу пойдем накостыляем по-быстрому, не успеет опомниться, и в галушечную отправимся». Чаще всего вспоминал комдив о первой своей награде, чаще всего о

ней — первой и памятной — рассказывал он новобранцам необстрелянным, когда их «на крыло ставил», шутя над собой, что награды у него всегда с галушками неразрывный винегрет составляют.

Вспомнил он об этом и сейчас, в квадрате 360, прислонясь соленой спиной к шершавому стволу межевой березы, и усмехнулся: «Наград все больше, а галушки — дальше».

— Закурй, комдив, — прервал его мысли Иван Иванович Зыбкин и протянул кисет.

— Ты кисет-то сам вышивал, помпотех, пятью пальцами на двух руках, с тебя станет, или девчоночка твоя какая? — спросил комдив, скручивая смачную самокрутку.

— Девчоночка... да, сестренка только младшенькая... Нина-Нинок-Ниночка-Нинуля... Сейчас на заводе уж год, считай, прутом железным и огнем по металлу вышивает... Поди ж ты, какая боевая оказалась! Соврала, год себе надбавила и поступила в ремесленное училище в Магнитке... Хотела на машиниста, да больно мала, сказали. Сейчас сварщицей, ничего, хвалится — справляется будто...

— Ты в инстинкты веришь, Ваня?

— А зачем? Верь не верь, они существуют, как мы с тобой. Обусловлено природой. Сны — это другое дело. Ты веришь? Нет? И я нет, а сестренка моя верит. Но она только вещие сны видит, исключительно вещие. Как сон — так вещей. Видела она накануне ухода моего на войну сон. По этому сну падает — погибну я, исчезну с земли, а голос мой останется, голос, понимаешь? Это и звук, и тембр, и сила моя. И уже где-то парнишка народился, который мой голос ждет... торопит меня, я чувствую...

— Это все брехня из области церковной монархии, а инстинкт — это дело живое... либо гиблое. Ты слышишь, тишина какая, загробная, а меня инстинкт словно кулаком в шею толкает: не успокаивайся, не успокаивай-

ся!! — Обхватил комдив ладонью свой упрямый затылок и несколько раз лбом своим о колено свое приложился, приговаривая: «Не успокаивайся, не успокаивайся!»

— Так это не инстинкт, а интуиция, уж если на то дело пошло...

— Ты... когда жрать хочешь, немоготу... пищу ищешь во сне и на ощупь, это тебе что, задайся? Интуиция тоже?!

— Жрать — это инстинкт, девчонок любить — инстинкт, оборонять себя — инстинкт...

— Ну, так и говори на суде! Подошел начальник штаба:

— Товарищ гвардии капитан, разрешите кормить людей.

— Кормите, пусть едят и отдыхают.

Подошел замполит с уполномоченным контрразведки Смерш.

— Миша, — говорит комдив замполиту, — что-то мне не по себе, и все вот кто-то в шею толкает: не успокаивайся, да и все тут.

Замполит совет дает: «Ты командир, принимай решение».

Думали все мужики, думали в одиночку, думали разом, и командир принимает решение. «Гриша!» — так звали ординарчика комдива. «Тебе чего?» — откуда-то, может быть, из-под земли, взялся Гриша. «Гриша! Начальника связи ко мне, начальника разведки и помпотеха... а, ты здесь...»

Скоро начальники прибыли, слушают.

«Товарищ Ершиков, — так звали начальника связи, — вот мое расположение... Тут лес... тут рожь... тут шоссе... там штаб фронта — Корпиловка. — Вычерчивал каблуком по земле контуры своего квадрата четырнадцатый. — Проложите три километра связи сюда, три сюда, три сюда. А вам, товарищ Литковский, — так звали начальника разведки, — посадить двух наблюдателей здесь, двух здесь

и здесь — вы, третий. И через каждый час докладывать обстановку».

В армии нет «нет», не скажешь — «не умею», «не знаю» или «боюсь».

Есть «есть» и... кругом и... выполняй. Через час. «Товарищ комдив! Связь проложена, ведем наблюдение!» — «Ну, добре, добре...»

Начальники разошлись. Солнце село за лесом где-то, и лес точно стал название свое оправдывать — Черный, Черный... Народ отужинал. Откуда-то нешибко издалека доносился еще голос «помпотеша», который он, по сну сестренкиному, должен будет после гибели парнишке какому-то передать, где-то уже народившемуся. Под трофейный аккордеон этот голос еще тревожил Черный лес дивизионным гимном собственного сочинения:

Разлетелись головы и туши!  
Дрожь колотит немцев, как чумой!  
Это наша русская «катюша»  
Немчуре поет за упокой.

Пусть он вспомнит мать свою родную,  
Пусть услышит, как она ревет!  
И закажет пятому колену  
Не соваться к нам на огород!

Комдив отпихнулся спиной от березы, поднялся, зевнул, потянулся зверем, так что ремни заскрипели и кости хохлацкие хрустнули, и, твердо ступая, пошел к своему трофейному грузовику, под штаб-квартиру на колесах трансформированному. В нем две кушетки, ковер под ногами, приемник на столе, блокнот, холодный ужин, и за всем этим три богатыря со стенки смотрят и, похоже, видят все. Стянул сапоги, гимнастерку, до нижнего разобрался комдив, такая у него манера, такая привычка была — не мог

спать в обмундировании. В любой обстановке походной, во всякую погоду до исподнего снимал с себя все, и лишь тогда мог уснуть, пусть накоротке.

Сколько спал комдив, какие сны видел или без сновидений на сей раз обошелся, только проснулся он от дикой стрельбы. Та-та-та-та-та-тив-тив!.. Вскочил, распахнул дверь, пули у виска — тив-тив-тив!!! В одних подштанниках к телефону под брюхо «штаб-квартиры» сверзился (ординарчик убитый лежит)... «Алло!! Алло!! Восьмой! Восьмой!»

«Товарищ четырнадцатый! Все погибли, у меня осталось одна гр... р...» — все, что услышал комдив от начальника своей разведки. А из леса, робко сбрызнутого первыми лучами солнца (в июле рано светает), — тучей, черной тучей немцы: автоматы на живот, по колено в тумане, и поливают куда ни попадя — от пуль головы не поднять. «Гриша! — кричит мертвому ординарчику комдив. — Начштаба ко мне!!» А начштаба уже сам бежит перебежками, пригибаясь и круто матерясь. «Федоров! — так звали начальника штаба. — Немедленно все в Корпиловку! Все немедленно. Оставь мне две боевые машины и батарейного Маслова на другой... остальных отводи в Корпиловку!!»

А в Корпиловке... командующий фронтом, командующий армией с наблюдательного пункта... понять мало чего могут, нервничают — в шести километрах, в квадрате 360, бой идет, страшный бой! Страшный бой!! Но... что за чертовщина?! Почти весь дивизион Близнюка в походном порядке приближается к Корпиловке?! И вот уже через время начштаба Федоров докладывает командующему артиллерией армии, которую гвардейский дивизион капитана Близнюка поддерживал: «Товарищ генерал-лейтенант! Дивизион я вывел, а две боевые машины с командиром остались там, нас прикрывают! Так приказал командир... Немцев из лесу туча... должно, лег Близнюк! Установки, ясно, он взорвет, а сам погиб, считай!..»

Сняли шапки генералы, а командующий артиллерией сказал:

«Один у меня был хохол, и тому хана!»

А хохол будто только этого приговора и ждал. Не прошло и часа — тут как тут, на двух «катюшах» подъезжает — избитый, изорванный, в крови, грязи... Дверь «студебеккера» открыл: «Това...» — и хрясь о землю. Честь по чести хотел доложить, но сознание подвело, упал. Начальник штаба фронта кричит, поняв: «Дай ему Золотой орден! Дай ему Золотой орден, оформлять после будем!» Подняли капитана с земли, снял с себя Золотой орден генерал и прицепил его к черной от крови, рваной исподней рубашке гвардейского командира. «Ура капитану!» — «Ура-а-а!» — рывкнул выстроившийся и почти уцелевший дивизион.

А дело было так. Оставшись с двумя боевыми машинами и группой прикрытия, стал командир от леса пятиться в рожь. В другой машине за пультом управления огнем — командир батареи, отчаянный Маслов. Крутят ручки командиры осторожно, по одному снаряду выпускают, экономят, бьют по верхушкам высоких сосен... Снаряды рвутся и тысячью осколков раскаленных черную вошь к земле жмут. Немцы падают, лежат, ждут, а поднимутся — ребята боевые, что впереди залегли, их пулеметным огнем и гранатами встречают. Так и действовали сообща.

Помогли ребята машинам в рожь спятиться. И снаряды как раз кончились на лонжеронах. Не думал остаться живым в этой заверти комдив, а тут почему-то померещилась святая надежда вдруг: «Уйду!» Командует водителям: «Взорвать установки!» Ключ ПУО выдернул, в рожь закинул подале, дверь открыл и только правой босой на землю ступил — хватить его за лодыжку цепко: «Гут, русиш офицер...» Немцы, сволочи, слева обошли, просочились по ржи и повалили капитана наземь. Глумятся над комдивом,



хохочут, хватают за мужское богатство, тащат к межевой березе допрос снимать. Эсэсовский капитан допрашивал, высоченный детина с глубоким шрамом во всю правую половину пергаментного лица. А рядом в таком же черном костюме, как у большинства, и белом галстуке — наш, видно, — предатель, переводчик, пустоутробная гадина.

«Сталинград!» — ткнул немец пальцем в свою щеку. Комдив с понятием к шрамам относился. Шкура на нем была во многих местах заштопана. Он сочувственно покивал квадратной, упрямой головой, набычился, повернулся к немцу задом, спустил кальсоны и выставил тому свою задницу со шрамом, как оказалось, примерно такой же конфигурации, что у того на морде; приложил указательный палец к шраму и прогудел: «Сталинград!»

Немец сплюнул брезгливо, и ноздри его побелели от злости. Быстро развернул он перед капитаном карту и, глядя в упор из своих подлостей, задал отрывисто и отчетливо несколько вопросов.

Пустоутробный холуй перевел, от себя расцвечивая: «Большевистский лизун! Герр капитан отпустит тебя к едреной твоей матери, а боишься своих, возьмет к себе и выдаст эсэсовский мундир, если ты точно скажешь, где фронт, где ваши части — численность и вооружение, где славные войска фюрера и кратчайший путь к ним... где ваш штаб и далеко ли партизаны... Говори быстро, что знаешь, времени у тебя в обрез!»

«Это у вас времени в обрез, — соображал комдив, — дивизион ушел... две установки не взорвал... а снарядов нет, главное... не разберутся они в них ни хрена, даже если с собой возьмут в черную чашу, откуда свалились... Достигли Федоров штаба... успеют ли помочь, пока не угробили?... Как жахнет сейчас начштаба по этой драной опушке из девяносто шести оставшихся направляющих, какие тогда еще вопросы вы передо мной поставите на том свете, герр капитан?» — мелькало в мозгу у пленного. А герр капитан

со шрамом во всю ширь щеки между тем нервно косил на часы и в сторону взглядывал, куда ушли машины.

Кивнул палачу. Тот подогнал «студебеккер» к березе, шустро вынул сиденье, из-под него инструменты машинные, разложил их на земле по порядку, выбрал плоскогубцы. Комдива швырнули на сиденье.

«Не хочешь говорить — будешь волосянку петь», — предупредил предатель.

Взял немец плоскогубцы, поднял ногу, зажал ноготь с большого пальца и сильным, умелым рывком выдернул его. Сжалось сердце комдива, будто меж двух кирпичей втертое, ухнул стон из него, в остальном же — ни звука... Солнце взошло и так щедро в расширенные очи гвардейского парня свет свой вливало, аж слезы выжмурило. Со всех десяти пальцев повывергивал ногти паршивый немец, да так ловко, будто родился для того, чтобы у людей ногти рвать.

Ни слова из комдива. Только после каждого рывка вроде утробного всхлипа: кхе... кху... кхо...

«Говори, идиот!!» — кричит холуй. Молчит четырнадцатый. Перевернул тогда палач комдива на брюхо, кальсоны спустил, зажал половинку щипцами... ррраз — кусок шрама сталинградского... ррраз — другой... Отбросит, сплюнет и опять не спеша за свое. Все кругом кровь залила, всю рожь затопила, казалось, всю землю, что в другую сторону для комдива вращаться стала, потому что жизнь его коробиться начала. Фашист со шрамом насвистывал русскую песенку «Катюшу» и все чаще с беспокойством поглядывал на циферблат швейцарских часов. Махнул палачу рукой, остановил кровавое рукоделие. «Боли он не чувствует — коммунист... Страхом разжавим рот... к дереву его прикрутите покрепче», — как попка, тупо и монотонно бубнил за хозяином подметало-переводчик.

«Сожгут, зажарят, как Бульбу... вот и конец...» Обезображенными ступнями комдив уперся в вывихнутые на по-

верхность корни межевой березы и питал их оставшейся кровью своей.

Человек и земля в единую плоть слились, одною душою стали. И дерево решило: этот человек не убудет с земли никогда, даже если гарью станет и дымом дотянется до Харькова родного и облаком над переулком Короленко проплывет... И помолится мать, узнав в облаке сына, что в чьи-то глаза войдет примером, протолкается сутью и зародит новое сердце, такое же бесстрашное и бесконечно доверчивое.

Но враги не собирались его жечь. К чему им эта средневековая канитель?! Им нужны сведения! Им край как надо выпутаться из этого чертова леса и к своим пробиться любой ценой. Двадцать восемь тысяч зашло их в панике в лес — и они стали отрезаны от военных действий и никому не нужны: свои отступили в беспорядке, а наши решили не проявлять к ним особого интереса — «Пусть поживут в лесу до прихода нас из Берлина», — но партизаны держали их под прицельным контролем. Иногда не особо большими группами немцы пытались нащупать лаз, коридор, по которому можно было бы прорваться к своим. В один из таких выползов и наткнулись они на дивизион Близняка.

Собаку привели. Огромную овчарку с белым пятном во лбу, худую, замордованную, притравленную на человека. «Последняя твоя молезна пришла, сталинский лизун, — бесился холуй. — Какой тебе подвиг быть собачкой изгрызенным?.. Отожрет она тебе сперва ухо, потом выест глаз, вырвет промежности... Открой свой поганый рот — и отпустит тебя герр капитан!» Капитан насвистывал «Катюшу». И комдив открыл рот. Окровавленными, спекшимися губами выдавил он из себя страшные звуки:

Из твоих стремнин ворог воду пьет!  
Захлебнется он той водой!

Кто погиб за Днепр — будет жить в веках  
Коль сражался он, как герой!

Немец перестал свистеть. «Фас!» Сука рванулась с цепи и махом пошла на прикрученного комдива по коридору из черных супостатных мундиров. Ближе... ближе зверь... пасть клыкастая раззявлена, пена злобная падает лохмотьями с языка... Прыжок! «Гык!» — командует поводырь, и сука, в ладонь не достав лица человека, падает в сторону.

Комдив теплую пасть услышал, источавшую отраву. «Говори!» — кричит холуй. Молчит командир. Снова отводят зверя, снова летит зверь на человека, и снова команда «назад», когда клыки сучьи едва не цепляют горло четырнадцатого. Видать, этот аттракцион был отработан чисто у них.

«Заген зи!» — вопит в бессилии звероподобный со шрамом — молчание в ответ ему. И снова летит разъяренная сука к березе — и листья кроны дыбом встают, как вмиг поседевшие кудри гвардейского парня.

И повис комдив на веревках. Наконец-то погасло его молодое сознание, но, слава Богу, не навек погасло. Очнулся, когда над ним партизанская борода, и на весь квадрат и дальше — раздирающий душу и небеса вопль Ивана Зыбкина: «Жив!.. **Жив комдив, ребята!!!**»

Жив комдив и поныне. Девяносто два сантиметра чужой кожи вживлено в его искуроченное тело. Цела и береза.

И редкий праздник Великой Победы случается, что гвардии майор в отставке Александр Филиппович Ближнюк не навестил бы своего старого друга — межевую березу. И стоят они в тот день обнявшись, как кровные братья, и мешается сок березовый со слезами мужскими, а рядом машина с красным крестом на боку дежурит.

И свидетельствует им Черный лес.

# «Похоронен в селе...»

Рассказ

*К вам, павшие в той битве мировой,  
За наше счастье на земле суровой,  
К вам, наравне с живыми, голос свой  
Я обращаю в каждой песне новой.*

А. Твардовский

Ваня Зыбкин студил клешни рук своих в речке Гумбейке, что впадает в реку Урал, а берет начало далеко от их колхоза, образуясь в самостоятельное течение от суммы бесчисленных пресных ручейков и солоноватых болотцев. Гумбейка еще не вспоролась брюхом, хотя весна пришла ранняя и лед истончал, однако восьмое марта — это и для ранней весны рано, и Ванюша студил свои руки в проруби.

С молодого утра этого замечательного праздника международной женской солидарности его руки много работы переработали и на день грядущий, и впрок, чего можно было сделать, сделали, искали заботы еще и еще, да заныли суставы, и Ваня спустился к Гумбейке остудить беспальные ладони и глаза заодно. Спустился, окунул клешни в воду и заплакал. Заплакал не оттого, что ему стало вдруг жаль свои еще не воевавшие, а уже изуродованные руки (на левой — только большой и мизинец, на правой — нет мизинца и безымянного), а заплакал Ваня от распирающего его душу восторга и предчувствия близкого, немину-

чего теперь уже подвига, который время назначило ему совершить во имя живых и во имя тех, кто не вернется уже, кто звал похоронками на подмогу. Ваня уходил на войну. Стояла ранняя весна 1942 года. Шел парнишке весною девятнадцатый год, росту он был от земли метр 63 сантиметра, весу имел в себе 57 килограммов.

Ваня уходил на войну добровольцем с тремя своими сотоварищами: Молчановым Васей, Голубевым Василием и Вдовкиным Петром.

Зыбкина и братья не хотели и не взяли бы, во-первых, по инвалидности, во-вторых, молод еще, дак ведь добился стервец своего: полгода обивал пороги военкомата, доказывал, показывал всем, как он клешнями своими владеет, одинаково пишет и левой и правой, как пять его оставшихся пальцев могут на балалайке всякую мелодию так выбренчать, что иному музыканту эдак шерстить научиться и десяти пальцев не хватит. Опять же не забывал Ваня в такие походы к военному начальству прихватить и ящичек свой инструментальный. Начальник, бывало, еще с впереди стоящими беседует, а уж Ваня тисочки миниатюрные к его столу приладит, брусочки-колечки разложит, и напильничек его уже фокстрот знакомый по детальке вызванивает. И деталька эта чаще всего зыбкой малюсенькой оборачивалась. «Это вам на память — детишкам на забаву от породы Зыбкиных, товарищ главный командир, — шутил Ваня, — пошлите на войну, не обижайте род?!» «И смех и грех с вашей породой, куда мне твой зыбки девать, кого качать в них... И куда ж ты пальцы-то свои девал, за что держался так крепко, мозголов?» — утирал глаза и нос от смеха военный комиссар. «А лишние оказались, мешали. Родитель наш, царство ему небесное, с малолетства нас к пороху и наковальне приручал... В нашей родне и бортничали, и по железу вязью мастера отменные были... Тайну пояска-то булатного кто разгадал? Из наших кто-то... а как же?! А броню корабельную кто сварганил? Один из нас.

И рудознатцы именитые в нашей породе известны нам, и богатыри отечества! А как же?!»

Тут Ваня бил без промаха. Как карту козырную из-за пазухи, выбрасывал он на стол перед начальником картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы». «Вот он, пращур наш... Нет, не на белом коне, а тот, что от страха крестится, с Георгиевским крестом за храбрость, — тыкал Ваня оставшимся мизинцем в старого, седого солдата, с желтыми от табака, развевающимися усами и глазами, распяленными оторопью и отвагой, — крестится, а идет, за Суворовым идет, в пропасть хоть, а как же?! И ружье, не подумай, не выронит... А мы что, хуже? И колеса гнуть, и полозья тянуть... коней ковать... Хотите, на спор... любому жеребчику в сей момент копытце зеркальцем зачищу и ухналь с одного удара в подкову вгоню. А пальцы... что? Двенадцать лет мне было, петарду малознакомую с Васильком Молчановым распознать пытались, да зашипел порох не вовремя... Я Васильку — ложись! А петарду от себя подальше, как учили, да вместе с ней и пальчики во окно выкинул... К отцу в кузню примчался, а он: опрофанился — значит, лишние были, голова цела — стало быть, пригодится еще. И пригодилась голова, а как же?! Вот обещали весной экстерн у меня принять за десятый класс, так что не обижайте род Зыбкиных, пошлите Ваню на войну». — «Ладно, мозголов, сдавай свой «экстерн» и приходи весной, в училище пошлем, а там, глядишь, и война, на твое счастье, кончится». «И на том спасибо, товарищ главный командир», — прищучивал Ваня, аккуратно прибирая инструментарий в ящичек.

Балагурил Ваня, а тогда с петардой-то проклятой не до смеху было. Прибежал в кузню к отцу весь в крови, криком кричит: «Тятя!!! Тятя! Что я наделал?! Как же я теперь учиться буду? Ведь Ленин сказал: учиться, учиться и учиться, а я что натворил... тятя... тятя?!» Тогда-то и успокоил его отец немудряще, сказав, что для ученья

еще и голова нужна, а люди есть — ногами пишат. А Ваню прозвали с той поры на селе «ворошиловским стрелком». Думали — отвоевался. А он — нет, отлежался в больнице, бабкам-знахаркам почтение оказывать стал. Они ему настои лука репчатого готовили, кислоты растительные для рук сочиняли, заговорами действовали, и руки беспальные оживать стали, и начал Ваня учиться писать заново: то левой, то правой, и выучился, что той, что другой — одинаково хорошо.

И наивный вопрос меня вдруг занимает: какой именно — правой или левой — рукой написаны эти два его письма с фронта, что лежат сейчас передо мной на письменном столе и которые я по странному обстоятельству получил восьмого марта 1982 года, ровно день в день через 40 лет, как он ушел воевать.

Отец умер рано. Их осталось у матери пять ртов — один одного меньше. Старшему, Михаилу, было пятнадцать лет, а меньшей, Валюшке, — одиннадцать месяцев. Ивану — неполных тринадцать, Лизе — девять, а Нине, любимой сестренке — шесть лет. Мать была неграмотная, верила втихаря в Господа Бога, молилась и втайне от отца крестила всех. Долго она лихоматом кричала над гробом мужа-кузнеца Ивана Сидоровича: да на кого ты меня оставил... да с пятерней, с оравой такой... да кто мне поможет всех напитать, да нет у меня ни отца-матери — ни пожаловаться, ни пожалеть нас „сирот, некому.. Но как ни убивалась, а утешилась, жить-то все равно надо, плачь не плачь, воем горю не поможешь и слезами кормильца из гроба не выманишь. И стали жить. Тогда люди, говорят, бедно жили, да дружно. Верили: вот придет она, заря коммунизма, воссияет и осветит мрак бедности и темноты несусветной. В колхозе работали не щадя живота — кто на поливе, кто на прополе, на косьбе-молотьбе-пахоте-жатве... Мать за коровами, телятами ходила, Михаил вместо отца в кузню стал помощником, Ваня коней, коров



колхозных пас, людей веселил, когда надо. И всех речка Гумейка подкармливала, в ней рыбешка всякая плескалась. А за рекой луга заливные, обильные, разнотравные... Летом ягоду собирали, сено косили, зимой по вставшей реке-дороге вывозили. В сограх калина росла. Пропасть сколько калины окрест Бурановки было — с иного мало-мальского кустика индо ведро чистой натрясали, а то и больше, особенно когда ее первым морозцем пришибет и она сама от ветвей отлетает — чуть тронь. Идет Ваня за калиной, бывало, и слышит, как синица рядом где-то впечатлительно тенькает, и стихи у него сами собой складываться начинают — про то, как лоза приречная друг дружке, как подружке, тренькает на ушко, про непогодь предчувствия свои сообщая... А вот щегол к репейнику пристал, тербит репейничью головку, упрямым клювом семя себе добывая на пропитание. А по новой понове заяц наузорил, настрочил аппликации лапками... И вот-вот аппликации эти от голода и зависти начнет застрачивать лисица-огневка, держа хвост трубой, предсказывая свидание с косым, коль не уберезется, кроваво-калиновое. А тишина кругом — в ушах ломит. Идет Ваня на охоту с самодельным, легкого бою, невеским ружьишком за плечами (тятка для сына сам смастерил), а его дымы села родного провожают, что в безветрие былинными столбами небо держат. И чуёт паренек не хуже зверя, из какой трубы какой дым подымается: из какой — соломенный, из какой — камышовый, а из большинства — кизяковый. Лес далеко, лес золотой, а дрова — серебряны. И отапливалась деревня в основном кизяками, и заготовить их нужно было тьму и больше. Весь колхозный навоз с конюшен, коровников, овчарен свозили за зиму к реке. Горы этого добра образовывались, и с них катались на санках, лыжах самодельных и ледяхах. Когда пригревала весна, горы оттаивали, навоз начинал перегорать активно... Перед сенокосом где-то недели на полторы выкраивался передых

от полевых работ, и деревня выходила на заготовку топлива — «стряпать» кизяки. Навоз поливали обильно водой и сильно месили, топтали и своими ногами, и лошадьми. Босая, радивая нога хозяина безошибочно определяла конечную технологическую готовность стоптанной массы. А выходили всеми семьями, нужно было заготовить и на себя, и на общество: школа, контора, сельсовет, словом, все «общественные институты» Бурановки тем же кизяком отапливались. Дрова только на разжижку шли. У каждой семьи станки кизяковые были разные, своего отличительного фасона, как бы клеймо, личная метка. Станки на всякую силу, в том числе на ребячью и бабью, рассчитаны были: парные, тройные, четверные и даже шестерные, то есть шесть кирпичиков сразу получалось. Станки клали на ровные доски: в основном двери у бань, у сараев для этой нужды снимали. В станки, как тесто в формы, набрасывали приготовленную массу, опять же уминали ногами, осторожно сволакивали с досок, относили в сторону и опрастывали на землю рядками для просушки. Когда кизяки подсыхали, их складывали в кучи и каждая семья выстраивала из них свою «архитектуру»: кто стеной, кто башней, четырех — или шестигранником, кубом, конусом, а то так и избушкой на курьих ножках. Малышня не могла дождаться, когда подвяленный кизяк сложат в эти разнообразные крепости, которые проскваживались ветрами и где кизяки окончательно досыхали. Но ребятне они нужны были для игр, для забав. Разберет чертенок лаз небольшой в какой-нибудь этакой пирамиде, заберется в нее Хеопсом, теми же кирпичиками заложится изнутри, попробуй сыщи его там, пока не обнаружит себя чихом или неловким поведением — повернется неуклюже, развалит пирамиду, ну и долго складывает, пыхтя, один.

Еще заготавливали камыш, полынь, солому и коровяки. Ходили на выгоны и собирали в мешки сухие лепешки.

На отопление шла и картофельная ботва, и дудки подсолнуха — все впрок, про запас. Зимы в Бурановке долгие, а зима, как известно, все съедает.

В такие длинные вечера глухозимья изба Зыбкиных часто наполнялась разным народом, молодым и старым — еще при жизни Ивана Сидоровича такой обычаем завелся. Все любили послушать хозяина, мужика бывалого, участника двух войн, двух революций, человека нраву легкого, но с взбудоражинкой и фантазией, для побасенок развитой изрядно. Сказку про русский скипидар рассказывал и изображал в лицах Иван Сидорович особенно часто, бессознательно внедряя в слушающих дух патриотизма, в сыновьях к тому же расшевеливая солдатскую жилку, удаль и безуныние.

Вез немец на базар

Разный военный товар.

Догоняет его казак:

«Чего, немчура, плетешься так?»

«Товару у меня немало, — немец отвечает, —  
Вот кобылка и устала».

«Что ж, — говорит казак, —

Помочь тебе?» — «А как?» —

«Способ очень прост:

Отведи у кобылки хвост,

А я уважу, русским скипидаром смажу!»

Тут Иван Сидорович приглашал в игру сына Ивана, призванного изобразить уставшую кобылку. Брезгливо, как немец-педант, воротя харю в сторону, приподнимал Иван Сидорович у «кобылки» воображаемый хвост и ловко, как бы из склянки, плескал подтуда русского скипидару. Ванька принимался ржать и скакать по избе, как ошпаренный сумасшедший. Иван Сидорович комментировал:

«Похоронен в селе...»

Вот пошла кобылка чесать,  
Немцу ее не догнать,  
Выпучил глаза —  
Не понимает ни аза.

Стал казака просить:

«Как же мне теперь быть?»

Казак говорит:

«Штука тут не хитрая,  
Ну-ка, хочешь и тебя уважу,  
Скипидаром малость смажу?»

Немец говорит: «Гут».

В «немцы» обычно избирался старший сын Михаил или кто-нибудь из парней посмелее. «Немец» приспускал штаны, и отец широченной кузнецкой ладонью, приговаривая: «Стал казак мазать тут в ответ на немецкий «гут», — давал «немцу» по голым половинкам леща!

Как припустился немец бежать —  
нельзя удержать!

Усищи на бегу растрепал,  
Кобылку свою обогнал,  
Как ураган несется,  
А казак стоит смеется!

«Стой! Куда, завоеватель?!» —

Кричит ему жена и Франц-приятель.

«Вы тут кобылку мою переймите,  
А меня не скоро ждите,  
От русского скипидару, вот досада,  
Мне еще бежать и бежать надо!»

«Немцу» позволялось несколько минут буйствовать, куда у кого фантазия взбрыкнет. Чаше «немцы» на девчонках скипидар свой отыгрывали: щипали, мяли, плясали с ними, те визжали, хохотали, вырывались из плена — таму

тарараму было много. Гости, как говорится, «болони от смеху надсаживали». Иван Сидорович останавливал буйство и заключал, указывая на любимые свои картинки, что висели в красном углу вместо икон, — «Переход Суворова через Альпы» и про казаков Платова в Париже: «Русского скинидару отведали татары и турки, французы и немцы и многие другие, что в нашем русском огороде не прочь были почесать свое поганое брюхо».

А девчонкам больше всего на свете нравилось, как отец китайцем притворялся. Лиза начинала, подружки подхватывали: «Тятя... тятя... дядя Ваня... расскажи, расскажи, как ты китайского Аноху генералу состроил!» — «Ах вы, полторы тарары... И не надоело вам одно и то же слушать? Ну ладно, ладно, так и быть, «дело было под Полтавой», а дело было после войны с японцем. Запоминайте и детям своим передавайте. Набралась нас партия политических ссыльных, партия арестантов, довольно-таки внушительная компания. И вести нас нужно было через тайгу, через ту самую «глухую, неведомую» тайгу. И видим мы, что среди начальства заминка произошла — вести нас некому, проводника нет. А без проводника в такой тайге — гибель. И говорю я товарищам своим, ну, ясно, близким, конечно. «Кипит твое, говорю, молоко, говорю, на моей сковородке! Бройте, говорю, братцы мои, голову мою мне наголо, режьте мне усы мои бравые, стряпайте, говорю, документы мне липовые, эти начальники царские — тюха, пантюха, да колупай с братом — ни холеры не разберут, таким китайцем перед ними предстану!» Быстро меня товарищи обрили, в китайца превратили, подхожу к генералу, говорю: «Коспода началнук! Я хунхуза, хоча помогати... рестан вести... Дорога знай, денга надо... Дети мал-мно-го!!!» Он мне: «Да вижу, что хунхуза, а паспорт, бумага есть?» Я ему: «Е... я... я... ест Зын Ван Син — умага верна». Такого Аноху китайского ему состроил — не отличил генерал Зын Ван Сина от Зыбкина Ивана

Сидоровича, деньги вперед дал. И я повел. Так провел, что по дороге разбежались все, в том числе и хун-хуза. Ой, бесился, говорят, генерал, все елки вокруг себя повалил, все палки переломал, но доклад на себя подавать не стал, замаял как-то, а скорее, откупился, все равно, мол, в тайге подохнут. Конечно, погибли многие, тайга кого выручит, кого выучит, но те, что выжили и добрались до России, втрое сильнее стали».

Когда Ивана Сидоровича не стало, вахту отца по потешной части Ваня перенял. Многие ухватки уловил от отца Ванечка-Ванюша, многие байки запомнил, песни заучил, сам сочинять пристрастился всякие притчи, скоморошины. Под балалайку на свой мотив пел Ванюша-маленький собравшимся и про «Бородино» — «...скажика, дядя, ведь не даром...», и про пожар московский на свой лад:

Шумел-горел пожар московский,  
Дым расстилался по реке,  
А он стоял с огромной ложкой,  
Мешал картошку в чугунке.

А когда с гармошкой приходил Василек Молчанов — гармошка-матушка лучше хлеба-батюшки, — они наперебой тренькали и прищучивали про бесконечную Калугу:

Ах, деревень, деревень  
Калуга,  
Дервень, радуга моя.  
Тула, Тула перевернула,  
Тула, родина моя!  
Вот Фома-то купил суку,  
А Ерема кобеля.  
У Еремы-то не лаает,  
У Фомы-то не визжит.

Не один мешок подсолнухов был излузган под эти скоморошины за вечеринку. Но лузга выметалась, пол шоркали голиком с дресвою, и изба становилась еще янтарнее, а стало быть, приветливее еще.

Жизнь деревеньки той поры была полна интересов и развлечений своедельских, самодеятельных, еще не выловленных готовыми на голубом блюдечке железным прутом из океана радио- и телеволн. Деревня сама и сказку и быль творила, вспоминая обряды, сочиняя игры, в затеях своих пользуя истоки народной нравственности, устои жизни. И Ваня Зыбкин был главным хранителем, выдумщиком и закоперщиком всякого рода игрищ и забав. Но забавник он был добрый, природа его игрищ отличалась корнем улыбочатым, полезным, а не бедовым. Вокруг него табунилась вся малышня и девчонки тоже, быть может, оттого, что сестренка его Нинуська не отставала от него ни на шаг нигде, ни в чем, всегда была рядом, как верная собачонка, — жили эти брат с сестрой в одно сердце.

Старший же, Михаил, был словно из другого теста — нелюдимого житья, одиночного разбоя.

Парни и девчата, интерес которых стал кудриться не в одних скоморошинах, морозными вечерами часто разбредались по баням. Сядут там в темноте — шу-шу-шу-шу — разными разностями делятся, тискаются неумело или в картишки режутся, если кто лучину сумел запалить, а то и свечку из дому вынести. Мишка долго и хищно выслеживал эти темные посиделки и однажды в морозный вечер вышел на дело. Обошел несколько бань и двери снаружи подпер надежными колыями, чтоб посетители так просто не выпрыгнули по тревоге. Молодежь и просидела окоченелая до утра по баням, пока не проснулись хозяева. А хозяева проснулись и к узникам отнеслись по-разному, но все сурово, особенно родители, девки которых на выданье были. Ребята, конечно, разочли, чьего мозга эта шутка, но сразу отплачивать не стали. Уже по весне, по

грязи, подкараулили они Мишку за деревней, сняли с него штаны, и каждый всыпал ему по голью изрядную порцию «оладушек» большой деревянной ложкой — сквозь строй прогнали. Домой Мишка буквально приполз. Запихнули его кое-как на печь, и месяц он оттуда не слезал.

Самой же большой дерзостью Ванюши была его подшутиха над бабкой Феклой, которая ему, кстати, руки заговаривала. Да и то не сам удумал, ребята подкузьмили старшие. Голос у него, хотя и пацан еще, раздольный и широкий был, а подражать любил — хлебом не корми, особенно попам: и басом и дискантом умел. Мальчишки пытались так спеть, у них не получалось, а у Ванюшки получалось, они и подбили его. Бабка Фекла богомольная страшно была. И вот в один из дней воскресных, летом... окно у нее было распахнуто, через плохонькие занавески видно мальчишкам было, как она ко сну приготавливаться стала. Разобралась, в белое исподнее облачилась, свечку перед образами затеплила, стала молитву творить: «Господи, Боже наш, еже, согреших во дне еси словом, делом и помышлением... Ангела Твоего хранителя пошли... Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков...» И только застыла было старушка в сердечном истовом поклоне, Ванька и грянул: «А... А... Аминь! О... о... Господи, помилуй, Господи, помилуй нас...» Старушка часто-часто креститься стала, думала: Бог откликнулся, услышал-таки молитву под конец ее честной жизни — и вдруг... хохот, визг, улюлюканье... и врассыпную ребятня.

Летом спали на сеновале рядом — Мишка, Лизка, Нинка, Ванька; маленькая Валюшка еще в избе с матерью ночевала. И слышит Нина сквозь сон: «Вот дурак-то, вот дурак-то! — «Ты чего, Ваня, себя казнишь?» — «Бабку Феклу обидел, дураков послушался и сам дурак стал». И долго-долго он так казнился, ворочался и тяжело вздыхал. А утром повинился перед бабкой Феклой. Брат Михаил узнал и зло



смеялся, называя его при этом еще и девчачьим пастухом. Но Ваня не обижался на брата, тянулся за ним, пытался столько же раз пудовую гирю выжать, а под мельничное колесо нырял смелее и чаще.

Гумбейка хоть и не нанесена была из-за невеликого своего течения на карту России, но в весенние разливы ширилась, что твоя Волга. Вдоль Гумбейки шла поднятая дорога, вернее сказать, плотина. На другой стороне мельница стояла водяная. От мельницы деревянный мост шел, который весенним паводком часто сносило, если мельник его вовремя не успевал к рукам прибрать в свой сарай. Вода в том месте всегда шумела, вертя мельничное колесо. Далеко-далеко был слышен этот союзный шум воды и каменных жерновов. Когда провели в Бурановку электричество, мельницу оборудовали мотором, но колесо еще долго вертелось вхолостую и пело зря.

Ваня пропадал на мельнице всякую минутку свободную, дружил с мельником, мастером по электричеству, помогал им — постигал технику, устраняя мелкие поломки подчас самостоятельно. И народная усмешка «Ванька все знает, он на мельнице был» к нашему Ванюше в данном случае отношения не имела; Ваня действительно в свои лета знал и умел многое.

Мальчишки, пробуя себя на смелость, отчаянно ныряли под вертящееся колесо, кто глубже нырнет и дальше выплывет, часто получали от родителей взбучку — мало ли... ударит лопастью и не всплывет ни разу больше... Сестренку Ванюша, конечно, не допускал к таким состязаниям, но плавать научил рано, правда, чуть ли не на беду великую. А что случилось?

Праздник суций, когда мать на базар в Магнитку ездила. Уж чего-нибудь, хоть и скудно жили и работали не шибко прибыльно, а уж чего-нибудь из сладостей и игрушек мать обязательно умудрялась в туесках привезти. Привезла она как-то трем дочерям своим, сиротинкам

ленты в косы и трех лебедей деревяшечных. Со всей деревни ребятня бегала вдоль ручьев после дождя смотреть, как эти лебеди плавали — не догнать, и ведь не тонули, не переворачивались, так искусно были сделаны — на любой быстрине держались. Два были с красными клювами — шипунами назывались, а один с желтым — кликун. И вот этого желтоклювика-кликуну двухлетняя Валюшка и упустила, и поймать не смогла. А кликун как ждал — на простор гумбейкиной волны устремился, на стремнину, на волю вырвался. Валюшка в рев, а взрослых — никого. Сбросила тогда Нинка заплатанное платишко с себя и в речку за ним... саженками. Самой восьми лет не было, плавать толком не умела. Да не то чтобы не умела, а далеко не заплывала. А кликун удалялся, только клюв желтый да крылышки белоснежные на солнце посверкивают. Устала девчонка. Вспомнила, как Иванушка-Ванюша учил отдыхать на воде, — перевернулась на спину. А лебедь уж на той стороне, в камыше застрял. Доплыла, слава Богу, схватила лебедя, еле на берег выбралась, из камышей выпутываясь. А малышня испугалась, режут кричат: «Не плыви назад, на лодку иди... на мост... к мельнице...» А мост далеко, да и характер разыграл на миру, хотя и на маленьком — что там лодка, что там мост, «где наша не пропадала» — часто слышала она от брата. «Ладно, — кричит, — не бойтесь за меня!» Ничего, что мала была: камышу нахвостала, наломала, надергала, ленту алую подарочную из косы выплела, перевязала сноп и с ним, как с плотиком, в воду пошла. Так с птицей в руке, с камышом под мышкой добралась Нинка благополучно до своего берега. А там мать уже кудахчет, хлопает по себе руками. И только дочь на бережок, мать за хворостину. Настегала больно, лебедя из рук вырвала, наземь бросила, ногой придавила и сама слезами умылась. «Ну что, мамочка, — кричит девчонка, — ведь не утонула, ведь же не утонула, Ванюша научил на воде держаться!» — «Ах, Ванюша научил, паскудник...» — побежала мать

в сарай, где Ванюша со щенком Музгаром занимался, и ему подзатыльник.

Рассказала сестренка брату, как дело было, и лебедя раздавленного показала. «Ладно, Нинуля, на мамку не обижайся, под пяткой эту печаль топчи, а лебедя мы починим». Кликуна Ваня склеил, подкрасил, но что-то нарушилось в лебеде, плавать он разучился, не мог на течении держаться — набок заваливался.

Заваливаться набок стало и детство босоногого народца глухотной Бурановки — великая война приближалась. Все больше и больше с каждым годом и днем о войне говорили, и все от мала до велика готовились к ней, правда, как потом оказалось, больше в песнях. Иванушка-Ванюша, хоть и нечем стало курок нажимать после неудачного опыта с петардой, однако о Красной Армии мечты свои не бросил. Решил Ваня крепко-накрепко пограничником стать, вырастить для себя и обучить пограничной службе верного друга-товарища четвероногого, для чего обзавелся щенком немецкой овчарки и назвал его Музгаром. И опять у детворы радости через край было, особенно как стал Музгар подрастать и в играх про войну участвовать. Делились мальчишки на красных и белых, воевали за власть Советов, дрались друг с дружкой не на шутку. Потом те, что белыми были, чтоб никому не обидно, в красные переходили, а красные нехотя в белых обращались. Музгар же неизменно был за красных и находил врагов-беляков безошибочно, а с девчонками-санитарками выносил с поля боя раненых.

Дом Зыбкиных сроду-то не закрывался, а тут они и вовсе спокойнешеньки за свое добро стали — Музгар охранял надежно. Когда кто был дома, он лежал в конуре или гулял по двору. Всех деревенских знал, и его знали. Но все же, если в доме никого, ложился у порога, и тут уж чужим заглядывать не следовало. Одного человека в Бурановке Музгар невзлюбил по какой-то неведомой собачьей при-

чине. Рычал на него, и все тут, шерсть дыбарем поднималась у Музгара, как чуял его. Мартыном этого человека звали. Идет, бывало, Мартын мимо спокойно, ничего не делает, не злит, не дразнит, а Музгар весь взъерошится и очень беспокойным делается. Не лает, не кидается, а вот именно — места себе не находит, когда в радиусе его чутья Мартын появляется. Как окреп Музгар окончательно, рычать он на Мартына перестал, но взглядом провожал долгим.

Однажды не случилось дома никого — мать с Валюшкой в телятнике, Михаил уж на действительной был, Ваня, Лиза, Нина в школе сидели, и зашел к ним Мартын за чем-то, может, за порохом или за патронами, у Ванюши их был большой запас, и Музгар продержал его в доме часа два. Прибежала Нина в переменку пороссятам пойло разлить, а ее Мартын в избе встречает: «Наконец-то пришла хозяйка, может, домой уйду, а то этот паршивец не выпускает меня». — «Дядя Мартын, а зачем вы в избу зашли, ведь Музгар у порога был, значит, дома никого...» — «Да мало ли, дочка, ну лежит и молчит, я и перешагнул через него, а он за мной, и вот уж сколько времени подняться не могу, закурить не дает, паршивец». — «Он не паршивец, он молодец, а вы ругаете его... и все-таки, какая у вас была нужда до нас?» — «Тьфу, забыл, пока этот паршивец...» — «Опять вы ругаетесь, уходите и будете знать, как без хозяев в дом входить!» И снова Музгар стал рычать на Мартына, только учует.

Мартын пожаловался в сельсовет, наговорил бог знает чего на пса, оговорил честную животину самым низким образом, и велели Ване держать пса на привязи, хотя все знали, что он никогошеньки не трогал, только на Мартына одного скалился, это да... А почему? Кто знает. Про Мартына потом говорили, что вскоре по прибытии на передовую он перебежал линию фронта, сдался в плен и стал стрелять по своим. Значит, еще тогда, в Бурановке, в тайном

ожидании войны, из его мозгов эти подлые помыслы просачивались черной энергией и вокруг черепа вились. И неужели другое живое существо — зверь, готовящийся не на живот, а на смерть защищать границы и интересы того пространства, которое человек этот замышлял предать, неужели зверь эту черную энергию вокруг головы Мартына мог видеть и чувствовать?! Одно дело, собака может предчувствовать предательство хозяина или опасность для него, а тут... Посторонний человек замыслил черное против своего народа, а значит, и против хозяина... неужели зверь может такое чувствовать?! Видать, чуял Музгар, знал и знание свое выдавал вздыбленной шерстью и злобным рыком. И человек заподозрил зверя в этом знании замыслов своих и убил его. Может, так. Иначе тогда зачем в один жаркий покосный день, когда в деревне никого почти не оставалось из людей, на привязанного Музгара уставился холодный шестнадцатикалибровый глаз ружейного ствола и грянул выстрел. Потом человек освободил мертвую собаку от ошейника и подтащил к воротам. Ошейник покромсал ножом и дело выставил так, что собака будто бы порвала ошейник от ярости, завидя его, и он вынужден был в целях самообороны пристрелить ее. Может, так. А может, затем убил, чтоб шкуру сдать. Тогда с солью плохо было. Соль страшным дефицитом была, и отпускали ее за шкуры сусликов, крыс и собак. И, может быть, Мартын хотел похитить собаку, ободрать, сдать шкуру, а там поди докажи. Но что-то сбилось в мартыновом плане. Но убить он мог и другую собаку. Скорее все ж Мартын убил свидетеля мыслей своих предательских. Ваня землей с лица взялся, так переживал — он остался без друга, с которым собирался служить на границе. «Ваня, — утешала его Нина, — не убивайся так, другого Музгара вырастишь». — «Нет, теперь уже не успею».

Мартына оштрафовали, ружье отобрали. Ребяшня ему ворота дегтем чуть ли не каждый день мазала, стекла в

дому вышибала. Ваня собрал всю команду и сказал, что стекла бить не надо и деготь на ворота тратить ни к чему, а лучше давайте сочиним на него карикатуру. И нарисовал две картины. На одной — Мартын, обвешанный шкурами крыс, собак и гиен, еле ноги за собой подбирая под их тяжестью, в магазин тащится сдавать трофеи. На другой — он из магазина ползет уже, куль огромный соли его совсем к земле придавил. А под картинками надпись в стихах:

Рано утром спозаранку  
Наш Мартын схватил берданку,  
Второпях надел колпак,  
Побежал он бить собак.  
Вот Музгар — огромный пес!  
Получу я соли воз!  
За убитую мной псину  
Раздобуду керосину!!!

Мартына это бесило больше, чем все битые стекла и деготь на воротах.

А детство совсем, совсем завалилось набок. Воротясь как-то с Васильком Молчановым с ночной рыбалки, ребята застали Бурановку визжащей гармошками, пляшущей на дорогах, дико орущей песни, рыдающей и разгулявшейся хмельно и опасно. «Что случилось, что за праздник?» — «Война!»

По небу поползли кроваво-черные облака. С западной стороны на горизонте даже днем стали появляться широкие огненные полосы. «Это хлеба горят кубанские и, как зеркалом, через небо заревом у нас отражаются, над уральскими ширями повисают», — объяснял Ваня. Мальчишки сразу записались добровольцами — их отсрочили на год.

Ушедший на действительную Михаил к этому времени служил в Керчи. Там и застала его война. Последняя

открытка от него писана в августе сорок первого, и всю войну потом ни слуху ни духу. На запросы-розыски пришел ответ: «в мертвых не числится, в рядах Красной Армии не состоит, считаем пропавшим без вести». Тогда и вспомнили Зыбкины, как однажды ночью они проснулись от страшного крика. Это Нина кричала во сне. Разбудили осторожно — что с тобой, что случилось? Придя в себя, Нина рассказала: «Бык красный в окно влетел... потом церковь... много народу неподвижно по колено в крови... среди них Миша наш... кровь прибывает и прибывает... а они стоят недвижно...» Баба Фекла так и растолковала: это — великое терпение, жив Михаил, но в великом терпении, в плену, не иначе, раненый был бы, все равно отозвался бы.

Весна сорок второго ранняя была. Всю долгую осень и зиму Иван дни и ночи напролет, без сна, что называется, и отдыха грыз школьную науку и четвертого марта экстерном сдал последний экзамен за среднюю школу. Средняя школа была в поселке за рекой, в нескольких километрах от Бурановки. Каждый раз, возвращаясь из школы, различал Ваня на своем берегу в любую погоду фигурку любимой сестры: она ждала его, она встречала его, она провожала его до дома. И в этот час они торопились рассказать друг другу про все, что думали, знали, видели во сне и слышали от других за прошедшие сутки. В день последнего экзамена, возвращаясь домой на закате мартовского солнца, Ваня почувствовал: у него что-то случилось с глазами — он перестал видеть, перестал что-либо различать. Как чуть стемнело, глаза закрыла золотисто-черная пелена. Он брел медленно, осторожно, по звукам и запахам угадывая направление к Гумбейке, к тому месту, где на противоположном берегу его должна была ждать сестренка. И она ждала его. «Нина! Нина!» — услышала она оклик брата и увидела его как бы с протянутыми впереди себя руками. «Ты только не пугайся, не бойся... со мной что-то случи-

лось, я ничего не вижу... Ты голос мне подай, ты здесь? Ты видишь меня, Нина?.. Ты слышишь меня?!»

— Ваня, Ваня! Что с тобой? Вот она я, здесь...

— Где я стою, Нина... ты видишь?

— Вижу, Ваня, ты стоишь левее моста. Почти там, куда подходил всегда! Стой на месте, я сейчас приду к тебе или маме скажу.

— Нет, нет... Не ходи никуда, не говори никому, не предавай меня. Ты иди к подстанции, к мосту и пой. Я за твоим голосом пойду.

— Да зачем, Ваня?! Я сейчас к тебе приду.

— Нет! Я тебе говорю — так надо! Не ходи по льду, промокнешь, иди по дамбе, иди и пой... Как дойдешь до моста, остановись, но петль не бросай! Начинай!

— А чего начинать, Ваня, чего петль, какую песню?

— Пой про Ежика... или нет... «Шел отряд по берегу...», про Щорса пой!

И она запела, пошла и повела его голосом:

Чьи вы, хлопцы, будете,  
Кто вас в бой ведет?  
Кто под красным знаменем  
Раненый идет? Э-э-х!

Так, по разным сторонам Гумбейки, дошли они до моста, она пела и плакала. Потом остановилась напротив, как он велел, и с новой силой:

Мы сыны батрацкие,  
Мы за новый мир...

Ванечка-Ванюша перешел, держась за перила, мост, подхватил песню второй, они взялись за руки и пошли как заговорщики, знающие только вдвоем и хранящие великую тайну.



— Все, Нинуля, последний экзамен сдал, теперь на фронт.

— Как на фронт, на какой фронт, раз ты не видишь, — хлюпая носом, робко пыталась подпустить ему червь сомнения сестра.

— Так это только в сумерках... Это у меня, наверное, куриная слепота. У меня было такое, я не говорил никому. Это от напряжения, витаминов не хватает. Морковки поем, и все пройдет, все нормально будет. Ты смотри, никому ни гу-гу про куриную слепоту.

— Не ходил бы ты, Ванюша, ну чего ты навоюешь с такими пугами и слепотой? А голос свой куда деваешь, кому достанется он, кто услышит его, если случится что?

— Что ты говоришь, сестра, что ты хоронишь меня... Миша зовет... где-то лежит его винтовка, кто поднимет ее, кто дальше пойдет, кто наш род воинский поддержит?

— Наш род, брат, не только воинственный, но и с музами связан, музыкальный род. Ты и рисуешь, и стихи складываешь... А отец наш какой был, ты забыл разве? Слушай внимательно. Я сон сегодня вещий видела, и я тебе его расскажу, чтоб он сбыться не смог. Только ты не перебивай и не переспрашивай. Во сне сон короток, момент какой-то длится, но ясной, полной картиной рисуется, а чтоб рассказать, много слов потратить надо. Жила-была семья под покровительством двух фей. Одна фея воинственная, другая — фея искусств, муза, короче. И конечно, больше работы было у первой, потому что из рода в род рождались мальчики, а мальчики рождаются к войне, и войны не прекращались, потому что мальчики становились мужчинами, и она уходила с ними на войну.

— Когда рождается мальчик, говорят на Востоке, это еще не значит, что из него вырастет мужчина.

— Не перебивай, а то не доскажу, и сбудется сон, Ванюша. И вот в роду появился мальчик, музыкальный, одарен-

ный к искусствам, пел, рисовал, сочинял стихи... И муза так радовалась, аплодировала от радости — наконец-то пришел и ее черед в роду хозяйкой побыть. Но снова началась война, и мальчики засобирались на нее. И говорит фея искусств фее войны: «Что делать, что делать, сжался, освободи его от войны, не бери его с собой, ведь у него такой голос и таланты разные, а убьют, и пропадет голос». А та отвечает: «Я не могу его удержать, у него сердце солдата... У половины моих бойцов души поэтов, а кто их матерей и сестер защищать будет? Да и какой резон его оставлять, играть на музыкальных инструментах он все равно не сможет...» — «А голос?» — «Голос? С голосом даю тебе совет — передай его другому мальчику!» — «А разве я могу?» — «Вот, дурочка, ты же фея, при желании ты все можешь. Вон женщина рождает мальчика, далеко, правда, да что для феи расстояние, ты только скажи — быть посему, голос ему». Весь этот разговор фей, Ваня, происходил у изголовья нашего спящего рода, в ночь, когда днем потом войну объявили. Я этот сон три раза видела после этого. Слушай дальше. Фея войны говорит: «Слишком жестокая и долгая война будет, а жизнь на земле надо сохранить. Один брат испытывает свой жребий, и этому предстоит, а голос передай другому мальчишке». Они исчезли, и я проснулась.

— Ну и что, Ниноля, сон как сон, нормальная сказка. Вырастешь, детям будешь рассказывать, а про слепоту мою никому ни гу-гу.

Сговор этот у брата с сестрой про вещей сон и с песней про Щорса был четыре дня назад. А сегодня, восьмого марта 1942 года, Ваню Зыбкина с тремя его сотоварищами деревня провожала на войну. Они оставляли родных и знакомых, они оставляли колхоз имени Ильича, дымы Бурановки — кизяковые, камышовые и соломенные... Они оставляли изгибы речки Гумбейки, туманы и заросли ивняка над ней.

Их проводили восьмого марта, не успевших поцеловать своих первых девчонок, а через месяц, в апреле, глухоманная Бурановка получила на трех похоронки — в первом же бою друзья пали смертью храбрых.

Ване повезло больше. Он успел повоевать ладом. Начальник сдержал слово, Ваню послали в училище, и его похоронка отсрочилась почти до победной весны. До братской могилы в стране Венгрии было еще почти три года, а до обелиска над ней в селе Шерегейш еще дальше.

А рассказала бы дочь матери про слепоту брата, может быть, и не лежать бы ему теперь в чужой земле, может быть, спасла бы брата, и вещи сны ни с чем бы остались. Побежала бы мать, как всякая мать, забила бы тревогу, запричитала бы по всем начальникам — ведь добровольцем уходит, ведь калека, ведь негодный совсем к фронту парень, в обозе разве что хвостами конскими править, да и то в темноте по слепоте заблудится.

Но не таким она его родила, видать, чтоб за юбки мужик прятался, каким бы лихом ни наградила его судьба, и не таким отец воспитал, с малолетства огнем закаляя, уча держать в руках одинаково крепко молоток и ружье.

### Большой постскрипtum

Одно время я был страстно увлечен вопросами метемпсихоза, трансмиграции, полигенеза, парапсихологии и пр. В особенности меня занимала идея РЕИНКАРНАЦИИ. В двух словах, вульгарно, это — возвращение индивидуальности человека в цепи последовательных жизней и т. д. Вопросы, связанные с существованием человека после его физической смерти волновали людей с самых давних пор. Одними из первых европейцев, писавших об этом, были Пифагор и Платон. Церковь, однако, скоро и эффективно наложила запрет на подобные взгляды и

разговоры. Но время от времени они все же возникали и вспыхивали в разных точках и умах нашей планеты. Вспыхивают и сейчас.

А мы, актеры, разговариваем и спорим об этих загадочных явлениях на своем, так сказать, уровне. В спорах я всегда помню и опираюсь на импонирующее мне положение Фридриха Шеллинга из его работы «Философия мифологии и откровения». Вот оно. «Вопрос не в том, какую точку зрения на явление должны мы использовать, чтобы объяснить его в соответствии с той или иной философией, а совсем наоборот: **какая философия годится для того, чтобы подняться до уровня понимания данного явления.** Вопрос не в том, как повернуть, сжать, сузить, исказить феномен, чтобы любой ценой сделать его объяснимым при помощи принципов, за пределы которых мы раз и навсегда решили не переступать. Вопрос стоит так: **насколько мы должны расширить наше мышление, чтобы оно соответствовало объему данного явления.**»

Дело, однако, не в этом. Об этом разговор долгий и отдельный. Дело в том, что в разгар увлечений этими идеями 8 марта 1982 года я получил с Центрального телевидения пакет. В пакет вместе с письмом, адресованным мне (так по всему выходило), были вложены следующие полуистлевшие документы:

1. Похоронное извещение на имя Ивана Ивановича Зыбкина.

2. Два его карандашных письма с фронта.

3. Временные наградные удостоверения:

а) медаль «За боевые заслуги»;

б) медаль «За оборону Сталинграда»;

в) орден Славы III степени.

Женщина писала о том, что неожиданно услышала по радио голос своего родного брата, погибшего 3 февраля 1945 года в Венгрии, при освобождении Будапешта, и похороненного в селе *Шерниवेश*. Далее она истово уверяла,

что ошибиться в голосе не могла, что она забыла лицо брата и не узнала бы его, конечно, в толпе, но голос она помнит как сейчас и различит его из тысячи других. К тому же этот артист, что с голосом брата, пел в фильме «Пакет» песню «Любезная хозяйшкa», которая является своего рода «родословной нашего рода... нашей семьи. Откуда ему знать нашу песню, если он не наша родня?»

Я впервые в жизни — и не приведи больше никогда — держал в руках настоящую похоронку, пришедшую ко мне из 1945 года, а у меня растут сыновья... Мой отец пришел с войны с шестью ранениями, но живой.

Я ответил женщине — Щеголевой (Зыбкиной) Нине Ивановне, и мы выяснили, что, при самом воспаленном воображении, кровного родства быть не может, но, что совершенно очевидно, нас роднит единая память, единая душа нашего народа, вошедшая в меня голосом ее брата. И мы решили вместе во что бы то ни стало разыскать его могилу. Поразительно, согласитесь: через много, много лет, услышав похожий голос, она стала кликать родного брата, стала искать его последнее жилище, она захотела, ей понадобилось узнать, где и как он воевал и при каких обстоятельствах погиб.

Опущу все мытарства, разочарования и неудачи, что встретились нам на пути этого розыска, основная причина долгих поисков в конце концов оказалась в том, что в похоронке название венгерского села военным писарем было означено не в той транскрипции.

Как бы там ни было, через два года Нина Ивановна сообщила мне, как она выразилась, «печальную радость»: из Венгрии пришел ответ через Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, что, действительно, Зыбкин Иван Иванович похоронен в братской могиле в селе **Шерегейеш** области Фейер. Ответ был сопровожден двумя фотографиями. На одной — общий вид мраморногоobelиска в солнце и зелени, по 160 фамилий наших отцов-

сыновей-братьев на каждой из четырех сторон. Другая фотография — увеличение той части мрамора, где выбиты фамилия и звание разыскиваемого: гв. старший сержант Зыбкин И. И. За обелиском ухаживают пионеры села Шерегейеш и члены Общества венгеро-советской дружбы.

Нина Ивановна пустилась опять в хлопоты, чтобы ей разрешили съездить, посетить могилу брата, а мне захотелось написать об И. И. Зыбкине что-то достойное его памяти. Я стал всматриваться до рези в глазах в телевизионный экран, если что-то передавали о ветеранах. Я вглядываюсь в их лица, морщины, седины, ордена, вслушиваюсь в слова, интонации... Мне хочется заглянуть дальше, по ту сторону экрана — в их время, спасшее меня.

Воевал Ваня на «катюше». И стал я искать ветеранов, живых свидетелей, владевших в свое время этим грозным, легендарным оружием. И нашел. Так появился рассказ «Комдив четырнадцатый».

И все-таки задача моя впереди.

Голос погибшего востребовал и мою память к ответу.

Не подвел ли я Ивана Ивановича? Не упрекнет ли меня павший вопросом: я отдал тебе свою душу, свой голос, а как ты живешь? И в голосе, вопросе его слышится для меня единая и неделимая душа народа моего, частичкой которой и я, может быть, когда-нибудь стану. И при чем тут реинкарнация, трансмиграция и прочие загадочные явления — человечество разберется в них без меня. А для моего дня — своих забот достанет. Вот, собственно, и весь затянувшийся постскрипtum.

# Земляки

*Сыну моему Сереже посвящается*

В мрачные дни, а они у всех случаются, всякому живому человеку мерещится, что жизнь его собственная склепана сплошь из звеньев ошибок и лжи. Воображается подобное нередко и мне. В такие часы болезненно и скрупулезно перелистываешь свои прошлые дни, торопливо прозваниваешь кабель судьбы на повреждение и зачастую в отчаянии и страхе принимаешь частную ошибку за горе жизни, за неистребимую печаль. Ну, в самом деле, горе уж такое, что ли, если ты ездил на автомобиле без масла, заporол двигатель, стукнулся о другой автомобиль и ремонт обошелся тебе в половину стоимости всего движущегося агрегата?! Да ерунда, по сравнению с тем, что сыну вывели в четверти двойки по алгебре и геометрии, и ты не знаешь, что делать, как спастись, будто ты сам у доски и на тебя смотрит весь класс, родители, учителя и зрители, а ты забыл текст и всем мешаешь жить и учиться, ты всех тянешь вниз, и нет у тебя выхода вверх. Иные оплошности разрастаются до опасности зловещей опухоли, превращаются в хроническую боль, от которой избавиться можно, говорят, лишь поделившись ею с другими.

Так, я не бросил горсть земли на гроб моего партнера и друга. Я был занят тем, что, сцепившись локтями с другими организаторами похорон, сдерживал толпу, рвущуюся к гробу. А когда двинулся к могиле сам, теми же локтями всех расталкивая, на месте ямы вырос холм, придавленный горой из цветов и венков. Я не успел. Моей горсти в этом холме нет, и оттого тошно мне, что-то скользкое прикасается к моему сердцу и пробует его ядом, когда память в ненастные дни возвращает мне эту оплошность.

Другая боль, в которой и признаться стыдно — я обокрал себя, пропустив в свое время явление Шукшина, читая его мало и невнимательно. Пропустил почти сознательно, следя за ним издали, на расстоянии, уши мои да не слышали, хотя наши села друг от друга в семидесяти верстах. Я не удосужился познакомиться с Василием Макаровичем, хотя мы однажды гримировались в одной уборной на «Мосфильме» и как коллеги поздоровались врасплох, столкнувшись в дверях. Он заканчивал работу над «Калиной»... А я стеснялся к нему подойти, таким он казался мне серьезным, сердитым, к себе не допускающим. Впрочем, странно, но я видел его живого всего один раз. Второй раз я увидел его уже теплоходом на Оби. Он ходко шел в свою сторону, к Бийску, мимо нашего села. Но и тут мои глаза не прозрели. Я робел его живым и был «гордыней обуянный» по молодости: ждал, когда сам сделаю что-нибудь путное, чтобы прийти к нему на знакомство не с пустыми руками. И опоздал...

Земляки — это почти родня, если другой родни нет, говорит народ. Если это так (а это так), то Василий Макарович — самый богатый на родню человек, потому что читатели и зрители у нас и за пределами наших земель волею его могучего таланта стали его «земляками», освоили его Алтай. В этом я сто раз убедился воочию на Пикет-горе в июле 1979 года на Шукшинских чтениях в честь 50-летия со дня рождения писателя. И опять же земляки меня на



то сподобили. Сам-то я, глядишь, и не оторвался бы от своего корыта, дел, семьи и съемок.

В разгар сезона, в январе, спектакль играть начинать, а мне говорят: «Вас на выходе родня ждет, шестнадцать человек». «Что за шутки?» — «Нет, всерьез. А старшая говорит — за одной партой с вами сидела». Иду, гляжу... Стоят, прильнув к стеклу, пятнадцать ребятишек — мальчишек и девчонок, моих алтайцев. Их не спутаешь ни с рязанскими, ни с вологодскими лицами, девятиклассники из села Повалихи, мои земляки, моя «родня». Их привезла в Москву, привела в театр классный руководитель Валентина Дмитриевна Строгова, с которой я никогда ни на какой парте не сидел — мы из разных деревень... «Вот, ребята... победители... лучший класс... на заработанные в колхозе деньги... Куда — к земляку... в театр... днем у Шукшина были... на Новодевичьем... тоже не пускали... строго... но все же пустили...»

Куда же еще, господи? Конечно, правильно, к земляку, только что делать, шестнадцать человек в дефицитный театр!!! Что же делать? А делать ничего не надо. Надо, чтобы они увидели театр, посмотрели спектакль, рассказали дома, чем занимается их земляк в столице. Как быть? Отпустить с миром, дескать, не могу, ребята, поздно, предупредить надо? Нет, не могу отказать и понимаю, что хоть камни с неба, а в театре они должны быть сегодня. «Днем у Шукшина были, а вечером к живому земляку». Бегу к директору. Тот аж оторопел. «Ты что, друг любезный, офонарел?.. Куда же я их растолкаю, ораву такую, меня же пожарники оштрафуют!..» — «Но ведь дети не в зоосад, не на хоккей — в театр просятся». Так кричу, почти что плачу, как Теркин говорил. Заявляю вдруг — другого не подвернулось ничего: «Не выйду на сцену, без них спектакля не начну!»

Не мой ультиматум, конечно, убедил директора пойти на противопожарное нарушение, а мое состояние и его

чутье человеческое. Каким-то чудом — девчонок в зале, мальчишек на балконе — устроил моих земляков директор на спектакль «10 дней, которые потрясли мир». Однако пожарные в театре тоже не дремали, доложили куда надо, и в антракте я предстал перед грозными очами главного районного пожарного. «Что вы себе, товарищ артист, позволяете? Если каждый начнет приводить свою родню в неограниченном количестве штук...» — дальше громче и страшнее... Я было тоже хотел в лай пуститься: не в ресторан пришли же дети и не только о пожаре печься надо, но и о воспитании поколения. Потом подумал: чего ради? Спектакль ребятишки смотрят, дело в шляпе, а ему не объяснишь... и директор уже выложил из собственного кармана пятьдесят рубчиков штрафа... семь бед — один ответ. После спектакля усадил я их в пустом, полутемном партере и стал рассказывать, что такое есть собственно Театр на Таганке, как он был создан и чем отличается от других, и почему Академический театр им. Моссовета я променял на этот маленький, деревянный, который стал моей судьбой, моими крылечками в столице, моим главным делом.

Я рассказал им про Гамлета Владимира Высоцкого, про его честную и добрую поэзию и про то, что он никогда не сидел в тюрьме — ни здесь, ни за рубежом, у него «не было на то времени». Я пел им, выкатив рояль на середину, Северянина и Вертинского, из «Бумбараша» и Моцарта. Вспоминал, как жевал сургуч в «Пакете», как летал Бумбарашем на воздушном шаре в одних подштанниках... и шел снег... Как плевал в осинку в болоте, где просидел не вылезая пять часов, а потом с меня сняли шесть пиявок, и почему Моцарт с такой определенностью говорит Сальери: «Довольно, сыт я...» — сыт угощением, вином, друзьями... жизнью... Они спрашивали меня про мою жизнь, и я рассказывал про нее все, что знал... И, конечно, долгий разговор про Василия Макаровича Шукшина. Шел год

его пятидесятилетия, они собирались в июле в Сростки пешком на чтения и звали меня. Щедрый и богатый был вечер для всех.

На прощание впахнули они мне в такси все, что взяли для меня в неблизкую дорогу — картошку, грузди, калину пареную, четверти облепихи и брусники, водой залитые, кедровую ветку с шишками и каравай. И все это, сказала Валентина Дмитриевна, ребяташки собирали сами, солили, парили, пекли. И даже вышили рушник.

Как они обогрели меня и помогли с духом собраться — мне тогда было шибко не по себе. Вовремя они оказались рядом. А все она. Учительница, что приняла их четвероклашками, наставляла, учила русскому языку, литературе и жизни — делала их души. Маршрут у них был иной, но она повернула его к воротам Новодевичьего монастыря, вела дипломатию с охраной и... уговорила. «Там много священных могил... но нам надо нашу, родную... Мы знаем, ему будет приятно, а нам полезно, поверьте нам...» И ее вере поверила даже строгая московская милиция.

Говорят, чтоб ребенок уродился приглядным, беременной полезно чаще созерцать красивое и изящное... И Валентина Дмитриевна учительским даром своим изо дня в день терпеливо и изобретательно разворачивала глаза и уши своих питомцев на дела добрые, слова и поступки сердечные, чтоб сердца и души их смолоду как можно богаче напитались соками этих животворящих качеств. Дар учителя... Можно в человеке распознать способность к живописи, математике, музыке, театру... Можно научить человека в нужных местах кружить запятые. А как распознать способность выращивать в человеке человека?! Дар. И, как со всяким даром, с ним рождаются, тому ни в каких мастерских не научают. А как живет сейчас нынешней сельской учительнице, что она так щедро дарит свое сердце и время чужим детям?

Приведу «избранные места из переписки» с моей бывшей учительницей. Фамилию опущу, а то еще заругает. Земляки не любят, когда выносят сор из их избы. «Места...» в основном я выбрал нарочно печальные и разных лет, но это печали моих крылечек. Веселое и счастливое при нас останется, а печали хочется, чтоб убывали скорее. Ныне моя учительница также преподает, а заодно директорствует, вернее, директорствует, а заодно преподает... Так вот...

«Учителями должны быть лучшие люди нации», — кто-то сказал. Я-то согласна, кто спорит. Среди нас есть лучшие люди нации, да кто про то ведает? Кто помогает? Ладно помогает, кто хоть сочувствует директору школы, учительнице, члену исполкома, матери двух сыновей, хозяйке одной коровы, борова, петуха, девяти кур и мужа? Конечно, можно все стряхнуть, но я этого не сделаю. Пусть я упаду. Но все чаще и чаще мысль навещает: бросить свое директорство, нет больше сил, ума и умения. В самой школе, в главном для меня — по учебным показателям — почти нормально, многие школы опередили... Это при том, что сотни уроков пропадают из-за свеклы и других работ. Район говорит: «Подумаешь, уроки... Свеклу обеспечите — а там учитесь». Кого слушать? Как думаешь? Одних березовых почек пятнадцать килограммов набрали! Да ты сто граммов набери, артист! Третий год ходим кирпич разгружать для нового райисполкома (старый-то сгорел, я тебе писала), а теперь каждую неделю на ферме помогаем санитарный день проводить. А уроки? Благо теперь с нас высшего образования не требуют, а только трактористов, на СПТУ ориентируют. Ну, до ста и даже до тысячи мы их считать научим. Правда, через несколько лет взвоют вузы. Московские попозже, а Бийский пединститут уже. Но, как говорится, недостатки надо прочно заложить сегодня, чтоб потом было чего исправлять. На некоторые частности исправления демогра-

фической политики я обратила внимание в «Песне-81»: «Я у бабушки живу, и нет сестренки, нет братишки у меня». Да и в журналах появились заголовки: «Не меньше трех» (детей то есть)... А сколько нашу сестру отучали от этого, соблазняя и «Девушкой с характером», и «Дочерью моряка», и заочной учебой?.. До сих пор мы агитируем девчонок на трактор... Эмансипация должна быть, но... Хотя на моем фронте: есть такие огневые точки, где мужику стоять надо...»

«...с кочегарами совсем смерть. Чистые алкаши, чуть не каждый день ЧП в кочегарке. Напьется, трубы разморозит, а уволить — где другого взять... Вот сейчас из системы вода уходит, найти не можем — куда. Да и кому искать? Я каждую ночь вижу во сне свою кочегарку и ищу утечку воды. Эта система меня в могилу сведет... Как бы до весны дожить. Бросаю уроки, подключаюсь за завхоза, чтоб могли давать уроки другие. А ведь и в уроках директор должен быть не хуже других. Иначе учителя начнут халтурить. И почитать надо, и кино поглядеть, и корову вовремя подоить...»

«...недавно похоронили Баркалова Василия Яковлевича, нашего завхоза. Два года побыл на пенсии всего, свалила она его, «родимая». Он был силен, а водка сильнее его. Смертей от нее... Ты его должен помнить. Он у твоего отца в колхозе бригадиром был. Был он и комбайнером, и председателем сельсовета. Мог позволить себе на коне верхом на второй этаж в райисполком въехать и другие выходки. Но я была за ним как за каменной стеной, для него препятствий не было. «До смерти работал и до полусмерти пил». К чему я о нем пишу? Странные чувства возникают на кладбище. Все больше и больше знакомого люда там появляется. Идешь туда, как на собрание. Раньше мы бегали по кладбищу, задевали ногами чьи-то могилы, а теперь... У входа — могила Героя Советского Союза Савельева... Мы с ним не только были знакомы, но и дружили... А вот директор Приобского совхоза Гузов А. А.

Мы с ним на свекольные плантации часто смотреть ездили, а вот друг Юров Т. С. с ним в предгорных поселках мед покупали... Недалеко от них учителя Шураковы и твоя тетушка, великая общественница и защитница Елена Федосеевна... И так уж полкладбища. Даже ученики мои есть... Недаром восточные люди не уходили далеко от родного кладбища. Зачем это я пишу? Дома лучше. А дети мои в Москве квартиры получили. Видишь, куда повернули меня наши могилки — аж к московскому крематорию...»

«...мы тут к тебе в Москву экспедицию снарядили из нескольких толковых ребяташек. Создали они при Доме культуры инструментально-вокальный ансамбль «Русь». Надо сказать, неплохо у них получается, когда они на фермах выступают — удои повышаются. Но инструменты у них никуда не годятся, и не хватает их. Выделил им сахарный завод денег на приобретение дефицитных инструментов. Нужны: тромбоны-тенора, трубы «Консул» или «Сенатор», чешский или западногерманский электроорган. Дорогой земляк, без тебя в Москве они эти инструменты не достанут, их по каким-то разнарядкам по городским ансамблям распределяют, а нашим они «позарез», как говорят. Сделай доброе дело для своего села, оснасти наш оркестр западными трубами... У тебя наверняка есть блат на какой-нибудь базе, а не у тебя, так у твоих более знаменитых коллег... Надо, надо... Напрягись. И с ними будет паренек от ДОСААФ, помоги ему достать пар десять пластиковых лыж. Это же стыд-позор: на соревнования в край подчас на самодельных лыжах ребяташек отправляем... Значит, трубы и лыжи за тобой, а спать они на полу привычны... народ крепкий, наши».

«...слушай, дорогой артист, а почему бы тебе не написать сценарий о сельской учительнице? Сельская учительница Марецкой (среди шумного бала) давно ушла в прошлое, теперь сельская учительница другая (имеет корову и доить

умеет). Взял бы за основу нас с Элеонорой да добавил бы Веру Григорьевну... Выбросил бы недостатки, подчеркнул достоинства... Только чтоб мораль не из нитья вызрела — из радости. Нить мы и сами умеем. Смеяться будешь, ну и смейся. Мне далеко... не слышно».

Писем много. В них много всякого про жизнь моего села. Но есть одна забота, одна печаль всех печальнее, одна проблема, гибель несущая, и моя учительница редко в каком письме обходит ее.

Когда-то, лет двадцать назад, в каких-то горячих, приезжих головах такая идея вызрела: перенести село Быстрый Исток со всеми потрохами от Оби километров за семь на гаря, на пески по причине наводнений больших и малых, но раз в десять лет действительно приносящих ущерб бедственный. И решение пришло простое: да чего мучиться, головы ломать, берега крепить? Да заложить враз и навсегда капитальный поселок с городскими домами, с городской системой и постепенно перетащить туда всех быстрян. Поселок заложили и назвали Приобским. Стали строить и беды копить дополнительные. Зная, что я собираюсь на Шукшинские чтения и там наверняка повстречаюсь с руководителями края, учительница умоляла меня передать просьбу всех быстрян: прекратить строительство поселка Приобский, вернуть финансы на капстроительство Быстрому Истоку и не дать ему исчезнуть с лица земли. «И здесь строительство прекратилось, и там добра мало. Огородов нет, да на песке и не растет ничего. Воду возят, поливать нечем, постоянные перебои с водой. Там селятся больше молодые семьи — в готовую квартиру въехать легко... Но прекратить строительство не так-то просто. Какие деньжищи ухлопаны... Это вопрос республиканский... Загляни в край, побей за нас себя в грудь, может, тебя послушают... Ты теперь на юру...»

И поехал я Шукшину поклониться на Пикет-гору и заодно начальству челом ударить за село свое, чтоб не сгибло оно по глупости действительно, да и в само село проскочить к старшему брату, а там, глядишь, и босиком пройти до крылечка родного и проданного давно.

Ох, не все заботы я перечислил, что предстояло мне за четыре дня, на все отпущенных, исполнить. Затосковала душа моя по Чемалу, что по Чуйскому тракту от Сросток далеко и где я пролежал в детском костнотуберкулезном санатории три года не вставая, с семи до десяти лет — заглянуть в санаторное детство мое. А так как эту задачу, скажу сразу, я не выполнил, я расскажу про Чемал немного сейчас, пока мы ранним утром едем с братом и земляком из Белокурихи на машине в Сростки. Мы едем из Бийска, где брат меня ждал трое суток нелетных.

## Чемал

В жемчужной красоте долины рек Катунь и Чемала, у южного подножия каменистого холма Бишпек, приютилась здравница, в которой я прожил три лежачих года моего санаторного детства. История возникновения санатория невероятно трагическая, и найдется ли писатель, что возьмется за эту тему, у которого выдержит сердце до конца рассказа додержать перо с допустимой долей реальности.

К августу 1942 года из блокадного, сражающегося Ленинграда были вырваны сотни больных, ослабленных детей. И через всю страну в горный, сосновый, целительный Алтай потянулся эшелон милосердия ленинградских лежачих ребятишек. Врачей мало. Медикаменты для фронта. Немногие ребятишки могли передвигаться сами. Большинство поражены костным туберкулезом, менингитом... Больше месяца дороги! Кто без содрогания может



представить себе тот путь, страдания и гибель беспомощных детей, бессонные напряжение и боль за них старших, которые и десятки лет после этого пути отказываются вспоминать и рассказывать о нем — сил не хватает.

Что за удивительные люди — ленинградские врачи, их местные помощники и сподвижники, которые за два года из прибывших в Чемал двухсот сорока семи ребят подняли на ноги, вылечили и подготовили к выписке сто тридцать два человека?! И в каких условиях — когда жилые дома, а то и бараки срочно превращались в лечебные корпуса, а единственным транспортным средством являлся бык Степка! Меня мама привезла в Чемал в 1948 году, и тогда Степка все еще оставался главным ответственным за все перевозки. Потом дирекция санатория обратилась лично к Буденному, и санаторию была придана пара лошадей. Каким теплом согревал персонал своих пациентов, выписав за два года больше половины, если и после шести лет существования здравницы окна наших палат на зиму забивались досками, засыпались опилками, завешивались одеялами и географическими картами, оставались одно-два или небольшие просветы наверху каждого... Наши палаты были нам спальнями и кинозалами, банями и школьными классами...

Помню изолятор. Лежу на койке, прикрученный фиксатором. Нога подвешена, через деревянные колесики-блоки вытягивается мешочками с песком. Мама в окно заглядывает. Она уезжает. Она говорит, что устроила меня в школу. С сентября меня переведут в общую палату и будут учить читать и писать. Я пойду лежа в первый класс. Она уговорила врачей. «Здесь начинают учить с восьми лет, но ты способный, я им сказала». Знаю, как она им сказала. Ничего она им не сказала, только плакала и причитала, что мне нельзя терять год.

До сих пор я слышу стук каблучков моего лечащего врача Антонины Яковлевны Сайковой, стук моей еже-

часной надежды на выписку. Эти каблучки я различу и сейчас из тысячи звуков, из сотен других каблучков... Маленькая, тоненькая, в белоснежном крахмальном халатике и колпачке, в туфельках на высоких каблучках, в любую стужу и жару она цокает ко мне, чтобы своими сильными цепкими пальцами в которой раз ощупать мое колено и простукать мои позвонки. Ей было двадцать два года, когда она приехала врачом-ординатором в санаторий после окончания института. Год лечила одна. Потом пришли еще два молодых специалиста. Гипса не хватало. Не было еще и антибиотиков. Лечение затягивалось. Но вот произошла революция – санаторий получил первый пенициллин, а вскоре и стрептомицин. Этих лекарств было еще очень мало – берегли каждый грамм. Нас лечили, учили и баюкали сказками. Трещит, шумит огонь в «голландке», и дежурная нянечка, обходя каждого, подтыкая одеяло и поправляя подушки, мурлычет сонно про кота, что ходит и ходит вокруг дуба, который уж век... А другая нянечка, проделывая тут же процедуру, рассказывает, как она воевала, вытаскивала из-под бомбежки раненых, и обещает показать настоящие медали... Нам наряжали елку и, аккуратно завернув в одеяла и простыни, сносили в большую палату. Елка была для маленьких и для больших, и был Дед Мороз, и у него были для нас подарки, а у нас для него песни и загадки, стихи и прибаутки. Мы все были привязаны фиксаторами, из нас никто не ходил (ходячих быстро выписывали), но мы были пионерами, давали клятву, и нам повязывали красные галстуки и устраивали пионерские сборы и даже костры, стаскав пионерку из разных палат в одну дружинную кучу... И были у нас хулиганы, свои Мишки Квакины, да и все, поддавшись, безобразничали подчас не в меру: ловили мышей на ниточные петли, развязав друг другу фиксаторы, сушили сухари, запрягивали в матрацы, подвешивали в мешочках часть еды под кроватями, готовясь к предстоящим побегам,

разведав перед тем, в какой уборной хранятся костыли. И не обошла нас беда. Клевета подстерегла главного врача, хирурга, что приехал через всю страну с ленинградскими ребятишками, организовывал санаторий... И мы видели, догадываясь по обрывкам коридорных фраз, как горевал персонал, лишившись вожака, и вся тяжесть лечебных и хозяйственных забот свалилась на тонкие каблучки Антонины Яковлевны.

Первая учительница... Мария Трофимовна Устюгова учила меня все три санаторных года. У нее останавливалась всегда моя мама, когда приезжала навещать меня. Мы выводили палочки, буквы, цифры, положив под тетрадки буквари. От девчонок нас отделяла большая черная доска, вертящаяся по оси. Мария Трофимовна одновременно давала уроки за первый, второй и третий классы — в палате мы были разного возраста. Коллектив санатория жил одной семьей, одними заботами... И я помню, что учительница подчас была и за нянечку, дежурила по ночам в палате, а когда заболела учительница, приходила от нее медсестра и прочитывала каждому его домашнее задание. Сообща переживали все беды, жили и трудились хорошей коммуной — от главврача до сторожа-инвалида. Рыли канализацию, обсаживали территорию малиной, смородиной, облепихой и георгинами, возили воду впрок, заготовливали дрова — рубили лес на горах, трелевали его вниз, пилили и свозили к санаторию, неподалеку от которого под ветром уже хрюкало и мычало подсобное хозяйство, а слепой баянист Иосиф Петрович Завьялов пел нам про павший Порт-Артур и разучивал с нами новые пионерские песни. Из гипсовых отходов кто-то мастерил смешные тельца зверячьих детишков, они тут же разбегались по всему санаторию, возникая вдруг в самых неожиданных уголках дозволенного пространства. А когда наши палаты расцветчивались горящими флажками огоньков, наполнялись подснежниками и

багульником, мы знали — родители вторые наши ходили на горные поляны, к водопаду отдыхать и помнили про нас. Таков был климат, заведенный главным врачом еще с ленинградского эшелона, таким его сохранили коллеги и после него. Нас лечили, учили грамоте и приобщали невольно и сообща к сердечности и доброте.

Чемал, Чемал — санаторное детство мое! Я к тебе еще вернусь, быть может, а пока на пути моем Сростки... Шукшинские чтения...

## Сростки

Что поразило меня на этом пути — внимание милиции на всех тридцати шести километрах тракта от Бийска до Сросток. Такого количества охраны порядка я нечасто наблюдал и на правительственных трассах в Москве при встречах какого-нибудь важного визитера. Потом я понял... и мне рассказали, почему были приняты такие чрезвычайные меры предосторожности. Забегая вперед, скажу, что в самих Сростках во всех магазинах спиртное за три дня было изъято и опечатано под тремя замками и не продавалось никому — ни местным катунским жителям, ни заезжим знаменитостям. Это было предпринято, очевидно, исходя из опыта предыдущих чтений, когда одуревшие от хмеля мужики доказывали свою любовь к Макарычу топорами...

А на заднем сиденье без умолку молотил языком земляк из Белокурихи: «Чего загрустил, Сергеич? Смотри, гляди, наблюдай, как нас охраняют — будто на маевку собираемся. Запоминай, детям расскажешь...» И в самом деле, все, что потом на горе происходило, говорилось и слышалось, неотвязно напоминало грандиозный сабантуй. Люди сошлись, съехались, слетелись добровольно, за свой счет (не считая президиума) высказаться, выговориться про

жизнь... Сказать слово вольное на вольном просторе. А машины шли и шли... На тракте становилось тесно. «Обрати внимание на номера, земляк... со всех концов, со всех республик, все флаги в гости...» И правда, черт возьми! Магадане, молдаване, грузины, прибалты... Владивосток и Мурманск, не говоря про Сибирь-матушку... Я не верил глазам своим. Эти машины пришли своим ходом. А сколько народу пешком идет! Куда?! На Алтай! Черт знает в какую даль — в Сростки... поклониться писателю, который искал правду и умел сказать ее коротко, внятно, по сердцу...

В восемь часов утра мы стояли у школы имени В. М. Шукшина, напротив — здание старой школы, где учился Василий, потом сам учил и директорствовал некоторое время. Земляк из Белокурихи, Витя Ащеулов, бывавший здесь часто, повел нас к дому, что готовился через несколько часов стать музеем писателя, актера и режиссера Шукшина. Дом этот каменный, пятистенный, Шукшин купил для матери Марии Сергеевны, мечтая и сам когда-нибудь вернуться в него, пожить и поработать за столом со стопкой белой бумаги. Не дождалась Мария Сергеевна этого часа, продала дом, уехала сама в город, а когда дому выпало стать музеем, хозяева уступили его государству.

У Катуня спустились к камушку, на котором любил сидеть Василий Макарович и думать думушку. Прошли ливневые дожди, и Катунь кипела мутью. Мощная река. К слову сказать, четыре пятых воды в Оби до Новосибирска — воды катунской.

К одиннадцати часам на Пикете собралась тьма народу. Как потом выяснилось, по приблизительным подсчетам, около пятнадцати тысяч. Не хватало только моих пятнадцати повалихинских ребятишек. Они шли пешком и ошиблись днем. Открылась торговля. Гудел книжный базар, тормошились выездные ларьки, буфеты, лавки.

Играла музыка. По горе бродили известные писатели, смущенно ставя автографы на своих и чужих книжках. Мужики наяривали на гармошках, девки плясали, задоря друг друга забористыми припевками, мальчишки носились телятами, собирая автографы и пустые бутылки из-под газированной воды. Праздник. Чистая ярмарка. Но вот застучали топоры, завизжали пилы, в момент был срублен деревянный помост, напоминавший лобное место или театральные подмости, над ним возник огромный фотографический портрет Василия Макаровича, президиум занял свои места, и праздник вступил в свой официальный режим. В президиуме руководители края, района, прозаики, поэты, артисты... Весь народ, прибывший, как по знаку, сел на траву Пикета... без лавок и подстилок... Митинг начался. Василию Макаровичу исполнилось бы в этом году пятьдесят лет, но речи ораторов не пахли юбилейным ладаном. Речи были горькие, страстные, незаготовленные. Один оратор зажигался от другого, и все жарче становилось на Пикете, над которым собирались черные грозовые тучи, но никого не напугали они, ни один человек не поднялся уйти. Все ораторы говорили о великом наследии сrostкинскогo художника... Много говорилось о его трудном пути в искусстве, когда чиновники от кино и литературы долго не принимали его и он вынужден был, скитаясь по общежитиям, пробивать каждый свой сценарий, каждый свой фильм лбом, «молотком и зубилом». Не обошлось и без юмора. Квартирный вопрос Шукшина почему-то так часто возникал во многих речах, что с поля в президиум пришла тревожная записка: «А есть ли квартира у нашего земляка Золотухина?» Впрочем, для меня тогда этот вопрос был совсем не шуточный... Ну, да не в этом суть.

Один оратор возмущался выступлением известного писателя, который по Центральному телевидению объявил, что он-де, видите ли, признает Шукшина, но

не разделяет нездорового интереса к его творчеству, ажиотажа вокруг его имени. «Книги Шукшина, — кричал с горы в Москву оратор, — продаются в Чите, я видел своими глазами, на макулатуру, по талонам, как Дюма, Стендаль и По, а ваши там лежат и будут лежать, пока их не скупят для той же макулатуры, чтоб купить книгу Шукшина!» Аплодисменты. Другой оратор в пух и прах крошил легенду о Шукшине, как о некоем мужичке в кирзачах: «Человек, сдавший экстерном за десять классов, преподававший историю, русский язык и литературу, без устали читавший и изучавший историю своего народа, денно и нощно занимающийся самообразованием, мало говоривший и много слушающий, лицом и натурой похожий на ту землю, на которой мы присутствуем... Да нет, что вы... Это интеллигентнейший из интеллигентов к моменту создания «Калины красной». Аплодисменты. Товарищ из Калининграда сообщил, что одна из улиц города названа именем Шукшина. И так вышло, что она пересеклась с улицей Степана Разина. Долгие аплодисменты. Национальный алтайский поэт поведал, как он в разговоре с Василием Макаровичем упрекал его в том, что тот в своих фильмах неполно рассказал об Алтае, не засняв ни одного «узкоглазого»... Смех, аплодисменты. «А горноалтайцы, — продолжал свою мысль оратор, — защищали Родину во время войны наряду с украинцами, армянами и другими братцами». Овация. Гость из Чувашии сообщил собравшимся: «Со всей ответственностью заявляю: на чувашскую литературу самое большое влияние оказали Горький, Маяковский и Шукшин». Посланец Украины передал музею Шукшина книгу на украинском языке «Калина червона» и предложил на этой горе, над кручей Катуня, поставить памятник национальному народному глашатаю правды и страданий, как сделали они для своего кобзаря на Тарасовой горе по-над кручею Днепра... Но каждое выступление не обходилось без касательства

жизни живого Шукшина — как солоно и тяжело ему было, когда он еще видел, слышал, творил и не думал о Новодевичьем. Слушал я, смотрел на людское поле, и стыдно становилось за себя, вот какое дело. Как на углях сидел я в президиуме (и зачем поперся туда?), перебирая в лихорадке дни и дела свои. Плохо живу, чего там говорить, мелко, суетно... Надо начинать сначала, не выпендриваться, и главное — ни дня во лжи. «Нравственность есть правда». Так-то оно так, чего проще. Да только какой писатель скажет о себе, что он врет? В лучшем случае — ошибался, заблуждался... времена... К правде, к познанию ее иметь надо, однако, пророческую волю и Аввакумову страсть... А так это все разговоры. Василий Макарович, похоже, был близок натурой к подобным типам... Отсюда и мощь, опричь работы и дара.

Много было под этими святыми небесами сказано слов точных и прекрасных, мыслей глубоких и важных высказано... Но все они были как бы за упокой, как бы на похоронах... А мы же на празднике?! Говорилось не для него, конечно (ему ничего уже не нужно, он свое сказал), говорилось, ясное дело, живым и для живых: «Хлеб живым, бумагу живым». И это правильно. Но мне все казалось... что-то не то... Но тут как бы не обидеть кого. Вот до речей, когда пели, плясали, ерничали и каждый веселым словом вспоминал Макарыча, вот то мне казалось сутью чтений... А поминальные речи... что-то не знаю... Ведь дело-то веселое! И все соскакивало с языка пушкинское:

Не пугай нас, милый друг,  
Гроба близким новосельем:  
Право, нам таким бездельем  
Заниматься недосуг.  
Пусть остылой жизни чашу  
Тянет медленно другой:



Мы ж утратим юность нашу  
Вместе с жизнью дорогой.

Суровая доля у писателя была при жизни, но ведь судьба-то счастливая! Спор-то с судьбою он выиграл! И чего теперь столько лет кряду про квартиру и иные мытарства талдычить? Да кто, извините, из живых и присутствующих не мечтал бы, чтоб вот такая тьма народу к его «крылечкам» пришла поклониться когда-нибудь? Это же какой подвиг для народа надо совершить своим трудом, чтобы такую благодарность заслужить, память подобную по себе оставить! Счастливый он человек, Василий Макарович, ведь тропа-то не зарастает и не зарастет, пока будет стоять Пикет, метаться в скальных ладонях Катунь. «Дней для скорби у нас в избытке, а праздники редки», — сказала как-то замечательная наша поэтесса. А сегодня праздник у нас... и давайте праздновать, а не хмуриться.

Так примерно я думал тогда на Пикете, то и сказал, когда вышел к микрофону, и закончил слова песней из времен Степана Разина про млад-ясна сокола, что в опаленной степи с вороньем бился.

Не знаю, что стряслось со мной на Пикете... но заметалась моя душа в отчаянии, что не так живу, не там и не то делаю, празднословию и корысти предаюсь... А ведь что-то могу, наверное... не подобно титаническое, но свое, честное, нужное кому-нибудь тоже. И заторопился я к работе, домой. Но в свою деревню, к старшему брату завернуть надо. В Чемал уж не успею, конечно, а «крылечко» свое повидать обязательно. И попытаться не дать ни на какие горя его перетаскивать.

И тут как кто угадал мои мысли. Подошел ко мне второй секретарь крайкома и не спросил — выстрелил, почудилось, за грудки взял:

— Что делать с твоим Быстрым Истоком? Переносить его на горя или нет... Как думаешь? Отвечай.

И я ему в тон, только чуть тише:

— Ни в коем разе, слышите?! Ни в коем случае — это глупость. — И еще тише, заговорщически: — Да вы его и не перенесете... Мужики упрутся...

— Замучил он нас, понимаешь? Приезжай в Барнаул, потолкуем. И перед земляками пора отчитаться.

И пошел секретарь открывать музей Василия Макаровича. А я варежку раззявил — вот это да! Надо же, с артистом, с человеком, оторванным давно от земли, руководитель совет важный держит! А почему нет... Ведь вот Макарыч не отрывался... воевал, а почему я должен быть с краю, когда решается судьба моего села? А вдруг и мое слово в общем хоре прослышится?

У могилы Марьи Сергеевны постояли, поклонились праху ее, за сына поблагодарили. Земляк из Белокурихи загоревал:

— Обещал я покойнице, что на Новодевичьем побываю непременношим образом и сына навещу, как только буду в Москве. Она мне землицы пикетской в платок завернула. «Рассыпь, — говорит, — милый, на могиле за всех нас». А я вот все не соберусь никак.

— Давай, Витек, я свезу землицу, выполню наказ, сдержу твое слово.

— Нет, свое слово я сдержу сам. Уж когда, не знаю, а сдержу сам.

— И то верно. Тогда по коням, в Быстрый...

## У брата

Погода сухая. Мы ехали скоро. Проскочили Смоленское, Усть-Ануй, Старотырышкино и горячи быстро стали приближаться к родному селу, вернее, пока еще к его «пасынку», поселку Приобский...

Года три назад приезжал я также к брату в гости (в тот приезд как раз я и повстречал Шукшина теплоходом на Оби). Тогдашний руководитель района привозил меня сюда, на гаря́, показывал поселок, говорил о трудностях, преодолеваемых тем не менее, о перспективах... Постояли мы и у мемориала, что сооружен в память павших и обсажен навесистыми березами. Похоже, руководитель гордился своим детищем, считая поселок, быть может, главной заботой своей, безусловно, полезной деятельности. На мой вопрос: «А вода?» — ответил: «Ищем... а тот, кто ищет, тот известно... пока привозим». «Не поздно искать собралось? — подумал я. — Дома-то отгрохали, что твои Черемушки, а воду... ищут. Ну, да ведь знают, чего делают, им видней, на местах законы скорые, стало быть, и край поддерживает, и мужики в согласии. Начинание солидное, с размахом задуманное, и сделано вона сколько, однако брату я не посоветую сюда забираться, нет, не посоветую... Его веку хватит там, у реки. А заберется, пусть в гости не зовет».

Это было три года назад. А нынче... Застал я брата за привычным крестьянским делом: новое корыто свиньям ладил, которых к зиме держит. Затопили баню. Сели курить в огороде, я и спрашиваю ехидно: «Ну что, Иван Сергеевич, когда думаешь со своими свиньями на гаря́ эвакуироваться? Может, помощь требуется, так прилечу». — «А мне зачем в эти «каракумы» забираться? Мои свиньи через два дня сдохнут там без воды. А тут ты вот два раза качнул — и на семь мужиков баню истопил. Это же надо додуматься: деревню от реки в пески тащить. Скот орет, иной раз по три дня не поен. Воду возить, хлеб возить, на работу возить... А где техника? Да мыслимо ли это дело? Ладно. Стали скважину бурить, воду добывать, еще тогда... А там пльвун, один пльвун, он жидкий, а воду-то не возьмешь, он обманул их, понимаешь? Ты глядел у меня огород, чё в нем только нет, язви тебя, от тропических до северных

культур. Это же земля! Жердь воткни — лук вырастет. Мы на гарях только картошку сажали. Помните, я вас туда на велосипеде отвозил, с тляками? А теперь мне говорят: ты живи там, а сюда тляпать ходи! Ну? Это как понимать? Там живи... Вон изба... Она двадцать лет простояла и еще тридцать простоит, а тронь я ее? Да разве я ее соберу на песке? Опять же так... наводнения боятся, а мосты завалили?! Ведь раньше в одном Быстром Истоке только двенадцать мостов было: там мост... там мост... там... А почему? Зачем мужики рубили в селе столько мостов? Не только для проезда. А чтоб воде было куда отступать. Вход она без тебя найдет, ты ей выход организуй. Есть вход, должен быть и выход. А тут... бульдозерами — раз — и завалили. Она вошла, а деваться ей некуда, поймали — она и стоит, киснет. Я картошку сажаю, а Павел Николаевич еще плавает, ну к чему это? Асфальт — хорошо! Но ты мосты-то не заваливай. Это же естественный, природой обусловленный проток, мужики-то раньше не дурнее нас были. А этим что, они не местные, им тут не жить. Они «наруководили» да уехали. А нам тут жить, и детям нашим жить. Или вот: они больницу на гаря перетащили! Мыслимое ли дело? Бабе рожать — волокнн ее за семь километров на гаря. А на чем, на себе, что ли? В Петропавловке рядом колхоз три мельницы построил. Сначала дробили для скота, через год приобрели другие вальцы, стали молотть третий сорт, через год — второй, в прошлом — подкупили оборудование, на блины муку гонят. А у нас единственную хотели в Смоленское отдать. Уж оборудование отвезли, рамы оконные стали выставлять, да хватились — чуть район без хлеба не оставили. Печь-то не из чего, муки нет, из Смоленки хотели муку возить! А она, эта мельница наша, добрая была, она район мукой обеспечивала, и колхозники себе мололи. И опять же почему? В Петропавловке мужики местные, они там выросли, они там живут и жить собираются, потому они и материально и морально живут лучше. А тут

что получилось? Смуту и уныние у людей посеяли: многие стали сниматься с места, по разным углам бежать, у кого где приют — родные, знакомые, кто где кому какую жизнь посулит, а другие просто забросили свои хозяйства, дворы: чего, дескать, спину ломать, когда все равно, вроде того, что тут не жить. Видишь ты, какая гниль-то вместо морали получилась. И выходит, что эта чумная затея с горями хуже наводнения. Мужики-то, кто помудрее, понимали и понимают, что это с временем лопнет, оно и лопнуло уже, считай. Видишь, какой себе сосед домину капитальный отлил? Куда он его потащит? Значит, жить здесь собирается, да и не он один. Едем дальше, гляди сюда, чего выдумали: для того чтобы заставить людей на горях строиться, — отменили страховку... Раньше бывало как? У тебя погреб затопило — на тебе пятерку, кот у тебя утоп — на тебе тройк. А теперь, мы, дескать, вас предупреждали, стройтесь на горях, так что теперь вы ничего не получите. Да ты здесь порядок наведи, подыми упавшее село, оно само этот несчастный поселок за волосы к жизни вытянет. Все хотят — раз! И медаль на грудь. Мемориал отгрохали, четырехгодовалые березы в песок воткнули... Ну и что? Ну и засохли... Потом возьми: сахарный завод свой кусок берега крепит, нефтебаза крепит, «Заготзерно» крепит, пристань крепит... там осталось-то всего ничего. Так почему же раньше-то нельзя было всех организовать, миром подняться да в дамбу денежки вложить, если лишние, а не затевать черт те чё ни попало. Быстрому Истоку, считай, уже двести с лишним лет. И ты погляди — ни одно селение не стоит на песках или в местах, где не протекала бы маломальская речушка. Эти речушки и Обь питают и ею очищаются, потому и текут вечно. Наводнением пугают... Да мне иной раз, правду сказать, для разнообразия жизни и интересно к крыльцу на лодке подгрести... А что? Чем не Венеция раз в десят лет? Ленинград, считай, каждый год топит, а его не переносят, а выносят постановления: крепить берега.

А мы что, вшивые, — нас в «каракумы» тащить? Быстрый Исток, он на водной магистрали заложен, он на Оби стоит, он стратегическое значение имеет, он...»

Тут я прерву моего брата, кажется, я сам начинаю за него говорить, тем более что упрек «им тут не жить» и по мне чиркнул краем.

Следующий день мы провели на реке — сначала на Оби, вечером на Петравушке, что почти по самому селу протекает, славной, глубокой, с тихим течением, а потому всегда прогретой речушке. Мне хотелось пройти через все село босиком, как когда-то. Быть может, через голые пятки земля родная попитала бы еще меня, но я не смел, потому что вырос, большой стал и... «что люди скажут». Сейчас жалею.

Уезжая от родимых крылечек к крыльцу родной Таганки, станция метро которой выложена алтайским мрамором, я думал примерно так. Конечно, Быстрый Исток останется на своем вековом месте. Вопрос этот сейчас решен, да и был предрешен объективно, а задним умом горазды все, в том числе и мы с братом. Главное не в этом. Перелистывая теперь внимательно и без восклицаний эту неоднолетнюю историю, мы обязательно извлечем для себя полезный на будущее корень, необходимейший урок. Подобная бестолковщина, лелеемая иногда долгими годами при самых благих намерениях, встречается зачастую и, к сожалению, в самых различных областях нашей жизни... А сколько ее в нашей московской жизни, театральной? Да и во всякой другой?

Встречается, чего шило таить. Тратятся средства, тратятся силы, затрачиваются энтузиазм... а глядь — здание-то на песке.

И все-таки в конце я не мог удержаться, чтобы не упрекнуть моих любезных быстрян. Я слышал без конца: «Они сделали», «Они придумали», «Они...» Все — они... А кто они? Они — это же вы! А где были вы? Куда смотре-

ли? Чего думали, когда сами делали? Знали и молчали! Где было так называемое общественное мнение раньше? Или моя хата с краю? Или наводнение смыло за моря здравый смысл?! Нет, значит, мало мы любили свой Быстрый Исток! В своих несчастьях большею частью виноваты мы сами, а не дядя с тетей. Приступая к любому делу, нам, очевидно, прежде всего полезно помнить, сознавать — нам здесь жить! Так будем же рачительными хозяевами своей земли и не станем в младенческом безрассудстве причинять ей столько болей — коль мы знаем, мы решили: нам здесь жить!

«Ты решил в Москве жить, вот и живи на здоровье... Своим делам, своим детям ума дай. А в наших делах мы уж тут как-нибудь без сопливых теперь...»

И то правда, однако... Тогда по коням... тогда в Москву.

### Могила № 1–3 — 3

Через год в Москву по зиме, по срединному декабрю, приехал Витя Ащеулов с салом, калиной, облепихой и семечками. «Семечки для присухи: пощелкаешь — и сразу опять на родину потянет». Снабжен он был официальной бумагой, что-де податель сей петиции занимается сбором материалов о Шукшине и о других деятелях литературы и искусства — земляках-алтайцах, и чтоб те, к кому он обратится за помощью, посылно помогли бы ему в его исканиях. А главное, конечно, землю с Пикета привез, что Марья Сергеевна в платочек завернула когда-то.

Гулял мой земляк по столице, заглядывал в театры, в музеи, по людям ходил, знавшим близко Шукшина, дневник вел, а визит свой на кладбище все откладывал — готовился. За два дня до отъезда встретился он в Астраханских банях с людьми алтайскими, сведущими, которые его и настави-

ли, сказав, что так запросто на Новодевичье не пускают, попробуй с милиционером договорись, глядь — и проскочишь. Отложив в своем уме накрепко этот опыт, отправился Витя на следующий день к Василию Макаровичу. Я — на работу. Расстались мы на станции метро «Таганская», что алтайским мрамором отделана, и помчались каждый по своим кругам. Крутился я, вертелся целый день, прихожу со спектакля, стоит мой земляк посередь прихожей, как замороженный, босиком, руки в брюки и головы не поворачивает.

— Ну как, Витя, сходил к Макарычу, рассыпал землицу?

— Не рассыпал... Не пустили...

— Как?!

— А вот так... Целый день морозный мытарился у ворот, а к Макарычу не проник...

— А ты точно на кладбище ездил?

— А где ж я целый день колыхался?

— Да кто тебя знает! Может, в баре пиво лакал...

— Да бог с тобой! Хошь нарисую, как оно выглядит?..

Стена, значит, красного кирпича, метра в три... ворота железные... за воротами...

— Шучу, шучу...

— Главное, собралось у ворот человек пять-шесть, все из разных мест, и все к Шукшину. «А почему не к Чехову или Маяковскому?» — милиционер нас спрашивает. «Да и к ним зайдём, если пустите и время будет. А откуда мне, деревенщине, знать, что они здесь тоже лежат, к примеру. А это земляк все же». — «А Гоголь, — говорит, — вам не земляк?» Так слово за слово, а воз ни с места.

Партнеры мои, видя такое дело, расходиться стали. А я надежды не терял. Обошел монастырь кругом, дырку искал в стене, лазейку какую... Нет, замуровано надежно. Ох, и обидно стало. Главное, там земляк — ты земляк, а попасть к нему, поди ж ты, не так-то просто. Лежит он себе умиротворенно, среди многих маститых соплеменников



и не знает, что земляца материнская рядом в кармане у Витьки Ащеулова за стеной мается...

— Вынул бы из-за пазухи и показал землю сержанту...

— Да показал, Сергеич, не помогло. А уж когда я ему рубль железный протянул, он меня вообще проигнорировал взглядом...

— Ну, ты догадался, Витя!.. С виду умный парень... Деньги милиционеру совать?! Ты же оскорбил его. Поставь себя на его место!.. За рубль — к Чехову, за два — к Гоголю, да?

— Ты на мое место себя поставь! Мне ж улетать завтра...

— Какого же рожна ты две недели собирался? Ты зачем сюда приехал?!

— Откуда я думал, что такие строгости? Я знал, что кладбище мемориальное там... и прочее... но не до такой же степени...

— Они подшутили над тобой, а ты, простодырина, и поверил.

— Что уж простодырина — это точно. Ты дальше слушай! У меня ведь бумага от писательской организации с собой. А я про нее только к вечеру и вспомнил. И в управление кладбищем с ней. Ясное дело — выписали пропуск без звука! На вот те, думаю... Наконец-то дождался Макарыч земли материнской. С пропуском опять к нему. Взял он мой пропуск, поглядел на меня подозрительно, на четыре части его — и в урну!

— Ну не может быть! Если пропуск выписан — это документ для всех. Витя, дорогой, он просто заметил, что ты выпивши — и имел право: еще натворишь чего-нибудь с горя или уснешь в чьем-нибудь склепе...

— А что мне было делать! Ветер-то вона какой! У меня сопли к воротам примерзли... Этак, думаю, и простыть можно за здорово ночевали, а приехавши на Алтай, и в больницы слечь и помереть от тоски... московской. Ну, я и ополоснул себе нутро четвертинкой «для сугреву»...

— Одно к одному и получилось: то деньги совал, то... Хорошо, он тебя в вырезатель не сдал.

— Это я уж здесь маненько добавил, пока тебя ждал... Как же я домой-то вернусь, Сергеич? Ведь ясно же, спросят земляки: у Шукшина был, проведаль? Что я им скажу? Что?!

— Не реви зря! Сам виноват. Надо было сразу идти за пропуском в управление, раз у тебя поручение есть, а ты не сообразил вовремя...

— А если человек решил в самом деле Гоголя навесить — у кого ему прикажете путевку оформлять?

— Ладно, не ерещенься, ложись. Утро вечера...

С вопросами без ответов и спать легли. Но сон не шел. А тут еще жена разнервничалась.

— Как вы надоели мне со своим Алтаем, кто бы знал! Пусть отнесет свое сало на кладбище завтра... Семечки, калину эту идиотскую... Кто это есть у нас будет? Пустят они его! И когда ты только наиграешься в крылечки свои алтайские! Ведь не мальчик давно и не дед еще, чтоб на крылечках время проводить...

До четырех утра ворочался я с боку на бок от грустных мыслей разных, плюнул на бессонницу, встал и, чем лежать потеть и мучиться, начал слоняться из угла в угол в махровом халате с кистями (такого фасона, в каком Василий Макарович командовал разврат-парадом в «Калине красной»).

На стене против рабочего стола моего для чего-то — опять же кому-то в подражание — приколоты мною три бабочки, в разные стороны как бы летящие. Маленький мальчик мой спросил однажды: «Папа, а твои бабочки летают?!» — «Как же они могут летать, сынок, когда они засушены?» — «А если их поливать, они полетят?» — «Нет, сынок, они засохли навсегда».

Но я вижу во сне иногда, как к ним по ночам прилетают их живые собратья, такие же разные мотыльки и бабочки,

ласкают и обнимают мертвых моих. Хотят, очевидно, с собою забрать хотя бы таких, неживых. И я начинаю всех прилетающих прищипливать торопливо и прикалывать весело. А они все летят и летят, а я все прищипливаю и прикалываю, и руки кровят от старания. У меня уже нет ни булавок, ни шпилек, ни сил. А они летят и летят, садятся мне на голову и спят глаза!!! Они уже по колено, по грудь... Они засыпают живого меня...

И я кричу во сне: «Мама!» Раздираю глаза и вижу сквозь слезы: на стене все те же три... ненужных и неинтересных мне, приколотых когда-то кому-то в подражание, которое в начале пути простительно, а по сути мертво.

Иногда я кажусь себе такой же вот бабочкой, приколотой к листу или экрану ядовитым пером подражания... «Днем я сниму их и похороню в цветочном горшке, чтоб сны эти закончились».

Слоняясь от бессонницы, вспомнил я и другой сон, что являлся ко мне тоже не раз. Прихожу в театр играть «Дом на набережной» и слышу вдруг по трансляции, что идет «Гамлет» и Гамлета играет Гамлет!! Но Гамлет мертв, я это знаю?! Я нес крышку гроба его! В паузе мы встречаемся... Все тот же он... не умиравший никогда. Во взгляде моем он слышит вопрос, говорит: «Это была ошибка... я просто уснул... Почему мы редко видимся с тобой и мало говорим... Надо чаще видиться и разговаривать... Доиграй за меня второй акт, будь любезен, а я — в Америку...» Подумал и согласился с собой: «Ну, что ж, в Америку, так в Америку». Какую Америку, думаю, почему в Америку?! А... Вояж в Америку?! Да ведь это же Свидригайлов его!!! Вон какая у них Америка!! Тут мой сон обрывается и холодно мне всякий раз... За какими горами моя Америка?!

Хорошо, что сегодня бессонница. Надо записать Витькин рассказ. Я включил магнитофон и долго шептал в микрофон сюжет о платочке с землей и ночные комментарии. Земляк проснулся и, ничего не понимая, ошалело

смотрел на меня. Потом я собрал на всякий случай все свои грамоты, какой я есть распечатный милиционер, надел лучший костюм и решил ехать с Витькой на Новодевичье скандалить. Но когда рассвело окончательно, пыл поугас, а уж когда к воротам подкатили, совсем исчез.

Чего скандалить, думаю, для чего, зачем и по какому, собственно, праву, когда неясно, кто тут больше виноват, — лишь бы пустили...

Нас пустили и проводили к могиле. Могила как будто прибрана только что кем-то, в живых цветах под целлофановой пленкой. С левого края портрета — гроздь калины.

Витя приподнял краешек целлофана и высыпал из платка на могилу алтайскую землю. И заплакал. За ним и я. Выходит, не зря он ее хранил, берег и вез за тысячи километров, веря, что к земляку он когда-нибудь все-таки придет, через все расстояния и придуманные препоны.

— А скажите, прав я или не прав? — остановил нас при выходе постовой дежурный, веселый кладбищенский философ, как выяснилось, и книголюб. — Ведь Шукшина имел в первую очередь в виду Высоцкий, говоря:

«Ушли друзья сквозь вечность-решето, им всем досталась Лета или Прана. Естественной смертию — никто: все противоестественно и рано».

А я спорю с ним. Рано... еще ладно. А почему противоестественно? Ведь не с Эвереста слетел, не с печки об лавочку, а ручки под щечку — и затих. Прав я или не прав? Рано? Он мог бы еще много сделать? Написать, сыграть, снять? А зачем? Это что, повлияло бы на наш прогресс? Чувства добрые, что ли, он в людях пробуждал? Передвижники были убеждены, что если каждая баба повесит у себя в избе хоть одну их картину — и культурное самосознание у нее переменится. Сейчас телевизор в каждом доме, а самосознание бабы, если судить по моей... Когда бы каждый занимался своим, отпущенным ему делом — это и было бы

нравственно. И хватит с каждого. Кто-то из классиков, не помню, мысль примерно высказал такую: каждый класс, профессия имеют мораль свою собственную, которую они нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно. А иначе мне тогда не надо было бы идти в милиционеры. Неужели я родился для того, чтобы тут стоять и не пускать вас к мертвым? Так же и он... Не лучше ли ему было потратить время и сердце на воспитание из своих дочек человек, а не размахивать кулаками перед лицом их матери и на их глазах. Да не возмущайтесь, ребята, не делайте вид, что этого не знаете. Я люблю вашего земляка не меньше, чем вы. Не надо защищать и приукрашивать, он не нуждается в этом. Толстого он вам не заменит, а Шукшиным останется...

И хоть ни спорить, ни винить никого нам не хотелось, решили мы все-таки зайти в управление и выговориться — быть может, и наши речи будут пользе навстречу.

«Понимаете, как выходит-то все по-ненормальному, — пытались передать мы свои корявые чувства заведующей кладбищем, которая и без нашей морали давно все понимала и знала, но терпеливо внимала нам, такими мы выглядели, очевидно, немощными и израненными, особенно после лекции философа-книголюба. — У Рязани — Есенин, у смоленских — Твардовский, у Ангары — Распутин, а у нас — Шукшин. И вот человек год собирался, деньги копил, откладывал на дорогу, чтобы поехать поклониться последнему приюту земляка, омыть, так сказать, душу свою его наказом, а по возвращении детям передать, чтоб хранили землячество и дальше несли память о родине, — а ему тут такой «привет». Покой покойников бережем, и это замечательно, но и живых утешать надо, а так... бессердечность какая-то...»

— Мы узнаем, кто дежурил вчера, с кем ваш товарищ не нашел взаимопонимания и почему. Что поделаешь? Нет у

нас еще полного контакта с охраной: мы их подозреваем, они нас проверяют. В некотором роде — двоевластие. Со временем образуется, думаем... Не принимайте частный случай за общую картину... Передайте всем на Алтае: пусть приезжают, всех пустим к земляку, никого не обидим.

На прощание она выписала нам постоянные, вечные («Дети ваши будут ходить!») пропуска на кладбище.

— А номер могилы внесите своей рукой. Номер вашей могилы 1-3 — 3.

## Заключение

С чего начал я рассказ и к чему пришел... Что я хотел сказать и сумел ли... Что я замысливал, я как будто знаю. Подчинился ли замысел моему умению? Я мучаюсь отсутствием нужных слов для выражения моих и без того путаных мыслей. И я мешаю жанры. Одно мне ясно — жизнь сначала не начнешь. Да если и начнешь, опять время расстреляешь на потребу момента. И в результате время расстреляет тебя. Где я? Одной ногой в деревне, другой в городе, и чем больше дней проживается, раздеряга увеличивается. Образование зафиксировано дипломом, образованности нет.

Тоска от суеты зеленая, от телефонных звонков, от билетных забот — кому в театр (детсад, магазин, поликлиника), кому на транспорт (самолет, паровоз, автобус), от забот благотворительных... А кому-то телефон выпросить поставить (концерт шефский дать, в театр на «Мастера и Маргариту» сводить), за кого-то в исполком за жильем сходить, в жилконторе похлопотать. Мука беспросветная оттого, что по каким-то не твоим причинам ты играешь не то, что любишь, а репетируешь не то, что хочешь, но надо. А тут еще лепишь дачу, на которой жить некому и которая заставляет тебя бегать по бесконечным заработ-

кам рублевым... и не читаешь книжку, и не пишешь строку, нужную хотя бы детям твоим.

Кто кричит, что у него нет времени делать главное, тот, по-моему безбожно врет. Значит, оно ему не нужно, нет у него этого главного ему нечего сказать, и он легко находит возможность и оправдание разменять свое время на медяки. И свалить все на жену (которую вот уже три года не можешь заставить связать тебе варежки).

От всей черноты этой и вопишь в поту по ночам: «Не могу так жить, не могу, не хочу... не хочу и не буду!»

А поутру все сначала. И все-таки...

И все-таки ты не прав, кладбищенский охранник. В сорок с лишним или без — это и противоестественно, и рано. Не о долгожитии хлопочу, тем паче о небожитии. Но погулять на свадьбе у дитя своего да на внуков взглянуть — это ты человеку отдай. Василий Макарович не успел этого. Похоже, он и не торопился к тому. Он спешил в другом. Он не был рабом вещи, гнезда, рабом ложной идеи. Он приходил дать нам волю, и теперь землячество его — вся разноязыкая семья наша и даже дальше! И это правда.

# КНИГА ВТОРАЯ





# Между «Юностью» и «Плейбоем» Главы из романа

## 21-й километр

Муж застаёт любовника своей жены в своей квартире, в своем халате, со своей опасной бритвой в руках.

— Я не приветствую вас, — говорит он ему, — не бойтесь, с вами ничего не случится, но... я вас добрею.

Он бреет его долго, старательно: щеки, горло, голову... Потом мужа обвинят в садизме. Под бритвой — народный артист известного театра Владимир Шелепов — вспоминает свою жизнь. Предлагаемая глава — часть большого криминально-театрального целого.

Уговаривать читателя не проводить параллели — бесполезно. К тому же автор рискованно делает это сам, грубо сшивая факт с вымыслом, соединяя несоединимое, как жир с водой.

На мысль опубликовать этот фрагмент в «Юности» натолкнуло меня случайно попавшееся на глаза давнее письмо Б.Н. Полевого.

Спустя несколько лет я выиграл спор с прототипом героини романа, опубликовав главу «21-й километр» в «Плейбое».

Между «Юностью» и «Плейбоем» уместилась вся моя жизнь.

Итак, письмо Б.Н. Полевого.

*Дорогой Валерий!*

*Простите за то, что называю Вас так фамильярно, но, ей-богу никто в «Юности» не смог сообщить мне Ваше отчество. Да оно, для людей наших профессий, в общем-то и не нужно. Бог с ним. Всего только устарелый византизм.*

*Перечитал в сигнале Вашу маленькую повесть. Когда читаешь в сигнале, то есть в журнале, все по-другому видится. Вот теперь могу Вам сказать, что очень неплохое сочинение Вы создали. И мило, и свежо, и своеобразно.*

*Мне бы очень не хотелось наносить какой-нибудь хотя бы и самый малый ущерб Юрию Петровичу Любимову, моему доброму другу и вообще славному Театру на Таганке. На такие антикультурные действия я вообще не способен. Но если без ущерба для основного производства, как это делают московские ударники, Вы сумеете написать еще что-то, обязательно покажите в «Юности». С интересом будем ждать.*

*Всего, всего хорошего и Вам и Вашему милому театру,*

*Ваш*

*С. Чехов*

Они приехали в Москву на курсы повышения квалификации. Англо-французские, двуязычные, двухмесячные курсы для специалистов технического перевода. У стойки администратора гостиницы «Заря» — толчея. В основном — женщины. Молодым женщинам нужны отдельные номера. За любые деньги. Об отдельных номерах не может быть и речи. Группа расписывается в 3-, 4-, 5-кочные комнаты. В стороне от всех — двое. Они ждут знака. Они уже нашли друг друга: по взгляду, одежде, репликам, манерам — как, нам не понять, но эти женщины спарились, хотя видят друг друга впервые, однако им надо жить вместе. Их связывает одна проблема, единая сущность. Приязненный взгляд, шепот — и в недра администраторского прилавка ныр-

нули башкирский мед, калмыцкий кумыс и уральский бальзам. Номер на двоих. Две кровати, две тумбочки, два стула, один стол и один на всех громадный шифоньер, но — главное — телефон. Туалет общий, далеко по коридору и вообще... И все-таки это удача, и ее надо закрепить:

— У меня в Москве, — говорит та, что постарше, расставшаяся с уральским бальзамом, — есть любопытный знакомый, человек вам известный... Им мы можем заштриховать клеточки нашей культурной программы.

— Кто?

— Владимир Шелепов из Таганки.

— Делай звон, Наталья.

— Неудобно. Я боюсь, он не помнит меня. Это было давно.

— Вам было хорошо...

— Ох, как нам было хорошо... И сейчас хочу так. О-о-ох, как хорошо...

Она каталась по кровати, ласкала груди, стонала — хочу Шелепова, — ее язык пульсировал во рту, как у собаки в зной. Другая наблюдала за ней, резюмировала:

— Если ты так под ним кричала, он вспомнит звук. Делай звон, Наталья. Давай я наберу, у меня рука легкая.

— Алло! Минуточку, с вами будут говорить.

— Добрый день. У вас память хорошая? Была. А сейчас... Давайте вместе проверим вашу память. Ленинград, гостиница «Выборгская». Наташа из Свердловска. Потом Москва, гостиница «Полет», голубой халат...

— Да, конечно... халат не забывал, ждал писем, мы договаривались, я посылал вам книжку свою.

— Писать не люблю, но память у вас еще свежая. Запоминайте цифры телефона... И он запомнил.

Он не помнил ее лица, глаз, одежды, обуви. Он помнил шевелящуюся голубую массу в атласном халате, под ним потные кочаны грудей и шепот в ванной: «Я кончу от рук, пой-

дем туда...» И там роскошную заднюю позицию обхватом в две подушки пуховых и крик под собой: «Кончай меня, дружок, кончай... глубже... глубже... еще, еще... а-а-а-мама-а-а...» Кто бы ни сказал — мы женщину любим в деталях, — он был прав. Детали у нее были траховые и в аховом количестве. Целой он ее не запомнил. От ее целого он отворачивался. Он вполне удовлетворялся ее частями, по очереди.

Итак — он запомнил цифры телефона. И теперь они встретились в «Заре». Подруга, как потом прояснилось, повышала кому-то квалификацию в соседнем номере.

— А кто живет на той кровати?

На спинку «той» кровати живописной приманкой были искусно брошены дорогие интимности женского туалета.

— О, моя знакомая по группе... Глупа до очарования, но такая же красивая, тоже замужем, тоже, говорит, не любит мужа. Дочери восемь лет. Мечтает свалить в Югославию... Но ее не выпустят, режимное предприятие... Проблемы с допуском. Но здесь и у себя порезвиться любит... Третий год резвится с сербом. Он и красив, и спортсмен-шахматист, раллист... и один из директоров какой-то фирмы, и не женат, главное. А у нее еще два любовника в Элисте.

Культурная программа не спеша выполнялась, как и наезды в «Зарю». Он показывал им спектакли театра, чаще те, в которых сам не участвовал. Но бывало и с ним.

Наташа приходила к служебному входу. Подругу оставляла за углом. Не показывала ее. Нарочно не показывала. «А то влюбишься». На одном спектакле он разглядел ее со сцены достаточно, но бюст (воображение дорисовало). И решил ее оседлать. Разглядеть целую и подробно. И разглядить. В следующую культурную пятницу он назначил подружкам свидание раньше обычного. Занял позицию у окна театра на втором этаже и стал дожидаться. Из этой позиции ему отлично просматривалось место, где Наташа обычно оставляла свою подругу. Он увидел ее с

высоты под пологим углом и обмер от любви. Его оптический зрак мигом схватил, как хороша она вся. Деталь № 1 гармонично и элегантно переходила в деталь № 2. Как хороши несущие ее стремительно ноги, как замечательна прямая спина и горделиво закинутая головка, что-то о себе понимающая, — вся фигурка олимпийская, точно из теплого дерева точенная точным коненковским резцом, и при этом вольно вздыбленные, не уместающиеся в воображении груди, которые в деле потом — в руках и на вкус — превзошли все его ночные фантазии.

Его неудержимо, как ртуть навстречу ртути, повлекло к ней с этажа вниз... Наташа не успела отвести подругу в укрытие. Его обожгло. Он отвел взгляд. Смотрел на Наташу, пуча глаза, но не видел пред собой ничего. Он был измотан, вял, стар и без воздуха. И перепуган надвигающейся перспективой. Как через полчаса играть про любовь... Где силы взять, Господи. Хоть голову помыть, что ли. Что-то мычал, лепетал невнятно про усталость, все больше веселя ту, с белыми крепкими зубами, с бюстом навзничь, ладную и целенькую — ладьевидную, вот точное слово — во всех деталях.

Звук голоса отозвался ему всплеском весла вечерней теплой зарею. Зарею, заря... на заре... В «Заре»... Господи! Сгинь, нечистая... А она: Ла — весло в воду опустилось — ри — поднялось весло — са — капля последняя в воду стекла. Как же играть-то сейчас, играть-то как?! Волосы небрежно уложены ловко в прическу, одна прядь шальной, плутливый глаз занавесила хитро. Запах от прядей этих сниться будет и беситься заставлять много лет потом подряд. «Нет, с этим бы я не легла», — смеялась про себя красавица. Он на секунду, длиною в жизнь, потерял свою геометрию в ее пространстве — где кончаются у нее глаза и начинаются ноги. А она про себя: «Нет, не легла... бы. Никогда». Спасительно ухватился в небе за крест собора Святого Мартина Исповедника...

— После спектакля сюда, — прозвучало как приказ, — к этой самой грязной машине в Москве. — И пошел, сутулясь, в чрево театра.

Играл он превосходно. Как говорили потом, в лучших традициях старых мастеров. На сцене она не узнала его. Он преобразился весь — от лица до пряжек башмаков. Всю горечь, всю боль посредственной карьеры своей, всю нежность, на которую он был способен еще, все слезы по несыгранному Гамлету и крах несложившейся семьи вложил он в уста мольеровского двойника в тот вечер, посвященный ей.

А она про себя: «С этим бы я... нет... легла».

После спектакля к его самой грязной машине в Москве подошел огромный черный человек и что-то сказал на английском языке. «Что он сказал?» Лариса перевела: «Он сказал, вы — гениальный русский актер... Спасибо вам за великое искусство».

«Что? — завопил Шелепов. — Бог тебя послал, милый, в такую минуту».

Он кинулся из машины, догнал негра и достал его в губы.

«Все за меня, и люди, и судьба», — сказал он, вернувшись к подругам. А про себя подумал: «Ну и что, что у нее три любовника и один муж. Будет буря — мы поспорим».

С пятницы на субботу и в воскресенье Наташа уезжала всегда к родственникам в Иваново. Эти каникулярные от нее паузы зарубились в закоулках его центральной нервной системы давно. Подруга в «Заре» оставалась одна. Жена с маленьким сыном отдыхала на юге. В субботу ему необходимо было попасть на дачу, отвезти продукты, краску тестю для забора и как стимул оставить ему втайне от тещи в сарае бутылки две портвейну. Водки он не достал. Кто-то наваял, бери четыре, там разберешься. Наваянному внял — взял шесть. Ехать рано утром. К вечеру вернуться в Москву — будет звонить жена из Мисхора. Да как к вечеру!?

Что вы, братцы... да за это время ее сорок раз умыкнул из номера. Да зачем из номера — в номере, на той ее кровати. Нет, если брать ее, ее надо брать сейчас, тепленькой, пока головка ее слабенькая не заработала — только бы ночевала она сейчас в той своей постельке. Он набрал «Зарю». «Лариса Александровна! Ради Бога, простите за ранний звонок. Наташи нет? Ах да, в Иваново... она что-то говорила... Значит, уехала... Ну, всего доброго».

Так. Дома!! Ура... спит... Ну, спи, спи, кисанька. Сердце — пламенный мотор. Пальцы, уймись, перестаньте дрожать. Как перейти к делу? Что сказать? Кобель старый... за 47 лет не научился двум-трем фразам джентльменского набора. Не говорить же в лоб — поедем, красотка, кататься. А почему не в лоб? Да потому, что она на 20 лет моложе тебя. При другом расположении звезд она могла быть дочерью твоей, а при этом расположении может стать женой твоего сына. Ведь старше же твоя первая жена на семь лет своего второго мужа. Не теряй времени. Взять с собой... Не доезжая дачи, оставить у приятеля. Откажется ехать так далеко, звать куда угодно, хоть к черту на кулички, но не оставлять, не отдавать, сулить золотые горы, лишь бы выманить ее из гостиницы, а там будь что будет, что-то соврется на ходу, что-то придумается — война план покажет. Он снова набрал «Зарю»:

— «Заря»? Простите, это опять я — зяблик. (Она засмеялась.) Скажите, вы способны на авантюру?

— Не знаю, может быть, а что?

— Поедьте со мной в Загорск, составьте компанию. Погода удивительная... Что вам сидеть в номере и отбиваться от звонков... Вы же не были в Загорске, а быть в Москве и не увидеть Лавру.. Не поклониться русской святыне — мощам заступника российского Сергия Радонежского. Быть может, у вас это первый и последний шанс в жизни.



— Я еще сплю... Пока я встану... Приведу себя в порядок.

Ой-ей-ей... Кажется, соглашается, теперь не вспугнуть...

— Лариса Александровна! (Он подчеркнуто назвал ее по имени-отчеству.) Сколько времени вам понадобится на «порядок», на процедуры?

— Ну... час... минут 45.

— Через 45 минут я у вас под окном.

Он жил на первом этаже. За окном набухал жасмин. Значит, скоро день рождения. Три... Четыре дня — и начало великой войны. По странному совпадению уже который год подряд жасмин разрывается в цвет 21 июня. Все в каком-то тумане. В полупьяной невесомости снова чистит зубы, меняет белье, ест мед, запивая холодной водой для силы мужской, как учил отец. Но надо спешить. Только бы по дороге к «Заре» ничего не случилось с машиной. Слава Богу, суббота. Столица еще не проснулась и не села за руль. По дороге в «Зарю» на заре он бросил жене непрременную открытку — «Люблю, целую. Дома все хорошо. Ваш папа». Так голова освобождается от комплексов, тело становится безмятежней души и плещется в волнах чужого костра, не зная преград угрызенья. Когда-то жена сказала ему (вторая, умная): «Ты не станешь писателем, пока не напишешь о любви. О любви ты писать не умеешь». Но, для того чтобы о чем-то написать, оно должно случиться. Через полтора часа машина марки ВАЗ-63 вышла от «Зари» через Алтуфьевское шоссе на окружную дорогу. Лариса Александровна о чем-то не умолкала. Она была веселая лепетунья и остроумный рассказчик. Он ничего не слышал, он не верил еще, что это она... она... сидит рядом с ним. И он ее... ее... ее куда-то везет. Куда поехали они, к какому берегу поплыли? Он делал вид, что сосредоточен на маршруте. И это было так. Он пытался не думать о ней, а только о дороге — взять внимание в руки — и оттого

делал много ошибок, и водители зверские морды с матом к нему оборачивали. Она достала апельсин, очистила и стала кормить его с ладони. Долька за долькой ему в рот. Кончики пальцев ее касались его языка. Он успевал их подсасывать. Что она делает?

— Вы не боитесь меня приручить?

— Вы же уже прирученный. На моем месте должна сидеть Наташа... Зачем вам столько рук, почему у вас руки дрожат и вы весь?

— Я кофе крепкого много выпил. К тому же через три дня расцветет жасмин...

— Расцветет жасмин, и что же случится?

— Случится день моего рождения.

— А сегодня 18-е.

— А сегодня 18-е.

— Значит, 21-го.

— Выходит, так.

Он загадал желание и пропустил поворот на Ярославское шоссе. Они сделали большой крюк.

— Я вас заговорила. Я больше не буду.

— Нет-нет, не обижайте меня. Потом я попрошу вас повторить еще раз все, что вы рассказали до этого злосчастливого поворота. Сюжеты я вам напомню. Сюжет вашей повести я уловил.

Эту дорогу, этот день он сделает праздником своей жизни. Он будет отмечать его как день рождения и Новый год.

А пока впереди чудовищно-уплотненный по количеству коитуса адюльтер в простынях и письмах — полный ослепительных свиданий в разных концах страны, острейших бритвенных приключений, которым бы позавидовал сам Казанова.

— Вам не жарко?.. Снимите кепку и куртку... Вы утром сказали — на улице прохладно, и я надела это вязаное платье. А теперь я плыву... Я теку...

— Снимите платье. Я шучу. Я сказал вам — свежо, чтоб вы оделись по-дорожному на всякий случай... Мало ли где вас застанет ночь.

— Здравсте! Как это — где застанет?..

— Так я про себя говорю. Так объясняю свою униформу — кепка, кожаная куртка, джинсы... Володя давно говорил мне, даже ругался...

— Володя... брат?

— Может быть, и брат. Нет, Высоцкий. — Вы с ним были знакомы??

Ему показалось — у нее отвисла челюсть. «Вот темнота кумысная», — про себя. Вслух:

— Мы проработали с ним 16 лет вместе. Я вам еще расскажу про него. Я надеюсь, у нас будет время?

— А Наташе вы рассказывали?

— Нет, не рассказывал... Как-то не до разговоров было.

— А мне расскажите сейчас. Наташе успеете, а мы с вами встретились случайно и больше, может быть... Так что вам Владимир Семенович сказал?

— Володя говорил, что мне пора завязывать с моим колхозным имиджем. Пора забыть, каким я приехал и на чем выехал в известные артисты. Что ты, говорит, ходишь вечно в одних штанах, в одной куртке и кепке. Это не важно, что ты их меняешь раз в пятилетку. Ты уже не тот «паря алтайский». Это уже не красиво, не скромно.

Все оборачивается со временем в свою противоположность. Когда-то нищий вид в сочетании с талантливостью давал тебе право вести себя независимо, определяя твое поведение и пренебрежение к материальным ценностям, подчеркивая приоритет духовности... Но сейчас это уже пройденный этап. Ты стал известным, а значит, богатым. Это — вызов: люмпен-пролетарий с Таганки. Ты много снимаешься. Люди никогда не поверят,

что у тебя нет денег купить себе приличную одежду. Или ты так занят высшими соображениями, что у тебя нет времени зайти в магазин? Что ты не можешь опуститься до прилавка со своих одухотворенных творческих облаков... — фигня все это... Ой, извините... триста раз извините, но так говорил Володя. Или жене скажи, чтоб следила за тобой. Она вся в белом, ты весь в говне... Одно время я был весь в Высоцком. Володя привез мне джинсы, со своего плеча снял куртку, подарил рубашку, носки, ботинки.

Шелепов понимал, что он набирает очки в ее зрачках. Пусть он сам ей пока не интересен, не нужен, а только слова его и слава. Но ведь сказано — сначала было слово. И еще сказано, что количество иногда переходит в качество, чем черт не шутит, пока Бог спит.

— Теперь ваша очередь, Лариса Александровна, расскажите о себе: кто вы и откуда?

— Поняла. У меня есть муж и любимый мужчина. Дочери девять лет. Круглая отличница. Любимый? Любимый живет в Белграде. Только вчера улетел. Он серб.

— Серб и молод, как серп и молот, — вслух.

Про себя: «Под сербом смолоду».

— А дальше?

В Элисту попали они из Астрахани. Ей было 10, Марии — сестре — 12 лет. Папа оставил их или мама его оставила. Да, мама. Папу волновало все, что в юбке. Он был Петров по паспорту, боялся своей литовской фамилии и изменил. И они Петровыми выросли. Крови намешано в жилах ее много разной. Но еврейской нет.

— Почему эта кровь вас так интересуется?

С будущим папашей Малишевским, архитектором и художником, мама познакомилась в Кисловодске, на водах, каждый год они старались взять путевки в один срок — срок любви. Потом поженились. Мама страдает желудком, но в Кисловодск не ездит уже. Жили по-разно-

му, но даже до денег будущего отца-архитектора мама не выпускала девочек в школу или гулять без белых чулочков, белых кружевных воротничков и белых бантиков на головках. Будущая красавица республиканского разлива — так называла ее подруга, оставленная в Астрахани, — занималась чуть-чуть на рояле, чуть-чуть танцами, пела чуть-чуть и вплоть до университета и рождения дочери на втором курсе была звездой пионерской, а потом комсомольской деятельности. Это комсомольское, обкомовское скотоложество — вечеринки, семинары, агитбригады сделали ее популярным известным лицом в этой среде. Террор среды — это тавро, клеймо, метка, принадлежность к клану до могилы, не изживаемая. И не спрячешь.

На втором курсе университета удачно, как потом выяснилось, выскочила замуж. «Любила? Не помню, конечно, наверное». Тут же родила. Дочь Полина родилась семимесячной. Ее мама говорит, что забеременела, оставаясь девственницей. Вторая Богородица, Господи, прости. <...>

— Спойте что-нибудь, Владимир Степанович.

— Я спою вам, Лариса Александровна, я вам много спою. Вот проскочим 21-й километр.

— 21 июня — 21-й километр... Что кроется в этом числе?

— Сейчас узнаете.

В азартные игры он не играл. Не любил ни карты, ни скачки, ни рулетку. Азарт начинал в нем свою куролесицу, когда впереди маячила женщина. Здесь он становился лунатиком и мог пройти карнизом, балконом на высоте, где костей не собрать, чтобы появиться привидением в ночном окне гостиницы «Театральная».

Теперь он ставил на нее, а играл номерами машин — набирал 21 очко, складывая цифры. И загадал, если обгоню три машины с суммой в очко до 21-го километра, значит, сегодня и там, а не сегодня, так завтра, а почему не сегодня, две машины уже обогнал.

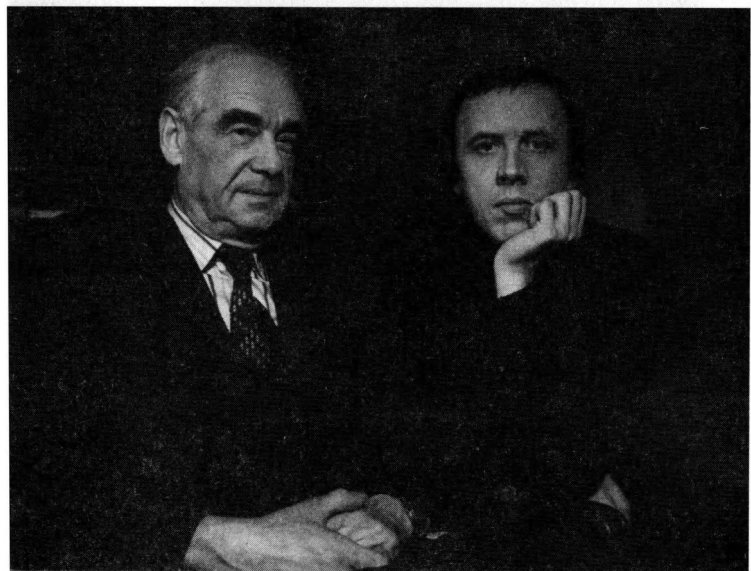
— Куда вы так заспешили?



*Грушицкий в спектакле «Герой нашего времени». Театр на Таганке. 1964*



*В гримерке Г. Ронниноном*



*В. Зотоухтин и А. Аникст в телепередаче «4 монолога Гамлета». 1980*



*Пять Маяковских в спектакле «Послушайте» В. Насонов, В. Смехов,  
Б. Хмельницкий, В. Золотухин, В. Высоцкий*





*С Владимиром Высоцким, Вениамином Смеховым и Анатолием Васильевым*



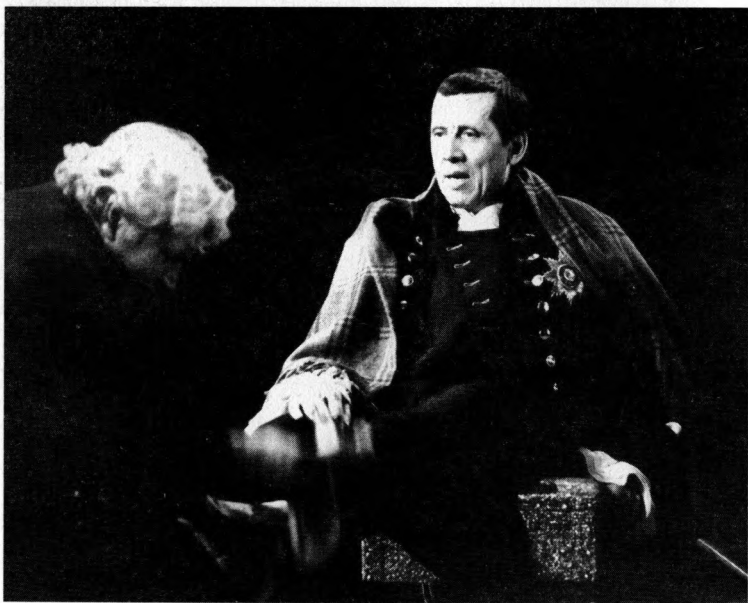
*Юрий – В. Золотухин, Тоня – Л. Селютина, «Живаго (доктор)». 1998*



*Гришка Отрепьев в спектакле «Борис Годунов». 1982*



*«Театральный роман»*



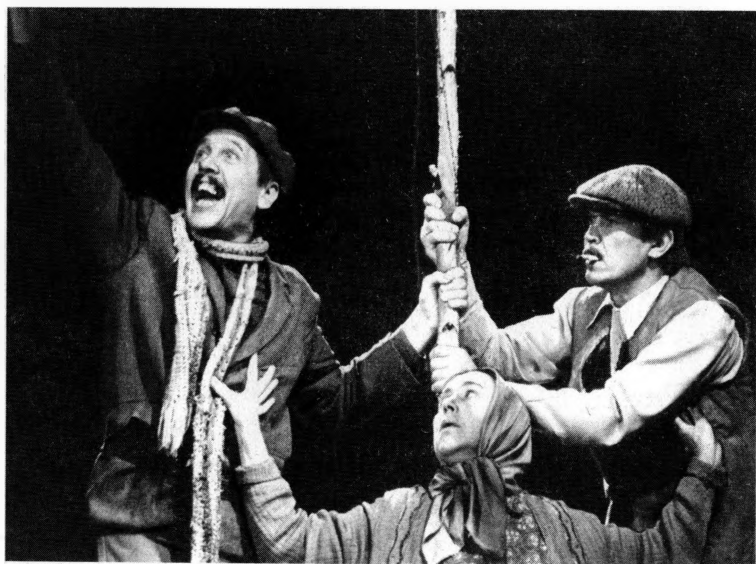
*Павел I в одноименном спектакле ЦАТРА*



*За И. Бродского в спектакле «До и после», 2002*



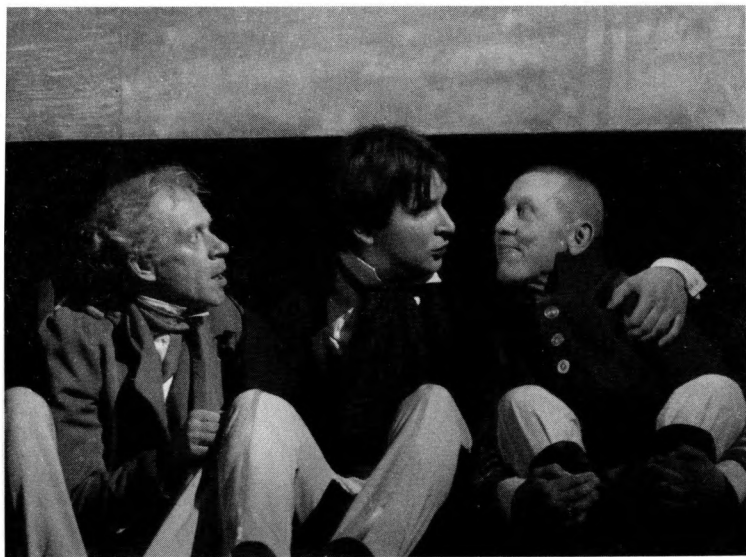
*Федор – В. Золотухин, Дуня – Т. Жукова, Спиряк – И. Бортник*



*В роли Федора Кузькина. Б. Можяев «Живой». 1989*



*Виктор – В. Золотухин, его жена – В. Воронкова, Уолтер – О. Басилашвили.  
«Цена» А. Миллера в театре Антона Чехова. 2000*



*«Ревизор» в Калуге. Хлестаков – Д. Денисов, Гордничий – В. Золотухин. 2006*



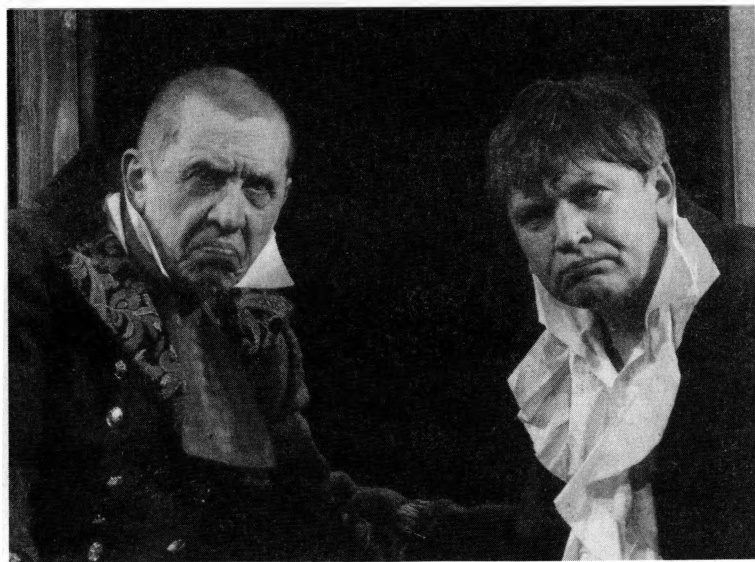
*С Виталтием Соломиным «Шалопай, или Кин IV» в театре Антона Чехова. 2002*



*С поэтом Валерием Краснополюским. 2001*



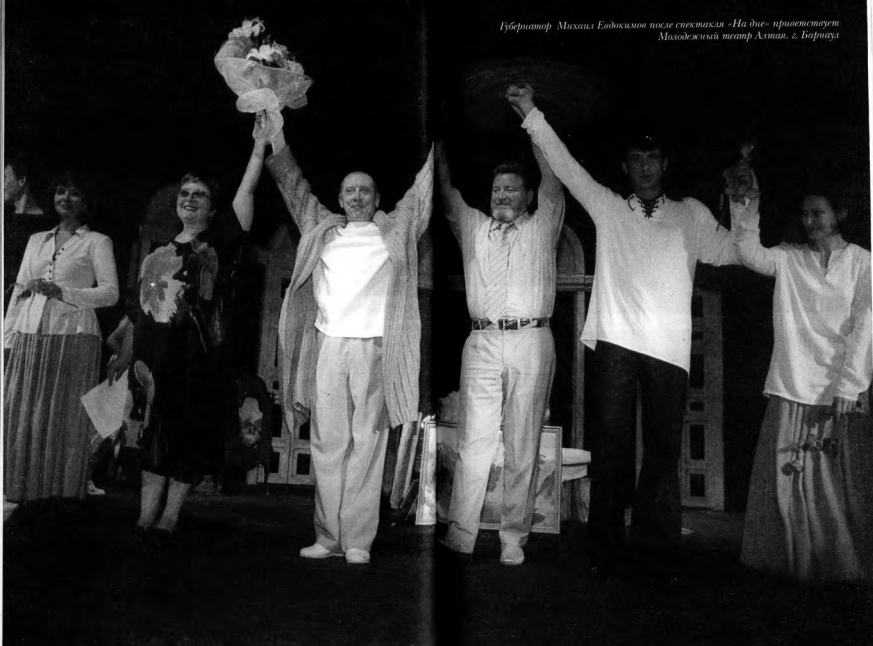
*Спектакль «В. Высоцкий» с Иваном Бортником*



*«Ревизор» в Барнауле. Городничий – Золотухин, Хлестаков – Эдуард Коржов*

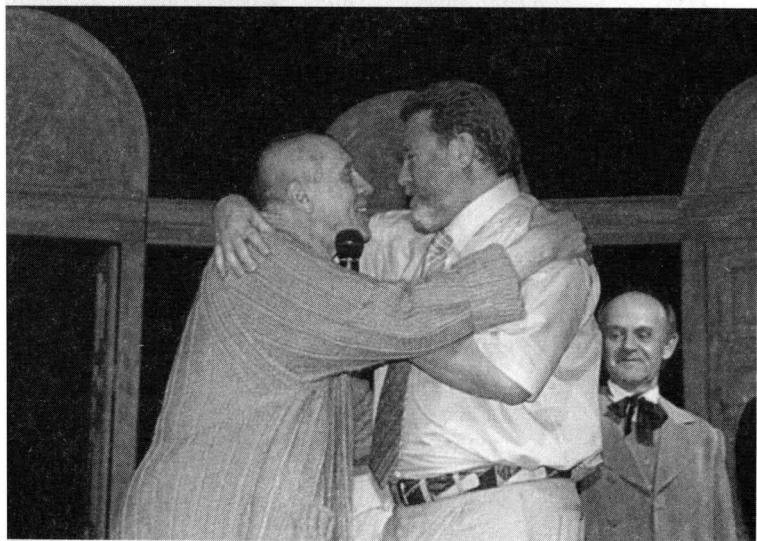


*Губернатор Михаил Егудимов после спектакля «На дне» приветствует  
Молодежный театр Алтай, г. Барнаул*





*В роли  
Маркиза де Сада*



*С Михаилом Евдокимовым после спектакля «На дне». 2004*



*«Отпусти ты, старче, меня в море. Дорогой за себя дам откуп...»  
В. Золотухин, И. Линдт в спектакле «Сказка о рыбаке и рыбке». 2007*



*«Собаачье сердце» – Преображенский – В. Золотухин, Шариков – М. Мовчан. 2005*



*«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина на Пречистенке*

— К 21-му столбу...

— Вас там кто-нибудь ждет?

— Нет, я жду, как родился... Очко! — выдохнул, оставляя сзади самосвал. — Все, игра сделана. Самая грязная машина в Москве проскочила столб с отметкой 20.

Теперь говори! Но что сказать? 21-й столб показался вдали и стал стремительно приближаться... 200 метров... 100 метров! 50... 20! Царица Небесная, вывози! В битах измеряется информация, в байтах — память.

— Я вас люблю, Лариса Александровна! — сказал тихо, отчетливо, строго. Но ей показалось, как ему показалось, что это вселенная хрюкнула всеми клаксонами сразу.

— А вот этого я не люблю... — и далее в тон ему, также спокойно, внятно, отдельно:

— Остановитесь, я выйду.

Забыв включить указатель поворота, он резко бросил машину вправо. Трасса завизжала тормозами, сигналами, бранью водителей и возмущеньями пассажиров наполнилась. Машина встала у обочины. Они молчали. Он боялся взглянуть на нее — старость не радость, 20 лет разницы, куда полез, стыдно-то как, мама моя родная, гашетку он дождал, игру доиграл — слово было сказано.

— Как я это не люблю, — с такой тоской зеленой сказала она, что ему стало холодно. — Зачем вы все испортили? О чем она думала? Все, — промелькнуло в башке, — проиграл. Ни сегодня, ни завтра, никогда. В это время кто-то рванул левую дверь, он чуть не упал на асфальт в сапоги капитана ГАИ. К ним бежали какие-то люди с перекошенными мордами. Идти он не мог. Его почти несли. Поставые узнали его — почетный милиционер, народный артист: «Что ж ты так нализался? Ты же преступник, ты человека чуть не убил. Сволочь». Их ввели в помещение. В рот сунули трубку — дыши... дыши, гад, сильнее.

Зубы стучали, воздух вырывался пузырями, булькало в животе, клокотало в горле. Он закрыл лицо руками и

заплакал. Он не слышал, как смеялись над ним милиционеры и простил его пострадавший. Смеялись, думая, он показывает перед ними скетч.

— Я люблю ее... Я ждал ее давно. Я не знаю, чья она и откуда. Я хочу обвенчаться с ней, я хочу прожить с ней все с начала. Помогите мне, отдайте ее мне... берите все — жизнь, машину, права, роли, только ее мне отдайте. Это награда мне. Ее Бог мне послал... Она родит мне дочь. Я назову ее Ольгой. Лариса Александровна, возьмите меня замуж...

— Что же вы смеетесь, с ним же истерика, дайте воды.

Она умыла лицо, успокоила, держала в руках его голову. У нее взяли документы, записали в книгу.

Вернулись в машину. И такая была у него пустота и бяка на душе, такой никудышный и жалкий вид, впору — топись. Она взяла его руки в свои:

— Все хорошо... Все хорошо... Слава Богу, все целы и живы. Перед Наташей неудобно, да. Стыдно. Что же это такое? Впрочем, ничего же не случилось.

— Наташе я не говорил, что люблю ее.

— Ладно, ладно... Хватит о любви. Мы поедем в Загорск или мы уже не едем к моцам?

— Едем, конечно, едем.

Машина качнулась, дернулась, покатила. Ему стало легко. Ему разрешили ехать, ему разрешили сидеть рядом. Все неприятности, связанные с объяснением, остались позади. 21-й километр был пройден. А впереди была жизнь, океан жизни, океан любви, омывающий грязную машину.

— Вы знаете, Лариса Александровна, что состав океанской воды — точный состав человеческой крови?

— Где эти сведения вы почерпнули, Владимир Степанович?

— У Зощенко, в повести «Возвращенная молодость». Перед огромным транспарантом они притормозили. Шелепов читал, как с трибуны: «Товарищи животноводы! Каждая яловая корова приносит в год убыток нашему хозяйству \_\_\_\_\_»

рублей. Если от каждой коровы получить и сохранить по теленку, то наше хозяйство дополнительно получит денежного дохода в сумме \_\_\_\_ рублей, а наша ферма \_\_\_\_ рублей».

И он запел:

Счастье вдруг в тишине  
Постучалось в двери.  
Неужель ты ко мне?  
Верю и не верю.  
Падал снег, плыл рассвет,  
Осень моросила...  
Столько лет, столько лет  
Где тебя носи-и-и-ло?!

Лариса Александровна захлопала в ладоши. Занавес.

## Божий дар и яичница

Мой Телемак,  
Троянская война окончена.  
Кто победил — не помню.  
*Иосиф Бродский.*  
*«Одиссей Телемаку»*

Красавицу свою — а по дороге он ей прозвище придумал, оклик сочинил, «Ирбис» назвал (ирбис — снежный барс, самый красивый зверь на свете, говорит энциклопедия, а мы говорим: в чужую жену черт ложку меда кладет), — красавицу свою народный завез к Алексахину и посадил под яблоню. Хозяину сказал: «Стереги, как руно, пуще глазу». Сам тем временем быстро сбегал на свой участок, отвез тестю порцию портвейну, деньги теще за страховку сдал — «ночевать не останусь, некогда, съемки ночные» — и к Алексахину в сад-огород под яблони, вишни и черноплодную рябину. Артем Алексахин жил с женой и двумя детьми в деревне, рядом с дачным участком Вла-

димира Шелепова. Жил своим отдельным домом, своим огородом, своим садом. Торговал на рынке картошкой, овощами, ранней зеленью и даже мясом — кроликов держал. Образование имел интересно-химическое, высшее, ленинградское. Работал сперва на режимном заводе, под землей, на которой сверху стоял город Загорск с лаврой. Поругался с заводским начальством — очень не любил коммунистов, — ушел в совхоз. Знаменательные постановления «перестройки» и «гласности» дали ему надежду на самостоятельное решение вопросов жизнеобеспечения семьи, и он ушел и из совхоза, в котором был кочегаром в котельной по обогреву теплиц и скотного двора. По ночам изучал труды Маркса и Ленина. Сочинял злые статейки о существующем режиме. Пописывал и беллетристику. Печатался в многотиражке. Качал права везде и всюду — драл горло. Огромный его материал о рынке на селе и крестьянской морали Шелепов отнес когда-то сам в «Сельскую молодежь». Журнал напечатал очерк в нескольких номерах. Алексахин даже премию получил за эту публикацию. Потом приехало ЦТ и отгрохало с ним часовую с лишним передачу «Сельский час» или «Россия в лицах». Передачу показали, народ увидел. Наутро Артем проснулся знаменит, нелюбим соседями и ненавидим начальством — не высовывайся. В оценках, суждениях своих был резок, часто несправедлив, однако всегда оригинален. Народный украдкой записывал за ним и выдавал за свое. Говорил Алексахин монологами, слушать не умел. Со временем, правда, народный отметил про себя, что он этому свойству не спеша-скрипя научивается. Привозил артист соседу всегда мешок всяких писем к себе, корреспонденций, статей... Алексахин разбирал эти авгиевы конюшни, строчил любопытные заключения, ехидничал в ответах, философствовал, и этим они оба жили как бы в пользу, как бы интересно, интенсивно — не мещански, не абы как, а душа у них, дескать, трудится...



— Слышал, слышал, — витийствовал Алексахин, поглядывая на гостью и перебирая в руках переписку народного с артистом Федотовым, из возлюбленных первой жены Шелепова скакнувшим в ее законные мужья. — Пьют, сволочи, какаву и лупят по тебе из парабеллума. А ты наплюй им в какаву. Не можешь? Нельзя-я-а, понимаю. Тогда живи, как живешь, раскачивай свою доску... Охраняй не занятую еще Головотюком территорию театра. Ваш популярный друг или кто он вам, может быть, уже любимый, — обратился он к сидящей под яблоней залетной красавице, — тип опасный очень. Его искренность — срамной душевный стриптиз, не знающий границ, меры, чур не ведающий. Он — предатель. Это опасно. Путать божий дар и яичницу — его любимое занятие. Божий дар — это местечко в Чехословакии, где снимался фильм «Чонкин». Народный говорит, что его там кормили одной яичницей и он так возненавидел ее, что, прибывши домой, расколотил штук двадцать яиц на сковородку, поджарил, забрался на шестнадцатый этаж и бросил ее наземь вместе с дорогой посудой! Казнил яичницу, компенсатор несчастный. Но от мешанины в башке он тем не избавился. Берегитесь... Когда-нибудь вот так же он привезет мне ваши письма к нему или письма прежних ваших любовников, он выманит у вас, доверчивой, все секреты сокрушенных вами сердец и бросит мне на стол: разбирайся! Не пишите ему слишком откровенно. Он вставит вашу доверчивость в свои дневники, сочинения и опубликует. Он не пощадит вашего имени, дома, фамилии, семьи, детей, как не пощадил когда-то родного отца в первой своей повестушке. А просил-то редактор тогда всего только фразу убрать, где автор свирепостью своего отца любитесь, как тот раскулачивал люто, и смакует эту лютость его звериную. Одну фразу убрать, чтоб самому потом стыдно не было. Не убрал... нет... авторская фанаберия... да и фраза-то больно цветистая. Он и вашу возню с ним опубликует

под видом толка художественного. А так как на вымысел-домысел он охоч весьма и горазд дюже, то приплюсует вам такие путешествия в страну чудесных кошмаров, в таких вас позах представит, разрисует все так, что, прочитав типографский шрифт, вы проклянете миг, когда увидели его на сцене, и час, когда вы сидели под яблоней этой, потому что к тому времени «пройдет постыдной страсти жар». Пока не поздно, бегите от него... Покуда, я вижу, не влюбились, а только любопытствуете. Пока не влипли, не погрязли, пока он не запутал вас в сети своих знакомств, пока не ослепил, не оглушил именами своих жизненных попутчиков, пока не околдовал лукавством слов и поэзией своих ролей, не усыпил кулисной пылью и закулисной сладкожижей вонючей романтикой, — бегите от него или не верьте. Он раскачивает свою жизнь, как раскачивает доску в «Борисе Годунове», на которой лихо отплясывает Гришку-самозванца. Раскачивать свою жизнь кому запретишь? Но он раскачивает вместе с собой и попутчиков. И многие слетают с доски, не удерживаются, а он проносится мимо, не заботясь о них. Артисты — люди публичные, свободные во все века. Сексуальное любопытство у них в крови... Ирбис вытянулась, напряглась изнутри, не пропускала слова, вздоха, жеста оратора в телогрейке. Чем больше Артем Николаевич порочил сексуальное любопытство кулисного братства, чем ярче и вдохновеннее описывал он гнусность природы и мерзость привычек ее нового попутчика, тем жарче распалось любопытство ее собственное, соблазн и желание улететь с этим артистом на кулички к черту — от мужей, дочерей и вчерашних любовников.

Уторапливая события, скажем, она и делала это блистательно потом. Она летала к нему в Магадан, «где золото роят в горах», на Шукшинские чтения в Алтай и на Кавказ — пить с ним минеральную воду из одного стаканчика. Она брела ради него по пояс в снегу к тигроловам

и плыла к рыбакам, пила коньяк стаканами, не пьянея, и ела сырую рыбу. Она садилась в машину к лицам коварной национальности на чуть от изнасилования и убийства и мчалась через пустыню к трем колодцам. «Платить будешь натурой», — сказал один. «На! — сказала она и сдернула джинсы. — Только знай, у меня СПИД и сифилис вместе, смотри! — и показала язык. Отстал. Она ловила тайменей на блесну, и однажды у сонной, на берегу, восьмеркой опутав ее точеные, длинные ноги — разби-ра-а-ется! — грелась на солнышке камышовая гадюка. Не тронула. Она — Ирбис, снежный барс. Жила так, как хотел бы жить он, да не мог. Он любил себя, жалел и рассчитывал. Он был теплохладен. Не горяч и не холоден — усреднен. Он ревновал ее к прошлым и будущим. Ревновал ее к собственным «бюстикам» и «неделькам». Он привязать ее хотел к себе ребенком. Дескать, роди — и мы поженимся. Не родила. Хотя переехала из-за него в Москву из Калмыкии. Ее муж быстро осваивал крутой кумысный бизнес, купил ей (не без расчета) квартиру в столице, машину, ковры и мебель. Она прочно входила во вкус мамонова быта и замашек владельцев «тойот». Сделав четыре аборта, она не задержала семя народного в чреве своем с той же легкостью, с какой подкладывала своих подруг мужу, оставляя их ради очередного — хоть час, да мой! — полета к артисту.

Но об этом после. Теперь же она, сначала вполуха, потом все больше и больше погружаясь, слушала историю, не во всем ей понятную, но интуитивно жданную давно. Не саму эту конкретную историю, а вообще все, что было связано с Таганкой, с этой театральной Меккой. Когда они с Олегом (любовником, без ума ее любившим и год назад утонувшим в Балтийском море) чудом прорвались на «Пять рассказов Бабеля» и мимо них в фойе, бочком протискиваясь, прошел Сеня Фарада в синеклетчатой ковбойке, их потрясение от промелькнувшего Сени можно было сравнить только с потрясением от самого

спектакля. Такое долго не забывается, на всю жизнь остается. А Высоцкий? Сейчас, куда ни войдешь, на каждой трех стенах из четырех висят его портреты, и Ирбис даже трудно представить, что когда-то этого не было. Услышала она его в раннем детстве с дядиною магнитофона. Но самое сильное потрясение от него случилось лет в пятнадцать, в гостях. Поставили маленькую — мишень — пластинку, где «Кони привередливые». Обожгло, попросила домой, слушала до одури. Из нее, пятнадцатилетней, словно вынули душу. Потом Барышников своим танцем сделал с ней то же самое, усугубляя тогдашнее ее состояние. Позднее у брата стали появляться записи Высоцкого. Как водится, они говорили цитатами из его песен, и она внутренне стояла перед этим артистом на коленях и простиралась ниц, зная, что смогла бы простить ему все. Повзрослев, стала то случайно, то намеренно что-то слушать о Таганке. Говорили, что Высоцкий играет Гамлета в кедах и джинсах, что на «Мастере» по залу бегают белые мыши, покрытые фосфором, а Маргарита летает голой над публикой. Это будоражило воображение, они обсуждали с Олегом немислимые детали, пытаясь сопоставить их с техническими возможностями своих родных провинциальных театров, городского и республиканского, — ничего не получалось. Таганка была театральной кометой, театральным Сатурном, куда они почти не стремились и попасть, так как предприятие с самого начала казалось обреченным. Любимов считался однозначно гением всех театральных времен и народов, о его фонарике, которым он подавал магические сигналы из конца зрительного зала, ходили самые невероятные слухи. Говорили, что на Любимова совершено было даже покушение с целью завладеть этим фонариком, как источником театрального волшебства...

Но то, что Ирбис услышит сейчас от подросшего Шелепова, она будет сравнивать потом только с

попыткой повернуть реки вспять, чтобы они, падлы сибирские, текли не с юга на север, как нормальные, а с севера на юг, к трем колодцам... Одним словом — ошеломление.

— «Все! Все! Все! — начал между тем, отобрав листки у Алексахина, один из главных героев театрального Вавилона, удобно расположившись под яблоней. — Уважаемые коллеги и работники Театра на Таганке! Скоро исполнится 75 лет со дня рождения создателя и художественного руководителя театра Ю. П. Любимова. Отметим этот юбилей приличным исполнением его спектаклей и по возможности достойным поведением! Не принимайте участия ни в каких предприятиях и голосованиях по расколу театра, тем более — в отсутствие его руководителя. Не поддавайтесь на провокации отдельных нечестивцев, которые сулят вам золотые горы после раздела театра! А впрочем, если хотят разделиться, пусть роятся, отпочковываются и улетают. Не покроем себя окончательным позором в глазах потомков. Вспомним на минуту, что дети скажут?! Председатель совета трудового коллектива, народный артист России Владимир Шелепов. 26 сентября 1992 года».

Все это я написал даже как бы и в шутку, — пояснил малой аудитории народный. — Все знали, что это цитата из «Десяти дней», и подписался я только одним своим именем. Все мои титулы и звания приписал потом для весомости и. о. директора, бывший вечный наш парторг. Цель моего обращения была проста — дожидаться приезда шефа, который в это время ставил в Финляндии «Подростка». Буквально через день или наавтра, что само по себе скоропалительно и подозрительно, Федотов вывешивает в трех самых людных местах театра следующее ко мне послание, отпечатанное на машинке и приклеенное клеевой краской. Оно провисело месяц почти, его прочитали все, в том числе и гости приходящие, и гастролирующие

труппы. Некоторые переписывали, многие фотографировали. Соскоблить эти страницы смогли только маляры, когда стали освежать стены. Я не мог предположить, что Федотов способен на такой поступок именно по отношению ко мне... женившись на моей бывшей жене... придя в мой бывший дом и называя везде и всюду в интервью и на кинотусовках моего сына своим сыном, не испрося на то моего согласия. Служба в одном учреждении определила характер наших отношений. Все деликатные вопросы, в том числе и общественно-бытовые, и споры художественные мы решали, обращаясь друг к другу в письменной форме, сугубо лично, и уж никак не вынося это на слух коллег. И вдруг — на тебе, на весь свет, на всю деревню. Коллеги прочитали. Одни пожимали плечами, удивлялись глупости, другие были довольны в душе и рады, что меня так «приложили» публично, да еще какие-то таинственные мои походы в райком обнаружались, это то, чего они не знали, «а оказывается, вон откуда звания, квартиры и прочие блага берутся, как они, оказывается, добываются: просто — через райком, через постучать на ближнего...» Однако все сошлись на том, что сына он приплел зря. Этот «прокол» многое перечеркнул, вылезла подоплека. Один артист хотел сказать ему, но сказал мне: «Ну чем он (то есть я) виноват, что женился на ней раньше, чем ты (то есть он)?..»

Алексахин перебил народного:

— Ты не комментируй сам-то, Степаныч, читай, а мы разберемся, а лучше дай, я почитаю, а то ты с выражением читаешь — в свою пользу.

— На, читай, я со стороны послушаю.

Артем Николаевич закурил «Дымок», уселся повольготней, бросив ногу на ногу, и стал читать, не косясь по сторонам:

«Председателю совета трудового коллектива, народному артисту Российской Федерации Владимиру Шеле-

пову от всего лишь русского артиста Алексея Федотова. Открытое письмо. Уважаемый Владимир Степанович! Зная Вашу любовь к эпистолярному, включая такой популярный в России литературный жанр, как жанр политического доноса, рискую обратиться к Вам в форме нелюбимого мною открытого письма.

Ввиду того что я, в отличие от Вас, не ощущаю себя в России Яковом Свердловым, то и не могу предварить свое скромное послание пламенным призывом: «Всем! Всем! Всем!..»

Нет, не всем. А лично Вам, уважаемый Владимир Степанович. Объясните, пожалуйста, стране, откуда такая истерика?.. Кто убивает Мастера?.. Что у него отнимают?.. Его репутацию?.. Его имя?.. Кто стреляет по нему из пулемета?.. Из каких кустов?.. Кто эти низкие твари?.. Поименно, пожалуйста. Как только мы узнаем имена этих сволочей, вся творческая интеллигенция Москвы выйдет с дрекольем на Красную площадь!.. В том числе и я с матерью, с женой и сыном!.. Вы только покажите нам, где скрываются эти суки... Кто обижает Великого?.. Кто отнимает у него славу?.. Кто макает его лицом в грязь?.. Жиды?.. Православные?.. Коммунисты?.. Вы только назовите!

Я имел счастье слушать Ваше выступление в Моссовете. Вы сказали: «Раздел театра — это гибель театра!» Редкий по силе афоризм. Почти Лесков. Если вдуматься, можно сойти с ума. Честно говоря, только в эту минуту я понял, почему Валентин Распутин называет Вашу прозу «инструментальной».

К сожалению, Вы никак не прокомментировали свой великий тезис, поэтому он выглядит так же бездоказательно, как лозунг «Слава КПСС». Но, в конце концов, гений говорит, а мир ловит. Будем надеяться, что потомки расшифруют эту загадочную фразу.

В своем обращении к народу Вы пишете: «Не поддавайтесь на провокации отдельных нечестивцев...» Ну,

во-первых, нельзя сказать, что Вы — большой скромняга. С таким обращением мог бы выступить как минимум Александр Невский, и то накануне Чудского озера. А во-вторых, кто эти «нечестивцы»? Поди, те же евреи?.. Или все-таки литовцы?.. Или коммунисты, тайно возглавляемые Лигачевым?.. Не лукавьте, Владимир Степанович, назовите их по именам. Глядишь, и разговор пойдет более серьезный. И в-третьих. Поскольку вы клеймите «нечестивцев», надо полагать, Вы считаете себя человеком чести... А можно поинтересоваться, кто Вам это сказал?.. Вы проводили опрос на территории России?.. Так и хочется спросить: «Вы это серьезно?..»

Но если это серьезно, то и я скажу всерьез: я Вам завидую, Владимир Степанович! Завидую Вашей наглости. Вашей отваге. Вашей глупости, наконец. Вы раскованны, как кошка. Вам даже не страшно, что Вас наблюдают миллионы неглупых глаз.

Когда я был секретарем Союза кинематографистов бывшего СССР, меня все-таки выбирали. А Вы даже на малом пространстве Театра на Таганке выбрали себя сами. Вы теперь председатель совета трудового коллектива, о чем трудовой коллектив даже не подозревает...

Вы заканчиваете свое последнее литературное произведение патетическим криком: «Что дети скажут?..» Ох, пораньше бы Вам задуматься на эту тему, Владимир Степанович!.. Лично я знаю, что скажут о Вас Ваши дети. Во всяком случае один из них, которого я воспитываю. Но пересказывать не буду. Спросите сами.

Не стану делать вид, что жду диалога. Я знаю, что Вам нечего мне ответить. Ну, разумеется, кроме мутной и однообразной демагогии: «Мастер... Учитель... Создатель...»

Да, разумеется, Мастер. Уж я-то понимаю это, как никто другой. Я оплатил громадным куском жизни свою любовь к Мастеру. В отличие от Вас, Владимир Степано-



вич. Вы в это время принимали очередную присягу на предательство.

Вы предали не одного Мастера. Нескольких. И именно в ту пору, когда они нуждались в Вашей защите. Сегодня защищать Мастера легко. За это никто не отрубит Вам голову. Да и не от кого — никто не рискнет напасть.

Кто желает зла Юрию Петровичу Любимову?.. Галина Драбец?.. Данила Проворовский?.. Или Головотюк, наконец?..

Окститесь, Владимир Степанович!

Не станцуется у Вас этот сценарий. Не получится. Ну никак не выходит параллель ни с Мейерхольдом, ни с королем Лиром, ну никак.. Не сорвется, не сложится.

С кем Вы воюете?.. Кого и от кого защищаете?.. Вы же верующий человек. Ну, спросят Вас на Страшном суде: «Где твой брат Авель?» Что Вы ответите?.. «Я не сторож брату моему»?..

Скорее всего, так и ответите. Вы и на Страшный суд явитесь с удостоверением народного артиста Российской Федерации. Как в былые времена в райком. Но Господу ведь все равно — народный Вы или нет, артист или сантехник.

При том, что я Вам завидую, мне Вас еще и жаль. Жаль глубоко и всерьез. Я даже не знаю, что пронзительнее, — зависть или жалость?

С одной стороны, конечно, занятно прожить жизнь таким незамысловатым прохвостом, как Вы, а с другой стороны, — ввиду наличия Господа Бога — небезопасно. Светского способа спастись я не знаю. Может, помыться в бане и немножко подумать?.. А?.. С уважением (хоть Вы и не поверите), Ваш Алексей Федотов.

P. S. Не советую Вам и Вашим единомышленникам срывать это письмо со стендов. Во-первых, это некрасиво и недемократично само по себе, а во-вторых, в этом случае я вынужден буду опубликовать его в прессе. Мне

этого не хотелось бы. Будем вести интеллигентную и разумную полемику... Или как?.. А впрочем, как скажете. Сентябрь, 1992. Москва».

...И — тишина. Тягость повисла в воздухе. Окаменение сковало всех. Колорадские жуки на грядках — и те, казалось, перестали жрать картошку.

...Федотова Ирбис полюбила после фильма «Эпатаж» и стала узнавать о нем, и интервью с ним читала навзрыд. На него было интересно смотреть в любой ипостаси, так как талантлив и умен. Интеллектуал и актер — редкое сочетание, хотя в то время она считала, что уж если актер, то непременно интеллигент, глубоко при этом заблуждаясь. А еще был КВН, в котором успешно дебютировала команда Элисты, Федотов сидел в жюри, хвалил, после подошел к ним в фойе, весь в тулупе, в мохнатой шапке и в унтах, чем поразил ее до глубины души. Она-то была уверена, что артист такого ранга и по нужде, извините, в смокинге... Сказка Федотова в собственном его исполнении произвела убойное впечатление на Ирбис. Смесь уважения и восторга — вот что чувствовала к кинозвезде степная красавица. И когда они ехали сегодня с Шелеповым сюда, за город, и она спросила: «С кем теперь ваша бывшая жена и сын?» — удар для нее был ниже пояса: «С Федотовым». — «С тем... самым... с тем?!» — «С тем, с тем... Когда они, наконец, расписались, я перекрестился: слава Богу, пристроена хорошо». — «Ну и как?» — «О... О!.. Алексей Леонтьевич — достопочтенный человек!»

Тогда она еще не знала, что за этой фразой у Шелепова может скрываться все, что угодно, не исключая и правды. Гипнотическое обаяние Федотова было многожды усилено в ее воображении этой фразой и, конечно, его браком с женой Шелепова. И когда Наталья — нынешняя соседка по номеру, к которой народный наезжал иногда, перед тем как увлек ее самое в эту поездку ко святым мощам, кричала по утрам: «Хочу Шелепова», — Ирбис, смутно

помнившая его по милицейскому сериалу, искренне не понимала ее. Как не будут понимать и ее многие потом, когда произойдет все, что произойдет, включая бритье и смерть его в сумасшедшем доме, где он гримировался собственными испражнениями.

— Ну, Степаныч... слушай, — очнулся бывший кочегар, — у меня яйца всмятку — извините, уважаемая... За такие шалости... вызывают на дуэль и убивают несколько раз... Он — что, в своем уме?... Хотя в блистательности не откажешь.

— Говорят, под коньяком писал.

— Под чем бы ни писал, но наутро-то... и когда отдавал машинистке или... он что — сам печатал? А жена его куда смотрела, почему не уберегла? Она же с тобой столько... Хотя, скорей всего, собака зарыта в ней... да... да, конечно, в ней... И что же ты? Нет, я не могу, послушай! Он же с виду умный мужик. И сказочка его просто блеск, и за тебя, помню, печатно заступался, когда на тебя евреи набросились после твоего выступления в Сростках, где ты пикет Куликову полю уподобил! Что с вами со всеми творится?! Как ты это пережил?!

— Думал я долго — отвечать, не отвечать... Но понял — не отвечать нельзя, хотя бы ради детей. Ответ свой я вывешивать не стал. По просьбе сына. Отправил почтой. Но есть у меня подозрение, что в руках Федотов его не держал. Пересказать, быть может, ему и пересказали... Моя бывшая супруга была большая любительница читать чужие письма. Не думаю, чтобы во втором замужестве она изменила своим привычкам. Впрочем, какое это имеет значение. Читай дальше, я тороплюсь. Меня комдив на день рождения ждет.

Алексахин повертел листки ответные в руках и вдруг предложил даме под яблоней:

— Будьте любезны, прочитайте вы.

— Я?! Но какое я имею отношение?

— И хорошо, что никакого. Текст машинописный, разборчивый... Хочется услышать из уст нейтрального человека, без лишних подтекстов, без нажима... Мы с Шелеповым в одном круге заинтересованности... Так что сделайте одолжение.

Ирбис приняла листки, как эстафету, из рук Алексахина и стала читать:

— «Посеешь поступок — пожнешь привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу». Эпиграф. Алексей Леонтьевич! Месяц я ждал извинения от Вас, оно не последовало. Видимо, раскаяние чуждо Вашей природе или не хватает мужества. — Голос у нее при чтении оказался чистый, высокий. Дыхание длинное, глубокое, на весь объемный смысловой период слов, дикция великолепная. «Ей бы на радио или диктором ЦТ», — почему-то подумал притихший артист. — Напомню Вам слова, сказанные Вами Галине Волгиной несколько лет назад: «Он — бездарь. Местечковый режиссер. Он поссорил актеров Театра на Таганке и лишил заработка мою жену. Единственно, чего я хочу, чего я жажду, — его смерти, его физической смерти. А как художник — он давно труп». — Ирбис остановилась, как будто ей захлопнули рот. Медленно подняла глаза к первым строкам, прочитала про себя еще раз, ныряя в содержание до дна. Продолжала тише и медленнее, боясь пропустить запятую: — Через несколько месяцев после этого разговора Эфроса действительно не стало. Боже меня упаси приписывать Вам смертный грех — трагически сошлось. Мы все в той или иной степени повинны в безвременной кончине Мастера. Но то, что Вы не весьма разборчивы в выборе слов и действий для достижения Вашей сиюминутной цели, — факт. Теперь Вы возглавили тяжбу с Любимовым. Завидная последовательность. Урок Эфроса не пошел Вам впрок. Вы даете оценку художественному потенциалу Любимова, в печати появляются рассуждения Ваши — «каким он был,

каким он стал» и т. д. По рангу ли, Алексей Леонтьевич? «Я возмущена этой падалью!» — воскликнула старейшая актриса нашего театра, прочитав Ваше открытое письмо. «Словесные изгиляния... злые выпады... из меня Павлика Морозова сделать не удастся», — сказал мой сын, к мнению которого Вы апеллируете.

Свою оценку Вашему письму я не стану давать, она лежит за гранью словесных определений. Надеюсь, Вы улавливаете аллегорию? Зачем Вы впутываете моего сына в этот публичный, блудсловесный турнир? Ведь мы с Вами держали уговор быть как можно более бережливыми друг к другу в этом деликатном пункте. И вдруг Вы таким безобразным способом нарушаете наши условия. Не навязывайте моим детям Вашего отношения ко мне. Они сами разберутся, кто есть кто. В моем коротком обращении «Всем! Всем! Всем!» не содержится каких-либо личных, пофамильных выпадов. Зачем же Вы затеяли этот настенный «частный детектив»? Ни в одном интервью я не позволял себе обидных или оскорбительных слов в Ваш адрес, помня, что «ничего нет тайного, что бы не сделалось явным».

Лучшим ответом на Ваше письмо было бы опубликование его во всех существующих средствах массовой информации. Вы сами хотели это осуществить. Чего постеснялись? Ждете, пока сделаю это я? Я снял 50 ксерокопий Вашего письма — «зеркала для героя», — но что это за тираж, согласитесь! Грешен, люблю, как Вы выразились, эпистолярию, но уважаю все-таки точность, документ, стенографию. Поэтому у меня к Вам просьба. Когда будете готовить письмо к печати, во-первых, не редактируйте, не исправляйте, дайте, как есть... Во-вторых, расшифруйте для меня, и в особенности для широкой публики, хотя бы два пункта.

1. О моем предательстве нескольких Мастеров: сказано Вами бегло, голословно, похоже на клевету. Хотелось

бы подробнее: кого, где, когда и за сколько. А то помру и не узнаю имен своих жертв. Я присягал на верность Эфросу. Я присягал на верность Головотюку после смерти Анатолия Васильевича, хотя категорически не согласен ни с Любимовым, ни тем более с Головотюком в оценке эфросовского периода Таганки, — заявлял об этом лично и публично. Под присягой я подразумевал честную работу, пользу делу, без выяснения отношений. Я не могу репетировать, держа камень за пазухой или шагая в пятой колонне. Я отказался работать с Эфросом «Полтора квадратных метра». Я верил в воскресение «Живого». Может быть, «присягать» — крайне неудачное слово в применении к нашему бытию, громкое и красное?.. Присягают один раз, а дальше — смерть. Я не говорил таких слов в адрес Любимова, для меня (и мне казалось — для всех) это было само собой разумеющимся, не требующим доказательств, вытекающим из всей моей жизни на подмостках Таганки.

2. О походах моих в райком. Коли Вы так хорошо о них осведомлены, то Вам наверняка донесли и содержание моих там бесед. Поделитесь конкретным знанием с народом. Публике ведь это интересно (если интересно), а не просто брань и оскорбления вроде «глупый», «прохвост», «помойся в бане» и пр. Ну что это за аргументация, согласитесь! Неужели проблема общественная дает Вам разрешение на личные оскорбления и приписывание мне действий, которых я не совершал? Что-то тут не так.

Теперь о деле. Как-то в моем присутствии Вы громко похвалялись, что Вы настолько состоятельный человек, что можете в любой момент купить дом в Англии или, если захотите, в любой другой стране. Помилуйте! Зачем Вам покупать дом в Англии? Зачем не купить в России, в Москве? Сделайте благое дело — купите какой-нибудь клуб или дворец для профессионалов Вашей группы и репе-

тируйте! Тем самым Вы элегантно и красиво разрубите все узлы и споры. Или обратите Ваши средства на аренду помещения. Кстати, у того же Любимова. Я помню, Вы читали мне в Ташкенте блистательные куски из Вашей пьесы по Салтыкову-Щедрину. Я так хохотал, что пришла переполошенная горничная. Помните? Уверяю Вас, что при самой средней постановке это сегодня будет иметь успех. Бог наградил Вас замечательным талантом, так... репетируйте! Зачем Вы тратите силы и время на недостойную тяжбу с Любимовым по разделу имущества, которое принадлежит ему приоритетно, по праву, да, – СОЗДАТЕЛЯ. Не иронизируйте по поводу этого определения.

После того злосчастного, спровоцированного собрания, снятого на пленку и гуляющего по Москве, вошедшего теперь в историю и биографию каждого его участника, Вы плакали в кабинете Мастера. И все присутствующие, в том числе и Любимов, приняли эти слезы за слезы раскаяния. Оказывается, все обманулись.

Что касается поручения президента, которому наверняка подали информацию о делах театра односторонне, то я ведь могу и не последовать совету президента, потому что я, как говорит мой Кузькин, «на своем огороде пока еще хозяин». Мне не хотелось отвечать на Ваше письмо, оно недостойно ни Вашего дара, ни Вашего имени. Но я лечу в Ашхабад и, как всегда, боюсь разбиться и боюсь тем самым оставить Вас без ответа. 4 октября 1992 года.

P. S. Телефон Галины Волгиной я Вам могу напомнить.

Ирбис остановилась, затихла. Не то чтобы прочитанное сожгло ее или парализовало. Нет, конечно, хотя чудовищное налицо. Ее провинциальному тщеславию льстило в глубине, щекотало, что «звезды» перед ней оголяются, вводят ее в святая святых, в свою закулисную подноготину, куда простые смертные не допускаются, разве что

по особому расположению светил. Правда, ей мало было понятно, из-за чего такие страсти, чего им не хватает, зачем они «не в кайф» живут, а выясняют, кто главней, и ее арканят туда же. Оба документа, эти замечательные послания одного «любящего» сердца другому, — как два выстрела в тумане. Ирбис почуяла опасность. Раскованная и рисковая, она тем не менее тяготела к определенности: вот — достигнутое, вот — ближайшая перспектива, вот — дальняя. Варианты возможны. Но схема должна быть, схема — одна. «Звезды» же вовлекают ее в какое-то иконоборчество, мешают фигуры на ее доске — и она боится не сообразить вовремя и не остаться хотя бы в относительно привычной гармонии.

— А кто такая Волгина? — оторвалась она от текста и глянула в народные глаза своими прелестными, сволочными с поволокой...

Кто такая Волгина? Кто для него Волгина? Вопрос был непростой и для самого Шелепова, к тому же задан он был женщиной о женщине. Когда-то хотел написать роман о ее судьбе горемычной. Но всех не обскажешь сюжетов, да еще при его разбросанной натуре. Одно мог сказать наверняка — добрее и честнее не встречал человека, к тому же веселого.

— Галина — друг семьи и дома моего. Но она была знакома и с моей первой семьей, и с Федотовым общалась часто. В театр влюблена с младых ногтей. В Таганку — особенно, по призыванию сердца, радеющего за правду. Закончила журфак. Все мечтала о настоящей любви. Нашла ее только в третьем замужестве, с поэтом Владимиром Захаровым, моим тезкой. От всех трех мужей родила по ребенку. Но самым желанным был третий, от этой ее настоящей любви рожденный. В тот день, когда она произвела на свет долгожданного сына, случилась жуткая трагедия: убили ее мужа, только что ставшего счастливым отцом. Пошел он отмечать, как водится, рождение сына



в ближайший ресторан, не ведая, что оставит Галину вдовой. Забрали его пьяные блюстители из ресторана в отделение, избили зверски, а потом, чтобы концы в воду, завезли в овраг на своей же территории и прикончили беднягу, раскроив череп монтировкой. Сгинул человек ни за что, даже сына своего единственного ни разу не увидел. А наутро убийцы сами повели следствие и объяснили вдове, когда она из роддома вышла: упал, дескать, ваш муж по пьяному делу и оттого скончался, несчастный случай с ним приключился. Жить она не хотела, да новорожденный спас — на отца своего походил очень. Галина подарила мне книжечку стихов Захарова, добрые стихи, чистые и очень русские. Познакомился я с ней в журнале «Сельская молодежь», она там в литконсультации работала... В несчастный случай не поверила, провела самостоятельное расследование, за помощью обратилась к Ольге Чайковской из «Литературки», чьи статьи гремели тогда на весь Союз. Убийцы были найдены Галиной, названы поименно, да что толку! Развернулось кровавое следствие, свидетелей «убирали» одного за другим, она сама едва не погибла. Но оказалась бабой крепкой, не из пугливых, стала правозащитницей, заступалась за обиженных властью. За это и попросили ее из журнала. Такие люди всегда неудобны для дружного коллектива с абсолютным начальником во главе... У нее даже обыски были, в КГБ на допросы ее таскали... Пришлось ей работать дворником, чужих детей нянчить, вязать на продажу, комнату сдавать... Но не сломалась и не озлобилась, потому как оптимистка с колыбели. Теперь она внучку нянчит... Сколько лет Галине? Да года на три постарше меня... Надо не забыть пригласить ее на день рождения мой через три дня, когда расцветет жасмин.

Любопытство Ирбис относительно Волгиной было как будто удовлетворено, а возраст женщины окончательно успокоил ее. На своем калькуляторе внутреннем

она давно подсчитала, что сама моложе Шелепова лет эдак на двадцать и при другом раскладе могла согдиться в дочери ему.

Народный рассказал о Волгиной чистую правду, но не всю. Он не сказал, что Галина любила его и все же предпочла довольствоваться лишь дружеским общением. Она не раз говорила ему, что он стал для нее неожиданным подарком судьбы, скрасившим горечь вдовства. Чтобы не потерять его, она выбрала духовную близость, и жизнь подтвердила правильность ее выбора. Они то сближались, то отдалялись, но ни разу не теряли друг друга из виду. Она мчалась к нему по первому зову и умела быть нужной ему и его семье, не навязываясь, не создавая суеты и помех. И он вознаграждал ее за это правом быть на его концертах, на прогонах и премьерах Таганки, на творческих вечерах для элитной публики, но главное — он мог поверить ей любую тайну без опаски за последствия столь интимной доверительности. Иногда и деньгами помогал, когда ей было совсем худо. Он знал, что на нее можно положиться. Она знала, что у нее есть настоящий друг. Ее преданность и что-то еще в ней, неуловимое и невысказанное, но изначально просветленное, определяли его свойства настоящего друга в их отношениях... Зачем молодой, влекущей Ирбис знать об этом? Да и не поймет, ее жизнь крутится на другой орбите. Но любопытство — у женщины в крови непреложно, как и у артистов.

— Что же это за собрание, — вопрошала между тем Ирбис, — вошедшее, как вы пишете, «в историю и биографию каждого участника»?

— Это группа недовольных Любимовым. Они организовались и затащили его на свое собрание почти силой, когда он проходил мимо зала, где они дислоцировались. Перед тем они гремели по микрофонам на весь театр, что хватит, дескать, сидеть Любимову в своем кабинете, как

Саддаму Хусейну в бункере, пора предстать перед народом и ответить... Сбивал их в стаю страх. И еще Головотюк, которого они вожаком обозначили. Он только что потерял министерское кресло и теперь рвал и метал, ища сатисфакции. Их толкал к нему, сильному и со связями, инстинкт самозащиты. Они боялись, что Любимов перейдет на контрактную систему, и многие из них останутся без работы. Большинство этой группы составляли те, кто в свое время был и против Эфроса. Это, как правило, не играющая ни при каком режиме часть труппы, а стало быть, всегда недовольная главным. Артистам своим, то есть играющим репертуар и держащим, таким образом, банк, Любимов запретил на эти сборища являться и, по существу, остался один против этой рассвирепевшей стаи. Они чуть не плевали в него, источая яд и пену, перечисляя его вехи перед ними и предательства. Договорились до того, что решили отнять у него художественное руководство театром — «пусть остается почетным худруком, а если пожелает, то пусть и ставит иногда чего-нибудь», — так они записали потом в своем протоколе. Дикость, бред и жуть невообразимая. А несчастного нашего и. о. директора экс-министр «по-ленински» «пристяжной б...» назвал под аплодисменты единоверцев. Как выдержал это Любимов, трудно представить. Но он выдержал, выслушал и сказал, указывая на Головотюка: «Пока он здесь, ноги моей в этом театре не будет». — «Ухожу, ухожу...» — «Уходим, уходим...» — подхватил за лидером «залетный соловей» Федотов, как прозвал его шеф. Во время всей кутерьмы полупьяненький, с красной рожей, он подсвистывал своим, залетевший на собрание по срочному зыку вожака из другого театра...

— Про кого это «с красной рожей» — про Федотова?! Ну нет, это уж слишком...

Зачем они вламываются в ее жизнь? И куда эта звезда падучая ее влечет, зачем в дорогу позвала и под яблоню

здесь усадила? Конечно, это заманчиво и интересно, чем кончится. Еще интересней она будет рассказывать о том сестре. «Вот Марии бы я сама нашла комнату для свиданий и своими руками постель расстелила, а ты от такого мужа...» — говорила ей мать потом про сестру в связи со связью. Хотя нет, сестре не так остро рассказать хотелось, как спортсмену Левочке, чтоб сдох от ревности.

С Левочкой снюхались они... Стоп. «Снюхались», — сказано грязно и отвратительно. Заметим, однако, что автор подчас и нередко подменяет героя собой и вольно-невольно мстит любимой своей за прошлые связи ее. Любовь снежная, чистая, светлая — только с ним. Все остальное, что без него, включая и будущее, — похоть, случка, бешенство, сделка через койку. Оставим такую «защиту» на совести автора, ведь ему, бедному, кажется, что подобным приемом он надежнее привязывает желанную к своему сапогу... Через когда-то, придерживая штаны в очереди за утренним уколом в Соловьевской клинике невротиков, Шелепов догадается, что жизнь свою она влекла за собой так вольно и жестоко потому, что кровь в ее висках стучала и зашкаливала далеко за 36 и 6. Но как только проходила страсть, она безжалостно разрывала все пути, не обманывая себя и других. И что там ни талдычь, Шелепов под видом авторской дури или кто другой со своей колокольни о ее греках, спортсменах, китайцах и мальчике утонувшем, пачкая и опошляя Евину сущность ее, — женщина (а Ирбис с пелен ощущала себя таковою прежде всего), коли было чувство — а оно должно было быть!.. только по любви, слышите!!! — иначе — известно что... — эти чувства прошлые не даст в обиду никому, защищать везде и всюду станет. «...Неправда, что «у женщины прошлого нет, разлюбила — и стал ей чужой», — это не про нее у Бунина. Если бы так, то в собственных глазах, в глазах круга своего, а теперь и расцветающей дочери, все ее прошлое будет выглядеть

расплескиванием, разбрызгиванием грязи из-под одежды, разворотом, разбивающим походя чужие жизни и разрушающим свою. Ирбис будет защищаться бешено и вспоминать мораль комсомольскую с восторгом, да!.. («Это у вас скотоложество, а у нас по-другому было!») и воспитание свое беловоротничковое, когда мальчики не то что плюнуть, грубого (какое там нецензурного!) слова при них с сестрой сказать не смели. Все это и было так, верно, да кому какое дело до того, потому что в глазах людей, как там ни философствуй, любая связь женщины с другим мужчиной, кроме мужа, есть прелюбодеяние и разврат, а сколько его и какого цвета, в каком месте и на чем — на сундуке ли с божьей помощью или в туалете поезда, — это дело техники и фантазии передающего, не имеющего к факту содеянного никакого снисхождения. Смотри в уголовном кодексе: все, что свыше 300 рублей, — хищение в особо крупных размерах и карается все равно, как за танк золота. Всего лишь раз или сорок раз по разу — один черт. И все-таки, если кто посмеет интерпретировать события ее, Ирбис, сексуального счастья на свой теплохладный лад, — остается тому право пощечины, и ей за все — Божий суд. Она одна ответит перед Ним. Это только у Пастернака в романе все женщины такие милые, славные, так друг о друге душевно говорят, что готовы воспитывать детей от любовницы своего мужика, коль такое случится, ну страсть до чего все хорошие. Ну и слава Богу, на то они нам и пастернаки, великие то есть, и великие примеры высочайших, благородных чувств нам подавать способны... А у нас... Ладно!..

...С Левочкой сошлись они на бульваре Велимира Хлебникова (они же там шли!), когда прогуливали своих детишек в колясках, — молодой папаша и девочка-мать. Он был знаменитостью города, король корта, с теннисной лопаткой в полцены «жигулей». Не раз он мелькал своей всеядной улыбкой на местном телевизоре. Кстати,

там же появлялась и она как ведущая партийно-комсомольских вакханалий. Интерес к спортсмену вспыхнул сразу, а о Левочке и говорить не приходится: слыл он жутким бабником в Элисте, чемпионом в этой гребле парного катания. «Промискуитетный тип», — говорила она про него. В компаниях комсомольская лидерша и спортивный герой были пара — «брызги шампанского».

И закрутилась эта веселая и бесшабашная связь в машинах и гаражах, у друзей и подруг на дачах и квартирах, от которых у него всегда оказывались ключи. А у нее с собой всегда были — простыни. Лева напоминал ей лицом, манерами и острословием Венечку Политковского, артиста того же таганского созвездия... И он не был обрезанным, это она помнила точно... интересно, а Венечка? Сегодня она спросит об этом у Шелепова?! Точно! И расскажет о том промискуитетному лицу в Элисте, которому президент подарил жеребенка, и он задохнется от ревности — не одной ей дрожать от бесконечных связей его и сплетений.

Когда вспоминала о нем, у нее повышалась температура. Пять лет никто не мог оторвать ее от спортсмена. Неужели это сделает русопятый тип, соплививший два часа назад плечо гаишнику и блеющий что-то про любовь?..

Про Левочку муж не знал. Если бы узнал — побрил бы обоих опасной бритвой. Из писем и визитной карточки в гостиницу «Эллада» случайно узнал про грека Костахеса. Простил. Прощал он ей до странности многое. И когда увидел на животе жены чуть повыше треугольника Венеры сильный засос — после очередного ее отсутствия, — она объяснила: это след от замка, неудачно снимала джинсы. Он сделал вид, что поверил. А что ему оставалось делать? А грек в письмах печатно по-русски (...он русский выучил только за то...) тем временем спрашивал: «Ты не помнишь, сколько дней стоял мой поцелуй у тебя

на животе?» Раздвигая ноги перед эллином и эллину, она раздвигала границы отечества с мечтою укрыться с любимым в ином государстве, смещая границы морали в удобную для себя позицию. Неужели все клинья из сердца и тела будут выбиты клином этого «дровосека» с Алтая, в котором она угадывала между тем схожую со своей природу, стремление при любых кульбитах сохранить нормальные отношения в семье, удерживать в неведении мужа (жену) и близких, так спокойнее, комфортнее и поэтому слаще самой (самому). Когда-то мать учила ее считать непреложной истину: чтоб волки сыты и овцы целы, если уж грешить, то так, чтобы все были довольны. Прежде всего — ДОМ: первое, второе, третье и компот, хрустящие простыни и полная тайна вокруг амуров, чтоб комар носа... Ну и для себя часок-другой...

Какую-то часть семейной дистанции она прошла, следуя этой овечьей геометрии, но скоро ложь опостылела ей, и природа ее распружинила. Но странное дело, дочерей своих наставляя она станет по тому же бабушкиному кодексу супружеского подполья. «Какие же мы в конечном итоге все большие эгоисты, если не сказать — свиньи! — писала она ему в начале их адюльтера. — Покой близких, их благоденствие **НУЖНЫ НАМ**, потому что когда плохо им, **НАМ НЕУДОБНО, МЫ СТРАДАЕМ**, мы не можем наслаждаться тогда на всю катушку, не комплексуя, без всяких мыслей-паразитов. Получается, эти две крайности человеческого поведения и мировосприятия — эгоизм и альтруизм — образуют своеобразную ленту Мебиуса, где они свободно и незаметно перетекают друг в друга, настолько незаметно, что невозможно определить, где же кончается *per ego* и начинается *per alten*».

Она размышляла об этом давно, с детства. Но на какой-то стадии мозги отключались и отказывались переваривать всю эту софистическую канитель... Вернемся, однако, к катакомбам театра, читатель...

— Для вас, уважаемая, это конечно, капустник в чужой организации, всем смешно, а вам невдомек, — с этими словами Алексахин вынырнул из пристройки-сараюшки, держа в руках толстую зеленую папку с надписью крупными печатными: «Таганская Одиссея». — Твой ответ, Степаныч, показался мне достойным. Хорошо, что сам лаяться вслед не стал и слова зернистые наковырял, а вместе с Волгиной — убийственные...

— Первые варианты письма были дерзкие, пистолетные, сын поправил.

— Я представляю, на что ты способен... а Федотов не расчел твоих возможностей. Лучшим выходом для него было бы, если б ты исчез бесследно или чтоб ты в котел свалился с соляной кислотой, поскользнувшись на собственных соплях... Вот вы и докатились до разборок. Тетка-театралка, что отходила тебя розгами в письме после твоей речи на похоронах Эфроса, как же она права оказалась! Пророчица, просто ясновидица. Предрекла, что вы без хозяина начнете друг дружке животы выжирать. Хотите послушать? Давненько я ее не читал, как в воду глядела старуха пиковая. Вот, нашел: «Товарищ Шелепов! Когда я услышала Ваши лицемерные слова о прощении, произнесенные у гроба Эфроса... мне, откровенно говоря, стало очень противно и захотелось плюнуть вам в лицо. Ваш прославленный коллектив — подонки и убийцы. Вы убили интеллигентного человека. К вам надо было прислать режиссера с кнутом и палкой, типа Гончарова или Товстоногова. По-видимому, вы не понимаете человеческого обращения в силу низкого интеллекта. Испытания интеллигентностью ваш коллектив явно не выдержал. Ну как, вам стало теперь легко дышать после убийства Эфроса? А как вы мыслите будущее вашего театра? После смерти Эфроса едва ли какой-нибудь уважающий себя режиссер бросится в ваши объятия, ведь никому не захочется жертвовать своей



жизнью ради таких подонков, как ваш прославленный коллектив. Ставка на возвращение Любимова едва ли оправдается, ведь вы для него пройденный этап. Самоуправление вам ничего не даст, так как вы перегрызете друг другу горло. Все может кончиться для вас очень печально. Вас разгонят по другим театрам. Молите Бога, чтобы это было так. Это послужит вам только на пользу, заставит вас впредь шевелить мозгами. Ваш театр всегда был театром режиссера, а не актеров. Режиссер обладал неиссякаемой фантазией и часто прибегал к внешним эффектам, неотразимо действующим на публику. Вашим актерам не подвластны глубоко психологические вещи. Эфрос не мог даже собрать второй состав для «Пикника». Вам не дано сыграть Теннесси Уильямса или Олби, а также Достоевского. Все ваши актеры, кроме Высоцкого, Славиной и Вас, не могут проникнуть во внутренний мир своих героев, ограничиваясь внешним рисунком образа. Как жаль, что такие бездари погубили хорошего интеллигентного человека и талантливого режиссера. Но Бог вас за это покарает. Старый театрал. Москва», — и т. д., подробный адрес и телефон.

Каково? А следом я зачту другое, им, — перстом, черным от земли и бензина, указал высокопарно Алексахин на народного, — в тот же самый день и час по иронии судьбы полученное. Любопытное совпадение. Готовы воспринять?

«Уважаемый Владимир Степанович! Я была на гражданской панихиде, пришла попрощаться с Анатолием Васильевичем. Меня восхитила Ваша жизненная позиция. К большому сожалению и к великому нашему стыду, далеко не каждый может дать правильную оценку событиям нашей поры, но, главное, не каждый может иметь мужество сознаться в содеянном и не побояться попросить прощения, зная, что будешь услышан большой аудиторией. Спасибо Вам огромное, Владимир

Степанович! Вы мне стали очень дороги! Я счастлива, что слышала Ваше слово. Я горжусь Вами. Извините за письмо, не смогла сдержать себя, до того мне немедленно хотелось написать Вам. До свидания. Крепко жму Вашу руку. Глубоко уважающая Вас», — и т. д. Что хорошо, так это то, что оба письма не анонимные и с адресами, — подытожил Алексахин.

— Имею основание предположить, что и писаны они были в единый час, — добавил Шелепов, — по горячим следам панихиды. Кстати, и прочитаны они были мной в той же последовательности. И впечатление, согласитесь, одно. А переставь их местами и закончи письмом с проклятиями — позиция обозначится другая. По Москве тогда упорно ходили слухи и утверждения, что Таганка сократила Эфросу жизни лет на десять, что и «мошкара может до смерти заесть или свести с ума». Но Таганка знала, что главной, первой виновницей была Бронная — ученики Эфроса, которые вышвырнули его из театра и замолчали, ушли в тень, и Таганка получилась одна в ответе за судьбу Мастера. Но их актриса Тоша Голубева сказала убийственно просто: «Загнали его две прекрасные дамы, так что не берите в голову, не мучьтесь особенно покаянием, не бейте себя в грудь и не рвите волосы».

Еще одна известная фамилия возникла, и Ирбис подала голос:

— А вы не помните, что вы на панихиде сказали, почему такие разные реакции незнакомых людей на одни и те же слова?

— Я помню в общих чертах, что-то о покаянии.

— Зачем в общих чертах? Если вам интересно, уважаемая, — а это не может не быть интересно, где вы такое еще услышите, кроме как у Алексахина, — у меня есть его речь на магнитофоне. Мой приятель московский, помня свою оплошность на похоронах Высоцкого, где он в

очереди давился и не снял ничего, и не записал ничего, на похороны Эфроса пришел с диктофоном. Я у него переписал. У меня магнитофон катушечный, старенький, мы на нем еще битлов слушали... Пойдемте в дом. Это быстро. — Гости двинулись за хозяином. — Запись речи народного не ахти, — суетился у «мага» Алексахин, — но разобрать можно. В будущем Андроников какой-нибудь все это соберет, прочистит и прокомментирует.

С магнитофона прохрипело тихое, прерывистое: «Хочется обратиться к Всевышнему: за что, за какие грехи Таганке такие потери...» Владимира Степановича охватило вдруг волнение, он вышел в сени отплакаться, речь свою он знал наизусть... «Дорогой Анатолий Васильевич! Простите нас. Чувство чудовищной несправедливости, личной виновности и виновности коллективной не покидает меня, и, кроме слов покаяния, мне трудно сейчас найти другие слова. Думаю, подобные чувства испытывают и мои коллеги, все работники театра, в том числе и те, кто вольно или невольно, словом или поступком небрежно коснулся большого сердца и профессиональной чести. Эфрос пришел на Таганку в горький для театра час, полный лжи, фальши... И до сих пор не проясненный. Эфрос в буквальном смысле спас театр, и в первую очередь — от гибели нравственной, потому что за гибелью нравственной тотчас бы последовала гибель творческая. Он спас театр своей работой. Он часто говорил нам: «Ребята! Я пришел к вам работать!!!» И результаты этой работы незамедлительно сказались: через год с небольшим в Югославии на фестивале БИТЕФ мы взяли все призы за спектакли «Вишневый сад» и «На дне». О театральных заслугах Эфроса другие знают больше. Мы, которые успели с ним поработать за эти трудные годы, узнали его как выдающегося режиссера, но, кроме того, мы поняли и оценили его благородство человеческое, с каким он относился к тому, что было

сделано театром до него, к любимовским спектаклям, с какой деликатностью относился он к нам, старым работникам театра. Мы будем играть ваши спектакли, мы будем помнить и любить вас таким, каким знали вас ваши самые близкие друзья и ученики. Прощайте, Мастер! Вечная память». Алексахин остановил ленту. Из сеней послышалось:

— «Мой Телемак! Троянская война окончена».

— «Кто победил?» — отозвался на пароль-игру хозяин.

— «Не помню. Должно быть греки: столько мертвецов вне дома бросить могут только греки»...

— После смерти Эфроса, — продолжал народный для Ирбис, — в газетах появилось сообщение, что Любимов отказался комментировать смерть своего преемника. Позже он скажет, что Эфрос совершил большую ошибку, придя на Таганку. «Место это замешано на крови, и нечего было туда соваться». Какую, чью кровь он считал за кровь, а чью за водицу? Вслед за ним про кровь любил говорить Федотов, уйдя в «Современник», что он-де тоже большой кровью оплатил верность Мастеру. Прости, Господи, сие кровопролитие!..

А поссорились Юрий Петрович с Анатолием Васильевичем из-за «Вишневого сада». Причина банальна — ревность. Повод еще смешней. Любимов: «Он не выполнил моих замечаний. Тогда зачем соглашаться с ним?» В чем эти замечания состояли, никто не знал. В сердцах Любимов резко выговаривал мне: «Ты русский актер! Как ты можешь отплясывать, топтаться на православных могилах под еврейский оркестр?! Ты в своем уме?!» — «Еврейский оркестр у Чехова написан». — «Да при чем тут Чехов?! У Чехова не написано — плясать на могилах». Я робко возражал: «Декорация такая... Что же вы меня поджариваете... Скажите ему... Вы — главный режиссер, вас не устраивает мое исполнение — снимите меня с роли. Кого я должен слушать: вас или режиссера-постановщика?» — «Его,

конечно, только его...» — «Ну так и скажите ему». — «А ты сам не понимаешь, что творишь?.. Я-то скажу...»

Эфрос замечаниями Любимова пренебрег, сказал, что «Любимов ничего не понимает в Чехове, пусть занимается своим Кузькиным». К тому же Любимов сам не раз заявлял прилюдно, что пьес Чехова не любит, рассказы — да, другое дело. А зачем вмешивался? — до сих пор не могу понять. На правах главного режиссера? Но Эфрос сам был из главных, хоть и неприкаянных... Соперничество... Характеры и темпераменты не одинаковые... Правы те, кто говорят: «Одному арбуз по душе, другому — попадьева дочка». И пошло-поехало. Ссору было не унять. Из дверей театра она попала в театральные салоны и вошла в двери начальников. Но и у Эфроса там были дружки, не только у Любимова... Двери театра на премьере толпа снесла. Успех превзошел предсказания. Ссора бывших друзей немало тому способствовала. Вольно же было Любимову пригласить такого Мастера в свою кузницу, подпустить к своему тиглю. Вот он и спаял колечко, отлил шедевр. Не нравится? А зачем звал? На что рассчитывал? И зачем потом свару затеял? Публичную. А запретить спектакль было уже не в его силах — успех у публики, трескотня у критики, раскол в труппе. Те, кому нравилась постановка, даже говорить про то вслух в стенах родного театра опасались: донесут главному, считай — опала, и ролей не видать долго. И результат: когда машина одного Мастера стояла у подъезда, другая разворачивалась и уезжала прочь. Если стоял «ситроен», народ знал: в театре хозяин, если «Жигули» — внутри Эфрос. Они избегали встреч. Высоцкий три раза сводил их в своей гримерной: «Помиритесь, гении!» Нет, ни за что, никогда! Далеко зашло, далеко...

И вот Таганка празднует 60-летие своего создателя. Предстоят большие гастроли в Париже. Гастроли организуют и поддерживают коммунистические структуры... Париж, Париж. Мы к тебе еще вернемся с пьесами «На

дне» и «Вишневый сад». А тогда — Любимов награждается орденом Трудового Красного Знамени. В театре шум, гвалт, праздник, толпа почитателей, знаменитые гости. Труппа сидит на полу, табором, подстелив под задницы афиши своих прославленных гениальных спектаклей. Бренчат гитары, работает «Дешевый ресторан». Это старые актрисы под домашнюю капустку и огурчики соленые из русского самовара именитым гостям водки по шкалику бесплатно, за здоровье атамана... Со своих — втридорога. Казалось бы, наоборот надо. Пьянство коллективное еще в чести. Сплачивает. Говорят, в Нью-Йорке есть ресторан Барышникова-Бродского, который так и называется «Русский самовар». Здорово! Потому что остроумно, лучше не придумаешь — простенько и со вкусом. Вот бы в Москве открыть забегаловку — «Сибирские пельмени», а по стенам портреты Распутина, Шукшина, Астафьева... Ну, и свой где-нибудь прилепить незаметно. Но это, к слову...

Любимов разгорячен. Только что знаменитый поэт Вознесенский хлопнул об пол огромного глиняного петуха раскрашенного, сопроводив пожеланием: «Чтоб никогда в ваших спектаклях не было безвкусицы». На что намекал поэт? На живого петуха в «Гамлете», что ли? Или за ради хохмы? Андрей Андреевич для красного словца, для выпендрежа многого не пожалеет. А тут петуха базарного... А хорош петух был, хорош, и сколько глины ушло!. Стали собирать петуховы дребезги. Труппа еще больше развеселилась, гости еще громче загалдели... И вдруг среди шума, гама и хмельной веселости стала образовываться незаказанная тишина.. И образовалась. Та самая, звенящая и зловещая. Говорят, такая перед боем случается. Она случилась не сразу, а постепенно, с первым известием-шепотом: «В театре Эфрос... Эфрос... Эфрос». По лестничному маршруту театра поднимался — Эфрос. С ним три телохранителя-ученика. Немая сцена, чтоб долго не говорить. В логово к своему врагу, сопернику-скандалисту, счастливчику-ба-

ловню и интригану — на пир победителей... Пир замер, обмер, затаился в ожидании... Любимов непредсказуем. Но Эфрос умен. Он подошел близко-близко и сказал тихо-тихо... он знал, куда идет. Сказал коротко, кротко, точной режиссерской формулой: «Уважаемый Юрий Петрович! Дорогой Юра! Поздравляю тебя. Сегодня у тебя есть все: талант, успех, слава, театр. Одного у тебя нет — того, что ты так не любишь, но очень хочешь иметь... вишневого сада... Возьми. Я знаю, когда-нибудь тебе захочется поставить эту пьесу». И дарит ему первое издание «Вишневого сада». Бедный Юра «поплыл». В глазах закипели, как говорят поэты, непрошенные слезы. Многие видели его, даже члены семьи, в таком пребывании первый раз. Что же шевельнулось в тебе, бедный Юрик? Хотя слезы у мужиков он сам ненавидит: «Слезы — это сантимент, который надо задавить в себе сразу, как гаденыша в зародыше».

**НЕ ПОМНЮ Я, ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА, КТО ПОБЕДИЛ — НЕ ПОМНЮ!**

Через десять лет после того, как Таганка в Югославии взяла «Гамлетом» Гран-при, Эфрос там же взял Гран-при «Вишневым садом» на Таганке. Таким образом, театр стал победителем БИТЕФа два раза. Вот вам и *inde igae\**.

...Пойду покурю.

— Ты же не куришь, — хмыкнул Алексахин. — У вас один Федотов за всех дымит, как будто обязательство взял — вогнать в себя за всю Таганку никотина.

— Чаем напои, накорми гостью... Ехать надо.

— А сам фигуру бережешь или пост соблюдаешь петровский?.. Иди, иди... Накормлю.

Болезнь Федотова повернула стрелку памяти Шелепова на несколько оборотов назад. Даже не столько болезнь, сколько разговоры вокруг нее, и особенно недавняя фраза Федотова в интервью «Правде»: «Если

---

\* Отсюда гнев (лат.).

господин Шелепов и мэр Москвы, с помощью которого он пытается вышвырнуть своих товарищей из театра, думают, что они — причина моей болезни, то много им чести...» Что он ко мне привязался, зачем не хочет отстать? И опять — «честь»... «много чести».

Эфрос был первым камнем, серьезной причиной их серьезного разговора, в котором стороннее, художественное затронуло глубоко личные, человеческие струны. Но были и другие времена в их жизни. «Держи руку постоянно на белом листе, набивай ребро ладони за столом, как японцы набивают его, чтоб дробить камни. Иначе ты так и останешься автором одной тонкой книжонки. И прав окажется твой любимый Эфрос, написавший тебе на своей книге «Графоману от графомана», — корил дружески за лень Шелепова Федотов.

Перебирая свою жизнь, Шелепов часто пользовался приемом третьего лица. Он — персонаж, поставленный в чужое кино, наблюдающий свою жизнь с чужого экрана. Так и в дневниках. Исписывая обязательную плановую страницу, он плавно или скачком переводил «Я» в «Он». И этому «Он» позволялось то, чего, с точки зрения «Я», немыслимо было даже и подумать. Его «Я» пряталось за «Он», порой безответственно пренебрегая последствиями... И вот теперь в огороде... Словно видение...

...Белые одежды сцены... Белый холм с могильными белыми крестами. Цветет вишня. Идет «Вишневый сад»... «Откуда у Алексахина столько колорадских жуков? Такой радетельный хозяин...» Владимир Степанович поднял валявшуюся стеклянную банку, стал шарить по цветущим картофельным грядкам, собирать жуков... Жука забросили в Союз когда-то американцы. Это он помнил отчетливо из детства, где на тетрадах вместе с таблицей умножения был изображен огромный американский жук. Тогда шла война в Корее (кстати, кто победил?), и они ребяташками в санатории пели: «Мародеру Макартуру



на корейском берегу надо снять овечью шкуру и змеиную башку». «Ваш любимый цветок?» — «Ветка цветущей вишни», — из анкеты Высоцкого... Очарование цветущей вишни, белый холм — надгробие, тюлевый задник, мягко освещенный, со старинными фотографиями нашей семьи — мы маленькие, и наши предки еще живы... все это организовывается Эфросом в настроение, состояние глубоко нежное, мистическое, и в то же время материально осязаемое... Не передать словами... Это надо было видеть, и видеть прежде всего глазами Аллы Сергеевны, Раневской нашей... Я сейчас заплачу... Жуки проклятые... Надо бы керосину плеснуть в них и сжечь... Так не исчезнут. За кулисами белыми готовится к выходу Шелепов. Он играет Петю Трофимова. Петя приехал сюда умирать, его приводит в экстаз запах книг, которые он здесь читал, изучал и оставил, из которых он цитировал местным барышням умные, впрочем, разные идеи, слова, лишь бы говорить-заговаривать — не заговор, но заговор, он — сумасшедший, городской сумасшедший. И тоже весь в белом. «Играйте вольно, — уже на последних репетициях говорил Эфрос, — дышите легко и свободно. Но обязательное условие: у каждого в роли должно быть два-три места, где с ним — истерика... Повод в тексте найдите сами... Места могут быть каждый раз разные...»

Шелепов подпрыгивает, разминается, учащает дыхание, поправляет падающие старинные очки, нагоняет волнение встречи с Раневской. Актер в хорошей форме. Он в белоснежных носках, хотя как персонаж спит в бане. Сзади к нему подходит его бывшая супруга, кладет руку на плечо и говорит тихо, внятно, выговаривая каждое слово: «Послушай, Владимир... Я очень прошу тебя — не напоминай Василию о себе, не лезь к нему, не занимай его своим вниманием. Его воспитывает другой человек, другого уровня, другого калибра. Не обижайся, но... не надо. Хорошо? Договорились? Василий любит его, слу-

шается, называет папой... не обижайся... покажи, что ты действительно добрый...»

Она еще что-то говорила, он плохо слышал, еще меньше понимал, будучи одним ухом на сцене, ловя реплику выхода, и вот он уже выбежал Петей к белоснежному облаку, двинувшемуся ему навстречу. Петю задерживают на подходе к облаку: «Любовь Андреевна! Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. Мне велено было ждать до утра, но у меня не хватило терпения». Вот это нетерпение — увидеть тотчас же свою хозяйку, тайную страсть свою (актрису, играющую Раневскую, он обожал без памяти, хотя ничего постельного между ними не было, ни даже намек на что-либо подобное, но были внутренняя глубокая приязнь и восхищение статью, умом, манерами) — вот это нетерпение скорей увидеть и еще раз по глазам и улыбке, прикосновению удостовериться, что из всего театра она выделяет его одного, — ЭТО и было главное содержание его выхода. «Идите... Петя... очки... волосы... какой вы стали некрасивый, Петя... как постарели... идите спать...» — Петя чуть не плачет. Да нет, плачет. Машинально поддакивает: «Да, да, я человек другого калибра...» — мнет белую фуражку и бредет в белые кулисы... в свою баню... натягивает белые матерчатые сапоги... И тут с ним случается приступ хохота... «Что она сказала? Его воспитывает другой человек, не моего уровня, не моего порядка? Надо полагать, высшего, не мне чета? Может быть, может быть, но как она смеет такое говорить? Чтобы я оставил сына и забыл про него... Может быть, она хочет мою фамилию отобрать у него?!»

Он смеялся, хохотал, но в этом прослушивалась уже не норма: вот-вот и хохот оборвется рыданием... Но он справился.

Шелепов давно замечал со стороны Федотова этакое к себе отношение снисходительное, этакое — свысока, «жалеечи меньшого брата», хотя сам Федотов был

значительно моложе и Шелепова, и своей нынешней супруги. Нет, он признавал за Владимиром и талант, и самородчество, душу народную, так сказать, «от сохи»... Но часто в разговорах, в эпистолах, характеризуя поступки и личность оппонента, вплетал обязательные прилагательные, вроде примитивный, заурядный, прохиндей, а то просто — глупыш наш маленький, эмбрион недоучившийся, писатель, русского языка не знающий, на полстраницы письма десять ошибок делающий и т. д., — тем самым как бы подчеркивая свой собственный уровень: не достать рукой, хоть подпрыгивай.

В душе, в глубине, в тайниках и только ночью Шелепов признавался горько себе, что он Федотову всегда, везде и во всем чуть-чуть проигрывал. Ему всегда не хватало чего-то, чтобы стать с ним вровень, достичь безоговорочно гамбургской планки, какую Федотов достигал всюду легко. В одной роли ему не хватало речевой техники, дикции, как у Федотова, — безупречной. Для другой он был низковат. Ну, что бы три-четыре сантиметра добавить, быть выше, как Федотов. Для третьей он был сутул, для четвертой не хватало изящества, для пятой — достоинства, чести и гордости, для шестой — блеска и острословия, как у Федотова, что же тогда у него было? Чем он достигал в своих глазах равновесия? Голосом? Да, голос был, особенно в молодости. Голос, в котором в лучшие миги прозвучивалось все: и рост, и блеск, и ум — не заемный, не книжный — свой. И смирение? И душа? Говорили, что у него-де настоящая русская душа. Душа, какую снабдил его в дорогу вольный Алтай. И шире эта душа реки Оби, дескать, в разливе. Но душа, известно, потемки. А русская, к тому же, и загадочная. Ну, если загадочная — куда ни шло, можно согласиться, а если просто — помойка, а не потемки?

Одна немецкая газета писала о нем: «Он (Шелепов) называет себя крестьянским артистом. Но... когда он

выходит на сцену — шарм, темперамент и компетентность ставят сразу все на свои места».

Особенно в этой цитате ему льстило слово «шарм». Эту статью он размножил, раздал, разослал друзьям и знакомым и обращался к ней часто в минуты отчаяния.

Нет, природа не обделила его, разве что костный туберкулез, перенесенный в детстве, из-за которого он не стал летать под куполом цирка гуттаперчевым мальчиком.

«Ты, видимо, объясняешь свою путаницу сложностью душевной конструкции, — писал ему в одном из последних посланий Федотов (последнее он приклеил на стенку). — Но сложность рисунка души не может уживаться с примитивной жестокостью и заурядным прохиндейством. Ты однажды сказал мне: у каждого своя нравственность. Это, конечно, глупость. Нравственность — одна. И научить ей невозможно. Это либо в человеке есть, либо нет. Какой же ты действительно, Владимир? Да и есть ли ты? Думаешь одно, говоришь другое, поступаешь вообще вне связи с тем, что думаешь и говоришь. Я — человек несовершенный. Но в одном меня упрекнуть нельзя — в несоответствии идей и поступка. Это и дает мне силы жить. Даже если мне однажды сломают шею, мне будет легче умирать. Тебе умирать, я думаю, будет труднее. Прощай, Владимир...»

А Владимир и по сию пору в огороде над письмом размышляет. «Нельзя упрекнуть в несоответствии идеи и поступка...» Ну нельзя, допустим. А дальше что? А если идея порочна, и я не согласен с ней... Тогда как? Или вы все равно будете приводить средства в соответствие с вашей целью. А быть может, лучше не подгонять поступки под какую бы то ни было идею, а сообразовывать их по мере возможности с простым — «чур! не сделай зла»? И все. Но ведь опять скажут: что благо для одно-

го, дурно для другого. Вот что я имел в виду, говоря о нравственности.

Одинаковость профессии, служба в одном заведении на фоне одной женщины, первой красавицы этого заведения, вольно или невольно ставили их в положение состязания друг с другом не только в популярности у масс, но и в уме, одежде, гонорарах, даже мужском достоинстве. И то, что у Шелепова было три сына законных, дочь в Америке и полтеатра любовниц, давало ему определенную фору в пространстве будущего. У него есть род, и продолжение следует. У Федотова с этим пунктом было сложнее. И он не заботился о том.

Когда узаконился наконец-то их брак, Шелепов был рад несказанно и перекрестился: какого удачного кормильца послал Бог в оставленную им семью. Единственно, чего он не хотел смертельно, — чтобы у них были дети. «Пусть у него будет все: деньги, здоровье, собрания сочинений и памятник на Тверской, пусть не будет рода от нее. От кого угодно, хоть от Элизабет Тейлор, только не от нее».

А поначалу отношения у них складывались добрые, внешне весьма приличные и интеллигентные. В одном письме Федотов писал: «Так сложилась наша судьба, что мы не можем быть врозь, что ты и я — мы все равно что-то однородное, если не сказать родное, хотя вроде бы очень не похожи в фактических проявлениях. Я поговорил с Инной, и мы решили, что будем вместе, может быть, даже в одном театре. Нельзя, нельзя расставаться, мир жесток, а мы слабые, нам нужно только вместе...»

Когда б не Паламед, мы жили б вместе,  
Но, может быть, и прав он: без меня  
Ты от страстей Эдиповых избавлен,  
И сны твои, мой Телемак, безгрешны.

Смерть Эфроса была не ко времени. Бросив Таганку в поддержку Любимова, уйдя в другой театр и оскорбив Эфроса на юбилее «Современника»... Неожиданная смерть Эфроса сильно ударила по позициям Федотова в глазах Шелепова, и он прекрасно понимал, какое трагическое смятение поселилось теперь в душе его недавнего «брата по музе, по судьбам».

«Троянская война окончена... кто победил...» Дикость. Непоправимость.

Картофельные грядки у Алексахина были ухожены, как, впрочем, весь огромный огород — с капустой, парниками, морковкой и компостной ямой... «Жить бы вот так же где-то, — позавидовал в душе Владимир Степанович своему другу, — не связываться ни с какими Федотовыми, не быть публичным человеком, да уж нельзя, обязывает профессия тусоваться, высовываться». Мысли его вернулись к «Вишневному саду», к давним гастролям в Париже. Они приехали с эфросовскими спектаклями буквально через неделю после похорон Мастера. В то время Любимов пятый год как был в эмиграции и ставил очередную оперу в Бонне. «Оперуполномоченный», — как он про себя шутил. Труппа наивно полагала, что он встретит артистов в аэропорту, — что стоит приехать из Бонна в Париж, прокатиться на собственном «мерседесе»? Глупая и наивная мысль — предположить, что после «предательства», как считал Любимов, он поедет встречать «вонючий развалившийся театр». Он хотел, чтобы артисты разошлись кто куда в его поддержку и чтобы на месте бывшей Таганки тлело пепелище.

Такой вывод из действий и заявлений Любимова делали для себя многие. Шелепов был из активного их числа и не разделял хотения Мастера — легенда и пепелище.

На первой же пресс-конференции он заявил, что «труппа неоднозначно относится к возвращению Любимова» и что, по его мнению, «Любимов ведет себя по

отношению к труппе нечестно и непорядочно», и так же — по отношению к памяти Эфроса. «Мы хотим Юрия Петровича заполучить обратно, а хочет ли он сам этого? Дело возвращения Любимова — в его собственных руках. Мы его тащим назад, пишем письма в политбюро, покойный Эфрос эти письма подписывал вместе с нами, а может быть, мы делаем тем самым преступление перед человеческим бытием Любимова, у которого семья, маленький ребенок, дом в Израиле и работа на Западе. Зачем мы его тащим назад? С Таганкой у него игра сыграна. Он хочет, чтоб осталась легенда от театра, а сам бы он вошел на скрижали как изгнанник с лицом мученика. Но ведь его не выгоняли из страны, он сам стал невозвращенцем, и его за то лишили гражданства. Это не Солженицын, которого арестовали, потом посадили в самолет и выбросили из страны. Любимов не нужен Западу так, как нужен России. Он нужен нам. И мы хотим, чтобы он скорее вернулся домой. А он выставляет то одно требование, то другое, как та старуха из сказки о золотой рыбке. Складывается впечатление, что он просто по каким-то причинам не хочет возвращаться. А мы его тянем, просим, вынуждаем и тем самым ставим в неловкое положение».

Подобных интервью было бесчисленное множество. И они не прошли мимо ушей и глаз Любимова... Но Шелепов набрался-таки храбрости и позвонил Любимову в Бонн, хотя боялся, что тот не станет с ним разговаривать и повесит трубку. Этот разговор ночной был долгим, и запомнил его Владимир Степанович на всю жизнь.

Любимов: Ты, Владимир, ведешь себя как флюгер. В твои годы... У тебя седина на голове.

Шелепов: У меня лысина...

Л.: Ну посмотри на свою лысину!..

Ш.: Я сказал на пресс-конференции, что думал, и хотел, чтобы вы знали, что я не лгу ни перед собой, ни перед вами, ни перед покойным Эфросом...

Л.: Не надо так говорить, Владимир, мы все лжем в той или иной степени. Вспомни слова Свидригайлова. Я зла на тебя не держу — всего тебе доброго и хорошего, семье твоей поклон. И запомни этот наш ночной разговор. Меня выгнали, как собаку, с малым дитем и хотят, чтобы я приполз к ним на брюхе... Они провоцируют меня и этот наш с тобой разговор записывают. Так вот, пусть слушают еще раз. Эта сволочь Демичев пока у власти... ордена раздает... Скольких людей он выдворил из страны?.. Вам дали подачку — отправили в Париж. Почему вы не потребовали, чтоб поехал восстановленный нами «Дом на набережной»? Трифонов — один из самых читаемых на Западе русских писателей...

Ш.: Не мы выбирали спектакли... Не мы заказывали музыку...

Л.: Да бросьте вы! Сейчас вы поедете в Милан — и снова без единого нашего спектакля. Где ваша честь, где ваш стыд? Стреллер несколько телеграмм давал Андропову с приглашением театра в Италию. Пусть поднимут архивы, там все есть. Они объявили меня врагом народа. Обосрались — так пусть отмываются. Пусть сперва восстановят мое честное имя. Пусть вернут Сахарову трижды Героя. Ему памятник в Москве надо поставить. По их законам это полагается... При чем тут театр, когда разговор вышел на другой уровень. Когда речь идет о судьбе страны... В сердцах, конечно, можно и не то сказать. Можно поддать, отойти и снова поддать, но пора мыслить глубже, дальше, шире. Ты падал пьяный со стены, молол про Ленина черт те чего, а меня за то с работы выгоняли. Ты все получил, а что получил я?! Ты знаменит и богат (да, давно он дома не был!), если можешь позволить себе так долго говорить из Парижа по телефону.

Ш.: Я звоню по чужой кредитной карте.

Л.: А, ну тогда ладно, не обеднеют. Ты веришь в Бога. Читай Библию. Там все написано. Кому я должен



верить — этим нашим партийным блинам, директору и парторгу? Они вами манипулируют, как котятами. Ладно. Будь здоров. Всего тебе хорошего...

За этот долгий разговор он много раз прощался, жалея деньги Владимира Степановича. По всему было видно, что к деньгам он относится серьезно, с большим уважением. Слава Богу, он не сказал в этот раз, что Советский Союз купил для Эфроса западную прессу (в том числе, выходит, и «Русскую мысль»). Кстати, о «пряниках». Поездки Эфрос не любил: «Когда начинаются разъезды, это конец. Люди живут от поездки до поездки. Но лишать людей радости, которой действительно не так много, было бы с моей стороны некультурно».

Вот что он думал по поводу заграничного «пряника», и со счастливой улыбкой вспоминал гастроли в Куйбышеве, где фактически состоялась вторая премьера «Мизантропа» и появились замечательные рецензии не московского «розлива». А в Париже после спектакля «Вишневый сад» в мужскую гримерную вбежал взволнованный человек со слезами на глазах, как потом выяснилось — актер из Тель-Авива, покинувший давным-давно Россию: «Такой спектакль мог сделать только Моцарт... Это Моцарт, Моцарт». Один актер пошутил: «Передайте это Любимову. Вы увидите его в Израиле?» — «Конечно, увижу...» — «Вот и передайте ему свои впечатления в этих самых выражениях, дескать, Эфрос — это Моцарт, и не менее. Ему будет очень приятно». — «Обязательно передам, непременно передам», — расшаркивался ничего не ведавший, не посвященный в наши интриги израильский пожилой актер.

...Когда Владимир Степанович вернулся с полбанкой американских жуков и спросил, где керосин, Алексахин разливал чай и приговаривал:

— Вот такие пироги, Лариса... Как вас по батюшке? Александровна... Ну, славно, славно. Что, артист, загрустил?.. Да брось ты с этими жуками возиться, выпей чайку

на дорожку... Не хочешь? Ну, а крепче нельзя... нам можно только по пять грамм... Сливочного масла я сейчас найду вам, уважаемая. Да... А буквально через год после панихиды по Эфросу ему, — Алексахин кивнул в сторону народного, — достанется за рассказ, в фильме его генетического врага, как он посмел репетировать Гамлета. Генетический враг пострашнее классового будет, потому что действия его непредсказуемы, как действия женщины во гневе, когда осквернено ее брачное ложе. Читали «Медею» когда-нибудь?..

— Да, я сдавала античку в университете.

— В античке много интересного... Так вот, Шелепов поделился с одним режиссером перед камерой, как он Гамлета репетировал по распоряжению Любимова... Это важно. Приказ Любимова был, не сам же он в Гамлеты полез в отсутствие Высоцкого — Гамлета, а не по приказу... Вот тоже, все шумят — Шекспир, Шекспир... Надо же, Высоцкий играл Гамлета! Ах, скажите, какая радость, какое достижение нашей культуры! А для меня то, что он Гамлета играл, и то, что он был муж Марины Влади, одинаково... — Да ведь надо горевать, что он тратил время и жизнь на шутов и принцев. Он один был целый шекспировский театр. Вместо этого лицедейства лучше бы лишнюю песню написал... Вы любите Высоцкого?

— Мой муж его обожает... собирает все записи, всю литературу о нем...

— Ну, тогда нам есть о чем поговорить... Это первач... по рюмочке... разведите вареньицем, правильно. Так вот, что касается самого Владимира Семеновича, то для меня во много раз важнее его социальная функция, о чем еще мало и мимоходом говорилось, — Алексахин наступил на свою клавишу. Забегая вперед, скажем, что этот странный человек, матерщинник, нигилист и выпивоха, через два года уверует в Бога, будет служить в церкви, петь на клиросе и читать проповеди.

— Ну, этот курс мы уже проходили, когда он дойдет до «Битлз», кликните меня, а я кроликов покормлю, машину приготовлю и жуков сожгу. — Народный подошел к Ирбис, поцеловал ее в затылок, закачался от запаха и возбуждения, и опять с ним чуть не случилось то, что в машине на 21-м километре, а потом в милиции...

Ему скорей хотелось уехать, но он понимал, что ее «готовят». Сотни раз он слышал сентенции этого бородатого мужика, от которого шел дух навоза и земли. Но он видел и то, что Ирбис это «приобщение» занимает, затягивает, а в замесе с такими именами и панихидами — и вовсе с потрохами... Паучью сеть вокруг нее плетет сосед вместо него, но для него же, в конце концов, старается.

Плетет искусно и запутывает. «Пусть плетет. Куда только везти ее сейчас? В гостиницу или домой, где благо нет никого? Разберемся потом, сначала надо уломать. А что именно сегодня ее уложить надо — хоть в машине, хоть в кустах, — сомненья в том никакого». Стоя у клеток, он услышал ее смех, опять его потрянуло электричеством. Он застонал от желания, глядя расширенными зрачками в красные глаза самца-производителя. «Говори, Артем, заговаривай...» И Артем говорил:

— Так уж сложилась история, что в России спокон веку художник выполнял функции «учителя жизни». Функция эта хоть и почетная, и важная, но для искусства, в общем мировом понимании его, крайне специфичная. Ведь далеко не везде в мире так. На Западе эту функцию выполняли те, кто, собственно, и должен ее выполнять, политические деятели, трибуны, просветители, реформаторы и тому подобные. Отсутствие альтернативной политической жизни в России вытеснило эту функцию в искусство...

— Какой-то элемент подобного рода, согласитесь, Артем Николаевич, был всегда в любом искусстве, — поддержала умный разговор Ирбис.

— Разумеется, но в России он был непропорционально велик.

— Да уж... В России поапостольствовать — мы любим.

— Точно. К добру ли, к беде ли, но так. Так что делал Высоцкий, кем он был для миллионов людей? Он просвещал, объяснял, оценивал, он был учителем жизни! Вся наша хитрая пропагандистская машина с ее записными «спасителями», получившими свои права по табели о рангах, ему и в подметки не годилась. А Высоцкому эти права были присвоены извне тем самым народом, в любви к которому клянется всяк, да взаимной любви которого не всякому получить удастся. Тяжела была ноша, взваленная на плечи Высоцкого, но нес он ее достойно, выветив перед всем обществом снизу доверху неестественность навязанных нам ценностей и неправомерность многих ролей социального толка. По его песням эпоху можно изучать и будут изучать. Так что сила его воздействия не только в голосе и в искусстве «на пределе».

Ирбис начала уставать от ликбеза. «Неужели и артист окажется таким же занудой?» Она смотрела теперь мимо лектора, вспоминала о Левочке-спортсмене, о его остроумии и промискуитетности — у нее поднялась температура. Заметив тоску нездешнюю на челе провинциалки, оратор поспешил перейти к близгуляющему образу:

— Ваш друг представляется мне очень искренним человеком и искренним художником, и здесь-то таится для вас тот капкан, о котором я говорил вначале. Он раздевает себя подчас беспощадно и срамно. Это его увлечение, граничащее с эксгибиционизмом, вредоносно. Он жениться вам предложит сразу, — Ирбис вновь обратилась в слух. — Вот тут-то вы и влипнете. Шучу. Влипнет, конечно, он... Так вот, это его качество — искренность безограничительная — и могло определить во многом его дружбу с Семенычем.

— Да... да... это верно... Вы правы... — Ирбис ждала продолжения о Шелепове.

И продолжение последовало:

— Я полагаю, что искренность не разделяется по диапазонам и громкости. В этом смысле роли Семеныча и Степаныча удивительно смыкаются в противовес многому, что на визге ли, на шепоте за искусство выдается. Искреннее искусство, искренность... Трудно это и опасно. Взять хотя бы Таганку. Все признаются «после его жизни» в любви к Высоцкому, все были ему друзья, ну просто очень хорошие друзья. Так много любви и такие милые отношения! Непонятно только, с чего это мучился человек, куда рвался, чем не устроен был в мире, в общении... И друзья-поэты — ну просто всегда понимали, только вот почему-то не принимали. Ну никто ни словом, ни делом не задел, не обидел... Да не бывает так!.. А тут Шелепов вдруг рассказал — очень честно, просто и искренне... Что было, то было. Да, хотел играть Гамлета. Выполнял приказ шефа. Плохо ли это, хорошо, но — правда. Обычная, житейская, ни к доносительству, ни к травле отношения не имеющая. А режиссер постарался найти такой ракурс для искренности Шелепова, что обозначился в ней вовсе противоположный смысл. И 250 миллионов телезрителей отвернулись от уважаемого артиста, как будто и впрямь совершил он Иудин грех, в наглуую заменив его Гамлета своим... Вот она, цена искренности. Послушайте, сейчас я вам такую «бумагу» из папки извлеку — страсть, вот она:

«Иуда! Ты предал друга, и мы решили, что будешь поставлен на ножи. За него — смерть. Бойся ходить один по вечерам. Но от ножа подохнешь, собака. И квартира твоя сгорит с тобой и твоими щенками. Группа «Мечь». Иваново».

Ирбис ахнула:

— Господи, что это?

— Это цветочки. А вот это похоже на ягодки, хотя еще не ягодки, но мало ли фанатов, больных и кликуш, которые возьмутся исполнить приговор.

Алексахин извлек из этой же папки целлофановый спрессованный пакет величиной с хорошую рабочую ладонь:

— Узнаете?

— Что это? Эмбрион в плазме?

— Нет, это сперма в гондоне. Этот презерватив использованный он получил заказным письмом с соответствующим текстом: «Так будет с тобой, юдофоб, антисемит и враг Высоцкого. Сказано — не бывать тебе Гамлетом, оставайся лаптем, каким был в своем вшивом Алтае» и т. д. Я ночевал у него в тот день, по утра которого он расписался у почтаря за сей подарок. Кстати, автор презента — женщина.

Ирбис полыхала, горела, словно в кровь ей впрыснули большую дозу хлористого кальция. Подступал к горлу, душил, казалось, «передозняк». Ее вырвало, едва она успела к поганому ведру. Умылась, отдышалась, причесалась, глаза блестели, не то слезились.

— Зачем вы это собираете?

— А он не знает, что я это храню. Взял выбросить, но по дороге, не знаю, что дернуло, сунул в карман. Мою убогую фантазию это подпитывает, кипятит желчь. Когда-нибудь наберется у меня приличная коллекция всякого такого, и я отправлю «экспонаты» в его музей на Алтай. Он меня своим Чертковым хочет сделать. А я не отказываюсь. Еще раз поймите, не мне судить, не мне оценивать, но фильм был показан для всех, а значит, и для меня. И мне, именно мне, вот так увиделось: их похожесть — впрядельной искренности. Может, и не прав я. Повторяю, когда пришлось мне наблюдать, как Шелепов на доске в «Годунове» балансирует — Европа-Азия, — опасался за него чисто по-человечески, прикидывая, что

об пол может трахнуть. Но он балансирует и в жизни на такой же доске, стоит на своей жизни и раскачивает ее. Какой же русский не любит... раскачать свою жизнь, чтоб с петель слетела? Но зрители... Одним интересно, чтоб он шлепнулся (и в жизни тоже), другим — боязно за него, а третьих интересует только прочность материала, выдержит ли доска. Между тем ясности, понимания он никогда не добьется, хоть рви он рубаху до пупа... Обязательно как-нибудь рванет, и пониже, чтоб пояснить свое отношение к законам Моисея... Но то, что Семеныч в анкете назвал его другом, этого ему никогда не простят. Это слишком высоко... Он уж одним этим вошел в историю. Допустим, он действительно «мучитель» Высоцкого был, но эту ерунду ему простят, а вот то, что он в истории стоит рядом с Высоцким как друг — это для многих невыносимо. Ему будут завидовать, а зависть скрывать в нападках на него под благим радением за Володечку. Теперь они театр делят, а вместе с ним и Высоцкого — за кого бы тот пошел...

За воротами завизжал стартер, заурчал заведенный автомобиль. В дверях появился народный:

— Ехать надо, Лариса Александровна. Меня еще комдив ждет. Стол накрывает давно.

— Ну, на дорожку позволь анекдотец про вас, а может, предсказание, быть... Ваш министр бывший звонит из министерства культуры Федотову: «Срочно превратить театр в храм. Только побыстрее, перестройка не ждет. Ответственный — ты. Дело не затягивай, это приказ». — «Слушаюсь». Через 10 минут у министра звонок: «Это я, Федотов. Все готово». — «Что готово?» — «Храм. Разрушили театр — и храм готов. По примеру Герострата, того что сжег храм Артемиды, одно из семи чудес света. Твоим именем назвали храм: Тюк-Голова». Министр смеется: «Надо же, какая ты сволочь, Федот, напугал. Ну, а так, все благополучно?» — «Все, слава Богу, только ворон твой

любимый падали объелся». — «Да где же нашел?» — «Да же-ребец вороной пал, твой любимый». — «Как так?» — «А как театр горел, на нем воду возили, да загнали». — «Да отчего же пожар сделался?» — «А как хоронили беднягу Эфроса со свечами, так и подожгли невзначай...» Шелепов перебил сказочку:

— Ладно, Артем, пока.

— Ну, пока, пока. Возьми на дорожку винца да зелени. Угостишь гостью. И сам пожуешь. Привози еще дерьма мешок, разберемся потихоньку. Вообще-то я сам скоро буду в Москве, в «Юности», там у меня два рассказишка идут... Подожди-ка, подожди чуток, у меня ведь о «битлах» материал в «Огоньке» прошел. Вот не успел нашей гостье почитать. Полистайте в дороге, уважаемая. «100 км от Москвы» называется.

Ирбис села в машину, журнал бросила на заднее сиденье. Голова у нее раскалывалась: «Господи, неужели я уехала?» Машина тронулась.

Вскоре она уснула. И опять ей в сон, как наваждение, в сотый раз явилось поразившее ее когда-то в кино увиденное зрелище — лошади без седоков на скачках. Беспомощность и отчаяние, и тоска, и одиночество охватывали ее, когда она вспоминала этих несчастных животных, потерявших своих хозяев на дистанции состязания. Для иных, с кем она пыталась делиться своим страхом, это была не более как чушь. Для нее же, особенно когда воображение расстраивалось, как теперь, — жуть неодолимая... Лошади шли по тяжелому маршруту вперегонки, на время: по пахоте, через рвы, плетни, через жерди, воду и кручи. Седоки не удерживались: падали, сваливались, брыкались наземь, а лошадь скакала дальше одна. Лошади, роняя хозяев, догоняли и перегоняли друг друга, не оставляя состязания: барьер за барьером, препятствие за препятствием — без шпор, без понуканья... Кони падали тоже. Ломали ноги, шеи,



хребты, но гон продолжали другие. Почему?! Зачем?! Для чего?! Какая дьявольская нелепая сила гнала их? Зашоренных... По привычности ли дрессуры, по заданности крови или по законам табуна вершился тот бег? И среди лошадей живет страсть прийти первой. И лошади заражены первачеством, и каждая норовит другой хвост показать. Бедные, бедные животные, чему вас люди научили? Почему до боли сердечной жаль не того, кто упал под коня, а того, кто без поводыря остался? Какой смехач издевается над ними, потирает ручки и толкает на состязание-истязание без седока, без смысла, без идеи — к ложной цели?.. Обезумевший без жожака табун прокопытил по усадьбе Алексахина. Усадьба вспыхнула от подков и горела зеленым пламенем. И сгорела дотла вместе с кроликами и колорадскими жуками. Осталась одна яблоня, цветущая ядовитыми купоросными цветами, на глазах разбухающими в плоды — зеленые канцелярские папки. На всех папках надписи: «Сукины дети»...

Въехали в Москву. За выставкой остановились у светофора со стрелкой: прямо-направо. Направо — к ней в отель, прямо — к нему на кухню, под окном которой через три дня взорвется цветом жасмин.

— Куда едем? — разбудил он попугачицу. — Направо или прямо?!

— Куда хотите, — не прозревая последствий, — выдохнула Ирбис.

— Значит, прямо. Значит, судьба!

# Подвиг слова

## О языке

Написал заглавие на рабочем листе и испугался. Вот о чем я замахнулся поговорить — о языке! Или ответить Вам, уважаемый редактор, на вопрос, среди прочих для меня главный: «Как Вам удалось сохранить самостоятельную жизнь и самостоятельное слово?» А я себя спрашиваю (в страхе опять же): «А удалось ли действительно?» Почему я так долго не отвечал на Ваши вопросы и не знаю, отвечу ли вообще? Да потому что:

1. А смею ли я говорить об этом? И есть ли мне что сказать?

2. И нужно ли вообще об этом говорить? Есть ли смысл в этом, есть ли польза, рабочая польза?

Мною так мало написано и ничего в литературе не сделано еще, чтобы о проблемах языка рассуждать. «Пусть рассуждают другие, а ты лучше бы своим делом занимался», — говорю я себе. Но в Вашем вопроснике Вы отметили, что я как актер каждый день в силу профессии имею дело со словом: поэтическим (разных веков), прозаическим, разговорным и, наконец, песенным — и не-

ужели нет ничего «наболевшего»?! И тут Вы правы, если с этой стороны поглядеть...

Все споры, разговоры, изложение «кредо», позиций, защита редкого языка (от кого?) — на мой взгляд, сплошная междоусобица. Читаю газету: один мой любимый писатель, защищая родной наш русский язык, долбаёт другого моего любимого писателя за этот же язык — так, дескать, в деревне не говорили, не говорят — и даже цитаты приводит. В другом номере читаю ответ или продолжение якобы дискуссии о языке — критик разносит первого, защищая второго. И пошла писать губерния... А я вообще перестаю читать статьи под рубрикой «Как мы говорим, как мы пишем», потому что это, словами Есенина, «сплошные мужицкие войны — дерутся селом на село... То радовцев бьют криушане, то радовцы бьют криушан».

И вступать в эту свару по поводу языка мне противно. Потому что требуются примеры — и не из классиков, а из нынешних. А примеры — это опять твой вкус, твои привязанности, и опять получается свара. А без примеров, без сравнения одного языкового поля с другим, без защиты одного и порицания другого читателю ничего не скажет твоя статья, твои рассуждения. Читателю ведь что нужно? Ему подавай, как ты думаешь, что такое хорошо и что, по-твоему, плохо. А если этот дележ на семена и плевелы производит человек в некоторой степени известный, то значит: так и нам надо думать, как он; равняться на его вкусы, на его привязанности и прочее. А писателю эти свары вообще не нужны. Никакой пользы от них нет, ничего, кроме порчи желчи или получения инфаркта от грызни. Потому что у писателя (разумею хороших писателей) есть или непременно должно быть чутье языка. Это чутье ничем не заменишь и не определишь. Ему не научишь, и Даль не поможет. Это данность.

Между прочим, то же самое, что у актера: один чует слово, любит его, понимает, а другому — до фонаря. Ему важно не авторское слово, а свой голос показать, так сказать, свою грудь выпятить.

И искать кладовую русского языка на Севере, Алтае, в Одессе или Иркутске, или где-то еще — это, по-моему, занятие пустое. Потому что кладовая языка — вся Россия, вся ее духовная история. Язык един. Просто писатель в силу своего дарования отбирает то слово, которое ему необходимо. Вот у Шукшина — чутье к диалогу, к разговорному языку. Тут он мастер. В диалоге — характеры... с философией, моралью, судьбами. Ему, Шукшину, некогда вроде заниматься описаниями, всякой авторской дребеденью, отступлениями и прочим. Все заключено в диалоге. И зависть берет: вот ведь подслушал!.. Вот ведь память! Поеду-ка я туда же с магнитофоном или с блокнотом, угощу мужиков, запишу и выдам на-гора в родную литературу то, как народ говорит; тот самый ключ найду, родниковое слово...

Чушь и насмешка! Я из тех же мест. Так не говорит народ. Вернее, каждая фраза, взятая отдельно, может быть сказана, безусловно. Но в том-то и сила шукшинского слова, и секрет его, и стиль его письма (хотя сам Шукшин сейчас, наверное, поморщился бы да плюнул в сердцах), что он ведет диалог характеров точных, разных — но своих, выдуманных. Это большая поэзия, высоконравственная поэзия. Какими бы на первый взгляд ни казались герои Шукшина грубыми, несваренными, кирзовыми; каким бы портяночным ни казался их язык... Кажется, я влезаю в свару?..

А хотел-то я сказать всего лишь, что это не «подслушано и записано» (хотя это может быть и подслушано и записано), а это есть сочинение писателя, у которого врожденное чутье к такой именно форме литературной, к такому составу языка. Чутье и знание. А талант, дан-

ность — от папы с мамой. Эти слова и образы с детства и на всю жизнь вошли в состав крови его, и потом он мог уже и не ездить за ними на родину. Город же определил им место, сделал слово Шукшина художественным. Кстати, в состав шукшинского словаря вошло много и таких слов, которые могли к нему прицепиться только в московском троллейбусе.

Или вот у Распутина: «Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь». Почему, в который раз открывая «Прощание с Матерой», я вздрагиваю, ровно по мне ток пропустили от этого — «вытянувшись в могучую сверкающую «течь»? Течь — нож! Или, может быть, это только на меня так действует зачин «Матеры»? Ну кто так говорит? Какая старуха обронила, а Распутин поднял? И какие тут особые, неслыханные слова!

Нет, вероятность, что так могут сказать в народе, есть, но образ родить может только писатель. Вот эту «течь» может сказать только писатель. Это слово точное, найденное. В конце концов оно-то и определило весь стиль и смысл фразы. Это бесспорно для меня. И для меня уже в самом зачине этом есть густое предчувствие повествования не шустрого, но эпического, могуче-серьезного. Так же и читать надо, как бы предупреждает меня писатель, не проглатывая страницу за страницей, а всасывая все струи, все слова, пропуская их через себя. Замечательный язык! И почему-то добавляют — русский. Да, конечно, русский, какой же еще?

А каким языком написан «Арктур — гончий пес» Юрием Казаковым? Для меня, например, этот «Арктур» — как учебник, пример из «Родной речи», наряду со страницами прозы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Бунина. Словарный состав и стиль Казакова отличны, разумеется, от распутинских, а писатели для меня родные, хотя и разные.

Горький, наряду с классиками, со «Словом о полку Игореве», призывал молодых писателей для постижения русского языка читать Библию, Псалтырь, вникать в «Песнь Песней» Соломона. А где их взять? Ведь не в содержание же Библии призывал вникать великий пролетарский писатель-атеист, а в язык, в образность, в речь саму по себе. Конечно, лукавил — большевиков боялся.

Или когда авторитетнейший наш критик Феликс Феодосиевич Кузнецов громит на страницах «Литературной газеты» русского писателя Набокова за немарксистское содержание его книг, но называет его при этом «изысканнейшим стилистом века», так мне хочется почитать, узнать, услышать этого неслыханного писателя. Содержание мы отведем от формы, как в Библии, а поучимся языку, стилю.

Записывал я песню к фильму «Инженер Прончатов». Поэт сочинил текст, композитор — музыку. Оркестр симфонический, известный дирижер дирижирует, я пою, Краснознаменный хор подпекает. Славный коллектив, много людей, все делом заняты... Записали, довольные друг другом разошлись, все хорошо. Композитор фонограмму-дубль под мышку — и на радио.

Через несколько дней звонок:

— Валерий Сергеевич, надо переписать песню с другим текстом.

— Какую?

— «Барыню-речку».

— Почему?

Оказывается: показывали кому-то фильм на двух пленках. Один влиятельный «кто-то» и говорит: «Что это за текст вы поете: барыня-речка, сударыня-речка?.. Барыня-сударыня... Архаизмы какие-то, начитались Солоухина...» Другой «кто-то» поддакивает: «В самом деле, это отсталость...»

И это взрослые люди?! Батюшки светы! Просто руки опускаются.

И славное, величавое, лукавое обращение к реке — «барыня-речка, сударыня-речка» — заменили на тавтологическое, ничего не говорящее: «реченька-речка, красавица-речка...»

А ведь до этого текст утверждался не одной инстанцией, а послушали — решили переделать. Каково мне было это петь сызнова, да еще с тем же раскатом, с той же вольностью, с тем же настроением?

И что получилось? Композитор отдал на радио и в фирму «Мелодия» первый, авторский вариант. «Барыня-речка» ушла в эфир раньше, чем вышел фильм «Инженер Прончатов» с вариантом «реченька-речка». На радио звучит одно, в фильме — другое. Правая рука не ведает, что творит левая. Говорят, из песни слова не выкинешь. Еще как выкинешь! Стыдно.

Кажется, уважаемый редактор, я опять ушел от темы нашего разговора. Значит: как мы говорим, как мы пишем?

Думаю, что пишем-то мы еще куда ни шло, а вот говорим — совсем никуда не годится. Не научаемся мы почему-то искусству этому, не привыкаем. Прimitивные темы, усредненная речь, готовые фразы, блоки, штампы... Отчего? Говорят, ищи причину в себе, и вот я ее ищу.

Как появилась, развилась у меня любовь к слову, поиску точного слова, отбору, построению фразы? Наверное, надо возвратиться к истоку.

Я в детстве заболел. Три года был прикован к постели. В палате двадцать калек от 7 до 10 лет. Помню, например, у нас под окнами ребятишки в футбол играют, а мы лежим... И вот кто-нибудь начинает: «И зачем меня мать породила? И зачем меня мать родила? Лучше б в море меня утопила, чем в больничную жизнь отдала».

И ревет вся палата — какой-то общий, единый всплеск эмоций, безудержное слезопротитие от общей безысходности.

Когда ты на костылях, а кругом жизнь бурлит, сверстники на коньках катаются или в футбол гоняют, а ты во всем этом участия не принимаешь, зная, что в любую минуту можешь упасть, то, вероятно, что-то происходит в организме, какая-то компенсация твоих физических недостатков душевной, эмоциональной или умственной — словом, другой потенцией.

Не знаю, все ли это было одинаково важным, но кое-что наверняка принесло пользу, послужило толчком к тому, что в человеке зародилась иная жизнь, внутренняя, самостоятельная. Впечатления от этого внутреннего мира выплавляются в слова, которые с детства услышаны. Услышаны-то они услышаны, но теперь уже переработаны, отобраны твоим сердцем, чутьем. Чутьем к самостоятельному слову. Отбор самостоятельного слова — это уже критический, творческий процесс.

Мне очень дорога оценка Валентина Распутина, назвавшего мою прозу инструментальной. Самому мне интересно читать тех писателей, у которых можно любоваться формой, а не простых бытописателей. Когда предложение так построено, такие слова найдены, такое место определено подлежащему и сказуемому... Если взять фразу Гоголя, если разобрать ее, то (по правилам) вроде бы по-русски так и не говорят, но зато какой в ней внутренний перелив или аккорд звучит! Он иногда чуть ли не важнее смысла бывает, вернее, через него-то и доходит этот самый смысл.

Я не пишу о том, чего я не знаю. Я пишу только про то, что знаю; никогда не упускаю возможности записывать. У меня даже тетрадь есть специальная, и когда я приезжаю на Алтай, то записываю за отцом, за матерью.



Потому что у них такие слова, такие выражения услышишь, какие нигде больше не скажут.

Из Сросток, после Шукшинских чтений, заехал я к брату, Ивану Сергеевичу, в Быстрый Исток. Он мне такое наговорил, что я, как вернулся, записал и отправил в «Алтайскую правду» очерк о нашем селе. Речь шла о том, быть или не быть Быстрому Истоку (планировалось затопление земель, и село хотели перенести от реки выше). Брат мне целый монолог в защиту старого места выдал. И так образно и ярко, такими словами, что я просто подпрыгивал от восторга.

И вот ведь странная вещь: иногда в Москве слушаешь какое-нибудь интересное выступление, стараешься запомнить, а не выходит, не отпечатывается. Умом понимаешь, что важно, интересно, а в памяти слова не остаются. Жалеешь, что карандаша нет под рукой или магнитофона. А моя «алтайщина» откладывается в памяти сама собой, будто я владею каким-то секретом стенографии. Брат целый вечер говорил, я только через неделю сел записывать, а у меня все в памяти, все на слуху.

Когда приезжаю на Алтай, то через полчаса произвольно начинаю говорить так, как все кругом говорят. И не потому, что «попал в воронью стаю — каркай повороньему». Это происходит невольно.

И когда возвращаюсь в Москву, первое время продолжаю говорить с той же интонацией, на том же языке, так, что даже жена и друзья удивляются. Наверное, это — любовь. Любовь к этой именно интонации, к этой лексике, к этому языку, к природе этой. Жадное и пристальное внимание ко всему, что тебя окружает, что слышишь вокруг, к речам мужиков. Видимо, срабатывает какой-то особый, защитный механизм, не дающий возникнуть вакууму, пополняющий запас (не только словарный), чтобы не иссяк он.

Вот тут кроется «преступление». Как определить ту грань, за которой интерес к окружающему, наблюдательность переходят в жестокость? Вот я лег спать, вошла мать и начала причитать. Она плачет, а я подглядываю. Почему-то вспомнил сразу, как у Гоголя мать провожала своих ребят в Запорожскую Сечь. И ведь понимаю, что надо бы встать, утешить, сказать ей: «Успокойся...» — а я лежу и жду, чем же это кончится. Как бы в копилку все собираю, думаю: пригодится потом. Пакость какая! И когда мне говорят: «Да ну, перестаньте, это Вы сейчас так сгущаете», — ничего подобного. Мне было 17 лет, и я был достаточно взрослым человеком и понимал, что происходит.

Почему люди так любят смотреть на аварии, пожары — собираются толпы? В прошлом веке многие ходили на казни как на зрелище, специальные пропуска выдавались. У простого человека это, может быть, обычное любопытство. А у художника? Достоевский просил у великого князя Константина пропуск на казни. Я думаю, ему было важно все, что касается человека. Ему это было нужно для пополнения своих знаний о человеческой природе, для дополнительного эмоционального толчка.

Вы спрашиваете, уважаемый редактор, какие причины побуждают человека к творчеству, в данном случае к писательству. У меня было так: мой старший сын Денис заболел, у него обнаружился туберкулез легких, его положили в больницу. Эта связь (я лежал — он лежит) создала потребность... захотелось написать книгу для сына, именно для него, простую, как Евангелие. Чтобы в ней были какие-то заповеди, по которым жил его отец и отец отца.

Все уходит, все забывается. А мне хотелось, чтобы у сына была память. Я думал: я расскажу ему о моем отце, а когда я помру, он расскажет обо мне своим детям. Фор-

мула предельно проста: когда человек помнит тех, кто был до него, и передает эту память своим детям, то жизнь продолжается. В этом мы обретаем вечность, смысл. Эмоциональная связь, эмоциональная передача того, что было, память о предках, память вообще спасает душу человеческую. У Достоевского прекрасно сказано: если есть хоть одно святое воспоминание, хоть одно святое, то его надо беречь, и оно уже спасет нас.

За что мы храним и ценим летописи? Помимо того, что это величайшие художественные произведения, в них еще заключено бессмертие нашего народа, бессмертие нашей Родины. У летописцев мы учимся и слову и памяти. Памяти рода, памяти языка и веры. Ведь нет для русского человека хуже оскорбления, чем сказать, что он человек без роду и племени. Надо, чтоб были и род, и племя, и язык. Это своего рода религия. Например, у Трифонова в повести «Дом на набережной» его герой Глебов, которого я играю, говорит: «Я ненавижу эти времена, потому что они были моим детством». Я произношу эту фразу всегда со страшным ощущением, понимая трагедию этого человека. Какую жизнь он должен был прожить, чтобы так сказать о своем детстве...

Денису сейчас 11 лет, он пишет повести. Они навеяны мушкетерами, таинственными островами. Но дело не в этом, а в том, как он пишет. Недавно читаю: «Джеймс начал борзеть».

— Денис, что это такое?

— Ты что, не знаешь? Ну, это значит наглый, развязный, самодовольный такой, нахал, одним словом.

— Так ты так и напиши, зачем же «борзеть»?

— А так лучше, меньше объяснять. Так все говорят. Что же это такое? Телефонный стиль, что ли?

А что наши дети слышат по радио и телевидению? Всегда ли мы сознаем свою ответственность и доста-

точно ли строги к слову звучащему, бережливы ли ко времени слушающих? Новости спорта по всем программам звучат чуть ли не через каждый час. Газеты наши дублируют друг друга. Зачем их тогда выпускать в таком количестве, не экономя ни бумагу, ни труд наборщиков, печатников, киоскеров? Откуда эта бесхозяйственность?

Вы досадуете на образ: «Это время гудит — БАМ». Согласен, кажется, будто шпалой по голове бабахнули. Это издержки скороспелых ответов на социальный заказ, в выполнении которого художник, особенно поэт, непременно должен участвовать. Но скороспелость, поспешность, желание шагать в ногу со временем дарят нам подобные поэтические «перлы». А мы, актеры, с той же поспешностью даем им жизнь в эфире.

Сколько крика, пустых фраз, никуда не зовущих призывов, ничем не согретых проповедей мы слышим. И конечно, тоскует душа по слову высокому и прекрасному. Я эту тоску в значительной степени удовлетворяю в своем театре.

## Театр на Таганке

Таганка началась с Брехта, с «Доброго человека из Сезуана» в замечательном переводе Юзовского, сохранившего и строгость, и мыслиемкость брехтовского слова, и прекрасно передавшего на русском языке афористичность, притчеобразность и высокую музыкальную поэтичность сложного брехтовского письма. Этот текст сделали привычным, освоили, не уронив поэтичности, не впадая в бытовую правденку, молодые актеры Театра на Таганке под руководством Ю. П. Любимова 17 лет назад. Это был театральный взрыв, революция, вызов всем театральным системам, до того существовавшим. Говорю это так, пото-

му что был тому счастливым свидетелем, еще не помышлявшим о возможности войти в этот коллектив.

Спектакль этот явился для меня самым сильным театральным потрясением за всю мою жизнь, и, посмотрев его еще и еще раз, я понял, что без этого театра я жить в театральном деле не смогу, мне надо туда, к ним. Мне повезло: меня взяли... И я стал осваивать слово Театра на Таганке, с основания своего призванного жечь глаголом сердца людей — своих зрителей. Разумеется, не один Театр на Таганке имеет это назначение, но я люблю мой театр и другого для себя не мыслю. Я пристрастен.

Вторым спектаклем был «Герой нашего времени», где я уже играл Грушницкого. Это была неудача театра, хотя опять мы имели в своем распоряжении гениальную литературу. Но мы не справились с нею, причины тому можно, наверное, отыскать. Делать этого я не стану, потому что я про другое хочу сказать — про высокий уровень текстов, произносимых с подмостков Театра на Таганке. Настоящая литература, безусловно, воспитывает в артистах внимательность к своей профессии, чутье к слову — не пустозвонному, а к такому слову, за которое можно пойти на костер.

С первых шагов театра его окружили своей заботой, опекой, вниманием лучшие наши поэты и прозаики. В театре после спектаклей читали свои стихи Самойлов и Вознесенский, Ахмадулина и Евтушенко, читал свои пьесы Н. Р. Эрдман. Рождалась мощная линия театра — поэтические спектакли...

Чтобы представить, что творилось тогда на старой Таганской площади, вокруг нашего здания, позволю себе процитировать письмо одного хорошего человека:

«В Вашем письме, Валерий, Вы спрашиваете меня о Таганке сегодня. Про «сегодня» мне ответить трудно. Очень непросто стало с билетами, и в театре я, к сожалению, не бываю («Преступление и наказание» так и не

увидел), но ни с чем не сравнится то, чем стала для меня Таганка в свое время. Если б это не звучало банально, я бы сказал, что Театр на Таганке — это мои университеты. Ведь попав к Вам впервые еще в школе, даже не в выпускном классе, я у Вас учился и тому, что такое театр и что такое литература. В Вашем зале складывались мои вкусы, пристрастия. Любой спектакль становился толчком, стимулом узнать что-то новое. Благодаря театру я занялся фотографией. Благодаря театру сделал свой первый перевод в жизни («Марат-Сада» Вайса). Перечитал все вокруг Брехта, Пушкина, Маяковского. Мне так легко было писать сочинение по Маяковскому при поступлении в университет, потому что на любую тему я мог шпарить с любого места, все было на слуху. Поэтому, я знал наизусть все 12,5 томов... после того, как собрал полный текст «Послушайте!» — как стенограмму спектакля».

Это письмо мне нравится потому, что оно разъясняет атмосферу, существовавшую тогда (и, хочется верить, сейчас) вокруг театра.

Взгляните на афишу — Брехт, Маяковский, Булгаков, Шекспир, Пастернак, Абрамов, Трифонов и, наконец, Высоцкий... Да, в театре родился поэт — Владимир Высоцкий. Его приход в этот театр 16 лет назад кажется мне не случайностью, а предначертанной закономерностью... его личной судьбы и судьбы театра.

Как жадно он начинает впитывать слово театра и слово в театре. Разумеется, изначальный дар от папы с мамой, но развиваться он мог в своем неповторимом качестве, думаю, только в этом театре. Галилей Брехта, Гамлет Шекспира, Свидригайлов Достоевского, Хлопуша Есенина — гордость нашей горькой актерской профессии.

Как он любил слово этих авторов, с каким вкусом, остервенением и радостью произносил их тексты, всегда по-своему разное, вкусно, зримо, с кровью и плотью,

часто вопреки нашей пресловутой актерской органике, пошлому стремлению передразнить жизнь. Слова произносил артист, но артист, обладающий абсолютным поэтическим слухом, и, как бы всем нам, коллегам своим, преподавая — бессознательно, конечно, — урок обращения со словом.

Помню диалог на репетиции поэмы Есенина «Пугачев» между Н. Р. Эрдманом и В. С. Высоцким (Любимов с желтой лежал в Кремлевской больнице):

— Николай Робертович, вы что-нибудь сейчас пишете?

— А вы, Володя?

— Пишу... на магнитофоны...

— А я на в-в-века.

— Да я, честно говоря, тоже на них кошусь...

— Коситесь. У вас получается. Слышу телевизор...

Слышу — вы. Не может быть! Жду титров — вы! Вы понимаете, что это такое, когда поэта можно узнать по строке? Вы — мастер, Володя, — и он долго и ласково смотрит на нашего товарища.

Ю. П. Любимову Эрдман говорил:

— Это, Юра, черт знает что... Я ведь видал поэтов. Среди них были люди с блесками гениальности. И все-таки я понимал, как они работают... Как работает Высоцкий, я понять не могу. Откуда он извлекает свои песни — не знаю...

Секрет Высоцкого раскроет время. Не беря на себя смелость сделать это единолично, берусь лишь предложить одну из версий.

В работе В. Турбина «Связь времен» я впервые встретился с толкованием неизвестных для меня литературоведческих понятий, как «микротекстология» и «макротекстология». Микротекстология имеет дело с тем, что сказал писатель, поэт. Макротекстология — с тем, что сказала эпоха, нация. Мне кажется, что Высоцкий обладал поэти-

ческим даром в сильной степени макротекстологического свойства, силу которого развил и удвоил, безусловно, театр, его родивший.

Высоцкий брал в работу самые, казалось, бросовые слова. Он их не присваивал, механически вставляя в стихи, а делал своими, заставляя их жить по-другому, звучать по-новому, «по-высоцкому». Его слово многоголосо. Народонаселение его песен поразительно по многообразию типов, занятий, интеллектов, географической принадлежности. Люди разных уровней, профессий, слоев и положений в обществе считали и считают Высоцкого непреложно своим. Такой точности в лексике, знания природы, манеры поведения и быта он добивался и доискивался упорным трудом, умел учиться у всякого, с кем общался, и ведь не был никогда ни альпинистом, ни летчиком, ни фронтовиком. А как влюбленно, с каким неистовым вниманием вслушивался он в мои нелитературные рассказы о чудесах деревенской жизни, впитывая и усваивая крестьянский словарь, прислушиваясь к сибирской интонации, написанному синтаксису.

У Высоцкого-артиста были сложные, подчас конфликтные, взаимоотношения с театром. У Высоцкого-поэта таких взаимоотношений быть не могло. Театр сообщал поэту вторую космическую скорость.

Последние годы он все чаще задумывался над тем, чтоб выйти из игры, уйти в литературу, как хотел уйти из кино к столу с бумагой Василий Макарович Шукшин.

И оба не успели сделать этого.

А и сделали бы?! Не уверен.



## Как скажу, так и было, или Этюд о беглой гласной

В мутный и скорый поток спешных воспоминаний, негодований, винений и ликований о Владимире Высоцком мне бы не хотелось тут же выплеснуть и свою ложку дегтя или вывалить свою бочку меда, ибо «конкуренция у гроба», по выражению Томаса Манна, продолжается, закончится не скоро, и я, по-видимому, еще успею проконкурировать и «прокукарекать» свое слово во славу этого имени. И получить за это свои «серебряники». Но вы, уважаемый редактор, просили меня, не вдаваясь шибко в анализ словотворчества поэта, в оценку его актерской сообразительности, не определяя масштабности явления, а также без попытки употребить его подвиг для нужд личного самоутверждения сообщить какой-нибудь частный случай, пример, эпизод или что-то в этом роде, свидетелем которого являлся бы, по Вашему тезису, только я и никто другой. И я согласился Ваш тезис принять за руководство к действию, ибо лично известный факт (факт действительного случая и фантазия сообщившего) в любом случае непроверяем на достоверность: как скажу, так и было... К гиппократовой присяге, к сожалению,

мемуаристов не приводили и не приводят; совесть, к сожалению, во все века понятие относительное, а так как мы, по счастью и воспитанию, многие в глубине души атеисты, то и Евангелие нам не устав. А стало быть... как скажу, так и было. А было так. У меня есть автограф: «Валерию Золотухину – соучастнику «Баньки»... сибирскому мужику и писателю с дружбой Владимир Высоцкий». Я расшифрую этот автограф.

Судьба подарила мне быть свидетелем, непосредственным соглядатаем сочинения Владимиром Высоцким нескольких своих значительных песен, в том числе моей любимой «Баньки». «Протопи ты мне баньку побелому – я от белого света отвык. Угорю я, и мне, угорелому, пар горячий развяжет язык...» и т. д. Хотя слово «песня» терминологически не подходит к определению жанра его созданий. Потомки подберут, ладно.

Итак, «Банька»... 1968 год. Лето. Съёмки фильма «Хозяин тайги». Сибирь. Красноярский край. Манский район, село Выезжий Лог. Говорят, когда-то здесь кроваво проходил Колчак. Мы жили на постое у хозяйки Анны Филипповны в пустом брошенном доме ее сына, который оставил все хозяйство матери на продажу и уехал жить в город, как многие из нас.

«Мосфильм» определил нам две раскладушки с принадлежностями; на осиротевшей железной панцирной кровати, которую мы для уюта глаза заправили байковым одеялом, всегда лежала гитара, когда не была в деле. И в этом позаброшенном жилье без занавесок на окнах висела почему-то огромная электрическая лампа в пятьсот, однако, свечей. Кем и для кого она была забыта и кому предназначалась светить? Владимир потом говорил, что эту лампу выделил нам мосфильмовский фотограф. Я не помню, значит, фотограф выделил ее ему. Работал он по ночам. Днем снимался. Иногда он меня будил, чтобы радостью удачной строки мне радость доставить. Удач-

Как скажу, так и было, или Этюд о беглой гласности  
ных строк было довольно, так что... мне в этой компании  
ночевать было весело.

А в окна глядели люди — жители Сибири. Постарше поодаль стояли, покуривая и поплеывая семечками, помоложе лежали в бурьяне, может, даже не дыша; они видели живого Высоцкого, они успевали подглядеть, как он работает. А я спал, мне надоело гонять их, а занавески сделать было не из чего. Милицейскую форму я не снимал, чтобы она стала моей второй шкурой для роли, а жители села думали, что я его охранник. Я не шучу, это понятно, в 1968 году моя физиономия была совсем никому не знакома. И ребятишки постарше (а с ними и взрослые, самим-то вроде неловко), когда видели, что мы днем дома, приходили и просили меня как сторожа «показать им живого Высоцкого вблизи». И я показывал. Вызывал Владимира, шутил, дескать, «выйди, сынку, покажись своему народу...» Раз пришли, другой, третий и повадились — «вблизи поглядеть на живого...» И я вежливо и культурно, часто, разумеется, обманно выманивал Володю на крыльцо... пусть, думаю, народ глядит, когда еще увидит... А потом, думаю (ух, голова!), а чего ради я его за так показываю, когда можно за что-нибудь?

Другой раз, когда «ходоки» пришли, я говорю: «Несите, ребята, молока ему, тогда покажу». Молока наносили, батюшки!.. Не за один сеанс, конечно. Я стал сливки снимать, сметану организовал... излишки в подполье спускал или коллегам относил, творог отбрасывать научился, чуть было масло сбивать не приноровился, но тут Владимир Семенович пресек мое хозяйское усердие. «Кончай, — говорит, — Золотухин, молочную ферму разводить. Заставил весь дом горшками, не пройдешь... Куда нам столько? Вези на базар в выходной день». Он-то не знал, что я им приторговываю помаленьку. И тут я подумал, а не дешеволю ли я с молоком-то?.. А не брать ли за него чего... покрепче? Самогон, к примеру... Мне ведь

бабки не продавали, я ведь милицейскую форму-то не снимал ни днем ни ночью. Ну, на самогон-то я, конечно, деньги сам давал, лишь бы нашли-принесли, что они и делали охотно... лишь бы поглядеть на живого. «Прости ты меня, Владимир Семенович, грешен был, грешен и остался, винюсь, каюсь... Но сколько бы и чего кому теперь сам ни дал, чтоб на тебя на живого одним глазком взглянуть... Ну, да свидимся, куда денемся, теперь уже, конечно, там, где всем места хватит, где аншлагов не бывает, как на твоих спектаклях бывало...»

«Чем отличается баня по-белому от бани по-черному?» — спросил он меня однажды. За консультацией по крестьянскому быту, надо сказать, обращался он ко мне часто, думая, раз я коренной чалдон алтайский и колхозник, стало быть, быт, словарь и уклад гнезда своего должен знать досконально, в чем, конечно, ошибался сильно, но я не спешил разуверять его в том, играя роль крестьянского делегата охотно и до конца, завираясь подчас до стыдного. На этот раз ответ я знал не приблизительный, потому что отец переделывал нашу баню каждый год, то с черной на белую, то с белой на черную и наоборот — по охоте тела. «Баня по-черному — это когда каменка из булыжника или породного камня сложена внутри самого покоя без всяких дымоотводов. Огонь раскаляет докрасна непосредственно те камни, на которые потом будем плескать воду для образования горячего пара. Соображаешь? От каменки стены нагреваются, тоже не шибко дотронешься. Дым от сгорания дров заполняет всю внутренность строения и выходит в двери, в щели, где найдет лаз. Такая баня, когда топится, кажется, горит. Естественно, стены и потолок слоem сажи покрываются, которую обметают конечно, но... Эта баня проста в устройстве, но не так проста в приготовлении. Тут — искусство, что ты! Надо, допустим, угар весь до остатка выжить, а жар первородный сохранить. Что

Как скажу, так и было, или Этюд о беглой гласности ты, что ты, Володя... Это целая церемония: кто идет в первый пар, кто во второй, в третий... А веники приготовить. Распарить так, чтобы голиками от двух взмахов не сделались? Что ты!

Баня по-белому — баня культурная, внутри чистая. Дым — по дымоходу, по трубе и в белый свет. Часто сама топка наружу выведена. Но чего-то в такой бане не хватает, для меня, по крайней мере, все равно, что уха на газу. Моя банька — банька черная, дымная, хотя мы с братом иной раз с черными задницами из бани приходили и нас вдругорядь посылали, уже в холодную...» В то лето Владимир парился в банях по-разному: недостатку в банях в Сибири нет.

И вот разбудил он меня среди ночи очередной своей светлой и спрашивает: «Как, говоришь, место называется, где парятся, полóк?» — «Полóк, — говорю, — Володя, полóк, ага...» — «Ну спи, спи...» В эту ночь или в другую, уже не помню сейчас, только растряс он меня снова — истощный, с гитарой наизготовке, и в гулком брошенном доме, заставленном корчагами с молоком, при свете лампы в пятьсот очевидных свечей зазвучала «Банька».

Протопи ты мне баньку, хозяйюшка,  
Раскалю я себя, распалю!  
На полóке у самого краюшка  
Я сомненья в себе истреблю!  
Разомлею я до неприличности,  
Ковш холодный... — и все позади...  
И наколка времен культа личности  
Засинеет на левой груди...

Где-то с середины песни я стал невольно подмыкивать ему втору, так близка оказалась мне песня по ладу, по настроению, по словам.

Я мычал и плакал от радости и счастья свидетельства... А когда прошел угар радости, в гордости соучастия я заметил Владимиру, что «на полоче» неверно сказано, правильно будет — на полкѣ. «Почему?» — «Не знаю, так у нас не говорят». «У нас на Алтае», «у нас в Сибири», «у нас в народе» и т. д. — фанаберился я, хотя объяснение было простое, но, к сожалению, пришло потом. Гласная «о» в слове «полѠк» при формообразовании становится беглой гласной, как см.: потолок — потолке и пр. Но что нам было до этой гласной. Правда, в исполнении последних лет ясно слышалось, что Владимир великодушно разрешал гласной «о» все-таки убегать, компенсируя ее отсутствие в ритмической пружине, строенной звучащей соседкой «л» — «на пол-л-ке у самого краюшка...» и т. д.

В этом замечании, которому я не мог дать объяснение, и в том, что мы часто пели потом «Баньку» вместе, и есть вся тайна моего автографа, вся тайна моего соучастия — счастливого и горячего. А еще потом, я уж не мог ему подпевать, кишки не хватало, такие мощности нездешние, просто нечеловеческие он подключал, аж робость охватывала.

В добавление. Или в послесловие. На одном из выступлений мне пришла записка: «Правда или сплетня, что вы завидуете чистой завистью Владимиру Высоцкому?» Ответ мой был не столь удачным, сколько почти искренним.

«Да, я завидую Владимиру Высоцкому, но только не чистой, а самой черной завистью, какая только бывает. Я, может быть, так только здесь, уважаемые зрители, ради бога, поймите меня верно, я, может быть, так самому Александру Сергеевичу Пушкину не завидую, как Высоцкому, да потому, что имел честь и несчастье быть современником последнего».

Как скажу, так и было, или Этюд о беглой гласности

Громко! Несоразмерно?? Но ведь иные считают и говорят, как обухом под дых и наотмашь: «Высоцкий? Мы такого поэта не знаем...»

А истина... Да разве не существует она вне наших мнений, вкусов, словесных определений?

Вот и весь частный случай, что хотелось мне Вам сообщить, уважаемый редактор.

1981

# Двадцать лет без Высоцкого, или Позвольте пару слов без протокола...

Открылся лик. Я стал к нему лицом,  
И он поведал мне светло и грустно:  
«Пророков нет в отечестве твоём,  
Но и в других отечествах не густо».

*В. Высоцкий*

«А ведь всей этой блатной оголтелости не форточку, не окно открыл, но стену проломил и впустил в наш дом погань не кто иной, как Владимир Семенович Высоцкий. Он, он, дорогуша, он, кумир современников, хрипел им о недостатках, о правилах нашей жизни и морали. Теперь, когда публика насытилась напевом Высоцкого и сделалось возможно прочесть его всего; приумолкли восторженные вопли о страдальце-гении. Не был он никаким страдальцем, забубённой головушкой он был и забудыгой, пьяницей и наркоманом, но при этом умел прекрасно играть на сцене и в кино, виртуозно владел гитарой и сгубил себя и свой талант сам» (В. Астафьев, «Затеси», «Новый мир», № 2, 2000).

В «Независимой газете» от 27 апреля читаю прямо противоположное.

Из интервью с вице-губернатором Санкт-Петербурга адмиралом, доктором военных наук, профессором Вячеславом Николаевичем Щербаковым.



*«Корр. О, вице-губернатор цитирует Высоцкого!»*

*В.Н. Что ж в этом удивительного? Я еще в бытность свою на Северном флоте за «распространение» Высоцкого серьезные «внушения» получал. Зря, кстати, тогда с ним пытались бороться. Высоцкий – это плоть от плоти России, поэтому он понятен и любим всеми. Известно, что любимым поэтом Высоцкого был Пушкин. И так же, как в свое время «Евгений Онегин» стал «энциклопедией российской жизни», песни Высоцкого стали неруководворным памятником его времени...*

*... Тем же, кто Высоцкого не знает (я имею в виду прежде всего молодежь), нужен первый толчок. Дальше гений Высоцкого не оставит человека равнодушным, если, разумеется, у того есть душа».*

Об одном и том же с такой поразительной разностью. С такой взаимоисключаемостью «прочитали всего» Высоцкого два уважаемых человека, заметьте – сегодня. Спустя двадцать лет после смерти поэта. И сколь различны эти оценки не только по содержанию, но, что не менее важно, по форме.

Нет, не приумолкли «восторженные вопли». Значит, поэт, тексты которого разлетелись по нашей жизни пословицами и поговорками, жив, и еще как минимум лет двадцать будет жить. А кого из нынешних через десять хотя бы лет после ухода будут читать и чтить – бо-о-о-ольшой вопрос. Не был он забуддыгой и забубённой головушкой, упорный ум это был. Иначе не сочинил бы он и не спел столько, не сыграл бы столько замечательных ролей в театре – в учреждении режимном в смысле дисциплины, не снялся бы более чем в двадцати фильмах. Это при том, что его запрещали снимать или в лучшем случае – «не рекомендуем...»

Это был организованный и дисциплинированный работник, живший в режиме гениальности, пока его не настигал недуг проклятый, от которого он страдал

бесконечно сам, который в себе ненавидел и который мешал ему больше, чем всем окружающим, за что его можно только пожалеть, погоревать... но уж никак не пинать.

Иначе Есенин — алкоголик, Достоевский — эпилептик, а Чайковский... простите за непротокольность. Одного «забудыгу» российского — Рубцова Николая — жалеем, а другому отказываем в милосердии. И не владел он виртуозно гитарой, из которой едва выжимал чуть более пяти аккордов. Виртуозно он владел как раз стихом, за рифму которого Нобелевский лауреат Иосиф Бродский называл его лучшим поэтом на советском пространстве, говоря, что смерть Высоцкого — это потеря для русского языка, а не только для русской поэзии. Хвалить Высоцкого за гитару, все равно что хвалить Жана Габена за его коров, не видя в нем Великого Артиста. Нет, Высоцкий был одаренный музыкально человек. Его композиторский дар засвидетельствовал Альфред Шнитке, отмечая разнообразие мелодий и ритмов поэта и композитора. А спектакль Театра на Таганке «Владимир Высоцкий», где звучат произведения в исполнении автора и его коллег по театру, Шнитке называл «современной оперой».

Опираюсь на оценку высочайших авторитетов в поэзии и музыке опять же в связи с вышеприведенными высказываниями современников, как бы опережая возражения: «Ну, то адмирал, а то писатель. Да еще такой большой». В том-то и дело, кабы не большой и любимый — не возражал бы.

О том, что «не был он никаким страдальцем». Где поэт берет и находит свои страдания и беды — вопрос к космосу. Приведу дословно один разговор с Высоцким незадолго до того гибельного июльского двадцать пятого дня:

**Высоцкий.** Золотухин! *(Заметьте — Золотухин, а никак по-другому, это всегда означало, что разговор будет в глаз, а не в бровь.)* У вас на Алтае по плану 16 центнеров с гектара. Вы

же в лучшем случае на крут собираете по 12 центнеров с гектара. А план вы выполняете?! Вы откуда хлеб берете?

Я остекленел. Я оцепенел. Я долго не мог въехать в его вопросов его заботу. А когда въехал — озверел. Меня захлестнуло этакое внутреннее негодование, бешенство от бессилия что-нибудь ему связное ответить.

**Золотухин.** Да какое тебе дело до нашего хлеба?! Какое тебе дело, где мы дрожжи достаем и куда брызги полетят?! И откуда ты про это знаешь?

**Высоцкий.** Из «Правды»...

Он, оказывается, читал ту «Правду», на которой восемь страниц одних цифр и которую мы сразу относили в нужное место, а он ее читал с карандашом в руках и у него не сходилось! Считал!!! Потому что у него болело!!! Страдало. Стыдно сказать, у меня, человека оттуда, давно не болело, а если болело, то временами и по чуть-чуть, а у него болело и на разрыв. И если верить зацитированным словам поэта Гейне, что «трещина мира проходит через сердце поэта», то почему я не должен верить поэту Высоцкому, что «трещина» за алтайский урожай действительно проходила через его сердце? Это к вопросу у кого что болит и кто за что страдает.

Теперь у меня все больше и больше свободного времени. В кино не зовут. В театре я постепенно выхожу из игры. Не потому, что меня теснит молодежь, а так, волею обстоятельств и собственной лени я оказываюсь незадействованным то в одном спектакле, то в другом. По вечерам в своем театре я теперь чаще стою у «прилавка», чем на сцене. Продаю свои книжки, торгую своим прошлым. В семи случаях из десяти их покупают потому, что там про Высоцкого. Ни одного концерта, ни одной встречи, чтобы меня не попросили прочитать или спеть что-нибудь из Высоцкого или рассказать о нем. Он меня кормит в прямом, камбузном смысле этого слова. Словом — кормилец.

## Книга вторая

Всякий день начиная с молитвы среди икон, дорогих моему сердцу образов и книг (и Астафьева тоже), я вижу гипсовый лик Высоцкого, посмертную маску под номером III, подаренную мне художником Юрием Васильевым. Я разговариваю с ним. Двадцать лет без Высоцкого — и ни дня без него. Жизнь — послесловие, так выпало по судьбе. И я не ропщу.

2000

# Мой Лемешев

*«Ни одна во поле дороженька про-  
легала», – пел он, и всем нам сладко  
становилось и жутко...*

*У меня, я чувствовал, закипали на  
сердце и поднимались к глазам слезы;  
глухие, сдержанные рыдания внезап-  
но поразили меня...*

И. С. Тургенев. Певцы

Боже! Не самого ли Лемешева услышал невзначай Иван Сергеевич Тургенев в сумраке притынного кабака?! Наверное, его, иначе... о ком столько хороших слов собралось у писателя, знавшего великий толк в музыке и в пении.

Ни душа ли самого народа русского почти полвека исторгалась из груди чуда российского, потому что про нашу жизнь, про наши подвиги, про нашу любовь, муку, тоску и одиночество ведал нам чистый голос крестьянского парня из деревни Старое Князево бывшей Тверской губернии, что бы он ни пел: «Метелицу» ли, Вертера ли или царя Берендея?! И сколько в каждом звуке, интонации этого голоса доброжелательности, призыва к братскому единению, любви, терпению, так и слышится во всем – мир вашему дому.

Чье изображение раньше мне попало на глаза – Моцарта канонический портрет с барельефа Большого зала Московской консерватории или Лемешева в роли Ленского – не знаю... но эти два изображения соединились в моем детском сознании в одно понятие, в один символ, а позже мне стало очевидно, что портреты, схожие

внешне, формально, более связывает в родство то обстоятельство, что натуры, изображенные на них, **братья по духу, по природе дара** — незамутненного, светлого, здорового — гармонического во всех ипостасях. Кстати, из всех Моцартов, которых мне довелось видеть в кино и на сцене, лучшим, на мой взгляд, был кинооперный вариант, слияние двух равновеликих индивидуальностей, Лемешева и Смоктуновского, тому и другому чертовски повезло, вернее, повезло нам, зрителям и слушателям... Более высокого примера в подобном жанре я не помню. Жаль, конечно, что сам Сергей Яковлевич не сыграл Моцарта. Фильм снимался в то время, когда по возрасту он не мог взяться за исполнение этой роли в фильме. Моцартовским сиянием, мне кажется, озарен дар Лемешева, ключевой, хрустальной водой орошен-напоен талант его, никакими другими морсами не приправленный. Тут вдохновение чистое, очарование изящное, задушевность не слезливая, страсть не волосатая, красота не павлинья. Грустно мне — я вспоминаю лемешевское: «Лучше быть мне в реке утопимому, чем на свете мне жить нелюбимому...», весело мне — во мне опять гуляет, по крови моей кружит: «что за селезнь, что за парочка?» Это все про меня спето!!! Это я круги даю по-над кручей Оби зарею вечернею с моей красавицей из шестого класса «Б», пиджаком своим от речного тивуна ее сберегая... Это я опять же сгреб в беремя мою городскую белую жену и учу ее траву косить. И что за беда, что литовка ее то и дело в кочку носом зарывается, девкам соседским на потеху, на зубок? Косить я ее научу, был бы совет да любовь, да детки здоровые были бы чтобы, а там... и пускай пока люди зарятся или смеются надо мной! А случится беда со мной, как навалится тоска зеленая, как одолеет маета беспросветная и вырывается стоном: «Уж дугу не смогу перегнуть как надо, вожжи врозь, ну хоть брось!..» Сколько же здесь у певца всякого чувства сброжено,

скашено, и ни одного напоказ, ни одного чересчур, а всякого вдосталь. Так поет народ. Когда мы до хрипоты и выпадов спорим о сохранении традиций, навязывая в спорах, в статьях оппонентам свои личные вкусы, ищем днем с фонарем, где, в каких муромских лесах, краях, окраинах сохранилась великая Русь, выдавая или принимая расписную клюкву-калинку за исконно народное, а этнографически-областное звучание за лад всяя Руси, то, думаю, что в большей степени наши споры о перво-родности и чистоте решают в конечном счете те, кому это завещано — великие артисты. Это они — Шаляпин, Собинов, Нежданова, Обухова, Лемешев, Михайлов, Козловский — доносят от поколения к поколению культуру русского лада.

Лемешев — символ совершенства и красоты душевной в народе. «Поет, как Лемешев!» Ухо народа чуткое, и прозвание он дает безошибочное, иначе как объяснить? Времена? Дань времени? Конечно, и это откидывать нельзя. Но давайте еще поживем, быть может — увидим. Кстати, времена, в которые он пел, были нелегкие. Во времена созидающие, но и смутные, тайные, военные, трагические он приносил людям радость и облегчение от ран и страданий.

Когда мой сын сказал: «Я хочу петь, как Михаил Боярский», — мне дурно стало. Во-первых, от обиды и ревности (мог бы и польстить, соврать и отца назвать), а во-вторых, я и объяснять не хочу, дожили... Мы с Михаилом Боярским друзья, но все же какие мы певцы, да еще чтобы нам в этом деле подражали. Мы артисты драмы, поющие артисты, но... драматические. Главное в нашей профессии — говорить как следует. И я представляю себе реакцию Михаила, когда его сын подрастет и заявит: «Я хочу петь, как дядя Валера». Нет, это не в упрек нам, звучащим ныне в эфире или с телеэкрана. Только нам всем, и звучащим, и слушающим, надо порой отдавать

себе отчет — что есть что, куда идем и где остановимся. Ведь молодые люди, проводящие вечера в дискотеке, они же полуоглушенные домой возвращаются и так живут дальше. Это же факт. Они же могут воспринимать музыку только чрезвычайно повышенной громкости. Куда уж там до «Куда, куда вы удалились?..»! Кажется, я начинаю брюзжать, а это не годится. Не годится детям своих кумиров навязывать. Во-первых, не получится, а во-вторых, кумиры поселяются в наших сердцах сами, без особого спросу и церемонии. Подчас один кумир спешит сменить другого, авторитеты рушатся, звуковая пропаганда диктует, что хорошо, что плохо, кого сегодня следует обожать, а кого забыть, а коль вспомнил — попал в разряд старомодников, а то и мешан, и прочее. На певческом рынке идет толкотня, и это понятно. Баритоны в эфире нынче явно вытеснили теноров... Но яркая индивидуальность — явление по-прежнему редкое. А уж по манере, тембру, репертуару определить, что за человек поет, не по фамилии, а... чем живет, чем дышит, предан Богу или сатане, что он любит, а что ненавидит... и не помышляй. Лемешев ясен с первого звука. Дитю понятно, что поет хороший, добрый человек, на душе становится радостно от сознания, что этот человек живет среди нас и с нами про нас разговор сердечный ведет. Его легко можно представить в жизни, за дружеским столом или наблюдающим скачки лошадей. Когда человеческая натура сплетается в один монолит с художественной данностью — это редкий дар, явление среди выдающихся мастеров разных муз, мягко скажем, нечастое. Эгоизм, выпячивание (заметное или спрятанное) себя, свое лишь искусство признавая центром художественного мироздания, утрата здравого смысла на гребне мирской славы — все эти подобные сопутствующие или приобретенные коросты на жизни знаменитых людей были чужды личности артиста и человека Сергея Яковлевича.



Лемешева. Вот уж кто воистину прошел огонь и воду и медные трубы. В этом я убедился, к моей радости, еще и еще раз прочитав его книгу «Путь к искусству». Само название для меня полностью совпадает с ощущением изначальной скромности автора. Путь к искусству... Не жизнь... не взгляды на искусство... не что-то еще... а долготерпеливый путь к нему... И как бы даже слышится сомнение, дескать, может быть, так и не дошел до этого самого искусства, а только был на пути к нему?

Как много и подчас изобретательно мы врем про себя, придумываем себе биографии модные, интригующие... Или надоедливо, бестактно и скучно до невыносимой повторяемости иногда делимся своими «творческими задумками», или же даем глубокомысленные, порой мистически-знаменосные, объяснения своим удачам. Удача-то на копейку, так мы ей предисловие с прологом на червонец наматываем. Вся книга «Путь к искусству» — нормальные человеческие страницы без театральных анекдотов, без пикантных закулисных историй «для интереса публики», которыми кишат книги подобного жанра. Про себя подробно — только как работал, как трудился, что не удавалось и что преодолевалось, все остальное — про людей, с которыми так или иначе прошел он по этому пути, у которых учился и которым старался помочь сам. Книга — большое благодарение родительскому дому, нивам, пригоркам и ручьям — детству, а позднее — учителям, партнерам, зрителям и слушателям. Память, душа этого человека бережет и передает нам только теплые, красивые, благородные движения и поступки своих товарищей по сцене, по искусству, по труду.

В течение многих лет, вернувшись домой, он берет клавир «Онегина» и мысленно проверяет, воссоздает в памяти свое только что состоявшееся исполнение, отмечая, где стало лучше, где хуже, что не удалось, что надо искать заново.

Ответственность, требовательность старых мастеров к себе, к своему делу поразительна. Того же полного сгорания, полной отдачи самого себя своему искусству они требуют и от других и по-другому не мыслят существование человека в искусстве. И вот что я заметил. Не со многими мне пришлось встречаться, но все же у тех мастеров, с которыми мне повезло сотрудничать, я видел, во всяком случае поначалу обязательно, некоторое недоверие и сожаление к нашему нахрапистому брату, зачастую выполняющему свою работу тягляп, бегом, без серьезности должной, без прицела «на века» (иначе какой смысл заниматься этим), будь то ария Германа или «Враги сожгли родную хату...». Во всякой малой или большой работе для каждого свои трудности, свои подводные айсберги, которые необходимо обнаружить и обойти так, чтоб тебя слушали, смотрели не только сегодня, «на один раз», но хотя бы и завтра. Беспощадной требовательности к себе Лемешева поражался САМ Блантер. Пишу «САМ» потому, что очень люблю его песни, и потому, что более строгого, придирчивого мастера, готового работать с тобою день и ночь (разумеется, коль видел в том резон), я не встречал. При первой нашей встрече он спросил меня: «Сколько вам лет, молодой человек?» Я ответил. Он удивленно рассмотрел меня и сказал: «Откуда вы беретесь, молодые люди, и почему ненешние тридцатилетние все еще молодые. Десять, как минимум, лет вы занимаетесь своим ремеслом, а я вас не знаю?!» И тут же про одну популярную песню из «Бумбараша»: «В ваши годы на такой текст надо петь лучше. Когда-то давно тоже один молодой человек попросил меня посмотреть его картинку: «Сходи, Мотя, посмотри мою картинку». Мне было некогда, не помню, куда я уезжал. Так, в том городе, куда я приехал, я таки посмотрел его картинку, так это был «Броненосец «Потемкин» — евангелие от кинематографа, а молодому человеку было 25 лет... а вам 32, и я вас не знаю». ...И позже, когда

Матвея Исааковича все еще и все еще не удовлетворяло мое исполнение и он заметил далекое, отвлеченное лицо, а в глазах, интонациях состояние, когда все на свете для тебя все равно и одним цветом, состояние, которого сам ты боишься пуще отравы, но которое все же иногда одолевает тебя (лишь бы скорей твое время прошло, каким бы оно ни было), он сказал мне печально: «Напрасно, молодой человек, вы так бережете, жалеете себя... Время артиста сжатое. Очень скоро вы будете рады себя не беречь, но беречь уже будет нечего. Сергей Лемешев... Слышали про такого артиста... Война... Время сжатое у всех. Писали мы одну песенку, и что-то не получалось, не выходило, так он мне сказал: «Знаешь, Мотя, я завтра пою «Севильского», и после второго акта у меня «окно»... я буду распет, разогрет, и главное, в том, как мне кажется, настроении, что ты хочешь... сяду в машину и приеду». Так он и сделал. Отпел два акта, укутался в шубу, приехал и в костюме Альмавивы вышел к микрофону... Какое это было чудо, вам теперь уж не узнать, и притом это был вечный ученик... При его таланте, положении ни в чем никогда и тени каприза, раздражения... И рядом какая-то соплюха. Ломается — и микрофон не тот, и дирижер не так... Строит из себя Манон Леско... так до свидания! Ты мужу или любовнику строй Леско, а тут строй фразу! У Лемешева учитеесь петь и вести себя!» А я думаю про себя: «Ах, Матвей Исаакович, Матвей Исаакович! Да разве я не учился?! Сколько раз крутилась передо мной, двенадцатилетним, патефонная пластинка, откуда все слабее с каждым разом из-за затертости: «Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля!»

Среди хаоса звуков и стереосумбура голосов нынешнего дня он до сих пор спасает меня своей молитвенной чистотой.

...А с Сергеем Яковлевичем я не встретился. Постеснялся? Или побоялся, или времени не нашел? Почему так

случилось, не знаю. Хотя догадываюсь и в догадке признаться страшусь. Сохранилась легенда. А в легенде, как в Житии, проступают наиболее точные и важные черты, нежели в бытовой околесице из жизни достославного человека.

У него было дело на Русской земле, и он дар свой сберег, не разменял, не пропил, в землю не зарыл, а употребил в дело и выполнил свое назначение, и Россия благодарная кланяется своему сыну и добрым словом поминает часто.

## Прими привет, Расми Халидович!

Он любит лошадей. А что делать? Ему нынче исполняется 50 лет. У него есть жена-умница, дочь-красавица, однокомнатная квартира с разделенным санузелом, у него есть все, чтобы сделать свое семейство счастливым и благополучным, но он любит лошадей. Случается, он оставляет на ипподроме зарплату. Играть на деньги — это плохо. Проигрывать — еще хуже. А выиграть? Кто откажется? И великие играли и проигрывали разве такие зарплаты? И все-таки... не утешает. И ему больно и стыдно, и трудно идти домой, и если не случится у кого одолжиться, он ночует в конюшне, у лошадей, с которыми проиграл. Это неблагоразумно. Это — порок. Да, конечно, все это так. Но у меня не поворачивается язык и отказывается душа судить его, потому что он играет Мармеладова потрясающе.

Какие сны тебе снятся такими ночами, дорогой Расми Халидович? Брань и слезы домашних? Выговора и лишения по службе? Или тебе снятся дагестанские кони твоего лезгинского детства, которые, я знаю, ты веришь, еще вернутся за тобой и увезут тебя к замеча-

тельными людям, в справедливую жизнь. И я завидую тебе. Мое благоразумие не позволяет мне ночевать в конюшне. Я ночую дома. И забыл даже, как пахнут кони. Я рассчитываю каждый свой шаг. Рассчитываю силы и голос на каждом спектакле, чтоб не сорвать его и завтра суметь заработать в другом месте лишний рубль, который будет завещан детям, так я сторговываюсь с совестью своей... Хотя догадываюсь, что если дети когда и гордятся своими отцами, то не рублями, оставленными им на промот или в рост. И разве можно сделать что-то вечное, прочное, при таком мизерном расчете, при такой робкой работе. Благоразумие — это что-то ровное, удобное, теплое... Короче сказать — дерьмо. «Если бы ты был холоден или горяч... Но поскольку ты тёпл — теплохладен, то исторгнут тебя...» — сказал про таких Заратустра. Благоразумно соблюдать режим, чтобы быть в форме: спать столько-то, есть тогда-то, заниматься йогой и каратэ. «А что такое вообще твоя форма, кому нужна и из-за которой ты не рождаешь детей даже». На что мы рассчитываем, какую выгоду, какой в чем барыш хотим поиметь — получить Оскара или премию Ленинского комсомола, или посягнуть раздвинуть границы славы?.. «Какая польза в том, что ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь?» — вопрошает Господь наш. А мы исподтишка лукавим про себя:

— А нельзя ль попытаться и мир приобрести, и душе не повредить?

И не грешники толком, и не праведники ни за грош... Так себе — теплохладники. И благоразумен ли был разве среди нас ходивший и заявивший не вдруг:

«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,  
Мне есть чем оправдаться перед ним».

Боже меня упаси проповедовать крайности или хулиганства, чтоб изведать и обрести таким образом опыт страданья души и муки совести для постижения роли.

Эту вульгарную тезу давно опровергли талантливейшие люди нашего ремесла. Преуспеяние и благополучие Шаляпина не мешало ему терзать себя Борисовым пятном. Нет, без таланта, дарованного природой, ни конюшни, ни переступления, никакие химерически-физические над собой издевательства хорошо играть не помогут. А Расми Халидович на сцене играет хорошо. Он плохо играть вообще не умеет. Он может играть нечто далекое и даже противоположное от того, что просят, но будет играть это свое все равно хорошо. А вообще это добрый, неунывающий артист. Представьте себе Чаплина. Такого же маленького человека, только не еврея, а лезгина. Кавказского человека, проще сказать... Может, от того и тяга к лошадям. Седо-черногривого и лысого вместе с тем. Когда-то имел вороного крыла шевелюру. Теперь: лоб — большой, череп — гол. Крепко сбитый, тренированный, до сих пор легко ходит на руках, лазает по декорациям проворнее Тарзана, с реакцией молниеносной. При мне один на один ходил на чемпиона по боксу — милиция зафиксировала ничью. Этого артиста можно увидеть в Театре на Таганке в спектаклях: «Преступление и наказание», «Добрый человек из Сезуана», «Обмен», «Дом на набережной» и многих еще. Фамилия его Джабраилов, звать Расми сын Халида. Объяснять на бумаге ловкость его ремесла не стану, придите посмотрите — не пожалеете, даю рубль за сто. Есть артисты, уважаемые публикой. Есть артисты, уважаемые руководством. Есть артисты, уважаемые артистами. Джабраилов — артист, принадлежащий в большей части к категории последней. Нет, публика таких артистов уважает тоже, отмечает их, но все-таки ей по нраву исполнители главных, красивых ролей. (Ей кажется, чем больше у артиста слов, тем больше его дарование, а если и со званием — совсем убедительно.) Руководство таких артистов не очень долюбливает и жалует, потому что они, в силу приро-

ды и обстоятельств, часто капризны и непокорны, да если иногда еще и ночуют в конюшнях, а жены пишут в местком и получают зарплату сами... О чем говорить дальше? И все-таки... такие артисты чрезвычайно любимы коллегами, потому что артист, если он окончательно не глух и слеп, всегда знает, кто на сцене дома, а кто в гостях, и для кого у входа на подмости висит табличка: «Посторонним вход воспрещен».

Что касается публики... А мы знаем, что такое публика, мы все где-нибудь публика... то вот такая незадача.

Слышал я такую историю. В старой провинциальной России мужик выдавал себя за Карузо. Сложен был как Аполлон Бельведерский. Пел только итальянскую оперу. Пел, разумеется, великолепно, сильно и красиво, иначе как продать себя за Карузо. Нанял себе какого-то разорившегося итальянца в переводчики, сам говорил мало, а если говорил, то тарабарщину из опер. Снимал роскошные апартаменты, экипажи... рестораны... Публика валила валом. Платила за билеты бешеные деньги, стонала от восторга, носила на руках до номеров, дамы рыдали под балконами... Все это продолжалось до тех пор, пока слава «итальянского гастролера» не докатилась до ушей центрального управления культурой России, комиссия от которого приехала и печатно растрезвонила, что это-де не Карузо вовсе, а наш лапоть. Лапоть наш, действительно талантливый и дерзкий, но это все-таки лапоть, а не Карузо. И публика охладела. Магия имени кончилась, ослепление фамилией прошло. Он пел так же блестяще, когда был «Карузом», до разоблачения... но публика находила недостатки и оставалась равнодушной. Она не имела пред собой предмета поклонения и, думаю, втайне ворчала на комиссию, зачем той понадобилось обнаружить и обнародовать обман. Я бы тоже ворчал:

«Ну в какой глуши, в каком забытом богом Симбирске мог появиться Карузо?»



Прими привет, Расми Халидович!

«А я слышал, да, в этом самом Симбирске, представьте, я слушал самого Карузо... Вы в своей Самаре слушали не Карузо, а у нас, в Симбирске, был натурально он сам».

И с этим бы сладким видением, с этой фамильной легендой прожил всю остальную жизнь.

«А мне говорят, что это был не Карузо... Ха!»

Вот что такое публика. Да чего ходить в старую Россию. Одно время один артист нашего Таганского театра пользовался чрезвычайным успехом у публики только потому, что был похож на Высоцкого больше, чем сам Высоцкий. Сначала он за чистую монету принимал на свой счет восторги публики его искусством, а когда допер, наконец, за кого его принимают — не торопился разоблачаться... почему-то. И я тому свидетель, как публика была буквально обескуражена, когда ей указывали на действительного Высоцкого. Она была искренне огорчена и не верила глазам своим, потому что хотела видеть исполина, а выходил человек роста ниже среднего... (нет, это не он?! этого не может быть?!)... но человек ударял по своим семи заветным струнам, начинал работать и после уходил в глазах и душах собравшихся действительным исполином. И я тому свидетель. Вот что такое публика.

Нечто подобное совершает с публикой Расми Халидович, когда «они желают играть». Он становится меньше меньшего, меньше себя, играя маленького человека, и неизмеримо вырастает, изображая, к примеру, значительное лицо из «Дома на набережной». Вот что такое чародеи!

А в молодости Расми проделал шутку, почти равную истории с «Карузом». Чтобы стать артистом, он выдал себя за свою сестру. Точнее сказать, предпринял он это не для того, чтобы стать артистом, а чтобы сбежать из дома, с Кавказа в Москву, к примеру, из-под опеки стро-

гой матери, от укоров сестер и братьев. А если совсем точно сказать, ничего он этого не предпринимал, а случилось невзначай.

Отец ушел на фронт. Мать, чтобы пережить войну и прокормить ребятишек, ушла с ними из города Махачкалы в горы, в аул. После войны спустилась с гор, опять в город — ребятишкам надо было давать образование. Расми Халидович учился в восьмом классе уже третий год, уже в вечерней школе. Он не любил занятия точными науками, они не увлекали его, и вместо учебников он читал книжки, все без разбору — лишь бы читать. Он и задачник прочитал от корки до корки, а что толку... Но вот, представьте себе, ему нравился сам процесс чтения. Читал он и тогда, лежа на полу, когда его сестра вбежала радостная в дом и объявила всем, что поступила в театральный институт, будет артисткой и уезжает в Москву. А училась она тогда уже на 2-м курсе университета на юридическом факультете. Чтоб было понятно. Тогда в Махачкалу приехала выездная комиссия для набора дагестанской театральной национальной студии. Этой комиссии и понравилась Феруза. И поступила учиться на артистку. Как мне видится и как рассказывает сам Расми:

— Огненные глаза матери черной молнией просверкнули по всему дому и пригвоздили к полу лежащего с книжкой, нога на ногу, непутевого сына. «Не бывать тому, чтоб дочь моя проституткой стала. Пусть этот бездельник едет в Москву, ему все равно, где книжки читать».

Ты понимаешь, какая штука... У нас, особенно тогда, эта профессия не особенно приличной считалась для положительной женщины. И понятно, что мать была категорически против. Она заперла ее в чулан и не выпускала, пока я не уехал... Так вот, говорит, пусть этот бездельник едет. Я, говорю, поеду, хоть сейчас,

только дай денег на дорогу. «Дам хоть сейчас, только уезжай с глаз моих». А тот профессор, что приезжал набирать, он уже уехал. Оставался товарищ из нашего управления культуры. Я к нему. Прочитал басню. Разыграл немые картинки из только что виденного кино. Станцевал лезгинку, а лучше меня в нашем селе никто ее не плясал, и он сказал: ладно, езжай. Собрал я книжки на дорогу в деревянный чемоданчик, знаешь, такие были, с всячими замочками... Чулки, как помню, были на мне вязаные цветные и калоши новенькие... тогда это самый шик был. В поезде у своих товарищей по группе я узнал, что в Москве надо будет на родном языке читать басню, прозу. Лезгинский язык я знал плохо. Я все понимал, но говорил мало. В поезде мой двоюродный брат, который тоже поступил в эту группу, напел мне лезгинскую песню. Слух у него был плохой, но петь он очень любил. Мелодию я знал, наша мама эту песню пела часто, а слова я зазубрил в поезде с языка брата.

В Москве нас посадили полукругом. За столом вместе с тем профессором Чистяковым, что набирал, руководители курса — Бибииков, Пыжова. Каждый из группы по вызову встает, что-то делает, на что способен. Слышу: «Джабраилова!» Я поднимаюсь. Они... смотрят, недоумевают... К Чистякову:

— Что такое?.. здесь ошибка, что ли?..

— Нет, не ошибка... Джабраилова есть.

Они опять в список — на меня, на меня — в список. «Но вы же видите, Павел Петрович, что это не Джабраилова, а Джабраилов!» — «Я не знаю, я не набирал такого». Они ко мне:

— А ты кто такой?

— Я Джабраилов... Но поступала моя сестра... правильно, но родители ее не пустили и послали вместо нее меня. Все правильно, говорю, ошибки нет, я вместо

нее приехал. И мама дала денег на дорогу только в один конец.

Они посмеялись, посовещались между собой. Ну ладно, говорят, а вы-то что-нибудь умеете делать? — Умею, говорю, все умею...

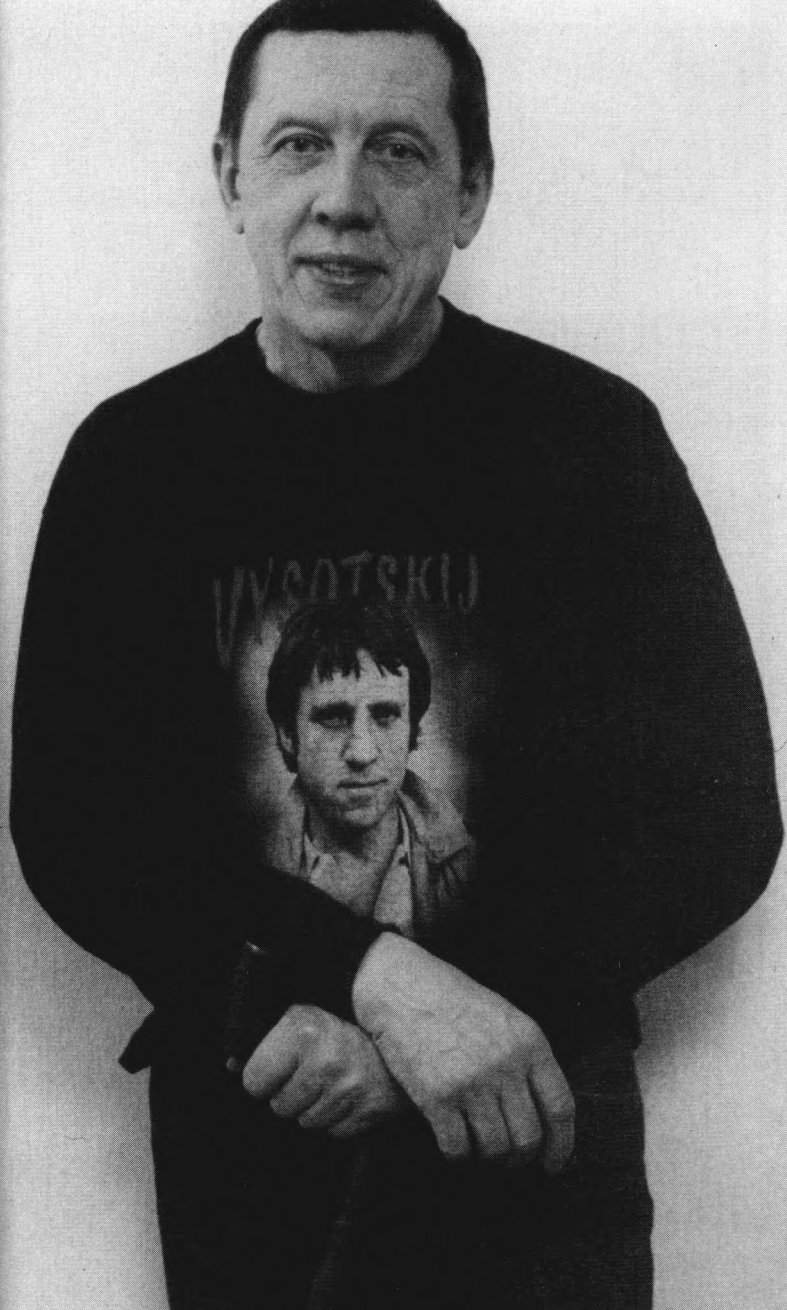
— Спойте что-нибудь, петь умеете?

— Пожалуйста!

Спел свою коронку, что от матери досталась... басню прочитал... Потом им захотелось от меня услышать лезгинскую речь... мелодику речи... Прозу прочитать на лезгинском... А так как я не знал на лезгинском ничего, то я стал русские анекдоты пересказывать на тарабаро-лезгинском. А где слов не хватало, чтобы сохранить мелодику, вставлял и неприличные выражения из лезгинского набора. И закончил весь ералаш сплошной лезгинкой. Лезгины мои со стульев свалились от хохота, а профессора думали, что я, наверное, так это здорово рассказываю, что это так смешно, и что я очень ловкий и смешной лезгинский кадр. Они восприняли мое хулиганство как художественное достижение. Но самое ужасное, что они попросили пересказать на русском языке то, что я читал. Что делать? Я вспомнил какую-то историю Хаджи Насреддина, что-то там присочинил на ходу, в общем, слепил какую-то нелепость на русском языке, но это уже было для всех грустно.

— А где ваши документы... общеобразовательные? — спрашивают.

А какие у меня документы, если я третий год в 8-м вечернем... «Я, — говорю, — документы взять не успел, за сестру поехал, но мне пришлют справку за 9 классов... А за 10-й в процессе учебы сдам экстерном». Мне поверили, взяли... Года три каждую весну я все экзамены в институте сдавал раньше срока, чтоб ехать домой сдавать экзамены за 10-й класс. Приеду: «Сдал?..» — «Один предмет, — говорю, — сдал, а по другому — преподаватель забо-





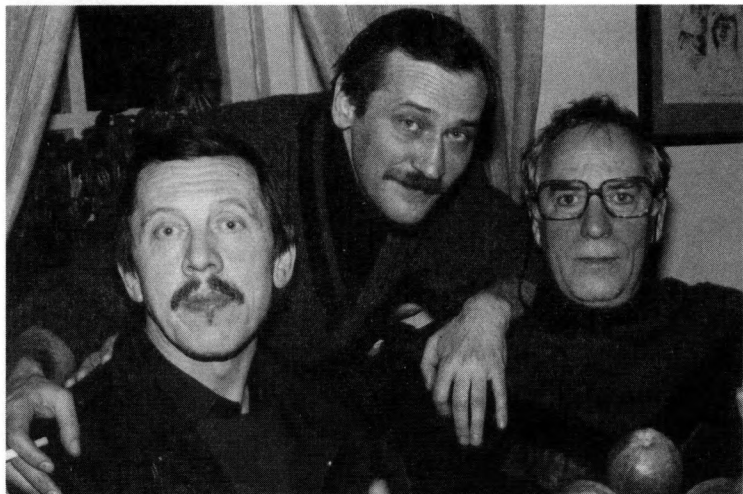
*С Лилей Брик после спектакля «Послушайте!»*



*В. Зотоухин и В. Белов на Шукшинских чтениях. Сростки, июль 1979*



*А. Шнитке, Б. Можяев, Д. Покровский, Ю. Любимов на репетиции спектакля «Борис Годунов». 1982*



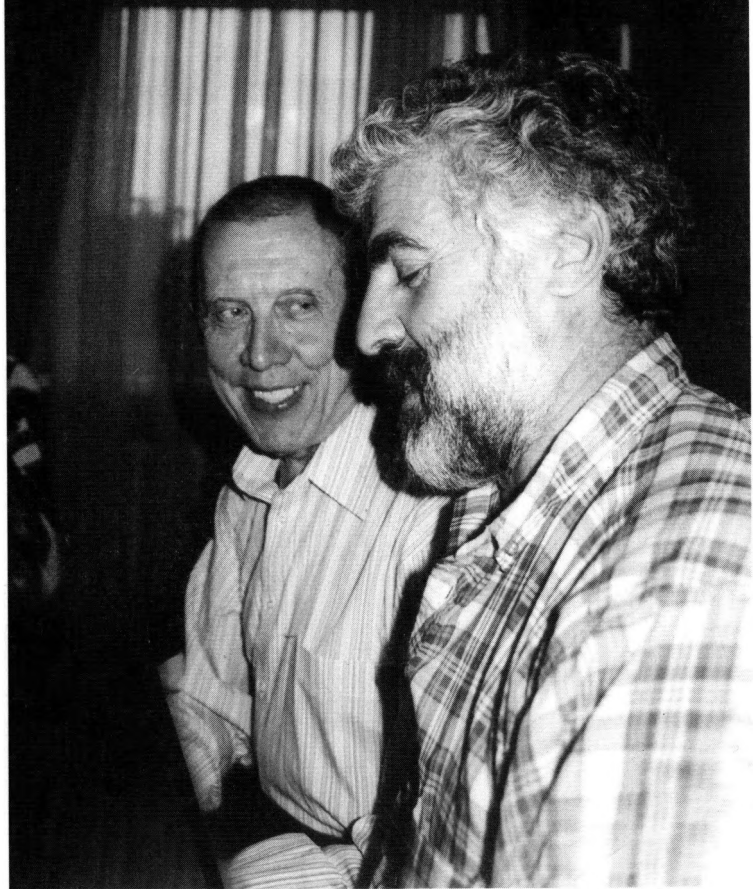
*С Леонидом Филатовым и А. Гутьересом во время гастролей мадридского камерного театра в Москве, январь 1989*



*С Михаилом Пуговкиным*



*С поэтом В. Краснопольским*





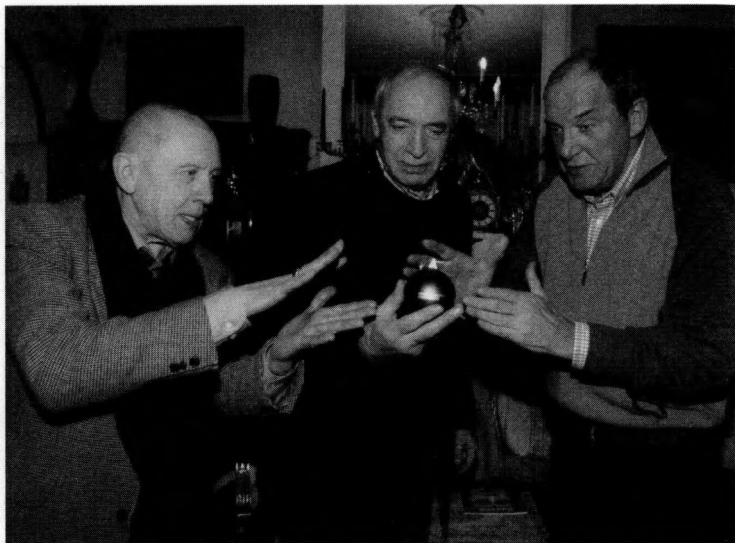
*С Анной Агаповой*



*С Юрием Любимовым и актерами Таганки*



*С Астафьевым В.П. Красноярск, 1978*

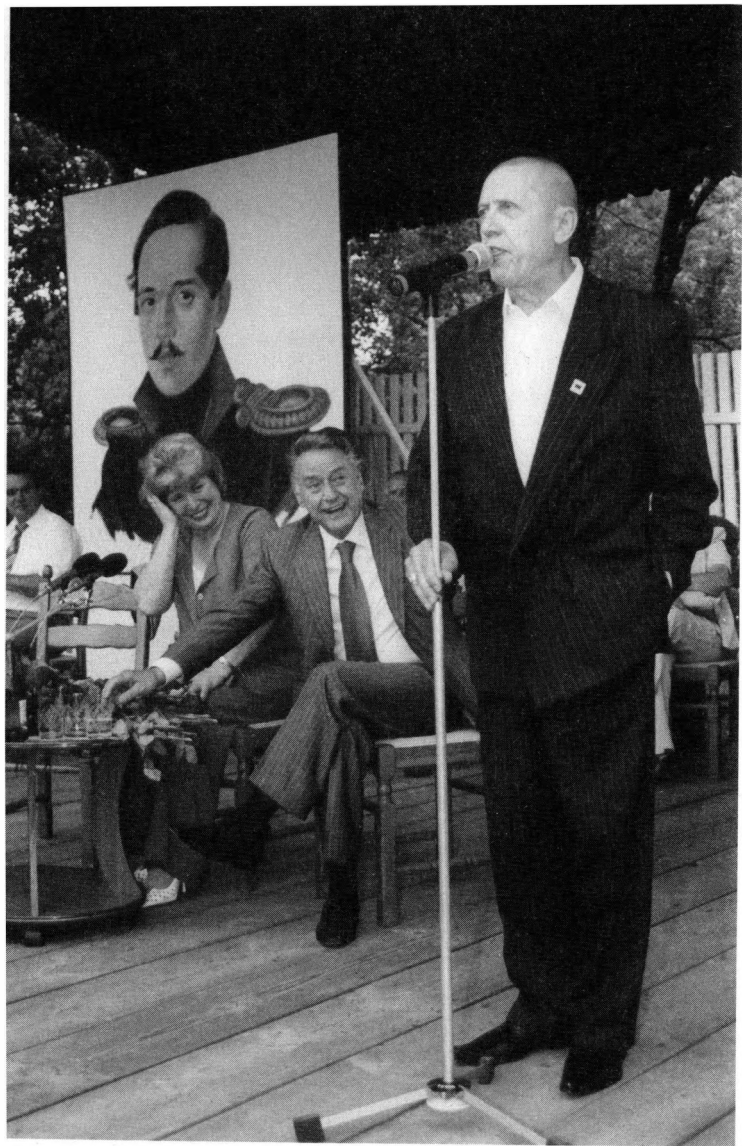


*С друзьями-актерами Валентином Гафтом и Эммануилом Виторганом*





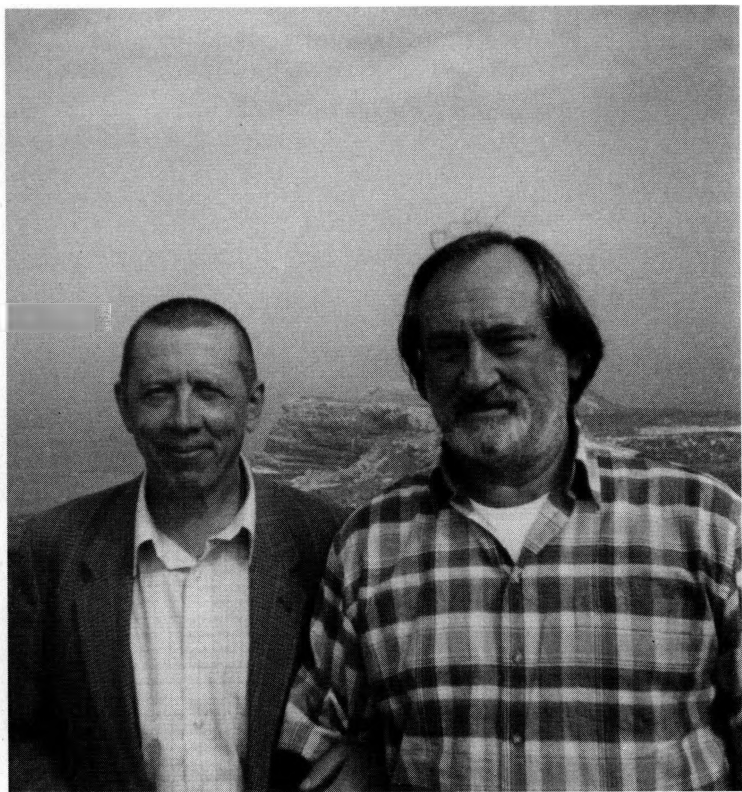
*С Юрием Любимовым на моем 65-летию*



*В Тарханах у Лермонтова, 2004*

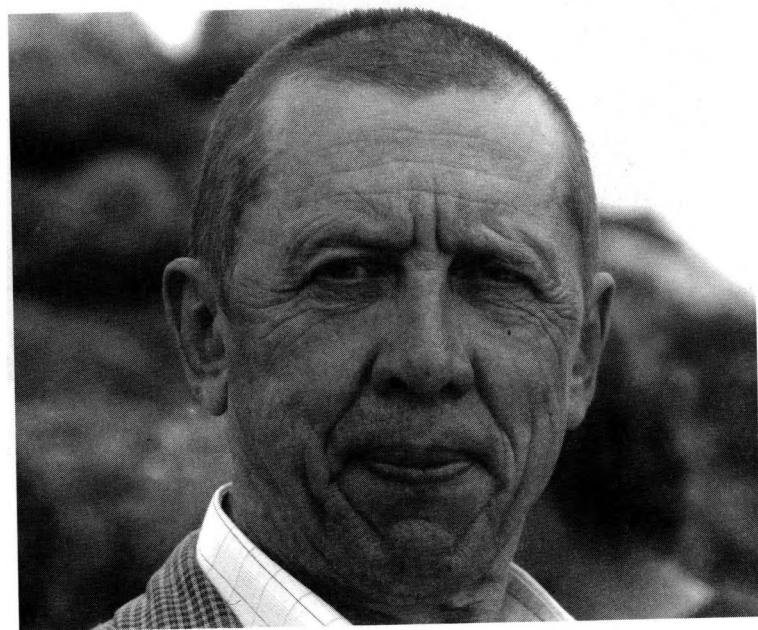


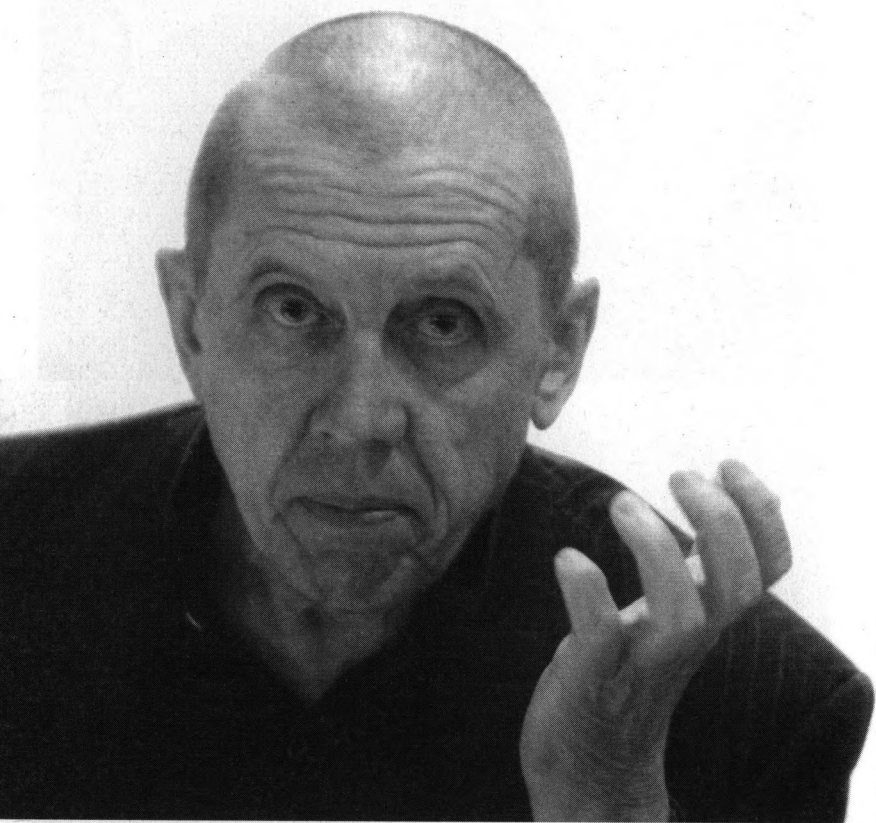
*Мечта сбылась, храм построен. Алтай, с. Быстрый исток, 2003*



*С Богданом Ступкой на мысе Доброй Надежды. 2004*











лел...» Так по одному предмету я каждый год ездил якобы сдавать. А в последний год меня вообще не отпустили из института: дипломный спектакль репетировался... Так закончил четыре курса. Диплом надо давать, а у меня аттестата нет. А в дипломе одни пятерки. Что делать? Ректорат института обратился в Министерство высшего образования. Как быть? Те думали, думали — диплом мне давать или справку об окончании: а у меня одни пятерки от начала до окончания за четыре года. И министерство решило выдать мне диплом с отличием. И сестра к тому времени защитилась в университете и тоже с отличием. Два диплома с отличием (с сестрой договорились) в один день нашей маме преподнесли. Она была счастлива...

На этом я останавливаюсь. Дальше было похоже на то, что происходит со всеми нами, когда начинается служба и бег к барьеру карьеры.

Я начал писать мой привет моему товарищу, имея, в первую очередь, в виду его забавную историю поступления в московский вуз. И казалось, что перескажется она с его рассказа смешно. Но я начал, наверное, не с той ноты и не мог избавиться от нее на протяжении всего «привета». Мне грустно, потому что ему на днях исполнится 50 лет, что ожидает через... не так уж долго... и меня... У него есть жена-умница, дочь-красавица, однокомнатная квартира и много друзей, но он безнадежно одинок. Его кони состарились и все реже и реже выигрывают дерби даже во сне. Хозяин же их играет все удачнее и удачнее. И все чаще и пристальнее следит из-за кулис за его игрой красавица дочь... Зачем мы не говорим о своих товарищах, когда они еще живые и ходят рядом. Когда они еще нуждаются в добром взгляде, теплом слове... Почему не торопимся при жизни сказать высоким слогом слова привета своим коллегам по сцене, экрану... труду... своим товарищам, с которыми прожита, по сути дела, лучшая пора отпущенного срока.

## Книга вторая

Прими же, Расми Халидович, в год своего пятидесятилетия мой сердечный привет. Пусть твой сощуренно-ощеренный добрый дед Филат обнимется с моим несыгранным Кузькиным, и пусть же выкосят они, наконец, в конце концов, световой занавес нашего шефа...

Будь долго здоров, мир и счастье твоему дому, и пусть твои кони реже огорчают тебя.

*Твой благоразумный друг Валерий,  
26.09.82 г. г. Ташкент, гастроль*

# Маленький театральный роман

## Иван, поляк и карьера

*...все говорят —  
нет правды на земле...*

Жил-был, служил и по сей день служит в большом, знаменитом театре маленький артист Чайников. Нарожал кучу ребятишек, крутится-вертится, как черт на веретене, блоха на сковородке, в поисках средств к существованию. Ролей больших не играл и не играет, хотя работает давно и усердно, но теперь играть и не стремится, и вся его мечта и забота на театре — как бы стать еще незаметнее, как бы реже попадаться на глаза главному, и чтобы, не дай бог, на собрании, или где, упомянули его фамилию хоть в плохую, хоть в хорошую сторону. А как слышал свою фамилию или похожую, так вздрагивал, потел сильно и ждал страшного. На свои «кушать... карета подана» маскировался краской так густо, что его шарахались партнеры, а когда он однажды столкнулся лицом к лицу в туалете с главным, тот растерянно посмотрел на него (лицом к лицу, в туалете, как известно, ничего не увидеть), и вахтерше вlepили выговор за нахождение в служебном помещении постороннего человека.

Кровные свои сто двадцать Чайников отработывал честно, без претензий. Прибавки не просил даже за вы-

слугу и по многодетству, дабы не отобрали, что имеет. С народными, заслуженными, ведущими и подающими старался встречаться реже, а если не успевал вовремя свернуть с дороги, прижимался к стеночке, низко кланялся, стремился первым выпалить: «Здрас-сте, Такой-то Такойтович», но руки не совал и тряс долго, если подавали.

Так он жил в постоянной заботе о своих детишках, старался быть скромнее, но не для красы, заметим, кое-как сводил концы с концами, не роптал и даже казался счастливым, а может, и был им, и не подозревал надвигающейся беды.

А беда надвигалась неминуемая, и надвигалась она с Запада. С Польши ехал режиссер на постановку пьесы Брехта «Карьера Артуро Уи...», «которой могло бы и быть, или не быть — черт ее в душу знает», как выражался потом про себя наш герой.

Иван ходил по вечерам на работу, густо мазался, старательно произносил отпущенные ему реплики, аккуратно посещал собрания, а приехавший режиссер тем временем времени не терял, смотрел спектакли, знакомился с труппой и заносил кое-что в свою черную книжицу, откуда чиркнула молния и гром грянул.

Однажды, читая приказ о распределении ролей в новой постановке, против главной роли Артуро Уи... ии... Чайников увидал свою фамилию ууу... иии, не обратил внимания, ... аааа ... Но!.. Инстинкт самосохранения заставил его поднять глаза снова и прочитать еще раз «Артуро Уи — !!! — Чайников». Один Чайников, без никаких!! Иии! Бедный артист, сраженный несправедливостью, побледнел как лист, на котором был подписан приговор, задрожал в коленках и пал на свои тощие четыре мосла без особых чувств. Губы его бессвязно бормотали: «Опечатка... недоразумение... не может быть... шутка Грушницкого... сон проклятый в руку...» Но народный



дядя ему внушительно растолковал: «Не валяй ваньку, Иван, встань-ка. Проверено досконально, поздравляю тебя, Иван, ото всего моего большого сердца, но... не знаю, велика ноша-то, велика... не знаю... подумай, подумай...»

— Александр Ростиславович!!! Это ваша роль, — вскипел Чайников, — Владимир Семеныч, и ваша... у нас много народных артистов, много заслуженных, есть и хорошие артисты... им бы дать, а мне за что, нет... нет... я разве смогу, что вы?! Я не умею, нет... нет... никогда!

— Не знаю, не знаю, Ваня, — похлопывал его по плечу народный, — поляк уедет, а мы-то с тобой... приехали... Нам ведь еще жить да жить, до пенсии-то трудиться надо, трудиться, трудиться...

— Да что вы?! Навязался на мою голову шляхтич проклятый, нет на него, паразита, Минина с Пожарским. Я его знать не знаю и знать не хочу! Вот наш Мартын Мартыныч этого бы никогда не допустил! Какую подляну сунуть промеж ребер... мне роль! а? А вам, народным — выхода?! А?! Зарезал, паразит, под корешок тяпнул, сволочь!!! А-а-а-а!! У-у-у-у! И-и-и!

И стал Чайников бегать по народным, заслуженным, ведущим и подающим, извиняться перед всеми за свой позор, за свое назначение и все приговаривал: «Вам бы это, а?! Вы бы как дали, да?! Вы бы как развернулись, ведь да?! Ведь да?! Мартын Мартыныч, он бы вам дал, обязательно вам бы, фу ты, поляк бестолковый!!!»

А поляку между тем шептали: «Зачем?! Зачем?! У нас есть этот, у нас есть тот! В конце концов, придет из больницы этот, быть может, вернется из-за границы тот...» Но поляк попался упорный, как наш кирпич, и все бубнил: «Только Чайников! И никаких народных гвоздей!» Делать нечего — стали репетировать. Долго ли, коротко ли, только доходят до того места, где Артуро указания дает, кричит на своего подчиненного... А у Чайникова

будто голос отсох: Стоит весь скрючившись, улыбается, виляет хвостом, как провинившийся пес, все кланяется да расшаркивается.

Долго поляк бился, ничего понять не мог. «В чем дело?! Чего вы улыбаетесь?! Что у вас, голоса нет?! Кричите на него, швырните чернильницей, сожгите кулисы, взорвите театр, но изобразите мне нечто похожее на гнев!!» А Чайников ответ держит: «Да как же я могу кричать на народного артиста?! Александр Ростиславович... Он ведь у нас такой... Десять лет председатель... парт... проф... мест...»

А шептуны-колодники тут как тут, изо всех сил стараются: «Ну, разве это фюрер?! Нет, это не фюрер!!! Это — черт знает что, но это же не фюрер!!» Бился поляк, бился, в Польшу ехать надо, а Чайников не может приструнить народного, топнуть, шикнуть на него, разозлиться, все больше гнется и смущается, как девица красная в венчальный день.

Искусство требует больших жертв, и Чайникова пришлось снять. Это был его счастливейший день, я не вру, я это видел, и потому написал. Это был его праздник. Чайников ликовал! Он исходил радостью искренней, неподдельной, сиял, как отмытая плешь главного, и восторженно приговаривал: «Я говорил, я говорил... а?! Нет, нет, он неправ, ну, неправ!! Есть все-таки правда на земле! Есть она, матушка, есть!!»

## Об импровизации и целине

Второй рассказ из жизни артиста  
Ивана Чайникова

Собрание родного коллектива было назначено на тринадцатое число. Причиной сбора был хлеб целины. Два достойных члена коллектива должны были выразить яркое

желание поехать на два месяца в колхозы Казахстана на уборку небывалого урожая. К тому же прошел слух, что, недовольный последним спектаклем, шеф будет делать очередной втык, или «сексуальный час», по кулуарному словарю.

Иван Чайников, не будучи от природы суеверным человеком, кое-чему в жизни учился и кое во что поверил. Вообще, приметы, их толкования и разные предзнаменования расцветали в коллективе этого знаменитого театра махровым опереточным цветом: некрещеные носили кресты и молились перед выходом, целовали друг другу коленки перед премьерой, старались увидеть нарождающийся месяц только слева и т. д. и т. п.

Но тринадцатое число, вопреки всем толкованиям, Иван считал для себя счастливым, потому что именно тринадцатого числа состоялось в свое время торжественное снятие его с роли Артуро Уи.

Проходя мимо туалетов, он весело поприветствовал их смотрительницу и свою давнишнюю подругу – тетю Глашу. Они не боялись друг друга и потому дружили. Больше того, они были по-своему влюблены друг в друга, но об этом после, а теперь...

Тетя Глаша, убирая пыль и грязь в театре, собирала все новости и настроения, знала многое наперед и не раз спасала Ивана от всяких неожиданностей и капризов судьбы. Иногда Ивану казалось, что не премьерша, а она, Глаша, отсюда, из туалета, по телефону руководит театром и всем советским искусством. От нее Иван знал даже то, чего не знал иногда главный.

Сегодня Глаша была, как никогда, не в форме. Ее уже предупредили, что она очень хочет убрать небывалый урожай. Иван успокоил ее: «Не убивайся, Глаша, шибко, переживем... Со мной и не такое бывало... помнишь поляка, как он меня тогда, а?! А ничего, выжили». Они помолчали дружно, и Иван пошел на собрание. Он сел

на нейтральной полосе, не далеко, не близко, а в самый раз от того места, откуда главный любил проводить «сексуальный час».

В каждом бардаке, как известно, свои порядки, и в каждом бардаке, как известно, свой дурак. Дурак — это не обязательно богом обиженный, с недостающим разумом человек, совсем не обязательно, иногда даже наоборот. Дурак есть в любом нормальном коллективе. Дурак — это скорее положение, чем призвание. Дурацкую роль на театре играет чаще всего самый умный, по принципу: умному в роли дурака легче прожить, чем дураку в роли умного. На эту роль не назначает главный. Она приходит, прилипает сама собой, как будто невзначай. Человек и не подозревает, и не готовится к ней, но вдруг начинает ее играть. «Дураков не сеют, они сами рождаются» — поговорка неверная, во всяком случае касательно тех дураков, о которых речь идет. Дураков мы сеем именно сами и заботливо их растим. Дураки нам просто необходимы: на кого же мы сваливать потом все станем? На умных, что ли?! Ну, об этом после, а теперь...

Популярность Ивана в родном коллективе космически возросла. Он по-прежнему, как до и после, ничего не играл и не стремился, но имя его потихоньку сделалось прозвищем и вышло за пределы родного коллектива: «Ты вроде Чайникова», «Не будь Чайниковым», «Все, как у Чайникова»... Чайников... Чайников, во всем и всюду он, как в стуле гвоздь.

А когда-то Иван жил тихо и незаметно, да и теперь был совсем не подготовлен к роли дурака, а потому был для народных, заслуженных, ведущих и подающих наилучшей кандидатурой на эту роль.

Шеф начал сексуальный час сразу и просто: «Я кончаю с либерализмом, дорогие товарищи», — сказал он задумчиво и пошел вмазывать тезисы один страшнее

другого. «Я прикрою эту богадельню... Я все слышу... Я все вижу... Эфиопский король был на спектакле...

Король — человек свежий. Он сказал, что артисты забурели, не действуют, не общаются, каждый тянет на себя, текст засорен отсебятинами... Посмотрите на балетных, как они работают!!! У них волчий закон, закон сильного: я кручу шестнадцать, а ты пятнадцать, а если я буду крутить тридцать два, я мастер, мне цены нет. А драматические артисты почему-то считают, что им не нужно тренироваться, дескать, «было бы самочувствие внутри, выйду сейчас и дам...», и дает — глаза бы не глядели. Почему вы не хотите крутить тридцать два? А Брехт — он жестокий автор, у него: вопрос-ответ, вопрос-ответ... Поэтому диалог у вас неживой... Вы не рождаете эти замечательные образы, не вмазываете, не тянете сквозную... Нет, вы, конечно, понимаете, что это премьера, и вы вздрючиваете свою эмоциональную... штуку, но кроме штуки хотелось бы знать, куда она направлена. Артисты все — эгоисты, кусочники... Они всегда стараются растащить театр, растоптать самое дорогое, что есть в нем. Это в природе артистов, это их суть, я сам был артистом и отлично знаю все ходы. Задумайтесь, товарищи. Я научу вас свободу любить, помяните мое слово и т. д. и т. п. В конце он, как всегда, в двух словах сформулировал свой и единственно верный, с его точки, взгляд на искусство: «Искусство — это спорт. Кто прыгает выше, тот играет, и когда я мастер, мне никто не посмеет сказать — «тьфу», а если что не так — честь имею, меня ждут в другом месте».

О целине он не обмолвился. То ли не знал повестки дня, то ли забыл, то ли не верил в небывалый урожай, то ли не в том дело. Иван уважал в главном его принципы, но всегда робел, когда тот их громко формулировал. Но только робел. Боялся же он, как мышка кошку, заведующую труппой, которая уже встала и готовилась к

речи, сортируя в руках черные списки, в коих обычно содержалась всякая пакость: опоздания, нарушения, злоупотребления, здесь же намеки на административные взыскания, — и вся эта гадость опрокидывалась на самые незащищенные головы. К таким головам относилась и голова Ивана Чайникова.

Это была та самая голова, на которую можно было плюнуть, и она не обидится, или сделает вид, что не обиделась, и никогда не станет думать о возмездии, не потребует реванша за позор. На эту голову спокойно можно справить нужду — малую или другую какую, и она, эта голова, встряхнется, прочирикает благодарность, или сделает вид, что ничего не случилось — все как было, так и осталось. Таких голов в театре много. Это, если сегодня можно так выразиться, — поголовье безголовых. Упаси бог, от народного, заслуженного, ведущего или подающего повеет сивушным ветерком, и... головы из поголовья безголовых родной коллектив не досчитается. А как же иначе?! Надобно ж кого-то высечь за ветерок?! А кого?! Ну, об этом после, а теперь...

Завтруппой, преданнейший Цербер главного, была большой любительницей справлять нужду на незащищенные головы, ей тоже надо было работать и тоже надо было как-то жить. Она взболтала свою прокисшую желчь и как бы между прочим пропела: «А меня беспокоит импровизация», — и стала собираться с дальнейшими мыслями. В эту паузу Иван перевел дух: «Ну, это мимо... Пронесло... Импровизировать, слава те, господи, мне негде, а потому слушаю тебя, зануда, дальше и не боюсь ни капельки».

А между тем любимый голос набирал силу и темперамент мысли: «Импровизация — вещь опасная. И мне кажется: дана она избранным. Владеть ею дано очень немногим. У нас же считают, что импровизировать имеет право каждый. От этого заблуждения я бы хотела убе-

речь некоторых артистов, дабы избавить их от лишних административных взысканий. Нет, импровизировать можно, сколько угодно, но на репетиции, под контролем режиссера, а не на спектакле, не на публике. А публика к нам ходит, сами знаете, дай бог, чтобы другие театры имели такую публику. И эта публика слышит иногда такие перлы импровизации, что хоть стой, хоть лежи. У меня тут записаны некоторые перлы импровизации. Нет, конечно, не все, и не самые лучшие, но все же... Вот, например, в картине «Трюмы»... идет пантомимическая сцена, только музыка и движения... Сцена рассказывает о каких-то вещах языком тел, посредством пластического, так сказать, разговора... И вдруг этот разговор разрезается фразой: «А... а... попались, голубчики!!» Какие «голубчики», почему «голубчики»? Иван Сергеевич, это ваша, кажется, импровизация?! В общем, у меня тут много... не буду все читать, что первое попало в точку зрения, так сказать...»

Она еще долго рыгала на незащищенные головы, но Иван уже ничего не соображал. «За что? — думал он, — что случилось... что я сделал тебе... не я ли тебе зайца надувного купил в юбилей... как бы хорошо сейчас стукнуть тебя, паразитку, молотком», — но, поймав себя на мысли, что думает о ближнем плохо, стал стараться думать хорошо, но как ни старался, выходило все хуже.

Иван очнулся, когда кто-то говорил о том, что надо кого-то куда-то послать, и тут он поднял руку кверху. Родной коллектив замер... Не надо забывать, что старый дурак уходил на пенсию, а Иван подавал большие надежды. Иван медленно всплыл наружу. Чтобы унять дрожь в нижних мослах, он передними уперся в спинку кресел и потихоньку начал: «Дорогие мои, хорошие... Мне очень неприятно под занавес, на закате моей артистической деятельности и вообще жизни, получить подобное замечание. Я хотел в конце своем поставить

красивую, жирную точку, а из нее получился «блям». Вы все талантливые, добрые, но постарайтесь, я вас очень прошу об этом, понять меня... Мне очень обидно, и я не знаю, как это произошло со мной. Я — актер мхатовской, а также вахтанговской школы и оружием импровизации пользуюсь очень редко. Согласен полностью с нашей дорогой завтруппой, что импровизация дело опасное. Данная импровизация родилась у меня примерно на десятом спектакле. Алеша — Факир делает так (в этом месте Иван показал, как делает Факир: выпад на левое колено с вытянутой вперед энергичной, под вождя, рукой), а я говорю: «А... а... попались, голубчики», — и смеюсь. Импровизировал я подобным образом сто с лишним спектаклей. Но после того, как вы, Людвиг Леопольдовна, сделали мне справедливое замечание, я не говорю больше «а... попались, голубчики», у меня остался только смех, но если Мартын Мартыныч возражает, я уберу и смех... Но прошу все-таки смех мне оставить. Еще раз я приношу глубочайшие извинения моим товарищам, больше импровизировать, не согласовав, я не буду, это я обещаю, прошу меня простить и послать на целину, где я честным трудом постараюсь залепить пробел в моем актерском образовании и понести суровое наказание за этот неожиданный для всех «блям».

Иван кончил. Это была его первая речь к родному коллективу за тридцать лет усердной работы. Нет, он много речей сказал про себя, много монологов сочинил, нянча своих детишек, но вслух не произносил ни одного, нигде, и боялся, как бы эти монологи внутренние не подслушал кто-нибудь вдруг — при современной технике все возможно. Не зря ведь главный часто и многозначительно повторял: «Я все вижу... я все слышу...» «А что ты видишь, а что ты слышишь?» — спрашивал у него всегда Иван и вздрагивал: не сказал ли он этого вслух. Но об этом после, а теперь...



Родной коллектив стонал от восторга. Иван блистательно выдержал экзамен на дурака. И только одна тетя Глаша плакала в уголку. Она плакала от радости, что едет на целину в компании с артистом, самым безобидным на свете человеком, который хотел когда-то стать Наполеоном, да не сумел, был назначен Гитлером, да не захотел им быть — так понимала Глаша жизнь и взгляды Ивана Чайникова.

Любимый коллектив разбрелся по кулуарам. Ивана тянуло к туалетам, к тете Глаше, и он пошел.

Глаша знала, что в суровые минуты она ему необходима, и ждала его, а он пришел не в духе, как шеф с похмелья.

— Вот тебе, Ваня, и тринадцатое число...

— Да, Глаша, такой «блям» получить в конце жизни — не всякая голова выдержит...

— Не убивайся, Ваня, шибко, — утешала его Глаша, — поляка пережили, переживем и импровизацию...

Они помолчали дружно.

— Ваня, я давно хотела у тебя спросить: мы в один колхоз поедем или в разные какие?

— В один, Глаша, в один. Я тебя, ты извини, конечно, за артистку выдам. Приготовься к этому. Дело это для тебя новое, но не сильно противное, как тебе кажется...

— Как хочешь, Ваня, так и делай. Тебе виднее оттуда.

— Ты когда-нибудь счастье видела, Глаша?

— Нет, Ваня, не приходилось.

— А я видел... Глаша... Во сне, быть может, и еще посмотрю... Ну, пошли собираться в дорогу...

С этого дня началась на театре дурацкая вахта Ивана Чайникова, а как он ее нес и как ему помогала в том Глаша, об этом после, а теперь... их ждет небывалый целинный урожай Казахстана. В добрый час, счастливую минутку, Иван и Глаша!!!

## Парадокс сверхзначимости

Третий рассказ из жизни Ивана Чайникова

До боли сердечной, до язвы в желудке, до бешенства пульса, мигрени и укуса в почках народному артисту всего нашего Союза, всяческому лауреату всяческих премий, почетному члену академий, почетному гражданину разных городов мира Григорию Петровичу Курочкину не нравилось, когда путали его отчество. Ничто так мгновенно не приводило в неистовое молнеметание, в гневливое громораздражение, ничто так безотказно не ввергало в свинцовую бессонницу и пятнистую аллергию одноименного исполнителя роли легендарного героя гражданской войны в одноименном фильме, как то обстоятельство, когда кто-то, где-то, как-то невзначай, со страху или по неведению его неверно величал. Ему казалось, с пеленок, как «Отче наш», должны были родители вдаблывать чадам своим фамилию, имя и отчество того, кто на весь мир славен, а те — своим «хвостикам» передать, и так из рода в род. И дела Григорию Петровичу не касалось, что легендарных героев было не один и не два, а больше гораздо, к тому ж история отечественная волею лучших людей и их съездов до сих пор их тасует лихо: то убавит, то прибавит; учебники не успевают «переучиваться»... Но про то другие скажут, а мы про величание продолжим.

Иван Чайников, ах, этот мой Ваня-Ванечка, Ванюша, неумытый мой, не согретый славой и людьми, любезный сердцу моему маленький артист, в том же театре вместе с легендарным лет уж 100 служил, однако... Между прочим, легендарного он обожал, он ему бутерброды и конфеты носил, чай варил и термос таскал. Между прочим, он ему цветы покупал на свои кровные и тайно подкладывал, от почитателей якобы. И предприниматели, приглашая Ку-

роч-кина на халтуры, всегда имели в виду его оруженосца и находили ему работенку безмолвную.

В свое время, когда Иван с Глашей, бессменной смотрительницей туалетов, прибирали к рукам целинный урожай, главный, старый режиссер театра Мартын Мартыныч скончался и, по традиции вневоленной, во главе театра стал его сын, которого легендарный не переносил за бездарность, в постановках его не участвовал, а Иван «и рад бежать, да некуда»... А репетировалась тогда пьеска в стихах. И получил Иван роль в двух репликах, трех пробегах: «Царь, царь идет!» и «Скорее к патриарху». Нацепил Иван на себя одежды ватные для количества тела, латы сверху, шлем консервный, секиру в руки и репетирует усердно, без передыху. Раз пятнадцать кряду выбегал он с репликой на сцену и все молодому главному угодить не мог. Смеется над ним главный (а он с ним с маленьким водился, на закукорках таскал, за няньку оставался, когда бывший главный, отец покойный нынешнего, делами неотложными занят был): «Ну что ты орешь, как зарезанный, — или — что сказал, не слышу... пора овладевать профессией... распределили себя в пространстве... занимайся дикцией три раза в день... прочисти уши... освой биомеханику... стыдно за тебя... еще раз... теперь очки вздел., ты что... издеваешься надо мной?! Какой ты век изображаешь, пьесу-то читал? Попроси Глашу, она тебе прочитает на ночь... ты еще с транзистором выйди, за что тебе только медаль на целине дали, не поправил ты там своего актерского пробела, тебе орден за тупость дать надо...» — и долго еще в таком духе упражнялся молодой главный над старым Иваном. Не выдержал наконец Иван, бросил секиру наземь и помчался со сцены что оставалось сил. «Остановите мне, заверните Чайникова!!» — кричал ему вслед лучший режиссер на Европейском рынке (так он хотел о себе думать всерьез), но Иван как вспомнит, как ошпарит его синим огнем изнутри воспоминание, каким

он был этому «гению» аринродионычем, сколько гуней за ним перестирал-высушил, какие сказки ему выплелал, какие луки гнул и пистолеты выстругивал, сколь ролей, может быть, не сыграл... Его бывший главный от спектаклей освобождал даже, чтобы только с сыном оставлять, жене так не доверял нянчиться, как Ивану. А своим-то детенышам Иван только спящим ласки отцовские курлыкал — время родительское на барчука тратил, и чего греха таить, как к сыну тоже привязался, и вот дождался, «скорее к партиарху» ему не угодил, и транзистор приплел, и Глашу зацепил, негодяй!

Скинул мокрую вату Иван, испил воды холодной из-под крана, омылся, поглядел в зеркале на снег на пеньке своем (так он голову свою седую величал или ему подсказал кто) и донельзя почувствовал себя обиженным и оскорбленным каким-то, обгаженным даже, вот. И сделалось ему тошно. Домой пошел Иван. Какой там пошел — еле ноги переставлял по академическим коврам. Вдруг, откуда ни возьмись, встречу ему из-за угла на коне народный — легендарный, статный, величавый и с шашкой наголо, или побредилось Ивану: «Что, Иванушка, квелый такой да мрачный? Что головушку повесил свою разудалую, как жизнь протекает, интересный мой?» — белозубил сверху американским фарфором народный. «Жизнь, как в самолете протекает, — ответствовал Иван, — один правит, всех тошнит... Григорий Мартыныч... » — «Что?! взревел, как ужаленный медведь, легендарный, — Чайников?! Да с кем вы говорить смееете!! Пшел с дороги, пень клепаный... козел непривязанный!!» Чуть кондратий не хватил на месте, вечного комдивами договорить не дал и дослушать не пожелал, умчался по прямой, обдав Ивана облаком дорогого бензина с дешевым одеколоном «Запах Жана Маре» смешанным.

Добредши домой, все рассказал Иван в деталях, в подробностях Анисьюшке, жене своей многотерпеливой, и

слег. Температура вспыхнула, давление скакнуло — головы не поднять, затылок чугунный. Компрессы масляные Анисья ему стала делать, пустырнику отварила, горчичники к ногам прилепила, чтоб от головы оттянуло, четвертинку показывала, отказался — совсем, стало быть, плох.

— Да чем же ты уж так провинился, Ванюша? Ну какое твое особенное преступление?! Григорий Мартыныч простит тебе убог с репетиции, неужели забыл твои сказки? Григорий Петрович крутее будет, конечно, но тоже при хорошем подходе...

— Ну что же он так взбеленился? Этого Мартыныча он ведь терпеть не может, или самолет его так раскачал?

— Да не самолет его раскачал... Он же не дослушал и решил, что ты его Мартынычем-то величаешь... — Анисья догадлива была, ох догадлива...

— А... а... а... Ведь верно, Анисьюшка, ведь верно, сгноит он теперь меня, сгноит по всей форме... Ох, несчастные мы с тобой...

Пали друг другу на грудь старые люди, пожалели друг друга.

— Что делать теперь, Анисьюшка, что делать?

— Что делать, что делать... Думать надо. Позвони ему, Ваня, объясни... Или не простит, совсем он, что ли, из ума выжил, ирод орденосный!..

— Не говори так, Анисьюшка, телефон-то теперь у нас на подслушке небось, а позвонить надо, это мысль вещая...

Телефон всколыхнул в мозгу Ивана надежду на спасение. Дрожащими фалангами наvertsел он семь известных цифр. Ответила жена, что так цепко следила за мужем. Никому ни пальто, ни калоши подать не позволяла: сама, только сама... это моя священная обязанность. Чуть было девчонку-студентку вилок не проткнула за то, что та прикурить первой дала своему профессору.

«Кто спрашивает?.. Чайников? Сейчас доложу».

Не долго томился Иван ожиданием, надеждой разбавленным.

— Просил не беспокоить... Велено передать, чтобы Чайников вычеркнул навеки из памяти и из телефонной книги номер Григория Петровича... И дом чтоб обегал за квартал... И что сам Григорий Петрович давно забыл, кто такой Чайников и при одном упоминании его блевать манит... Что вы там натворили, Чайников, жестокий вы человек... Григорий Петрович корвалол пузырьками глотает!

— А я пустырник ведрами!..

— Что?!

— Пустырник... народное средство! Я сейчас Григорию Петровичу банку пустырного отвару пришлю с сыном!..

— Идите вы к черту со своим телячьим пойлом! — и она брякнула трубкой так, что в Иване мысль проскочила: «Если у них аппарат польский, разлетелся к чертям, наш — выдержит».

И он удержался-таки на своих тощих мослах. Довела его Анисья до лежева, укрыла ватным одеялом, стала убаюкивать: «Все пройдет — позабудется, спи Ванюша, засыпай, Иван Сергеевич... Все народные спят, и заслуженные спят, а ведущие и подающие в ресторанах сидят, мозги пропивают, и многие не по таланту пьют, многие... Один Ваня не спит, жизнь свою ревизует, косточки себе переминает... Ты не мни себе косточки, Ванюша.. Ты спи-спи, а завтра чуть светочки мы ему письмо сочиним потолковее! В письме лучше всего, оно нагляднее и за документ сойдет. Глядишь, в архив попадет... Будут издавать письма и записки народного, и твое поместят... гонорар получим, водочки купим...»

Лукавую мысль нашентала ему Анисья, думая, что заснул ее Ванюша: а он не спал, идею усвоил, до рассвета ее обдумывал, обгладывал с горчичиками на пятках, а наутро написал так:

«Милостивый государь, Григорий ПЕТРОВИЧ! («Петрович» Иван аршинными буквами по линейке тушью вывел и три раза красным карандашом подчеркнул.)

Знаю, какими наиважнейшими, художественными заботами отягощены Вы, сколь много здоровья кладете, живота не жалеете на размышления, каким быть театру мировому завтра и послезавтра, и без крайней нужды разве смел бы я вас отвлекать и беспокоить, но драма моя велика, и я святыми мощами Станиславского и Немировича-Данченко заклинаю Вас — выслушайте меня! Я не понят Вами и не прощен, и боюсь, что в гроб сойду таким же, потому тороплюсь, батюшка, и со слога сбиваюсь, рука дрожит, и слезы капаят. Отчаяние мое не ведает границ. При злополучной встрече нашей на ковре я хотел Вам душу мою на облегчение отдать и не успел. Я хотел сказать, что Григорий мартынович (мартынович Иван написал с маленькой буквы, мелким шрифтом и не подчеркнул ни разу) приневоливал меня несметное количество раз на сцену с пустячной репликой выбегать, будто я мальчик какой несмышлениш. А я ведь его растил, пестовал, на карачках за ним прыгал, пока матушка его по ночам, по югам, по заграницам шлялась, а батюшка по аэропортам с балеринами «Кент» раскуривал... Но Вы не соизволили дослушать жалобу мою, и пригрезилось Вам, что я отчество Ваше смел перепутать. Да что бы это была за дерзость от меня и позорище пеньку моему. Нет, не была душа моя и язык мой преступным. Портрет Ваш над вешалкой в прихожей у меня висит, а фильм одноименный я 1000 раз глядел и сыновей водил столько же. Детей своих я науськиваю каждый шаг ваш жизненный до капли изучать и примером для себя сделать. Я их с детства под вас стригу, потому что, Бог свидетель, такого артиста земля русская не рождала прежде и теперь не скоро повторит сей подвиг свой. Памятник бронзовый с Вас и с коня, где Вы ястребом на белых воронов

мчитесь и чего-то орете, на столе моем в красном углу стоит, и ни одна пылинка на него не села, ни одна муха не напрокудила. В сердце моем Вы всегда непрестанно пребываете и ночуете, с именем Вашим на устах я встаю и ложусь и сейчас с ним вскочил ни свет ни заря. Так что пойми меня и прости, драгоценный, несравненный Григорий ПЕТРОВИЧ (опять Иван слово «Петрович» большими буквами нашарахал и трижды снова красным подчеркнул). Бога прошу о здравии Вашем и семьи Вашей... Невестка моя на сносях, кого бы ни родила, твоим именем нареку. Остаюсь покорнейший слуга и благодарный соотечественник твой — Иван Чайников».

Перечитал письмо Иван, несколько раз набело переписал, кое-какие места на память выучил. Анисья прочитала и заключила: «За такие письма, Ваня, орден дают... В Кремль не грех скопировать... Имена если сменить...»

Три дня ждал Иван известий от легендарного. Штаб молчал. Иван все равно выздоравливать начал: до туалета без поддержки добирался, в темноте опять видеть начал. На четвертые сутки — звонок. Сын трубку снял. «Папа, — и замер в ошарашенности, — он...» «Слушай, Ванька, — раздался в трубке командирский визг, — я тебе не красная девка, ты мне не жених письма расписывать... Прекрати немедленно, библиотекарь клепаный. А уж коль пишешь, так трезвый пиши, отчество-то всякое с заглавной буквы пишется. Понял? С заглавной!!» — и ту-ту-ту-ту...

«Развеселился» Иван до слез, однако пыль со статуэтки смысл и насиженности с портрета керосином оттер, любил он этого человека всерьез, тут уж ничего не скажешь, другого не напишешь... Кумиром был легендарный в народе, и по заслугам. Легенды не только об его игре ходили... Когда-то бывший министр идею такую внедряла настойчиво, что, дескать, все театры профессиональные скоро самодеятельными заменятся, народными... такой, дескать,



уровень самодеятельности высокий в нашем государстве... На одном из бесконечных заседаний легендарный с высокой трибуны и спросил ее: «А вы, уважаемая Н. Н., аборт к кому пойдете делать? К любителю или к профессионалу?» И всем очевидно сразу стало, к кому идти аборт делать и каким театру быть и оставаться. Ничего не боялся народный, никаких портретов... после XX съезда. А то, что он его «библиотекарем» опять ругнул, так это Иван считай, почти что прощение выхлопотал, если уж по третьему-то ряду судить, по шестому-то чувству. А почему библиотекарем? Возвращался как-то театр с гастролей из страны с капиталистической системой жизни, раскрыли у Ивана чемодан на таможне и обнаружили запрещенную литературу.

— Зачем это у Вас?

— Не дочитал, не успел, — ответил Иван. — А что вы удивляетесь, — окрысился Иван на таможенника. — Вы поглядите в гастрольный план, по два спектакля в день?! Когда читать-то?

— Ты бы лучше порнографию вез, чем антисоветчину откровенную, — буркнул таможенник.

— Зачем нам порнография? Анисья не любит... дети у нас...

А легендарный с того раза прозвал Ивана «библиотекарем», однако ж книжку, недочитанную на чужбине, дочитать ему дал на родине!

Любил он Ваньку нежно, гласно и негласно под защиту от сокращения брал, относился к нему отечески, хотя и моложе был. Но враньем в величании уязвил Иван большое сердце легендарного, а сердцу не прикажешь. Умом понимал легендарный, что это все тот же опять, в который раз, пресловутый парадокс сверхзначимости... чушь... букашка... а сердце нет-нет... да зайдется, да подскочит, замрет... И пошел, и пошел наматывать себе нервы Григорий Петрович со спины на кулак.

Вот и теперь, в нервах, перемерял легендарный в долгополом халате свой шестикомнатный плацдарм на широком проспекте, охлаждения не находя своему воспаленному воображению, которое нагрелось до того, что вся жизнь его показалась ему «парадоксом сверхзначимости». «Нет, нет... 1000 раз прав Заратустра — вовремя надо уходить, вовремя, когда ты кажешься наиболее вкусным... Когда еще до величания не дожил... Конечно... жизнь и смерть дело божеское, не человеческое... и все же, что толку... Гарька — лучший комик, в десятку мировых комиков попавший, зажился на свете, что и забыли, что есть такой, и вспомнили на панихиде, а у гроба — 40 сивых старух... А умри лет 40 назад — на красивых розовых руках проплыл бы по Тверской... И на моем пиджаке побрякушек... впору грудь расширай... а Ванька отчество путает... ай... ай... ай...» Схватился за голову народный артист всего Союза, бесовский вой слышал в ней. То сыгранные роли попрыгали со стен плацдарма, разношерстной гурьбой теснясь вокруг артиста, трогая за длинные полы халата, подхихикивая и цыганы: «Не покидай ты нас, голубчик...» Один Сальери не прыгнул, висел в своей золоченой раме, не шевелясь, надменно скалясь и не глядя в сторону шалмана. Дьявольская роль. Погрозил ему кулаком легендарный. Сколько раз приходилось ему, склонясь под стол от зрителя, отвернувшись от партнера, слезы слюнями подмазывать или нашатырь в нос ширять, спазмы вызывая. Загадку Сальери не мог постичь народный. Не мог взять в толк, зачем травить Вольфганга, за что и по какому праву такой жестокий приговор, позор и проклятие повесил на имя талантливого музыканта из чужой страны русский гений... за версию не доказанную, выдуманную в бреде самим полусумасшедшим Сальери на смертном одре... Или гению дозволено все?! На автора серчал народный. Не давалась ему в руки сверхидея

поэта, не укладывалась роль в душе, в сыворотку кровь сворачивалась. Не для толпы, сам себе не выставлял проходной балл в этой роли Григорий Петрович. Демону душил всю жизнь без всяких запятых, волосы жрал партнершины, страсть, месть и гибель разума мешая в удушении; с Моцартом же разделаться — не хватало кишки народному. И впивался в безумье легендарный артист в бокал Вольфганга, пытаясь исправить поэта. Языком и губами белыми высушивал он дно и стенки отравленной посуды, в надежде найти и для Сальери спасенье в забытой Моцартом крупице смерти. Но... не написано! И оставлен жить долго Сальери!!! На одном представлении бокал ненарочно хрустнул в зубах народного, кровь брызнула в крахмал, публика аплодировала трюку, а критика подхихикнула наутро. А шалман затевал хоровод нешутейный.

— Где закапывать будем... когда случится? — бесновался Ноздрев, приставая к мрачному городничему.

— У политрука спроси, чего ты ко мне привязался, — отплевывался городской владыка, — за него от гертруду\* получил.

— Политрук! Какое кладбище выбивать будем? Новодевичье или лавру?

— Спалим в крематории... Во-первых... э... жэ... э... не член партии... депутатом не был... ни одной общественной нагрузки за всю жизнь не понес! В родстве ни по своей линии... э... э... э... ни по линии жены с нами не состоял! Письма подписывал... от пайка отказался! Только играл всю жизнь да холсты пачкал. Душу-то на вас, классических, тратил, а я-то пасынок, меня ненавидит... И взялся играть меня, о гертруде помышляя и о месте в лавре. А то... э... э... э... что я Отечественную выиграл, он ни на грош не верит, анекдоты про меня травит...

---

\* Герой труда.

— Кто войну выиграл? — молчавший доселе комдив Гражданской взбеленился не на шутку, — зарублю... самозванца-фальсификатора!!! — Мартовской сосулькой блеснула дамасская сталь в руке легендарного комдива, да мавр с Петром Алексеевичем — Первым — своими железками в крест словили именной клинок.

— Ты не шибко... это... горлопань, комдив! Забыл, кто тебя выдумал?! — чмокал политрук. — А то ведь нам недолго., э... э... э... и в ту войну коррективы внести... э... э... и снять с тебя ореол орла и на другого вздеть! Еще неизвестно, отчего вы там проспали на станице... от какого зелья пулеметы побросали, засранцы!!

До чего бы докопались, до каких истин дохрипели бы на очередном пленуме персонажи, когда бы хозяин не шуганул их и не уединился в туалете. Уединился, закрылся, постоял, послушал, где супруга Мария Андреевна, в какой из шести светелок, вынул из сливного бачка четвертинку, раскрутил привычно, растопырил горло и вылил содержимое внутрь организма, присловя: «Потеснись, душа, чтоб не облить», — одновременно давя на спусковой крючок унитаза. Ожегши нутро, воспрял и духом народный. «Ну что ж, на все воля Божья, и зачем жалеть, что не пронесли на розовых руках 40 лет назал по Тверской». И с мыслью «Иррэпорабилиум феликс оббивио рэ рум»\* засел в своем кабинете рисовать и разрабатывать уж который вариант своего надмогильного рукотворья. Одинокий был человек этот легендарный. Одинокий и гордый, как Святогор-богатырь. Бремя славы земной нес он стоически, не ропща...

И умер так. Один в своем автомобиле, на широком проспекте одной из наших столиц, как говаривали в старину. Почуя смерть, сбросил легендарный газ, показал правый поворот, пересек осторожно две прерывистые,

---

\* Счастлив тот, кто умеет не сожалеть о невозвратном (лат.).

притерся к бордюру и повернул ключ зажигания. Постовой скоро заметил сиротливый автомобиль со спящим на руле водителем. Григорий Петрович ушел в легенду, не помешав транспортному потоку продолжать свой бег, ушел элегантно, с сознанием выполненного долга, без суеты... и хочется сказать — как жил и работал, но это была бы неправда, потому что сама профессия уж больно суетливая, к сожалению. Играя роли мирового репертуара, высших стояний человеческого духа, умница и образованнейший представитель актерской артели, для толпы он оставался человеком в галифе. И другим она не хотела его видеть. Постепенно он и сам привык, подчинился, убедил себя и в результате построил, слепил свой человеческий статус, свою жизнь с него, с начального жизненного успеха. Парадокс? Слава — отъятие времени, проклятие и несчастье. Последние годы его особенно замучили родители и школы, приглашая на праздники моральным и нравственным примером вместо Деда Мороза. Народный, видя свое призвание и в просветительстве, являлся на эти праздники, говорил детишкам вдохновенные, веселые, подчас пророческие слова лучших умов и поэтов, но заканчивалось все паноптикумом. Родители умоляли его нахлобучить папаху, сминая друг друга, уталкивали ему на колени своих фемистоклюсов и просили сняться на фото. И снимался народный. «Что ни сделаешь, чтоб не обидеть народ?!» Парадокс?!

В день погребения народного получил Ваня Чайников главную роль. Похороны были срежессированы непутевым Григорием Мартыновичем. Говорят, это был его лучший спектакль. Последний аншлаг легендарного.

Весь порядок похорон был расписан до минуты, до мелочи предусмотрен и вывешен на репертуарной доске: кто за крышку гроба ответственный, кто за гроб, кто за

гостей, за музыку, цветы и пр., а Иван за главное — за черные повязки. Не повяжет тебе Иван повязку — не постоишь у гроба, не прикоснешься к легенде, не сфотографируют тебя и т. д.

Гроб подняли на сцену, вдова вся в черном и в слезах сидела подле и считала входящих. Иван тихо подошел к ней изъяснить соболезнование и утешить: «Марья Андреевна! Это я, Чайников, библиотекарь». Вдова медленно подняла на него увлажненный взор и тихо сказала с невероятной задушевностью: «Ах, Чайников, Чайников, душегуб... Сколько же вы ему страданий причинили, страшный человек...» Иван отрезвел от такого «привета», деловито оглядел покойного, будто впервые зрел его и сказал так же просто, как в хорошем кино: «А он мне?.. Он мне сколько этих страданий изобрел?! Чуть было меня на свое место не уложил...»

— Да? — без особого удивления спросила вдова.

— Да, да... да!!!

— Может быть, может быть!.. Вы простите его, добрый Ванюша!

— Бог простит, чего уж теперь. Все там будем, где аншлагов не бывает, только разными рейсами. А лежит хорошо, хорошо лежит, хорошо выглядит... Дай Бог всем так выглядеть. Маску-то сняли? Кто снимал? Сидоров? Не могли Петрова позвать?

— Сидоров... Да гипсу не хватило, на «Мосфильм» посылали...

— Мне дубль маски... Уж не откажите, Марья Андреевна! Пароход его именем назовем... Такое письмо отмочу, не посмеют отказать, таким слогом завинчу, пальчики облизете...

Говорящие панихидные напутствия сплошь и рядом, как нарочно, как по заказу Сальери, перевирали отчество покойного, ну просто как сговорились! Иван не успевал фамилии ихние записывать и лица запоминать, чтоб

## Маленький театральный роман

расправиться самому потом за легендарного со всеми по-одиночке. У легендарного же ни один мускул не дрогнул на лице, не встал теперь уж из гроба народный — играл, играл смертями, да помер взаправду.

А как стали закапывать, затянул было Иван «Вечную память», да полк суворовцев саданул из ружей вверх, спугнул воронье, и те криком своим покрыли Ванькино старание и поставили точку в пути легендарного и в парадоксе сверхзначимости.

*1968-1980*

# День шестого никогда

## Из дневника

*В «Добром человеке из Сезуана»  
Брехта есть зонг о Дне святого  
Никогда – дне, когда исполняется то,  
что не может исполниться никогда.  
«День шестого никогда» – 6 марта  
1969 года – день сдачи «Живого»  
министру культуры СССР, вернее, его  
разрома, у меня в дневнике обозначен  
так: «И был последний день Помпеи  
для русской кисти первым днем!!!»*

Ночь спал плохо. Встал рано. В голове вертелась фраза: «И был последний день Помпеи для русской кисти первым днем». Жена проводила меня, сообразила на дорогу завтрак, кофе. Помолился и пошел... в церковь... Внизу службы не было – замок. Я пошел наверх. Там отпевали старушку. Помню, кто-то спросил: «Как звать?» – «Анной». Меня попросили помочь перенести гроб. И сверкну у меня шальная мысль: «А не Федора ли Фомича моего отпевают сегодня?! Не его ли я провожаю в последний путь, не его ли в гробу перенес?» И закачался маятник в душе у меня – от заупокойной до «русской кисти первым днем». Купил свечку, поставил перед распятием, попросил Бога за Кузькина, за Любимова, за семью, за театр. Сейчас уж думаю: может, много попросил, надо было поскромнее быть.

По случаю приезда Фурцевой театр был объявлен «на режиме». Я не знал, что это такое. Оказалось, играть будем как бы под арестом, пропускать будут строго по списку, утвержденному Управлением культуры, из артистов в театре



могут находиться только участвующие в этом спектакле (мою беременную жену не пустили; Демидова смотрела «Живого», согнувшись в три погибели, из осветительской будки, и даже оттуда ее пытались выгнать наши перепуганные служители буквы), в зале от театра только три человека: главный режиссер, директор и автор. Секретарь партбюро (он же режиссер спектакля Борис Глаголин) в список не вошел!

Предупредили: мы всегда смотрим ваши спектакли по несколько раз, делаем замечания, поправки и т. д. «Живого» будем смотреть только один раз, и вопрос тут же будет решен — ДА или НЕТ. Никаких промежуточных решений не будет. Поэтому уберите из спектакля сами все то, что может вызвать раздражение.

В театр я пришел рано, за час до появления всех артистов. Березки с домиками уже стояли, реквизит разложен по местам, рабочие подготовили сцену к прогону спектакля. Она была пуста. Одинокая фигура маячила меж берез. Это был Любимов. Он держал в руках мой реквизит — ковыль-траву — и бросал ее в то место, где она должна была точно втыкаться и замирать в безмолвном освещении. При этом Любимов крестился на поднятую на березку золотистую колокольню. Он был один, он был коммунист, он молил Бога, чтоб министр пропустил в жизнь «Живого».

Про то, как Любимов стоял на сцене, — это я забыть не могу. Пустой зал, никого, пустота. Он на моем рабочем месте, бросает что-то, смотрит туда и шепчет что-то, и туда (наверх) крестится... Я понимаю, когда... он человек артистичный... когда прилюдно. Но когда... одиночество... Мне даже страшно стало. Я так потихонечку зашел на сцену, мы поздоровались. «Юрий Петрович, — так его вежливо попросил, — уйдите с моего рабочего места. И отдайте мне, пожалуйста, мой реквизит. Это игрушки

мои, сегодня я ими буду забавляться. А у вас — своих забот сегодня хватит». И он ушел.

Потом он всех собрал в зале, как перед боем, такое всех охватило волнение и озноб.

— Не ждите никакой реакции. Предупреждаю, будете играть, как при пустом зале. Это и ничего — проверим себя. Играйте для себя, обычная репетиция. Играйте в свое удовольствие, заражайтесь от партнеров. Как будто «четвертая стена», она как раз сегодня и будет.

— Ну неужели они не живые люди? Ну хоть что-то где-то должно их прошибить?

— Не надейтесь и не обольщайтесь, поверьте моему опыту. Смотрите иногда на меня, я буду показывать рукой, где поднять ритм, где осадить. По моему виду вы поймете, как идет. Ну, с Богом!

И грянул бой.

У меня пошло. Я быстро успокоился и потащил весь обоз за собой. Временами глядел в зал. Закшивер отвернулся от сцены, что-то строчит. Ищу глазами незаметно Фурцеву — не нахожу. Друзья сидят рядом, друг от друга прикуривают, сигаретки не гаснут. Иногда шеф реагирует, но остается в дураках: никто не поддерживает. Зал как будто вымер. Сорок человек живых сидят в зале, а мы играем будто для кресел.

Кончился первый акт, ребяташки сказали: «Антракт», но не успел я уйти со сцены, слышу женский голос.

Ф у р ц е в а. Автор! Это вам нравится?

— Да, и даже очень.

Ф у р ц е в а. Секретаря партийной организации позвоните.

И началось — «это безобразие», «это неслыханная наглость», «нет, это не смелость», «антисоветчина, ничем не прикрытая» и т. д.

Я сиганул наверх: быстро переодеваюсь, проверяю реквизит и бегу на начало второго акта. А в зале — истерики мадам. Я накрылся корзиной, слушаю и ушам не верю — что говорят взрослые люди, в чем нас обвиняют!.. Был такой момент в ругани, когда казалось, что не хватает маленькой капли, чтобы мадам хлопнула дверью и выскочила как ошпаренная со своею свитою из театра.

А в театре холод. Ей принесли шубу. Слышу, она проворчала:

— Ну, давайте досмотрим.

Я понял, что нам хана, но это не сбilo меня с толку, только злость молодецкая разыгралась. А в голове снова фанфары: «И был последний день Помпеи для русской кисти первым днем». И такое было чувство, будто еще веселее дело пошло у нас во втором акте, а «Суд» — просто гениально. Вот так мы ответили «четвертой стене».

Переоделся. Наши уже все прильнули к репродукторам, как молодогвардейцы. Слушают продолжение ругани.

— Ну, это уже другая пьеса, но все равно конец не спасает всего спектакля. Он какой-то нарочитый.

— Это болото.

М о ж а е в. Вы, товарищ Зашкивер, болото при себе оставьте! Болото он мне будет приписывать!..

«Молодогвардейцы» ахали от смелости Можаяева, как он от них отлаивался, почти один. Действительно — один в поле может быть воином, если он богатырь. У меня тряслись руки, меня все поздравляли, целовали, я было вытащил ручку с книжкой записывать (тогда ведь магнитофонной техники не существовало), да где там...

В л а д ы к и н (с истерикой в голосе). Мы давно нянчимся с товарищем Любимовым. Стараешься всячески помочь ему, по-хорошему. Смотрим, советуем, просим — ничего не помогает. Товарищ Любимов упорно гнет свою линию порочную, линию оппозиционного театра. Против чего вы боретесь, товарищ Любимов? Вы воспитали аполитичный

коллектив, и этого вам никто не простит. Сегодняшний спектакль — это апофеоз всех тех вредных тенденций, которых товарищ Любимов придерживается в своем творчестве. Это вредный спектакль, в полном смысле антисоветский, антипартийный.

М о ж а е в. Это ваша точка зрения?

В л а д ы к и н. Да, моя.

М о ж а е в. А моя точка зрения противоположна Вашей. Вот и давайте, пусть нас рассудят.

Ф у р ц е в а. Я ехала, честное слово, с хорошими намерениями. Мне хотелось как-то помочь, как-то уладить все... Но нет, я вижу, у нас ничего не получается. Вы абсолютно ни с чем не согласны и совершенно не воспринимаете наши слова. (Она все время обращалась к Можаяеву «дорогой мой», а к Любимову — «дорогой товарищ».) Дорогой мой! Вы еще ничего не сделали ни в литературе, ни в искусстве, чтобы так себя вести.

Л ю б и м о в. Зачем вы так говорите? Одному нравится это, другому — то, зачем уж так огульно говорить об одном из лучших наших писателей.

М о ж а е в. Екатерина Алексеевна, я пишу комедию. Это условие жанра, чтобы отрицательные персонажи были карикатурны, смешны. Они так написаны, они так и играют. Если бы это была драма или что-то другое, разговор был бы совершенно иной. Но я писатель, я пишу комедию про плохой колхоз. Мы должны высмеивать наши недостатки, вскрывать, искоренять их. Спектакль поддерживает тех людей, которые собрали и провели мартовский Пленум, очень многое изменивший в жизни нашего крестьянина.

Ф у р ц е в а. Какая же это комедия? Это самая настоящая трагедия! После этого спектакля люди будут выходить и говорить: «Да что же это такое, да разве за такую жизнь мы кровь проливали, революцию делали, колхозы создавали?» Эти колхозы, которые вы здесь подвергаете такому

осмеянию, выдержали испытание временем, выстояли в войну, в разруху. Бригадир — пьяница, председатель — пьяница, предрайисполкома — подлец...

М о ж а е в. Какой же он подлец?

Ф у р ц е в а. А как же иначе?! Да какое он имеет право, будучи на партийной работе, так невнимательно относиться к людям?! Я сама много лет была на партийной работе и знаю, что это такое. Партийная работа требует отдачи всего сердца людям.

— Вы были хорошим работником, а это — работник другой. Ну хорошо, вас смущает председатель, а Кузькин вас не смущает?

— Нет.

— Ну так в чем же дело? Это мой главный герой, в нем вся идея, весь смысл. Побеждает Кузькин, простой крестьянин, побеждает его правда. Вот если бы победили отрицательные персонажи — это была бы трагедия. На стороне Кузькина партия, она повернула на другую основу жизнь нашего колхозного крестьянина.

К т о - т о. Спектакль весь сделан так, что не партия помогает Кузькину, не ее меры, а его собственная изворотливость и случай.

Ф у р ц е в а. Один хороший человек в спектакле — и все его бьют, давят. Ведь жалко его становится, ему всячески сочувствуешь...

М о ж а е в. Ну и правильно. В этом и мысль авторская. А кому же сочувствовать, Мотякову, что ль?

Ф у р ц е в а. А как бы говорите о 30-х годах? 30-е годы — индустриализация, коллективизация, а вы с такой издевкой о них говорите. Нет! Спектакль этот не пойдет, это очень вредный, неправильный спектакль, и вы (Любимову), дорогой доварищ, задумайтесь, куда вы ведете свой коллектив.

Л ю б и м о в. Не надо меня пугать. Меня уже не раз снимали с работы.

Родонов. Никто вас, Юрий Петрович, не снимал. Вы сами себя снимали и трезвонили об этом по Москве.

Любимов. Вы звонили, вызывали людей, уговаривали их пойти на мое место. У меня есть свидетели.

Родонов. Мало ли кто кого вызывает и зачем. А сняли вы себя сами и раззвонили по Москве.

Кто-то. Критика критике рознь. Нагибин поднимает в «Председателе» те же проблемы, но под другим углом...

Можаяев. Вы мне про Нагибина не говорите, я знаю эту историю лучше вас. И «Председателя» не выпускали, но Хрущев сказал, и все подняли руки, проголосовали единогласно, за «Председателя». И здесь могут тоже разобратся, и вы поднимете.

Фурцева. Даю вам слово, куда бы вы ни обратились, вплоть до самых высоких инстанций, вы поддержки нигде не найдете. Будет только хуже, уверяю вас.

Любимов. Смотрели уважаемые люди, академики... Капица. У них точка зрения иная. Они полностью приняли спектакль как спектакль советский, партийный и глубоко художественный.

Фурцева. Не академики отвечают за искусство, а я. Академики пусть отвечают за свое дело, они авторитетны в своей области. Товарищи! Может быть, есть другое мнение о спектакле, может быть, кому-нибудь спектакль понравился?

Пауза. Робкий голос из зала: «Мне понравился».

— Кто это? А, Вознесенский... Ну, это понятно...

Андрею не дают слова.

Можаяев (возмущается). Между прочим, это лучший советский поэт. Почему это товарищу Зашкиверу можно говорить, иметь свое мнение, а Вознесенскому нельзя? Что же — руки по швам и кругом?

Вознесенский. Я смотрел репетиции этого спектакля четыре раза. Я считаю, что это глубоко русский,

национальный спектакль, удивительно поэтический во всех компонентах и глубоко партийный. Он показывает удивительно убедительно и оптимистично, что русский народ живет и никогда не пропадет, что бы с ним ни делали чиновники и...

**Ф у р ц е в а.** Вот спасибо, а мы-то думали, пропадет русский народ. Спасибо вам за веру в русский народ.

**В л а д ы к и н.** То, что я сегодня увидел, это пошлость, политическая пошлость.

**К т о - т о.** Откуда у Кузькина такие рассуждения о счастье?

**М о ж а е в.** Семьдесят восьмая страница «Нового мира», номер шесть за 1966 год.

**Ф у р ц е в а.** А вы читали сегодняшнюю «Правду» о «Новом мире»? И во вчерашней «Литературке» статья! С этого началась Чехословакия! Судить вас надо за этот спектакль!

Когда все разошлись, остался Родионов и вступил в полемику с артистами, Славину обозвал аполитичной. Потом ушел и Родионов. Мы остались одни.

**Л ю б и м о в.** Надо одно дело сделать все-таки: подать на них в суд, чтобы они оплатили наши расходы — автору, художнику.

**М о ж а е в.** А мы это дело пропьем. Пошли в буфет, там министру чай приготовили. Но ей и без чаю жарко стало, она не отведала нашего чаю. Пошли попробуем министерского, им по-особому заваривают.

А через несколько дней пришла бумага от нашего непосредственного начальства — Управления культуры:

«Письмом от 30 апреля 1963 года были прекращены репетиции «Живого» для дальнейшей литературной переделки материала автором инсценировки Можаявым.

Рабочая репетиция 6 марта 1969 года показала, что такая переделка автором Можяевым не произведена, а режиссер-постановщик спектакля «Живой» Любимов еще более усилил идейно-порочную концепцию литературного первоисточника (ряд мизансцен, частушки, оформление). Приказываю:

1) Репетиции прекратить.

2) Все расходы по постановке списать за счет убытков театра.

Начальник Управления культуры  
Родионов».

Приехали после прогона домой, дома отец ждет, он гостил тогда у меня две недели. Сели, выпили. Я рассказал ему, как мог, да разве может он против члена ЦК что иметь-говорить — ученый. Наконец, я взял балалайку и спел ему: «За высокой тюремной стеною...» Отец сказал:

— Вас за одно это надо посадить, такую мрачность разводите.

Жалко, отец не дожил до моей премьеры. Сердцем-то, он, конечно, понимал, что к чему, догадывался уже, что в жизни было наломано много дров, но он очень боялся за меня, что я в Москве со своими идеями, со своим языком доиграюсь... «Посадят, посадят, посадят...» — без конца говорил. Боялся, потому что всю жизнь прожил в страхе, и сам был председателем колхоза и поступал подчас так же круто, как иные Гузенковы.

Нет, не стал этот день «русской кисти первым днем», и я вспоминаю покойную бедную бабу Анну в вешняковском храме. Заупокойная восторжествовала, и спела ее нам министр. Долгие годы преследовало меня это видение: мертвая бабушка Анна в церкви. Ждал я этого «первого дня русской кисти» двадцать один год. И через двадцать один



год понял, что, может быть, и рожден-то своей матерью я был для этого дня.

Но когда зашла речь о восстановлении спектакля, меня обуял страх. Потому что слишком сильна была легенда — легенда «лучшего спектакля Любимова». Уже появились такие замечательные спектакли, как «Гамлет», «Зори...», «Мастер и Маргарита», а за «Живым» все равно оставалась слава шедевра. Это, конечно, было страшно. Лучше сохранить легенду, чем выйти на сцену мертвым «Живым трупом». Сегодня, когда торжествует гласность, публику ничем не удивишь, она многое узнала, но крепка оказалась замечательная вера Любимова. Он сказал: «Да бросьте вы, мы же не соревнуемся с публицистикой. «Живой» есть произведение искусства, произведение театра. Это иные параметры, иные высоты, это совсем другое дело». Его вера вселяла уверенность, и в течение многих лет я почему-то, несмотря ни на что, верил, что к «Живому» я вернусь. Обязательно! Я ждал Любимова. Когда овладевают артистами уныние и безверие, то вдохнуть жизнь в спектакль может только тот, кто его делал, потому что он скажет: «Вот так — хорошо». И я ждал Любимова: только он, живой и невредимый, мог в эпоху гласности вывести нас из уныния и вдохнуть новую силу, новую веру в «Живого», в искусство театра.

И я этого дня дождался.

И тут все сходится — и «последний день Помпеи», и слова Владимира Высоцкого: «И наградой нам за безмолвие обязательно будет звук». Когда-то, после первого разгрома спектакля в 1968 году, когда с репетиции «Живого» изгонялся Жан Вилар (но эта история требует особого разговора, да она уже где-то и появилась в печати), Любимов мне сказал: «Не обижайся, Валерий, видишь, время какое, надо отступить. Но ты не засыпай, держи роль под парами, ситуация может измениться в любое время».

## Книга вторая

Не знаю уж, держал ли я роль «под парами», но ситуация изменилась... к сожалению, только через двадцать один год.

*1969-1989*

## В границах нежности

Чтобы попасть в административную часть театра, нужно пройти за бархатом кулис, через новую сцену, пробраться в темноте, и сделать это сложно без опасения не споткнуться или не врезаться во что-нибудь лбом... И всякий раз, пробираясь через это закулисье, я жду, что меня окликнет из зала дорогой голос: «Валерочка, ты знаешь, я подумал...»

Нет, не окликнул. И не окликнет завтра. «Господа, прошу разъезд! У нас несчастье. Войдите в положение, господа! Разъезд, господа. Спектакль окончен». Это из булгаковского «Мольера»...

Он лежит рядом с Арбузовым и Трифоновым там, на Кунцевском кладбище. «Что же явилось причиной его смерти? Немилости Короля? Черная Кабала?..» Обо всем этом необходимо думать. И очень хочется поругаться. Но при взгляде на деятельность смежных союзов, на выступления некоторых писателей — берет оторопь. Статьи, похожие на гнусные доносы... Не хочется.

Алла Демидова написала, с моей точки зрения, статью и умную, и слогом достойную. И я-то знаю, как она относи-

лась к Эфросу! И вдруг нажила себе массу врагов — защитников Анатолия Васильевича. Не надо — Эфроса от нас защищать! Ни в вашей, ни в нашей защите он не нуждается, поскольку вся защита лежит в его творчестве.

Как возразить новому главному режиссеру, который заявляет, что театр болеет, что нужно вернуться к прежним ценностям? Что такое возврат к ценностям прошлого? Попытка повторить почерк другого мастера? Возможно ли? Нужно ли? Время мастера ушло вместе с мастером. В искусстве ценности творятся каждый раз заново...

И потом, что все это означает? Пришел Эфрос и зачеркнул прежние ценности? Снял любимые зрителем спектакли и насадил свою эстетику? Спектакли сняты были не по вине Эфроса, а вот «Дом на набережной» восстановлен исключительно по его инициативе. Эфрос на своих спектаклях не сидел, а восстановленный «Дом на набережной» весь смотрел с публикой из зала и сказал, что это выдающееся произведение. А многое на Таганке не принимал. Когда я по поручению труппы обратился к нему с просьбой о восстановлении «Мастера и Маргариты», он ответил: «Пусть восстанавливают, если хотят, но доведи до сведения труппы, что спектакль мне — по искусству — не нравится». Да, Эфрос считал «Мастера и Маргариту» спектаклем поверхностным, художественно не принимал его. И тем не менее отдал распоряжение о его восстановлении. Он умел считаться с чужим мнением, не скрывая никогда, однако, своего. Но открыто высказывая нам свои суждения о спектаклях, он никогда не предавал их гласности ни в публичных выступлениях, ни в печати. Почему? Можно ответить так: по душевному благородству. Если непонятно, объясню иначе — он не хотел нанести хотя бы косвенный вред своим мнением другому человеку. Эфрос всегда уважал талант художника вне зависимости от личных отношений и личностных оценок. И предпочитал тысячу раз взвешивать и проверять,

прежде чем оформить свое мнение на бумаге, сделать его документом.

Его собственный путь пролегал в другую сторону, к другому театру. Эфросу органически, физически стала противна всякая шумиха, театральщина, показуха на сцене, так называемая «острота форм». Он через все это давно прошел и оставил позади. Ему стоило огромных усилий, и здоровья в том числе, чтобы удержать нас в «Мизантропе» от поисков внешних эффектов и приспособлений. Все внимание Анатолий Васильевич сосредоточил на актере, на виртуозности диалога, на фантастических амплитудах монолога. И — никаких ошарашиваний зрителя... Я говорил ему: «Скучно!» Он отвечал: «Я не знаю, что такое скучно. В зале всегда найдется три, пять, двадцать пять человек, которым это интересно. Вы развратили московскую публику. Да и Бронная, и другие театры много потрудились для этого. Публика стала ходить в театр, чтобы ее чем-то ошарашивали, возбуждали, дразнили. А если публика этого не получала, то уходила неудовлетворенная и брюзжала: Таганка стала не та и т. д. Таганка начинала: был «Добрый человек»... Слова «сочетание острейшей формы с острейшим содержанием» имели смысл. Но довольно скоро Таганка поняла, что надо публике: чтоб было против начальства да позадиристей. А начальство — это власть, любая власть. И пошло — от политики к политиканству...»

Эти мысли Анатолий Васильевич высказывал в частных разговорах, никогда их не скрывал, но никто не слышал, чтобы он декларировал их, чтобы он адресовал их «общественному мнению» и искал у него поддержки. Грустно, что «общественному мнению» недоставало взаимной деликатности, взаимной корректности... Мне дорога история моего театра. Я не пытаюсь подвергнуть ревизии то, что было. Но было и счастье трех лет — работать с Эфросом. Я потерял своего человека, своего режиссера...

Больно, что все так зыбко, так несправедливо... Он не любил ввязываться в игру, в борьбу, «братъ на горло». Он не любил доказывать. Если его не понимали, считал он, значит, так тому и быть. А иногда, быть может, надо ввязываться, надо доказывать? Не знаю...

Таким же он был в искусстве. Никогда ни с кем не заигрывал — ни с публикой, ни с критикой, ни с актерами. Он хотел вернуть театру несуетную тишину и углубленность. Мы ему говорили: «Все искусства хороши, кроме скучного». Как, в сущности, это пошло! А Эфрос считал, что скучно может быть только неразвитой душе. Тарковского скучно смотреть с точки зрения массового зрителя, кассы. А развитой душе не скучно — она работает. Хватит ориентироваться на кассу, мы в этом достаточно преуспели.

Один критик сказал о «Мизантропе», что, мол, да, это Мольер, но театр ничего своего пьесе не добавил. Я передал это мнение Эфросу. «Передайте критику, что он сделал комплимент. В отсутствие театра и есть театр — в хорошем смысле. Высокий, изначальный, который целиком ориентирован на актера». И он заставлял актеров искать смысл не в написанных словах роли, а между и — дальше. Он говорил: «Главное — уловить смысл, а потом — темп и легкость. Вот, в сущности, весь мой метод». Да тут-то и заковыка! Под смыслом он разумел не интригу и не фабулу, не примитивную логику, а высшую точку психофизического состояния человека, растянутую в сложную кривую эмоциональных перепадов. Под смыслом у Эфроса глубокое, емкое понятие. А потом — темп и легкость!

Он очень любил джаз, Эллингтона. Индивидуальное мастерство ценил чрезвычайно, но еще больше — тот ансамбль, то сочетание разных голосов в единой теме, которым в совершенстве владели виртуозы Эллингтона.

И каждый раз, когда звучит джазовая «увертюра» к «Мизантропу», я будто слышу напутствие Эфроса: играть, как музыканты, импровизируя легко, но в границах темы, в границах «нежности». Он много вкладывал в это слово, это важное для него слово: нежность...

Ориентация Эфроса на актера требовала актера-виртуоза. Ругаясь с ним, я приводил свой резон: «У вас нет такого артиста, который мог бы все. Можно, конечно, нафантазировать: чтобы было обаяние Жерара Филиппа, непосредственность Ролана Быкова, убийственный сарказм Ивана Бортника, изначальный трагизм Даля, сила Ульянова и... Но вы имеете, как говорят в Одессе, одного Золотухина. Как быть? Для кого мы играем? Для публики. Значит, предлагаю: нос Петра Ивановича подкрепить музыкой, глаза Ивана Петровича — светом, рост Фомы Лукича — пантомимой, да я и сам покувыркаюсь в характерности, почудю». Он мне возражал: «Ты, Валера, боишься, трусишь. Ты не доверяешь, ты добавляешь, шутишь, подспудно штукарству ешь. Ты человек, думающий серьезно, пишущий серьезно — а на сцене часто придуриваешься, прячешься. Так сложилась твоя театральная биография. В роли Пепла я на многое закрыл глаза. Пусть, думаю, раз ему так легче. В Пепле у тебя — отрывка не лучшей Таганки, в Пепле ты — оттуда. А в «Мизантропе» надо войти на сцену через другую дверь, отомкнуть образ другим методом. Поверь Мольеру, поверь себе — человеческому, а не сценическому. И будет легко». И наконец, на какой-то репетиции он сказал: «Роль села на тебя, как костюм на фигуру».

На афише к премьере 4 июля 1986 года он сделал мне надпись: «Валера, отношусь к тебе с нежностью, хотя ты, конечно, орешек. Играешь ты замечательно, чем-то веет старым в самом хорошем смысле этого слова. Старое для меня — это Добронравов, Хмелев, Москвин и проч. Эфрос».

Да, надпись Мастера чрезвычайно лестна и дорога мне. Но очень непроста была и дорога к ней. Дорога, с которой я хотел свернуть, сбежать, дезертировать. Изверившись в своем праве на Альцеста, в минуту отчаяния я даже подал заявление об уходе.

Анатолий Васильевич застал меня в дверях театра. Я уходил с репетиции — навсегда. Меж двух стеклянных дверных половин мы простояли — он, не войдя в театр, я, не выйдя из него, — около часа. Когда через час мы вместе переступили порог театра — вовнутрь, — Эфрос сказал: «Я могу освободить тебя сегодня от репетиции, но знаю по себе — в таком состоянии необходимо выйти на сцену и начать работать...»

Нам было трудно. Он вел в непривычную сторону. Нужно было научиться психологически проникать друг в друга, понимать другого больше, чем себя... Легко работать, легко репетировать — с бездарностью. С бездарностью можно просто не считаться. С таким громадным талантом, с таким выдающимся режиссером, как Эфрос, работать было сложно. Он просил, чтобы логика была нежной, краски — чистыми, разговор — простодушным. В простодушии, в этой нежности возникает дополнительный, несюжетный, но очень важный, и даже самый важный смысл... Он действовал и методом показа, и методом объяснений, но была у него еще такая форма: домашняя репетиция. «Приходите, поговорим». Форма такой беседы, душевного разговора, казалось бы, не относящегося к делу, имела, как потом стало ясно, огромное значение в его методе. Шла настройка на волну, на раскрепощение, на нужную интонацию.

Л. Броневой, с которым они оказались в последнее время по разные стороны баррикад, говорил мне на съемках фильма «Чичерин»: «Как я вам завидую. Вашему театру. Помяните мое слово: через три года у вас будет интереснейший театр. Потому что он чувс-



твует эпоху. Цвет времени. Не временную ситуацию, а Время».

На портрете Анатолия Васильевича я записал слова из статьи Франсуа Мориака об Альцесте в «Мизантропе» парижского театра: «Он жаждал обрести твердую почву в стране Нежности, которая по природе — своей — царство зыбкости». Вот мне и кажется, что Эфрос всем своим творческим подвигом искал твердую почву в стране Нежности, которая — и он это знал! — есть царство зыбкости... Вот такая парадоксальная вещь, «Господа, прошу разъезд! У нас несчастье... Господа, спектакль окончен...»

# Клоуны

## Рассказ-воспоминание

*Посвящается А. Я. Полозову*

А из Леши-клоуна сыплются и сыплются ложки... Им нет конца, как восторгу ребятишек. Я сижу с сыном на елке, плавлюсь от нежности к родному ликующему существу и благодарения пригласившему нас артисту, которому, быть может, я стопроцентно обязан, что вот сижу сейчас в столице, во Дворце спорта, сам давно артист и у меня сын, который учится английскому и играть на рояльчике. Его дед батрачил, землю пахал, а внук, считай, интеллигентом второго колена стать норовит, а интеллигенция, по Далю, «разумная, образованная, умственно развитая часть жителей...» А часть жителей разве это прослойка? В до-революционное прошлое интеллигенция рекрутировала свои ряды в основном из дворянских семей, частично из крестьян и ничтожно мало из рабочих. Так говорят историки. Крестьянство, как видим, стояло в этом процессе на втором месте. И ничего удивительного — мы были самой многочисленной частью российского населения. И еще. Крестьянское занятие по сути своей не торопкое, не нахрапистое, не агрессивное... У крестьянина есть время додумать свою думу до окончания, достругать свое дело

до доньшка, есть зоркость заметить молодой росток и обойти его, не затоптать впопыхах, а полюбоваться им и помочь распрямиться, есть чуткость к звездам и одинаково к ладоням своим, на которых топографической картой отпечатались вековая судьба его предков. Пусть будет так, немножко по-моему: душа его не суетлива, и кусок хлеба не затмевает собой свет ее... А это ли не начало истинной интеллигентности? Так хочется думать, в это хочется верить.

Я завишу от моих воспоминаний, которые сыплются из меня по ночам, особенно когда не спится, как сыплются сейчас «люменевые» ложки из широких штанин Леши-клоуна, афиши которого я расклеивал по своим деревенским заборам четверть века назад, а четверть века это гораздо дальше, чем двадцать пять лет просто. Боже мой милостивый, что делают со мной мои воспоминания — старят и молодят, молодят и старят. И я боюсь иными утрами глядеть на себя в зеркало, и не глядел бы, да приходится бриться. Это воспоминание из тех, что молодят.

Случилось это, когда поднимали целину, в самый первый целинный год, а я перешел в десятый класс. Еще не было телевизоров на селе, не было космонавтов в небе, все мальчишки хотели быть гуттаперчевыми, как у Григоровича, и летать под звездами цирка, а может, и дальше, как потом у Королева. А может, это мечталось мне только и казалось, что другой мечты и быть не может ни у кого. Наше село стоит на воде, от железной дороги далеко. Добраться к нам можно было тогда только по сухому тракту в лето недождливое или не спеша рекой. Зимой из-за буранов и морозов это было делом инопланетным, а для гастролеров, допустим, и невозможным и ненужным. Однако было и так. Как-то нагрянул зимой уполномоченный из города к отцу в колхоз. Днем месили они с конями вместе навоз и снег по фермам и бригадам, вечером, как уезжать, дали лошадям отдохнуть, сели за материны

пельмени. Как напельменился и отъехал со двора уполномоченный, обнаружила мать, что проверяльщик-недотепа наган свой оставил. Что делать? Это ж трибунал мог выйти мужику! Растолкал отец старшего брата: «Цепляй, сынок, коньки скорей, наган в руки и догони, родимый, кошеву уполномоченного... Он рекой пойдет к Бийску, другой дороги нет, кони не шибко по льду пойдут, догонишь под ветер...» И догнал брат на коньках, веревками к пимам прикрученным, по Оби-матушке коней уполномоченного... Полмесяца потом мать уши братовы гусиным салом заливала: обморозил, ясно...

Не только зимой, а и летом по тем временам дороги к нам были не прогулочные. Но в ту целинную пору вся страна нам помогала, и артисты, в том числе столичные, в стороне не отсиживались. Это уж мне, правда, потом, спустя много лет, объяснил Алексей Яковлевич. А тогда-то, когда к нам в село заявился вдруг ни с того ни с сего «Цирк на колесах», я, разумеется, этого не понимал. «Цирк на колесах», что это такое? Это обыкновенный газик, крытый фанерой, размалеванный по бортам и где попало разными цирковыми зазывами: тут и обезьяны на трапециях, и танцовщицы на проводах, и удавы на мускулах, и прочие «чудеса в решетке» в подтёках, разводах и трещинах от дождей, лучей и туманов. Артисты всегда располагались у нас табором на поляне за клубом. В обычные дни поляна была футбольным полем, в красные дни становилась площадью для парадов и митингов. У нашего начальства тогда почему-то была страсть жгучая к парадам и митингам: хлебом не корми, дай только на трибуне поторчать и шляпой помахать. Но это так, к слову... Артисты огораживали свое пространство с четырех сторон белого света веревками, забрасывали их простынями, костюмами, бельем, тряпьем, раскочегаривали примусы, запаливали керосинки, стирали, сушили, гладили, брились, мылись, варили, ели, пели, ругались, смеялись, репетировали и т. д. и т. п.

Надо ли говорить, какой трижды загадочный мир протекал для нас, пацанов, внутри этого пестрядного закулисья, возле которого мы, мальчишки, в рой свивались, опорожняли для чудесной братии погребя родительские, опустошали огороды и сады, свои и попутные, несли в карманах и кепках, а также за пазухами картошку-моркошку, соленья-варенья, молочно-сметанное, все то кормежно-возможное, чем означенный день богат был... А потом наперегонки расклеивали их афиши во всех людных местах села в надежде на контрамарки, разговоры-рассказы, а главное — за то, что получали сладостную близость, шанс подглядеть их другую, чем на сцене, жизнь!

К артистам, так я думаю, мы тянулись еще и потому, что у нас на селе было на высоту поднято внимание к этой стороне человеческой деятельности. А все из-за того, как мне кажется, что самодеятельность наша клубная была сильная, гремела в районе и по всему краю, вызывая любопытство даже у людей скучных, всем и вся недовольных. Главным заводилой, с которого началась слава нашей самодеятельности, был Леня Панин. По образованию он фельдшер, но врачеванием заниматься не захотел. На краевом смотре получил приз за чтение. Встал во главе драмкружка как организатор и режиссер. Скромный, стыдливый человек, с болезненным чувством собственного достоинства, всегда с книжками под мышкой. Его звали на селе артистом, обожали многие, каждый находил в нем свой интерес. Невысокий, полнеющий блондин, кудрявый, с голубыми глазами. Был неудачно женат, развелся, жил в дряхлой халупе у дряхлой бабки. Выкапывал материалы для самодеятельности, составлял концерты, сочинял репризы, день и ночь что-нибудь репетировал. Клуб ему был роднее дома, часто он там ночевал в комнате у директора, где стоял раздрызганный диван. Вина не пил. Роли уважал благородные, чистые — шиллеровские, замечатель-

но играл Фердинанда. Чистота его всех обескураживала, заставляла уважать его труд, его веру. Три времени года Леня ходил в ботах «прощай молодость». В клубе их снимал и оставался налегке, в туфельках. Валенки не надевал даже в лютые морозы. В жилах его текла кровь прирожденного артиста. И все приходившие в клуб за красотой или любопытством, видели его всегда подтянутым, легким, неунывающим. Он нес высоко над головой факел подвижничества и тащил за собой всех к своему несбыточному идеалу. Как хороший стратег самодеятельности он понимал, что не одним идеалом жив человек. Уговаривал финансовых деятелей разрешить сыграть концерт или устроить танцы в пользу участников клубного дела, добивался посильного вспомоществования.

И все-таки работать на селе становилось все труднее и невозможнее. Каждый год стало меняться начальство. Начальство все было больше привозное откуда-то. Один начальник, к примеру, начнет мост строить, не успеет сделать его, как появляется другой, которому этот мост сто лет без надобности — он начинает стадион оформлять для парадов. Так и гниет мост недоделанный, ждет смены властей, потом под дождем и трибуны никчемушные преют. В общем, мероприятий было много, но все они были мимо клубного хозяйства. За работу свою, которой Панин жил, он получал невозможные гроши. Фондов не было, жить было не на что. Молодежь никакими силами нельзя было удержать в деревне, она бежала в город искать чего-то. Потихоньку стала растекаться и интеллигенция местная. Уехал художник, умный и работающий мужик, один из основных «кирпичей» клубного дела. Уехал баянист, первоклассный музыкант, создатель двух оркестров, и увез с собой дочку Лину, красавицу, гвоздь программы, танцевавшую печальный танец «Девушка с отбойным молотком». Леня был безнадежно и безответно влюблен в эту Лину. Он придумывал к ее танцу новые движения, фигуры,

вычитывал и высматривал их в книжках и руководствах по балету. Он без конца читал ей стихи, вместо того, чтобы брать быка за рога и делать свадьбу. Но он не был любовником в жизни, он был любовником на сцене. Дела его творческие, казалось, шли в гору, он получил снова диплом первой степени на конкурсе краевых чтецов и немного погодя уехал в Барнаул насовсем. Многие говорили и ждали, что вот-вот он переедет в Москву и прославится, а вместе с ним прославится и село наше, которое его произвело и признало. Но этого не случилось. Односельчане скоро забыли про него. Немногие только, роясь в памяти, натываются в ней и на Леню Панина. Есть и такие, кто смутно догадывается, что не нужно ему было уезжать из своего села. Он бросил свой крест и захотел понести чей-то, да не сумел. Последний раз я видел его мельком в Барнауле перед отъездом в Москву. Хотел спросить у него совета, показать ему, что приготовил для конкурса, чтоб подсказал, если что не так, но Леня что-то промямлил, бычком глядя в сторону, сказал, что ему некогда, да и зачем, как есть, так и есть, чем, дескать, я могу тебе помочь...

От других узнал я, что он пробовал работать в театре, но неудачно, снова пришел в самодеятельность, уже в городскую. Годы были потеряны, учиться на артиста поздно, растолстел шибко, обрюзг... А возвращаться в село, где его любили когда-то и верили в его звезду, стыдно вроде теперь. И как не понять его? Состариться в самодеятельности, в далекой, скучной деревне, с длинными, тоскливыми вечерами — это ли удел для мечтателя и фантазера?!

И вышло так, что жизнь прожить — это действительно не поле перейти, и от суммы да от тюрьмы, правда что, не отказывайся. Уже прочно зацепившись в Москве, получил я из села своего горестную весть, что Леню нашего, чистейшего человека, Фердинанда-Ромео-Шиллера, посадили за решетку. Работал он художественным руководителем какого-то старого дворца. Совмещал художественное руко-

водство с должностью директора, стало быть, материальным ответчиком был, и пока он играл своих Фердинандов, размундирили люди его дворец: кто плюш кулисный на юбки спер, кто ковер, кто пиломатериалы, а в некоторых домах потом и бюстики бронзовые старинные прижились. В общем, лет на пять Леньке сроку набралось. Отбыл наказание и в город сам для себя дорогу перегородил. Нашел ему знакомый дядька-инвалид тихую пристань между Барнаулом и селом, научил вязать сети и оформил промежуточным бакенщиком. Никто к Ленькиной пристани сроду не причаливает — баржи самоходные, парходишки буксирные шлепают мимо, не сигналив даже и проформы ради. Но у Леньки рация есть. И он аккуратно выходит звездными и хмурыми ночами в майке, в фуражке с кокардой, машет фонарем и шумит в рупор: «П-35, идете своим курсом! П-35, идете своим курсом, как слышите, подайте сигнал!» Но никто ему сигнала не подает, да и вряд ли кто слышит его, а если слышит, зубы скалит: «Чего это идиоту не спится?..» Зимой и вовсе живой души не заглянет к нему. За хлебом в село да за керосином сходит Ленька на лыжах и шлетет всю зиму бесконечные сети, ворча под нос монологи Тристана-Изольды и Треплева. Что-то не получилось, не вышло, не развернулась к нему фортуна передом. И как важно это, чтоб она хоть иногда лицо свое тебе показывала, а не оборотную часть, не ту, по чему шлепают в детстве. И если моя фортуна показала мне свое обличье, так это Леня Панин виноват, это он привел меня за руку к дяде Леше-клоуну, сам постыдившись ему помогать.

«Молодой человек, — так обратился ко мне Алексей Яковлевич, когда мы устроились под тополя на лавочку, — мне сказали, что вы хотите посвятить себя сцене, эстраде или экрану — в общем, мечтаете стать артистом. Если это так, я постараюсь объяснить вам, сколь трудна и ответственна наша профессия, как много молодых людей стремится приобрести ее и удается многим, но сколь велико потом



число несчастных, разочарованных, жизнь растративших зря, потому что внешний блеск, мишура, призрак скорой славы сбивают многих с толку, а не в славе, криках «браво» и прочей «бижутерии» смысл нашей профессии. Профессия наша одна из самых древних. Когда-то она была проклята, предана анафеме и сжигалась на кострах, потом помилована, допущена во дворцы, а затем за неугодные слезы, за смех в глаза для бессонницы снова выброшена на площади, туда, где рождена была. Нам пришлось много потрудиться, испытать огонь и воды, прежде чем Шекспир изречет устами принца Датского: «Почтеннейший! Посмотрите, чтоб об актерах позаботились. Вы слышите, пообходительней с ними, они — краткий обзор нашего времени. Лучше иметь скверную надпись на гробнице, нежели дурной их отзыв при жизни!» Правда, это мало на кого подействовало тогда, но теперь кое-какие сдвиги в этой области есть, — произнес он не совсем твердо, но, помолчав, добавил покрепче: — Да, есть, конечно, есть... но к делу...»

И опять задумался мой артист, глядя на меня виновато, будто решая, стоит ли сбивать мальчика окончательно и прельщать надеждой. Но выхода у него не было: вечером представление, и трюк его основной должен быть выполнен любой ценой, и он продолжал: «Я прошу вас помочь нам и быть подсадкой или «уткой», как говорят в народе, то есть сыграть этюд. При поступлении в любое сценическое заведение это неперемное условие — вас попросят разыграть действие на заданную тему. Так вот... вы сядете на первый ряд, первое место. Перед началом вы получите от меня вот эту кепку, с которой будете сидеть, смотреть и ждать меня. Иллюзионист на глазах у публики испечет печенье — старый фокус. Я — коверный уже — начну его передразнивать, задирать, пародировать, дескать, я тоже сейчас состряпаю чего-нибудь вкусное, только дайте мне кто-нибудь с головы своей кепку-кастрюлю тесто замесить-заквасить. Вы и предложите мне сей убор. Я начну бить

в него яйца, бросать гвозди, опилки, весь мусор, что под руками окажется. Вам должно не понравиться это. Вы должны возмутиться. В это время за кулисами я подменю кепку и отдам вам точно такую же, дубль по-нашему. Вы извинитесь передо мной, перед публикой, что вам действительно все это показалось, и с этой лжекепкой сядете на свое место. А после представления вернете ее мне. Вот и вся задача. Вы меня поняли, молодой человек?»

«Господи, — подумал я, — тоже мне бином Ньютона!»  
 «Да, — говорю, — конечно ясно». — «Желаю вам удачи. Не гнушайтесь никакой работы. И в маленькой роли проявляется иногда большой артист».

Я согласился быть «уткой», получил дополнительную контрамарку и отвез ее на велосипеде на другой край села моей кудрявой девушке. Эх, надо ли говорить, что задолго до представления меня стало потрясывать, мурашки негодные, как взбесились по всему телу, а я считался заядлым «самодельником» и на клубных подмостках как в своем огороде был. Я окунулся в теплынь Истока, пошеркал голову хозяйственным обмылком, погладил брюки, рубашку шелковую, безрукавку, что давным-давно из Германии тетка привезла, надел и, как уговорились, сел на первый ряд, первое место. За мной примостилась и задышала в шею моя любовь, которая ни сном ни духом не ведала, что здесь разразится вскоре и какого позора она наберется от своего ухажера из самодеятельности. Кстати, любовь моя давно и удачно замужем, двое парней замечательных у нее, но она и по сей час не верит, что это этюд случился в нашей жизни, игра была, а не сама жизнь.

Первый ряд отводился у нас всегда под начальников: райкома, раймага, рабкоопа, мельницы, дорстроя, милиции и пр. И во главе головки всей я прилепился и, забывшись, напялил было на голову этот застиранный донельзя картуз. Но любовь моя тут же сдернула его и прошипела:

«Ты, паря, невдосоль че ли, где таку срамотину откопал?! Немедля сдай в утиль завтра!!»

Народу в клуб набилось! Ну, понятно, в кой веки живой цирк поглядеть можно. Ребяшня на полу, в проходах, по стенкам кишмя кишела.

Поначалу я мало видел из того, что происходило на сцене, в глазах рябило от страха, как сейчас рябит от вертящегося разноцветного круга, а мы с дядей Лешей на четверть века старше, чем тогда. Отвлек меня от моего озноба только метатель ножей. Он их в горящий круг швырял, что держала на голове толстенькая помощница, раздетая по крайнему цирковому артикулу. Жена, по-видимому... Свою жену кто даст под такое дело, чтоб чужой мужик в нее ножи бросал. Сам метатель одет и загримирован под самурая был. Этот номер я запомнил отчетливо, мы, мальчишки, заражены были метанием складешков в классные доски. Так я понимаю теперь, что, очевидно, фильмы какие-то азиатские тогда выходили косяками. Действительно велика сила массового искусства. Так, во время многосерийного «Штирлица», по сообщению статистического управления, в Москве не было зафиксировано ни одного уголовного преступления. Но это так, к слову...

Тот, с кем свел меня Панин, и кто задал мне эту, вез все представление, объявлял номера, пытался связать единой мыслью о целине всю разномастность программы, и еще не был коверным «рыжим». Запомнились лаковые ботинки, и что он был высок, медноволос и обильно с лица забрызган веснушками. «Рыжий, белый, конопатый, убил бабушку лопатой!» Читая рассказ, он держался за стул, а о чем читал, я не помню, не до смысла было. Помню, он извлек из кармана бледно-синий газовый платок, обратился к нему, и из его глаз потекли сильные всамделишные слезы...

Кувыркались, плясали на проволоке, на пиле играли... Все это мимо, мимо меня... Но вот появился иллюзионист, а с ним и «рыжий», и я понял, что время мое неотвратимо

близится, чему вскипеть — не станет теперь стыть, и я успокоился. Нет, волнение не унялось, но дрожь мышиноного хвоста я укротил и зрячим ухом ловчего стал рассчитывать мгновенья на движенья.

Волшебник делал свое дело спокойно, пек торт. «Рыжий» суетился тут же, взвизгивал, вскрикивал, хохотал и возмущался... Наконец сдернуто покрывало — и под ним чудеснейший, без муки и теста сочиненный пирог. «Рыжий» мигом угостился, проглотил, похвалил мастера, потом обхамил его же и заявил, что он сейчас тут же принародно в любой кепке с чистой головы испечет печенье, «очередь только за кепкой и дело может оказаться в шляпе». Ну что говорить про деревенский народ? Он доверчив, как дитя, не познавшее, что нет роз без шипов, а преступления без наказания не бывает даже в сказках. Мигом клоуну были протянуты фуражки, кепки, платки, даже косынки...

«Спасибо, спасибо... не все сразу... Я возьму здесь поближе, у молодого человека, что сидит...» Он домолвить не успел, родимый, как я уже крикнул: «Не дам, а я не дам!» С восторгом, с победой крикнул. Не приведи господь, чтоб со мной кто так поступил из партнеров, для чего ведь ни ума большого, ни таланта не надо. Я нарушил уговор, правила игры, все равно, что под куполом один решил не ловить другого и пустил в ошылки. Но дядя Леша, видать, виды видывал. На миг он остолбенел только, а потом так повернул дело, что весь зал кто просить, кто требовать стал, чтоб я немедля отдал кепку на сцену. И ухажерка моя уже молотила в спину: «Ты че, паря, сдурел ли, че ли? Че они с твоим утилем сделают? Москвичи перед тобой, не Акутиха!» Но я был в раже, я был в запале, я вел игру без памяти, фатально. «Куда ты, удаль прежняя, девалась?!» Начальство за это время три цвета лица сменило: красно-бело-зеленое стало, и слышался, казалось, с первого ряда лязг и скрежет зубовный.

Не знамо кто, не знамо как вырвал у меня эту злосчастную кепку, в миг она уж в руках «рыжего» фигурировала, и

тот в нее первое яичко кокнул. «Ай-яй-яй-яй-яй! — взвизнул я, помню, именно поросенком (кстати, любовь уж выдернулась из зала и далеко шпарила от позора, — она до сих пор не верит в этюдность прошлого). — Что же вы, нахалюги московские, делаете?! (А «рыжий» уже второе яцо в фуражечку стукнул, опилок для вкуса бросил, окурков для курящих расшелудил и воды плеснул...) Да я за эту вещь в раймаге... скажите, Марья Григорьевна, — обратился я с призывом к ошалевшей завмагше, что тоже в первом ряду восседала, — восемьдесят рублей уплатил... Плакали мои трудодни сенокосные...» — «Отродясь к нам такого дерьма не поставляли», — «поддержала» меня Мария Григорьевна, а клоун уж помешивал ложкой «люменевоу» будущее печенье. Меня уговаривали не хамить москвичам, грозили, хватали за пиджак, но я, как змея выползину, оставил его в руках врагов, меня державших, в момент молнии очутился на сцене, где я знал каждый лоскут в каждой кулисе, и уже выкручивал кепку из рук «рыжего» и плакал настоящими слезами. Вот где улыбнулось мне, я знаю, мое упрямое предчувствие! А рубашечка моя, немецкая безрукавочка, уже заляпана желтком... И в парике «рыжего», и на лицах обоих пот, слезы, опилки и вся мерзость, что он успел зарядить в кепку свою-мою, пока я прорывался к нему этюдом, засучив несуществующие рукава, закусив удила природные. Зал ревел. Молельные стены клуба сотрясались от хохота, свиста и топота — чистая коррида. Это был самый успешный номер представления. На сцену прибежали полуодетые артисты, перепуганные скандалом. Они не верили глазам своим, что я подсадка, что я понарошке. Алексей Яковлевич кое-как заволок меня на буксире-кепке за кулисы: «Хорошо, хорошо, все замечательно... несколько чересчур... Вот вам другая кепка, идемте к публике, успокойте ее...» Я вышел к залу счастливый уже. Я понял, что главное свершилось, что я выиграл что-то важное для себя.

«Извините, товарищи, — говорю, — простите меня, люди добрые, забельмило немножко, перекупался так и есть в Истоке, кепка моя цела, вот она, на трудодни приобретенная...» — и сел на свое место.

«Завтра в десять часов утра я жду вас для серьезного разговора», — сказал мне Алексей Яковлевич, когда я после представления возвращал ему дубль-кепку. Первая уже сушилась на распялке.

Потом была ночь. Первая бессонная ночь. Она открывала собой, как выяснилось, счет многим другим за ней последующим. Отцовская доха, брошенная на пол, была мне постелью. В изголовье кадушка с фикусом, с подоконников глазели герани и любимый отцом и мной ванюшка-мокрый, такой цветок чудесный. «Замечательный парень, этот ванюшка, понимаешь, — ласково, как про коня, говорил про него отец. — Все позавянет кругом, пожухнет, а его водой сбрызнул, он опять глазенками лупает, как ни в чем не бывало...»

Я долго слушал улицу: где, на чьем плече, чья гармошка уснула, чья песня захлебнулась поцелуем... Мой месяц не спеша и важно прокатился из одного окна дома в другое, завернул за угол и долго, пока не исчах совсем, подглядывал за мной в зеркало гардероба, сработанного колхозным краснодеревщиком дедом Назиным. За всю предыдущую и последующую жизнь, однако, не перемечтал я столько, как в ту памятную ночь. Кем я только не перевоображал себя, на каких только конях не скакал, на чьих только коврах не сиживал, на скольких турнирах победителем не важничал — везде побывал. А на утро...

«Вот что я вам скажу, молодой человек, — встретил меня Алексей Яковлевич, — вы сделаете преступление, если не станете драматическим артистом. (Так и сказал — ПРЕСТУПЛЕНИЕ, провалиться мне за этим столом.) Я был только что в вашем райкоме, говорил с товарищами, просил их, чтобы они дали вам после окон-

чания школы как бы направление, ходатайство от села в Москву, в театральный институт... Что еще? Вот вам мой адрес на прощание, как только приедете в Москву, найдите меня непременно, я постараюсь помочь вам... Что еще? Не забывайте, не поминайте лихом... вот и весь этуод... Я жду вас в Москве...»

И он уехал, оставив после себя на заборах размноженную свою физиономию и записочку-клубочек в моих руках, который поманил, размотался, покатился и вскоре до дверей его московской квартиры довел.

Дверь отворилась, да. Но артиста дома не оказалось, он снова был на колесах, теперь уже Африку бороздил фургончик, а Африка, она большая, и вернется артист не скоро, так мне сказала старушка и затворила передо мной дверь. Я постоял немного, вздохнул крепко, выбросил «клубочек» и вышел на улицу один на один с самым большим и главным, как мне казалось тогда, городом на свете, таким он остается для меня и по сей день.

Дальше было просто. Мне повезло. Я поступил. Поступил сам, без чьей-либо помощи, разве что при помощи земли алтайской, она и тут помогла мне. И я забыл моего артиста. Зачем он мне нужен был теперь? Хотя я приходил к его двери еще дважды. Один раз дверь не открылась совсем, старушка померла, наверное, другой раз и дома не стало — на том месте строился Ленинский проспект.

Нет, я не забыл моего клоуна, не забыл даже фамилию его, я забыл причинный, толчковый, так сказать, факт моего появления в Москве. А положила руку на сердце, разве собрался бы я в поход на Москву, не будь у меня конкретной записочки в руках, конкретного требования («вы сделаете преступление») стать драматическим артистом? Вряд ли. Утаил я этот факт и в автобиографии своей: с ним не получилось бы сказки про Ивана-дурачка, он разрушил бы сказку, обратил бы в опереточный случай. Так мне казалось. С тех пор прошло четверть века, а это больше,

чем двадцать пять лет. Другие мальчишки расклеивают теперь уже и мои афиши на своих заборах, и я все чаще спрашиваю себя, счастлив ли я? Благодарен ли я судьбе, что дядя Леша случился в моей жизни, не предал ли я его неистовое предчувствие, не осрамил ли я свое призвание?! И, не находя ответа, я снова и снова хватаюсь за всякие мелкие поделки, лишь бы мое имя задержалось подольше на заборах, лишь бы мальчишки любой ценой приносили мне за пазухами молоко и зеленые яблоки... Однажды не было с кем оставить сына, и я взял его на свой концерт. Подъехали. Машину окружили, заглядывают в стекла, ждут. Сын похлопал по плечу, вздохнул по-мужицки и сказал: «Ну, отец, иди стыдись». Что это означало, я постеснялся спросить у него. Но не по себе стало, это точно. И теперь я часто мысленно усаживаю в зрительный зал моего мальчика и стараюсь, стараюсь на сцене, чтоб ни мне, ни ему за меня стыдно не было. Всегда ли получается только?

А недавно где-то в перепутье кинематографических дорог встретился я с другим клоуном, с замечательным артистом и человеком хорошим, словом — народным артистом в полном смысле. Что-то всколыхнулось в памяти, я возьми и расскажи ему про этюд и записочку. Он спросил меня: «А ты не помнишь фамилию того клоуна?» — «Помню... Полозов...» — «Алеша?» — «Вы знаете?..» — «Как же!..»

Через два дня звоню... «Алексей Яковлевич?» — «Да, мне Юра говорил что-то...» — «Помните... — начинаю рассказывать, — ...тот мальчик; помните... подсадок... печенье... этюд... помните...» (Откуда ему было помнить, таких подсадок у него было, наверное, миллион.) — «Алтай, вы говорите? Целина? Да целина была... адрес... не помню... какое это теперь имеет значение... знаю вас по кино... поздравляю...» — «Алексей Яковлевич, у меня завтра большой творческий вечер в Центральном доме... оставляю билеты...» — «Приду обязательно... можно два... спасибо...»



Назавтра в вечеру за волнением я забыл про него, взяли билеты, пришел ли, не до того было, опять проклятые мурашки, опять стучание зубов, как в первый раз... Заканчиваю концерт, поклоны, аплодисменты... И вдруг вижу: по центральному проходу зрительного зала, по красной ковровой дорожке идет с гордо поднятой головой высокий человек с огромным букетом сумасшедших гладиолусов... И я узнаю его, моего клоуна, моего артиста, добрыми руками своими развернувшего ко мне мою фортуна лицом, давшего мне возможность слушать сейчас столичные аплодисменты... Не поверите ли, друзья мои, у меня перехватило горло, я заревел от счастья, как сейчас, когда пишу и вспоминаю. Я увидел, как мальчишкой много лет назад несусь на базар с его афишами, я увидел ясно обоих нас, заляпанных желтком, в опилках и табаке на тех далеких алтайских подмостках...

Я принял букет и уйти не мог. И не ушел, пока не рассказал зрителям всю историю до конца, до последней буквы, чем дорог, что заключено для меня в этом букете, пока не высказал всех слов благодарения, скопившихся за столько лет и дождавшихся наконец своего часа. Говорят, это была лучшая часть моего вечера. Но многие не поверили и говорили, что человек с букетом был моей подсадкой, что так договорено было, чтоб мне «органично выйти на очередной анекдот».

Сейчас, когда вертится цветной круг цирковой елки и мой мальчик... дед которого батрачил, а прадед сохой пахал, учится английскому и играть на рояльчике (не отстаем от людей) — в интеллигенцию пробивается, когда я в очередной раз прогоняю его с улицы и усаживаю ремнем за инструмент с угрозами отобрать велосипед и отключить телевизор на веки вечные, я тайно думаю, а не повернется ли круг жизни, как на театре, в другую сторону и не вернется ли мой сын сеять хлеб и косить травы?! Но чего я горожу, чем грежу, когда мой сын даже не видел, как это делается, «разве можно забыть, чего ни разу не помнил?»

## Книга вторая

«Первый раз живое чучело вижу», — сказал он в огороде в гостях у дядьки своего.

Сейчас, когда вертится круг, сыплются ложки и дядя Леша — ловкий, добрый, совсем не старый, а самый молодой клоун моего детства — смешит мальчишек, я думаю: часто ли я поступал в своей жизни, в своей профессии, как Алексей Яковлевич? Надо же ведь? Пошел в райком, стучался в двери, настаивал, просил за какого-то пацана?! Часто ли я находил время и желание сказать доброе слово какому-нибудь мальчишке или девчужке, чтобы они поверили в свои крылья и попробовали взлететь? Нет, не часто, все некогда... А когда приходилось выслушивать молодых людей и я видел безнадежность и бесплодность их мечтаний, у меня не хватало мужества сказать, чтобы человек не терял времени, не ломал себе судьбу и шею, меня сдерживало пресловутое «а вдруг, чем черт не шутит» — и марктовское: «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что и вы можете стать великим». Так не надо гневить Бога. Счастлив, должно быть, я, коль добрым словом вспоминаю и тот этюд, и того, чья судьба не сложилась, кто сам, отказавшись быть подсадкой, невзначай отдал меня в руки всемогущему господину случаю...

Я представляю себе его одинокую, убогую пристань и молю, молю, чтобы самый красивый корабль на свете пристал синей птицей к его крутому берегу.

Жизнь наша из дней складывается. Дни образуют эпизоды, эпизоды — судьбу. Мне хочется, чтобы и в моей жизни, как в жизни Леша-клоуна, такой эпизод случился, чтобы когда-нибудь другой мальчишка какой-нибудь, пробежав, как я сейчас, половину пути земного, помянул бы и меня добрым словом своим...

## СОДЕРЖАНИЕ

Жажда предельной высоты.....	5
------------------------------	---

### КНИГА ПЕРВАЯ

На Исток-речушку, к детству моему.....	15
Дребезги.....	46
День рождения.....	171
«Поздно, Лора, ты полюбила вора!».....	193
Рассказы бабки Екатерины.....	199
Нина Ивановна.....	212
Старики.....	228
Комдив четырнадцатый.....	241
«Похоронен в селе...».....	264
Земляки.....	290

### КНИГА ВТОРАЯ

Между «Юностью» и «Плейбоем».....	325
Подвиг слова.....	390
Как скажу, так и было... ..	405
Двадцать лет без Высоцкого... ..	412
Мой Лемешев.....	417
Прими привет, Расми Халидович!.....	425
Маленький театральный роман.....	435
День шестого никогда.....	460
В границах нежности.....	471
Клоуны.....	478

По вопросам оптовой покупки книг  
издательства АСТ обращаться по адресу:  
*Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж*  
*Тел. 615-43-38, 615-01-01, 615-55-13*

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:  
*107140, Москва, а/я 140, АСТ – «Книги по почте»*

*Популярное издание*

**Золотухин Валерий Сергеевич**

## **ДРЕБЕЗГИ**

Ответственный редактор *Владимир Вестерман*  
Редактор-составитель *Валерий Краснопольский*  
Компьютерная верстка *Виктории Челядиновой*  
Корректор *Надежда Александрова*

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.007027.06.07 от 20.06.2007 г.

ООО «Издательство АСТ»  
170002, Россия, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 27/32  
Наши электронные адреса:  
WWW.AST.RU E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

ООО «Издательство Зебра Е»  
151121, Москва, ул. Можайский вал, д. 8, корп. 20  
тел.: (499)240-11-91  
E-mail: [zebrae@rambler.ru](mailto:zebrae@rambler.ru)

ОАО «Владимирская книжная типография»  
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7.  
Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов

# 2 АКТЕРСКАЯ КНИГА

## ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН ДРЕБЕЗГИ

ISBN 978-5-17-046779-0



9 785170 487790

зебра e

Теперь у меня все больше и больше свободного времени. В кино не зовут. В театре я постепенно выхожу из игры. Не потому, что меня теснит молодежь, а так, волею обстоятельств и собственной лени, я оказываюсь незадействованным то в одном спектакле, то в другом. По вечерам в своем театре я теперь чаще стою у «прилавка», чем на сцене. Продаю свои книжки, торгую своим прошлым. В семи случаях из десяти их покупают потому, что там про Высоцкого. Ни одного концерта, ни одной встречи, чтобы меня не попросили прочитать или спеть что-нибудь из Высоцкого или рассказать о нем. Он меня кормит в прямом, камбузном смысле этого слова. Словом – кормилец. Всякий день начиная с молитвы среди икон, дорогих моему сердцу образов и книг (и Астафьева тоже), я вижу гипсовый лик Высоцкого, посмертную маску под номером III, подаренную мне художником Юрием Васильевым. Я разговариваю с ним. Двадцать семь лет без Высоцкого – и ни дня без него. Жизнь – послесловие, так выпало по судьбе. И я не ропщу.